

В.О.  
КЛЮЧЕВСКИЙ

В.О.КЛЮЧЕВСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

7



В.О.КЛЮЧЕВСКИЙ

*СОЧИНЕНИЯ*

В ВОСЬМИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
*социально-экономической литературы*  
МОСКВА  
1 9 5 9

В.О.КЛЮЧЕВСКИЙ

*СОЧИНЕНИЯ*

ТОМ  
VII

*ИССЛЕДОВАНИЯ,  
РЕЦЕНЗИИ, РЕЧИ  
|1866-1890|*

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
*социально-экономической литературы*  
МОСКВА  
1959



---

## ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В БЕЛОМОРСКОМ КРАЕ

В начале XV в. подвизался в монастыре Кирилла Белозерского инок Савватий. Суровые подвиги его привлекли к нему внимание и удивление игумена и братии. Боязнь людской славы встревожила подвижника, искавшего уединения и безмолвия, и он стал прислушиваться к рассказам пришельцев о далеком, пустынном острове на озере Нево, об обители на этом острове, в которой иноки «в неослабном житии» трудятся своими руками и этим трудом добывают себе необходимую пищу. Людна и шумна показалась Савватию Белозерская пустыня, и он ушел на Валаамовский остров. Но людская слава и там неразлучно сопутствовала его подвигам и не давала ему покоя в новой пустыне, а между тем до него стал доходить рассказ про другой остров, еще более чудный и пустынный, на море-окиане, искони не имевший не только мирского, но и иноческого жилья. С силами, испытанными и укрепленными многолетним подвигом в двух обителях, оставил он Валаам и направился к студеному морю. Прибрежные русские поселенцы встретили изумлением и насмешками предприятие старца, «во всякой убожественной нищете» задумавшего поселиться на далеком безлюдном острове, но это не смутило его. На пустынной реке Выгу, у часовни, он нашел подобного себе подвижника пустыни, инока Германа. Перебравшись на Соловецкий остров, они поселились там, выстроив себе кельи. Шесть лет прожили они одни на острове. Недостаток пищи заставил Германа отправиться на поморский берег; вслед за ним и Савватий покинул остров и скоро скончался у прежней часовни на Выгу.

Память современников не сохранила известия ни о месте рождения и родителях, ни даже о времени пострижения Савватия, и в самом начале XVI в. жизнеописатель его ничего не мог узнать об этом от людей, между которыми хранились еще свежие предания о первых обитателях Соловецкого острова. Но пустынные труды Савватия и кельи, поставленные им вместе с Германом на Соловецком острове, не остались забытыми. Через год после его смерти пришел в Поморье другой искатель пустыни — Зосима, гонимый мирским шумом; на реке Суме нашел он того же старца Германа и, выслушав повесть о Савватии, мужественно пошел по проложенному им трудному пути.

Монастырь основался. Вместе с ним возник центр и двигатель разнообразной деятельности в окружающем его Беломорском крае.

Еще на Валааме Савватию рассказывали, что на Соловецком острове, удаленном на два дня пути от земли, от жилых мест, много озер, богатых рыбой, вокруг этого острова много рыбных ловищ, которые по временам случайно посещали одинокие рыболовы; что этот остров богат лесами, вершины гор и долины покрыты высокими соснами, годными для построек, и другими деревьями, что в этих лесах в изобилии растут различные ягоды. Рассказчики заключали, что остров «добр и благодарен к сожитию человечества по всему»<sup>1</sup>. Картина такого острова могла пленить подвижника пустыни и безмолвия, но другие рассказы услышал он от поселенцев, живших по берегу моря, «прямо против острова». Ему сказали здесь, что тот остров велик и имеет «всякого устрою человеческого жития», но много лет многие пытались не раз поселиться там и не могли прожить долго «страха ради морския мужа». Уже по основании монастыря, когда братия просила игумена у новгородского архиепископа, последний в недоумении говорил: «Ваш монастырь стоит так далеко от людей; кто пойдет туда и как церкви там быть, в соседстве с землею Мурманской и Камянской?»

В такой суровой глуши, где не жилось человека, «стнележе и солнце в небеси», по выражению жития, возникла обитель, и благодаря нравственным силам своих основателей победила трудности, пугавшие новгородского архиепископа и прибрежных русских посе-

ленцев. Но, возникши вдали от людей, она завязывала все более и более тесные связи с побережьем, обитатели которого так неприветливо встретили начинание ее основателей. Завоевав у природы брошенный людьми остров, монастырь показал пример и много помог в деле подобного же завоевания пустынной страны русскому человеку, пришедшему на Корельское и Лопское поморье.

Во время основания монастыря многие из тех черт, которыми описывали Савватию Соловецкий остров, были уже неприложимы к поморскому берегу, огибающему остров с севера, запада и юга. Смелые дружины новгородских купцов и промышленников давно были знакомы с отдаленными северными краями Заволоцкой Чуди и Корелы. В житии Зосимы и Савватия еще до основания и по основанию монастыря мы не раз встречаем новгородских гостей, которые плавали по Белому морю, добывая рыбу и морского зверя или скупая этот товар у прибрежных жителей. Но за этими временными посетителями Беломорского края в населении его ясно обозначаются в эпоху основания монастыря более прочные и постоянные элементы. Из этих элементов на первом плане стоит туземный, который составляли давние обитатели нынешнего Поморского, Корельского и Терского побережья, — корелы. В житии соловецких чудотворцев и в новгородских грамотах XV в. они обозначаются именем *корельских людей, корельских детей*. Новгородцы XV в. различали в этом финском поморском населении *пять родов корельских детей*, в соседстве с которыми, далее к северу и в глубь страны обитала *лопь*. Эти «корельские дети» жили разбросанно на всем протяжении Беломорского побережья от реки Варзуги до реки Сумы и далее к востоку и считались собственниками, вотчинниками занятых ими здесь земель; встречаем в грамотах XV в. указания на земли, «куда ходят корельские дети» или «куда владют вотчинники корельския дети». Они считали даже себя ближайшими собственниками еще не занятых земель, каких в XV в. много было в Беломорском крае. Когда Савватий поселился с Германом на Соловецком острове, корелы ближайшего к острову побережья присвоили себе преимущество пред пришлыми иноками в праве на владение этим островом. Но рядом с этими туземными элементами поморского населения во время основания монастыря высту-



пает другой элемент, пришлый, обозначаемый именем *людей-насельников*, которые жили между родами корельских людей так же рассеянно, как и последние. Основание обители застало край в тот любопытный момент, когда его финское разбросанное население начинало более и более перемешиваться с пришлым русским населением, легко уступая ему место среди своих редких жилищ, на обширных пустошах, остававшихся еще не занятыми. Это движение началось задолго до основания монастыря; по прибрежью, преимущественно в низовьях многочисленных порожистых рек, пересекающих западный берег Белого моря, возникали один за другим поселки новгородских промышленников, привлеченных сюда прибыльными речными и морскими промыслами. Между соловецкими грамотами XV в. мы имеем несколько грамот новгородцев на владение приобретенными ими в Беломорском крае землями; эти грамоты, переданные потом в распоряжение монастыря вместе с землями, бросают некоторый свет на то, какой степени развития достигла новгородская колонизация в том крае к половине XV в., к первым годам существования монастыря, кто были главные двигатели ее и каков был состав русского населения, занимавшего край. Главными приобретателями земель в Поморье видим именитых новгородских людей. Встречаем указание на четыре сельца на Бобровой горе, принадлежавшие новгородскому архиепископу. Занимают и покупают земли, прежде занятые другими, посадники, бояре и другие богатые люди Новгорода. Около половины XV в. многие имели там *отчины*; у некоторых были уже *отчины и дедины*. К числу самых значительных землевладельцев Поморья в последние годы новгородской вольности принадлежали Борецкие: знаменитой Марфе Посаднице только по рекам Суме и Выгу принадлежало 19 деревень, которые в писцовых книгах 1496 г. обозначаются еще именем Марфинских Исаковых. Все эти богатые новгородские люди высылали в Поморье, на занимаемые ими земли, своих рабов или вольных поселенцев-рабочих, бобылей, казаков: это были первые, по крайней мере наиболее значительные по количеству, новгородские колонисты Беломорского края. Боярские рабы и насельники при жизни основателей Соловецкого монастыря постоянно указываются в житии рядом с тузем-

цами, корелами и лопью как второй элемент поморского населения. Боярские рабы приезжали к острову на рыбные ловли; они же вместе с корельскими людьми старались выжить с острова поселившихся на нем иноков, говоря им: «Остров по отчеству — наследие наших бояр». Наконец, кроме боярских рабов и вольных поселенцев, селившихся на чужих землях, сквозь неясные выражения новгородских грамот XV в. можно рассмотреть и третий разряд людей в составе русского населения Беломорского края: это поселенцы-собственники, на себя приобретающие земли в Поморье и селившиеся на них. Так, вотчинник Марк из Варзуги дал монастырю вотчину на реках Умбе и Варзуге, по морскому берегу. Иные компаниями, вдвоем, втроем, покупали в Поморье землю и селились на ней<sup>2</sup>.

Земельные новгородские владения XV в. в Беломорском крае, как они описываются в указанных выше грамотах, носят на себе одну любопытную характерную черту, живо объясняющую порядок и способ заселения новгородцами того края. Большая часть новгородских вотчин в Поморье, даже у мелких собственников, не представляла сколько-нибудь округленных земельных владений, сосредоточенных в одной местности, а состояла из многих раздробленных, мелких участков, рассеянных по прибрежным островам, по морскому берегу и *по рекам морским*, как выражаются грамоты, часто на огромном расстоянии друг от друга. У одного владельца, например, вотчина состояла из участков у «Золотца (порога на реке Выгу) и в Шуе-реке, и в Кеми-реке, и в Кореле между пятью родов и *по всем рекам морским*», другие владельцы, три брата, купили два участка, которые были рассеяны на Поморье по морским рекам и по лучшим озерам, по Кеми, между корелюю, *куда все пять родов владеют*: а между тем за эти участки, так неопределенно обозначаемые, покупщики заплатили *8 сороков белки да рубль серебра* — цена не очень крупного владения сравнительно с ценами других владений, встречаемыми в тех же грамотах. Еще более разбросаны были крупные владения: встречаем отчину и днину, купленную новгородским посадником за *полчетверта рубля*, которая состояла из участков «на море, на Выгу, и в Шуе-реке, и в Кеми-реке, и на Кильб-острове, и по морскому берегу, и по обеим сторонам

Понгамы-реки, и по лешим озерам», т. е. тянулись отдельными участками на длинном пространстве нынешнего Поморского берега и далеко уходила в Корельский берег. Новгородский промышленник занимал сам или своими рабами и вольными крестьянами участок у моря на прибрежном острове, на приморской реке или озере и строил здесь двор; при дальнейшем движении он переходил на другое прибрежное место, на другую приморскую реку, занимал там другой такой же участок, не обращая никакого внимания на промежуточные пространства вдали от моря, между впадающими в него реками, ибо они не представляли ему прибыльных промыслов и угодий. Границы занимаемых таким образом земель не везде обозначались, ибо не везде встречались с границами земель других владельцев. Такой порядок занятий земель, такая разбросанность поселений обуславливались главным образом свойствами Поморского края. Глухое, суровое Поморье манило к себе русского поселенца преимущественно своими обильными рыбою «лешими» озерами и «морскими» реками, своим морем, доставлявшим промышленнику соль и опасного, но прибыльного морского зверя. В поземельных описях, какие представляют новгородские грамоты XV в., сохраненные монастырем, даже повторяется однообразный перечень одних и тех же угодий и промыслов, разработывавшихся на занятых поселенцами землях Поморья. Чрезвычайно редко упоминается в этих описях поморских земель «страдамая» или «орамая земля»<sup>3</sup>; скудное земледелие по Поморскому берегу, ограничивающееся сеянием почти одного только ячменя, и ныне идет немного севернее Кеми; дальше не родится уже никакой хлеб. За исключением этих редких указаний на страдомые земли, во всех описях повторяются одни и те же угодья и промыслы: земли (нестрадамые) и воды, рыбные ловища и тони по морскому берегу, по лешим озерам или морским рекам, лес полеший или в противоположность ему страдомый, наконец, пожни; в некоторых присоединяются ко всему этому еще *сала морские*. На этих-то прибрежных, речных и морских землях с развитием новгородской колонизации в Беломорском крае возникали промышленные поселки, или *страдамые деревни*, заселявшиеся боярскими рабами или вольными насельниками. Около половины XV в. эти

поселки еще сохраняли на себе свежие следы своего недавнего появления в пустынном крае: разбросанные редкими точками на далеких друг от друга пунктах, они были бедны и поселенцами и хозяйственными постройками. В деревне Марфы Посадницы, на реке Суме, жили только два бобыля. У другого владельца на уступленных им монастырю землях по рекам Выгу, Шуге, Кеми и другим находился всего один двор с хоромами. У одного вотчинника в Великокурье, при море, был в вотчине *городец* под горою и *ворище*. Среди этих разбросанных поселков, к половине XV в., начали уже появляться местные центры, которыми служили «молитвенные храмы», или часовни, возникавшие у моря, на реках, в местностях, наиболее заселенных русскими колонистами. Так была часовня на реке Выгу, при впадении в нее реки Сороки; при ней Савватий нашел одиноко жившего старца Германа, который, может быть, и поставил ее. Среди сумских деревень Марфы Посадницы, у речной пристани, куда заходили с моря суда промышленников, также была часовня, у которой жили два поселенца ближней деревни. К этим часовням изредка заходили странствующие иноки — священники «посещения ради ту православных христиан», по выражению жития соловецких чудотворцев, и тогда из окрестных деревень приходили сюда русские поселенцы по своим духовным тревам. Сюда же заходили и новгородские гости, плававшие по Белому морю, останавливались подле часовни в шатрах и, поклонившись в часовне святым образам, оставляли здесь какие-нибудь вклады<sup>4</sup>. Но о церквях в поморских поселениях нет и намека до основания монастыря; они стали строиться уже монастырем под влиянием его просветительных стремлений.

Таковы были элементы населения, среди которого и на которое приходилось действовать монастырю; такова была почва, на которой предстояло ему развить свою широкую хозяйственную деятельность. Около половины XV в. русско-христианская жизнь, занесенная сюда, в среду финского язычества русскими поселенцами, проявлялась еще очень слабо и робко. В неприветливом Корельском крае русскому населению, которое заходило сюда по привычной северной дороге с топором, косой и мережей, со скудными средствами, нелегко было собрать в себе и вызвать к деятельности столько сил,

чтобы воссоздать на новой, чуждой почве главные основы жизни, выработавшиеся на родном, давно насыщенном месте. Лет через сто по основании Соловецкого монастыря, когда его значение для края выяснилось уже многими результатами, составитель похвальных слов его основателям говорил о движении русских к Поморью, предшествовавшем основанию монастыря: «Много слышалось им (финским туземцам Поморья) и древле христианское имя, но не познали они благоразумия христианского; ибо многие христиане обращались между ними, но только ради *тленного и суетного прибитки*, продавая и покупая мертвенные животы, но ни единым словом не старались как бы показать тем людям многоценный бисер... Так эти христиане приходили к Лопи праздными в благовестии, пока не пришел к ней *носитель веры*»<sup>5</sup>. В этих словах есть намек на то, чего не доставало, чтобы обеспечить за русско-христианской жизнью успешное развитие в Северном Поморье. Не доставало деятеля, который выступил бы во имя более высоких и многосторонних интересов, чем те, с какими пришли туда промышленные поселенцы, который, став средоточием для края, мог бы этими интересами сблизить и объединить рассеянные силы финского и русского населения и привлечь туда новые. Такова роль, которая предстояла обители, возникшей на острове Белого моря. В истории этой обители материальная деятельность ее иноков является в таком тесном соединении с нравственной, что одна везде неразлучно сопутствует другой.

Много тяжелых минут пережила обитель в первое время своего существования. Возникнув на диком острове, среди лишений, она встретила вражду и зависть в прибрежном — и русском, и финском — населении. Но, в то время как своею просветительною деятельностью она создавала себе нравственный авторитет, который мог бы защитить ее от враждебных сил, она на скудной почве острова приготавливалась к труду мирного завоевания нетронутых или мало тронутых средств Беломорского края. Уже первые поселенцы острова, старец Герман с Савватием, а потом с Зосимой, познакомили почву острова с земледельческим орудием. «Землю копали мотыками и тем питались», — говорит о них житие. Но, может быть, не раз повторялись с ними случаи, подобные описанному в житии, когда «мало не достав-

ши ему (Зосиме) пища, и о сем поусумнеся мало помыслом». Собравшаяся братия усвоила себе занятия основателей обители: так началась первая разработка средств, какие представляла природа острова. Данная соловецкому игумену Ионе властями Великого Новгорода грамота (около 1450 г.), укреплявшая за монастырем право на владение Соловецкими островами, перечисляет эти средства: «В тех островах (пожаловал Новгород игумена и братию) землю и ловищами, и тонями, и пожнями, и лешими озера, *земля им делати*, и пожне косити, и лешия озера ловити, и тоне ловити добровольно»<sup>6</sup>. Из той же грамоты видно, что около Соловецких островов производилась ловля морского зверя, доставлявшего сало и кожу. Если в этой новгородской грамоте между угодьями упоминается просто земля, которую монастырь получал право возделывать, то в великокняжеской жалованной монастырю грамоте 1479 г. на владение теми же островами сверх простой, необрабатываемой земли с прежними угодьями обозначается и новая статья — «страдамая земля». Но хлеб не родится на Соловецком острове, и земля обрабатывалась только под огородные овощи. Житие соловецких чудотворцев рисует нам хозяйственные занятия первых иноков, к ним собравшихся: «Землю копали и дерсвья на постройки монастырския готовили, также множество дров рубили и воду из моря черпали, и соль варили, и продавали ее купцам, и брали от них всякое орудие, потребное монастырю. И в других работах трудились, и рыбную ловлю творили, и так от своих потов и трудов кормились».

Но сила вещей вызывала пустынножителей на более широкое поприще. С одной стороны, высокий авторитет основателей привлекал в обитель нравственные силы из далеких краев, и скудные средства, которые можно было извлечь из островов, становились недостаточны для умножавшейся братки. С другой стороны, не все русские люди отнеслись к возникшей среди моря иноческой общине, как боярские рабы Поморья. Новгород, давно двинувший свои промышленные дружины в тот край для присоединения его к русско-христианскому миру, чувствовал, какое значение может иметь в этом деле монастырская община, появившаяся в крае с интересами и стремлениями, каких не могли принести с собой туда промышленные поселенцы, — и житие, рассказывая

О двух путешествиях Зосимы в Новгород, каждый раз прибавляет, что многие из бояр дали монастырю довольно имения, церковных сосудов, одежд, серебра и жита и обещались во всем помогать обителю. Под влиянием этих двух причин начинается любопытный процесс сосредоточения в руках соловецкого братства обширных и многочисленных земельных участков в Беломорье, столь важный по своим следствиям для истории этого края. Занятые земли дарятся, закладываются, продаются монастырю, а между тем на них возникают одно за другим хозяйственные заведения, привлекаются поселенцы, эксплуатация усиливается, и заселенные земли незаметно растут, округляясь присоединением к ним еще не тронутых пустошей.

Первые и главные земельные приобретения сделаны были монастырем на нынешнем Поморском берегу, там, где к половине XV в. с наибольшей силой развилась новгородская колонизация Беломорья. Одними из первых и едва ли не самыми значительными были вклады Марфы Посадницы: на Поморском берегу она подарила монастырю несколько страдаемых деревень и угодий по реке Суме, у часовни и речной пристани. Затем следовал длинный ряд вкладов других новгородских землевладельцев, даривших монастырю свои участки по рекам Поморского и Корельского берега. Между грамотами Соловецкого монастыря мы имеем до 33 вкладных, которые почти все относятся еще к XV в., особенно ко времени третьего соловецкого игумена Ионы; из них 28 представляли во владение монастыря множество участков по рекам Поморского и Корельского берега и по прибрежным островам. Из этих участков насчитывается до 44 только таких, местность которых сколько-нибудь ясно обозначена, именно: по реке Суме — 1, по Вирме — 2, по Выгу и Сороке — до 16, по Шуе — 9, один с двором, избой, двумя хлевами и мыльней, по Кеми — 9, по Поньге (по Корельскому берегу) — 1, по Жеравне — 1 (село против церкви), на Князь-острове — 1, на Куз-острове — 1, на Кильбострове — 1 и на Кембострове — 1; об остальных участках говорится только, что они находятся на море или на Лопи, в Кореле, между пятью родами корельских детей. Кроме вкладов, монастырь приобретал земли куплей: так, в XV в. куплены были им у порога Золотца на Выгу 2 участка, на Шуе — 2, на

Кеми — 2, на Кильбострове — 3 и весь Лотошкин остров. Скоро стали распространяться владения монастыря и на далеком Терском берегу. Еще в 1466 г. один земле-владелец дал монастырю участки по рекам Умбе и Варзуге и по морскому берегу. В 1470 г. Марфа Посадница подарила Зосиме свою вотчину между теми же реками, у Кашкаранского ручья и на Кашкаранском Наволоке. Кроме этих двух вкладов, в числе вышеупомянутых грамот Соловецкого монастыря имеем еще позднейшие вкладные, по которым монастырь приобрел несколько новых участков на Терском берегу, по рекам Умбе и Варзуге и на Песьем Наволоке. Из поселенцев на монастырской земле по реке Варзуге к 1491 г. был уже образован церковный приход и поставлена монастырем церковь<sup>7</sup>. Приобретая вотчины, монастырь ставил в них дворы, куда посылал своих старцев — приказчиков для управления промыслами и угодьями. Так, в житии упоминается монастырский двор при устье Сумы, у пристани, на приобретенной там монастырской земле; другой двор был в селении на Вирме, также у пристани; здесь жил монастырский приказчик, *старец-ватаман*, и хранились, по выражению жития, «всякия потребы и запасы». Есть намек и на то, что здесь рано образовалась волость и содействием монастыря поставлена была церковь, одна из первых в крае, при которой жил назначавшийся монастырем «инок-иерей», соединявший с должностью приходского священника обязанность надзора за монастырским двором.

Государи и люди московские также охотно содействовали развитию хозяйственной деятельности Соловецкого монастыря, как и люди вольного Новгорода. Грамотой великого князя Ивана III, 1479 г., подтверждавшей за монастырем право на владение всей группой Соловецких островов, открывается длинный ряд грамот московских государей, которыми они жаловали монастырю новые земли в Беломорском крае. В 1539 г. пожаловано было монастырю 13 луков<sup>8</sup> по рекам Шизни и Выгу и на Сухом Наволоке (у Сорочкой губы) с деревнями, в которых жило 4 или 5 поселенцев со всеми угодьями, с рыбными ловлями и солюваренными (цренными) оброками<sup>9</sup>. При этом встречаем любопытное для истории колонизации края прибавление, постоянно повторяющееся в грамотах при пожаловании пустошей: «И кто



у них в тех 13 луках учнут жити людей и крестьян и наместники наши новгородские и волостели тех их людей и крестьян не судят ни в чем, опричь разбоя и татьбы с поличным... а ведает и судит тех своих людей и крестьян игумен с братьею» и пр.<sup>10</sup>

Между тем начавшееся до монастыря движение колонизации продолжалось, и мы встречаем указание, бросающее свет на силу и размеры этого движения в начале XVI в. Мы видели выше, что одним из первых земельных приобретений монастыря в Поморье были 2 лука при устье реки Сумы, у часовни, где жили 2 поселенца. По писцовым книгам 1496 г., на реке Суме значилось 19 деревень, принадлежавших Марфе Посаднице; они составляли волость, имевшую уже церковь. Писцовые книги 1551 г., повторяя означенные 19 сумских деревень, прибавляют 5 новых с 6½ луками земли, говоря, что «оне стали после письма» (1496 г.). Занятие земель углублялось и внутрь края: одна из этих 5 новых деревень «стала починком» на острове Сумозера, у деревни, поставленной еще до 1496 г. Все эти сумские деревни, старые и новые, с двумя Марфинскими деревнями по реке Выгу, всего 78½ луков царь пожаловал в 1555 г. Соловецкому монастырю, присоединив к ним еще 33 варницы в Сумской волости, по рекам Суме и Колежме, по приморским наволокам и прибрежным островам. Но пожалование сделано было монастырю не даром: казна нашла выгодным уступить эти деревни, приносявшие ей около 19 руб. ежегодного дохода, и этим вознаградить монастырь за отнятие данного прежде права беспошлинной продажи 10 тыс. пудов монастырской соли<sup>11</sup>.

Не даром досталось монастырю и другое приобретение, еще более округлявшее его прежние, уже значительные владения по реке Выгу. Несмотря на давность и значительность его приобретений по этой реке, священное для него место, откуда отплыл на остров и где потом похоронен был основатель монастыря, пр. Савватий, у часовни, при впадении реки Сороки в Выг, оставалось еще вне монастырских вотчин. Во время пребывания Савватия на острове (1429—1435) вблизи этой часовни были уже христианские поселки, для которых она служила средоточием по церковным делам. Когда возвратился к этой часовне с острова Савватий, сюда пришел иеромонах Нафананл, служивший приход-

ским священником для обширного пространства, на котором разбросаны были русские селения, и тогда «от насельных тамо», по выражению жития, стекались к часовне для удовлетворения своих духовных треб. Похоронив при этой часовне Савватия, Нафанаил построил здесь потом и церковь, первую по времени известную нам церковь в Поморье. Но, несмотря на раннее появление здесь часовни и церкви, среди приливов и отливов еще не осевшего прочно пришлого населения, заселение места шло очень медленно, и, по писцовым книгам 1496 г., у церкви, при устье Сороки, была деревня, в которой жило только двое жильцов, а в начале XVI в. церковь опустела и стояла без «пения, попа и *прихода* 40 лет, и дозирати было ее некому», как говорит грамота, до самого 1551 г. В это время царь пожаловал опустевшую церковь монастырю с условием «ту церковь строить, попа держать и ругу ему давать». Но вместе с этим надобно было восстановить и церковный приход, и на подмогу монастырю в этом деле ему пожалованы были тоня на реке Сороке, близ церкви, приносившая казне рубль новгородский ежегодного дохода, и самая деревня Сорока с луком земли, причем казна удерживала за собой право взимать и с тони, и с опустевшей деревни оброк и обежную дань, освобождая только от волостелина и тиунского суда *тех людей и крестьян, которые в той деревне учнут жити* <sup>12</sup>.

Так постепенно округлял монастырь свои вотчины в местностях, где он стал давно утверждаться. Вотчины его уже тянулись на обширном пространстве по прибрежным рекам от Сумы до Кеми и по Терскому берегу; но до половины XVI в. нет известия о том, чтобы они шли далее реки Сумы к востоку; реки Колежма, Нюхта, Унежма и др. до Онеги, кажется, не имели еще на своих бережьях ни одного монастырского участка. Но колонизация уже коснулась и этой части Поморья, и в начале XVI в. житие соловецких чудотворцев указывает здесь волость, составившуюся из русских поселений по реке Унежме. Встречаются указания на значительное развитие в приморских окрестностях реки Колежмы солеварения. С половины XVI в. монастырь и сюда направляет свое движение: в 1550 г. пожалованы были монастырю на строение каменной церкви на Соловецком острове Сумский островок с тремя дворами и две

деревни по реке Колежме с 9-ю обжами земли и 8-ю варницами и опять с тем же указанием на задачу, которая предстояла монастырю на этих новых его землях: «А кто у них в тех деревнях и у варниц, и на острове учнут жити людей и крестьяны» и т. д.<sup>13</sup> В 1555 г. к этим колежмским приобретениям прибавилось еще несколько варниц на Колежме и на ближних приморских наволоках из числа 33-х, пожалованных в этом году монастырю на Поморском берегу.

Уцелевшие грамоты монастыря не дают возможности следить за каждым приращением его вотчин. Между тем как приобретал он новые земли и сообщал им жизнь и деятельность призывом «людей и крестьян», прежде приобретенные вотчины его росли и распространялись, и этот рост совершается незаметно для нас: мы только встречаем указания на некоторые результаты его. До сих пор мы не имели прямого известия о том, чтобы монастырские вотчины по Корельскому берегу шли севернее реки Поньги; мы знаем только, что монастырь рано приобрел несколько участков по Терскому берегу, по рекам Умбе и Варзуге. Но у него были владения и на промежуточном береговом пространстве от Поньги до Умбы: грамота 1584 г. показывает, что здесь, кроме 10 луков на Умбе, у монастыря были в Керети и Порьегубе приморские угодья с 14 луками земли и 1 лук в Кандалакше. Но вотчины монастыря простирались еще дальше, выходя из пределов Беломорского прибрежья: по той же грамоте у монастыря было 1½ лука земли на далеком Мурманском берегу, в Кольской волости<sup>14</sup>. Но если нельзя точно определить место и объем всех земель, приобретенных монастырем до 1584 г., то есть известие, указывающее на результаты, достигнутые им в заселении своих вотчин. Мы видели, что монастырь приобретал большею частью пустые земли, ждавшие рабочих рук; из другой грамоты того же, 1584 г. узнаем, что к этому времени у него было жилых, заселенных земель 40 обож, и здесь же встречаем черты того значения для государства и для благоустройства края, какое сообщал монастырь этим землям: «А вотчины у Соловецкаго монастыря во всех монастырских деревнях *живущего* только 40 обож, и с них правят всякие государевы сборы, и на ям правят деньги, а у них и Сумском остроге устроен ям свой, монастырем и

монастырскими крестьяны 40 обжами и от охотников стоят с подводами безпрестанно и годные (sic) гоняют многие в Поморье с Москвы на Мурманское море до устья Колы, а из Новгорода в поморские волости, да из Сумского острога посылают в посылки и на сторожи на немецкий рубеж монастырских людей»<sup>15</sup>.

Кроме Варзуги, на Терском берегу образовалась во второй половине XVI в. другая волость — Умба. Соловецкий монастырь имел здесь соперника в другом знаменитом монастыре — Кирилло-Белозерском, которому принадлежали здесь три четверти волости. Волость составляла два прихода и имела две церкви, между которыми распределены были крестьяне, жившие на землях того и другого монастыря. Соловецкому монастырю принадлежало здесь в 1584 г. 10 луков земли, которые с прибавкой нового полулука в 1585 г. составляли четверть волости; с этих 10½ луков монастырь платил оброка в казну 25 руб., тогда как с 77½ луков в Сумской волости, по перечневым книгам 1551 г., шло в казну оброка только 7 руб. да волостелина корма 3 руб. 22 алтына. Эту огромную разницу в доходности тех и других земель для казны можно объяснить только тем, что находившиеся на сумских луках деревни, отходя в 1585 г. к Соловецкому монастырю, были еще слабо разработаны, не имели хозяйственного устройства, которое позволяло бы извлекать из земли значительные средства, тогда как на 10 умбских луках монастырь успел уже к 1585 г. развить хорошее хозяйство: среди соляных варниц, рыбных и звериных ловель, лесов, пожней и *всяких угодий* монастырь наставил там дворов, амбаров, лавок и мельниц. Поселенцев, впрочем, было в волости немного: в позднейшей грамоте 1607 г. находим любопытное указание на их число в этой сравнительно доходной для казны волости: на трех четвертях Кириллова монастыря было 25 дворов, а на Соловецкой четверти жило всего 4 крестьянина<sup>16</sup>.

Между тем и по Кеми, среди поселков Валдеинского рода, одного из 5 родов корельских детей, благодаря приливу русских поселенцев около начала XVI в. образовалась волость. Здесь, вблизи моря, давно, еще в XVI в., начал утверждаться Соловецкий монастырь, получая участки вкладом от русских владельцев. В 1589 г. монастырь ставил ратных людей с своего «же-

ребья» в Кеми. В следующем году этот жеребий определяется точнее: по грамоте этого года монастырю принадлежала половина Кемской волости, а другая половина состояла из угодий и деревень царских оброчных крестьян, плативших в казну оброка по 64 руб. 17 алтын с деньгой в год. Русская колонизация, двигаясь вверх по этой реке в глубь страны, сталкивалась с противоположным, враждебным движением со стороны каянских немцев. Если на нижнем течении рано, в половине XV в., встречаем русские поселения, то верхнее и в конце XVI в. оставалось недоступным для них, называясь кемью немецкою. Немецкие люди спускались на судах реками Кемью и Ковдой и разоряли приморские варницы и деревни русских поселенцев. В царствование Федора Ивановича особенно усилились эти вторжения, и мы встречаем любопытные указания, на кого государство возлагало защиту русской промышленности в этом крае: среди борьбы с беломорской природой Соловецкий монастырь вступает в борьбу с этим новым врагом, мешавшим русскому человеку мирно утвердиться в Поморье. В 1590 г. монастырю поручено было вместе с оброком его половины Кемской волости собирать и представлять в казну оброк и с другой половины, на которой жили царские оброчные крестьяне. В следующем году вся Кемская волость отдана была монастырю на любопытных условиях, показывающих, какое значение приобретала хозяйственная деятельность монастыря в том крае. Соловецкий игумен с братией бил челом царю в 1591 г. и сказал, «что у них царское жалованье в Поморье половина Кемской волости, а другая половина той волости за царем, и та Кемская волость к Соловецкому монастырю ближе всех волостей за 60 верст, и по той Кеми-реке от прихода немецких воинских людей и зимой и летом из монастыря у них заставы и сторожа живут безпрестанно, и им кемские крестьяне застав и сторож никаких крепостей по Кеми реке ставить не дадут, и в том между ними смута великая, и немецкие люди приходят войною безвестно, и oprичь Кеми да Ковды реки каянским немцам много судового пути нет, и та кемская волость от немецких людей дважды воевана в 87 (1579) да в 98 (1590) году». Царь по этому челобитью пожаловал монастырь всею Кемскою волостью и Подужемьем (в 18 верстах от нынешнего города

Кеми вверх по реке) и Пебо-озером и Масло-озером в вотчину впрок с крестьянами, дворовыми местами, соляными варницами, с рыбными и звериными ловлями и со всеми угодьями на следующих условиях: в той Кемской волости поделать монастырю всякие крепости и острог сделать, и в нем людей ратных из монастыря устроить, и заставы учинить крепкие, чтобы в приход немецких людей сидеть было не страшно и царских гонцов возить из Кеми до Керети, а в казну со всей Кемской волости платить оброка и разных пошлин по 134 руб. и 24 алтын с деньгой ежегодно. Кроме всего этого, у монастыря взят был за это пожалование приобретенный им в Новгороде двор с каменной палатой и садом, приносившим по 70 руб. дохода<sup>17</sup>.

На других пунктах Поморья не было по крайней мере борьбы с порубежными воинскими немецкими людьми, какая шла на пространстве от реки Сумы до северного края нынешнего Корельского берега, и монастырь мог свободнее углубляться в пустоши, привлекая в них с собою жизнь и рабочие руки. Узнаем и причину, заставлявшую монастырь искать и разрабатывать новые пустоши: в 1590 г. он жаловался, что главный источник его доходов, соляные поморские варницы, начинали пустеть, потому что около них леса высечены и соль варить уж нечем. Вследствие этого обстоятельства монастырь в 1590 г. бил челом, чтобы царь пожаловал его у моря *пустою* волостью Нюхчею да Унежмою, прибавляя, что в той волостке церковь стоит без пения 4-й год, а *жилыцов* в той волостке *нет*, и в царскую казну с той волостки нейдет ничего, и соляные варнички в той волостке стоят пусты, а волостка эта с их *монастырскою вотчиною смежна, а иных волосток и деревень меж теми волостками нет*. Казне было выгодно сделать доходной опустевшую, ничего не дававшую ей волость, и царь пожаловал Нюхчу и Унежму монастырю в вотчину, освобождая ее от царских податей на два года с теми же любопытными условиями: «В те им льготные лета в волостке Нюхче да Унежме устроить церковь, и варницы и двор поставить, а после льготных лет давать им оброку ежегодно с тех волосток по 50 руб. на год»<sup>18</sup>. Так подвигался монастырь к Онеге и своим турчасовским землям в Каргопольском уезде. На Унежме уже в начале XVI в. была волость, упоминаемая в

житии соловецких чудотворцев; но среди передвижений русского населения в Поморье она опустела, начавшиеся промыслы были брошены; тут и взял ее в свои руки Соловецкий монастырь, чтобы продолжать дело, начатое промышленными поселенцами.

Опустение Унежмы в 80-х годах XVI столетия, может быть, имело какую-нибудь связь с теми опустошениями, которым около этого времени подверглись русские поселения на Поморском и Корельском берегу Белого моря со стороны шведов. Со всею силою обрушились эти опустошительные вторжения на волость Шую Корельскую (по реке Шуе, почти на половине пути между реками Кемью и Выгом). Шуйская волость принадлежит к числу самых давних в Поморье; заселение ее русскими началось еще до основания Соловецкого монастыря. В житии преподобных Зосимы и Савватия встречаем рассказ, показывающий, что во второй половине XV в. «на Шуе-реке, на берегу моря», было русское поселение, обитатели которого выезжали весной в море на ловлю морского зверя, «на добытки весновальники», по выражению жития, и продавали свою добычу новгородским купцам, которые приезжали к ним за звериным салом и кожей, «то есть добыток их», прибавляет житие о шуянах. В половине XVI в. в волости была церковь, и в казну шло с поселян оброка по 29 руб. 29 алтын и 1½ деньги в год. В конце XVI в. эту волость со всех сторон окружали вотчины Соловецкого монастыря, который еще прежде начал приобретать участки по реке Шуе. В то время как почти все приморские волости, расположенные при устьях рек Поморского и Корельского берегов, вошли уже в состав вотчин монастыря, Шуя оставалась вне их. Но тут, может быть в одно время с Кемью, Шуя была разорена «свейскими немцами», которые сожгли и ее храм, и скоро после этого Шуя отошла к монастырю, привлеченная тою же естественно образовавшеюся экономической зависимостью, которая сосредоточила в руках монастыря и другие волости Поморья. Грамота 1614 г. передает нам любопытную историю этого присоединения. Игумен соловецкий с братией бил челом царю и сказал, «что ныне после разорения в той волостке Шуе жильцы немногие и те кормятся морскими промыслами, а иные кормятся у них около Соловецкого монастыря, а пашенной земли у них нет, и ныне с той

волостки оброку в Великом Новгороде не дают потому, что стала за их монастырскою вотчиною, за Сумским острогом, а к ним и в монастырь и в Сумский острог ничем не тянут же, и караулов не караулят, и стоит та волостка за их обереганьем». Царь отдал эту волость монастырю в вотчину с крестьянами, дворовыми местами, анбарами и луками, с мельницею, соляными варницами, рыбными, звериными и птичьими ловлями и с двумя луками на приморском берегу, между Кемью и Керетью, принадлежавшими к той же волости, — на условии, какое предложил сам монастырь: платить с той волости оброк, какой платила она до разоренья, т. е. 29 руб. 29 алтын и  $1\frac{1}{2}$  деньги<sup>19</sup>.

Впоследствии округлилась и Керетская вотчина монастыря. До 1635 г. в Керети монастырю принадлежала только четверть волости; в этом году отданы были царем и другие три четверти с крестьянами и со всеми угодьями<sup>20</sup>. Так все главнейшие русские поселения в устьях поморских рек Варзуги, Керети, Кеми, Шуи, Выга, Сумы, Колежмы, Нюхчи и Унежмы в первой половине XVII в. сосредоточились под управлением монастыря, энергическому содействию которого они главным образом и обязаны своим развитием, а многие и своим возникновением.

В конце XVI в., в то время как монастырь, утвердившись на Поморье, подвигался к Онеге, встречаем первые ясные указания на приобретения, выходившие в этом направлении за пределы Выгозерского стана и Новгородского уезда. Из грамоты 1585 г. узнаем, что монастырь имел уже промыслы и деревни в уездах Двинском и Каргопольском<sup>21</sup>. Но уцелевшие грамоты Соловецкого монастыря не говорят, какие это были деревни и когда они приобретены монастырем. Подробнее определяет каргопольские земли монастыря грамота 1604 г. Здесь монастырская вотчина простиралась по реке Онеге, в Турчасовском стану, в Пияльском Усолье, и состояла из 2 обеж тяглой земли и  $1\frac{1}{2}$  црена соляного промысла против дворов монастырских, на берегу реки, с лодейною пристанью<sup>22</sup>. С начала XVII в. заметно усиливается стремление монастыря расширить свои вотчины приобретениями вне пределов области, в которой он первоначально стал утверждаться: в грамотах реже и реже встречаются известия о новых его приобретениях в собственном Поморье, в Новгородском уезде, зато чаще и



чаще повторяются известия о ново-занятых им землях в уездах Каргопольском и Двинском. Может быть, в этом стремлении не без участия оставалась причина, высказанная самим монастырем: промышленная эксплуатация истощила первые, легко дававшиеся средства удобных пустошей Поморья и заставляла искать таких же пустошей в другом крае. К старым турчасовским вотчинам монастыря принадлежали в начале XVII в. деревни и рыбные ловли его по реке Онеге, в волостях Городецкой и Владычинской. Эти деревни описываются в грамоте 1618 г., и представляемая ею опись любопытна по указаниям на условия и характер землевладения в том крае. В упомянутых волостях монастырь имел давно купленные им 6 деревень целых, 2 полдеревни и большие или меньшие жеребьи в 4 других деревнях, владение которыми он разделял с волостными крестьянами. В этих деревнях были сенокосы с соляными промыслами и во всех «пашни паханые», хотя в большей части их земля обозначена худою; только в некоторых из этих 12 деревень у монастыря было по одному двору, в котором жил и землю пахал крестьянин половник, и только в одной деревне было их двое; в других или двор стоял пуст, или вовсе не было двора; в том и другом случае монастырские половники пахали «наездом»; всех крестьян в этих деревнях на монастырской земле работало 12 человек. Количество «пашни паханой» гораздо больше количества земли, действительно обрабатывавшейся половниками; последняя и обозначается названием «живущей», или земли «в живущем»; затем, сверх сенокосов, везде указывается земля впусе, переложная и поросшая лесом. Опись, представляемая в грамоте, показывает любопытное количественное отношение между всеми этими родами земель в деревнях. В Ордомском погосте полдеревни Федоровой, во дворе половник Трофимка, на полчети выти пашни паханой, да перелогом 14 четей *в поле, а в дву потому ж*, земля худа, в живущем полчети выти, да впусе выть без полчети, сена по реке Онеге 50 копен; деревня Пыкшинская пуста, двор пуст, пахут на монастырь наездом четь выти, пашни паханой 4 чети, да перелогом и лесом поросло 12 четей в поле, а в дву потому ж, земля худа, в живущем четь выти, а впусе выть без чети, сена по реке Онеге 50 копен; в Городецкой волости и полдерезни Боклановской

место дворовое пусто, пашет наездом монастырский половник Ефимко, пашни паханой 6 частей с третняком, да перелогом и лесом поросло 4 чети с третником в поле и проч., земля худа, в живущем четь выти и полполтрети и полполчети выти, а впусе полчети и полполтрети выти и т. д. На каждую выть в живущем приходилось в этих деревнях по 2 выти с четью впусе. Относительно царской дани и оброка описанные деревни делились на белые и черные: с первых шло 8 алтын 3 деньги, по 3 алтына 5 денег с выти в живущем, со вторых — 3 руб. 13 алтын, по 2 руб. 2 алтына 5 денег с выти в живущем. Описанные деревни не могли быть особенно доходны для монастыря, и он вступает в сделку с казной, также характеризующую землевладение в северном крае того времени. В Турчасовском стану у монастыря сверх описанных 12 было еще 4 деревни, из которых в одной был двор, где жил монастырский старец — приказчик, в другой также двор «на приезд старцам и слугам монастырским», в котором жили трое корелян, в третьей был двор с одним поселенцем-корелянином, в четвертой жили трое половников. В том же стану в 1607 г. монастырь купил 5-ю деревню с двором, в котором жил половник, и двумя пустыми дворами. В этих 5 черных деревнях было в живущем 2 выти с небольшим, и царского дохода шло с них 4 руб. 8 алтын 4 деньги. В 1617 г. монастырь предложил казне отписать на царя вышеупомянутые деревни в волостях Владыченской и Городецкой, вместо них приписать к монастырю купленные им для соляных промыслов 2 деревни в Пурнеме и Лямце (на Онежском берегу) с 2 руб. 5 алтынами царского дохода, а взамен отходивших при этом от монастыря белых деревень, имевших 2 выти с лишком в живущем, обелить соответствующее количество земли в других монастырских черных деревнях. Казна согласилась, и последние 5 деревень были обелены, т. е. вместо 4 руб. 8 алтын 4 денег царского оброка на них положено только 7 алтын 5 денег и прибавлено условие: «А крестьянам и слугам и половникам, которые в тех деревнях учнут жити, с прочими крестьянами не тянут»<sup>23</sup>.

Причина, приводившая монастырь к таким мерам в своем хозяйстве, ясна: в то время как он отказывался от своих «старых» деревень, удаленных от моря, в которых почти исключительно разрабатывались пашни и

сенокосы, но на худой земле, он покупал новые деревни на земле, еще менее благоприятной для земледелия, но зато по своей близости к морю более удобной для соляного промысла, главного источника средств монастыря. Действием этой причины объясняется и то, что, отказываясь от земель внутри Турчасовского стана, монастырь старался приобретать в том же стану крайние, приморские земли, продолжая, таким образом, свое движение по юго-западному берегу Белого моря по направлению к устью Онеги. Мы видели, что монастырь остановился здесь на волости Унежме. Грамота 1631 г. рассказывает нам любопытную историю приобретения им и следующей волости по направлению к Онеге—Кушерецкой, передавая при этом подробности о населении этой волости. Соловецкий монастырь встретил здесь себе соперника в другом колонизаторе Севера—в монастыре Кожеозерском, но экономическое значение и средства первого одержали верх. Кожеозерский монастырь просил у царя в Турчасовском стану волостку Кушерецкую *для соляной вари*. По писцовым книгам 1621 г., в этой волости написан погост Успенский с церковью, с 4 местами дворовыми на церковной земле и с 4 тяглыми деревнями *живущими* да 2 *пустыми* да с 5 пустошами, а в них 5 дворов пустых крестьянских, а людей в них 10 дворов пустых да 8 мест крестьянских, а денежных доходов (казенных) с живущего 6 руб. 13 алтын. Кожеозерский монастырь взял волостку на оброк по 8 руб. на год. Но вот соловецкий игумен с братией бьет челом с той же волостке, сказывая, что она сошлась смежно с их монастырским унежемским соляным промыслом, который скуден дровами и санными покосами, и, как та волостка отойдет к Кожеозерскому монастырю, им соляной промысел придется покинуть впусе, а Кожеозерский монастырь просил ту волостку, чтобы стеснить их соляной промысел, а *крестьяне* Кушерецкой волости *им должны и в воинские годы прибежали к ним в Сумской острог и жили за их монастырской оборонью*. Игумен с братией просил отдать им волостку, а оброка брать старого с новой наддачей по 9 руб. Царь отдал им волостку за оброк с наддачей по 9 руб., «*опричь новоприбыльных доходов после письма писцовых книг, стрелецких хлебных запасов и ямских отпусков*»<sup>24</sup>.

Наконец, в 1635 г. предоставлены были во владение

монастыря 4 пустоши во Владыченской волости с сенными покосами по реке Онеге и деревня Исаковская со всеми угодьями; в 1650 г. это пожалование подтверждено новою грамотой<sup>25</sup>.

Между тем как монастырь подвигался к Онеге, давно уже он перенес свое движение и за эту реку, по направлению к Двине, держась берегов Онежского и Летнего. Уже с конца XVI в. грамоты начинают упоминать о вотчинах монастыря в Двинском уезде; начало водворения его там остается не указанным в существующих монастырских грамотах. С 1584 г. началось вокруг монастыря строение каменной крепости, вызванное опасностями его крайнего положения, и в 1585 г. между деревнями Паниловым и Ступининым, в 30 верстах от Холмогор вверх по Двине, у Орлеца, известного подвигами и несчастиями удалых новгородских ушкуйников XIV в., монастырь выпросил «для монастырского церковного строения и городского дела» 4 версты пустого места, «где камень белый известный ломати и лес на дрова сеши и известь жеши»<sup>26</sup>.

Монастырь принес в Двинский край стремление, столько раз обнаруженное им в Поморском краю, на западе от Онеги, стремление вносить свою деятельность в пустоши, от эксплуатации которых отказались местные поселенцы и которые вследствие этого стали бесплодны для казны. В конце XVI в. там у монастыря, у моря, на речке Куе, были солеварни, и от той речки по морскому Ницкому берегу подошла к его солеварням пустая земля верст на 5 в длину. Прежде по тому берегу всякие люди, приезжая, кашивали сено и рыбу лавливали, а *ныне позаросло*, — сказывал монастырь в 1595 г., и в двинских писцовых книгах кн. В. Звенигородского тот берег не написан ни к которому стану и к волости не приписан, и оброку с него в казну не идет ничего, лежит впусе в порожних землях. По челобитью монастыря ему отдан был этот берег для рыбной ловли, дров и сена лошадям при солеварнях<sup>27</sup>. Для поддержания того же соляного промысла куплены были в 1616 г. на Онежском берегу две деревни в волостях Лямце и Пурнеме у 4 частных владельцев, которые и остались в этих деревнях в качестве псовников. В грамоте 1618 г. перечисляются следующие монастырские промыслы и земли по Летнему берегу: в Ненекоцком Усолье

обжа без получети, мельница и полуварница, на реке Куде земли и 2 варницы, 2 тони у Голой Кошки, 4 тони на Куйском берегу, обжа в Лудском Усолье, 2 варницы и мельница на реке Луде, земли и мельница на реке Кехте и другая мельница в Кехоцкой волости, против Красной Горы, варница в Солокурье, Солоозеро и Слободское озеро и наволок Слободской реки; со всего этого монастырь платил в казну 18 руб. 26 алтын 4,5 деньги, не считая здесь вышеупомянутой пустоши на Ницком берегу<sup>28</sup>. В 1630 г., вынуждаемый недостатком дров на своих лудских солеварнях, монастырь выпросил у царя на оброк из наддачи речку с лесом в Унской губе, обязавшись платить вместо прежних 3 алтын 2 денег по 30 алтын ежегодно; около того же времени он купил против своего Холмогорского двора в Куреской волости 2 черные деревни, в которых к 1634 г. успел поставить двор для старца-приказчика, около двора — 10 амбаров, сарай и двор коровий. Наконец, в 1636 г. пожалован был царем монастырю Яренгский погост (на Летнем берегу) с церковью, со всем строением и с живущими в погосте оброчными бобыльскими и казачьими людьми, с их дворами и со всеми угожьями<sup>29</sup>.

Заканчивая обзор вотчин Соловецкого монастыря, укажем еще на одно его приобретение, относящееся уже ко второй половине XVII в. Выше были поименованы земли монастыря по нижнему течению Двины. Двина имела огромное значение в истории Соловецкого монастыря. Она существенно определила развитие и направление его хозяйственной деятельности; от нее же много зависело и материальное существование монастыря. Ее течение служило для него тем путем, которым он связывал свою беломорскую, украиную промышленность с промышленностью внутренних областей государства. По Двине ежегодно ходили монастырские насады, возившие в Вологду и в другие города десятки тысяч пудов соли из монастырских варниц и возвращавшиеся с огромными хлебными и разными другими запасами, необходимыми для многочисленной братии монастыря и многочисленных слуг, работавших на его землях. На этом-то пути, далеко от моря, в 1680 г. монастырь приобрел новое перепутье для своих судов, Красноборский погост. Приобретение это любопытно тем, что по поводу его мы узнаем историю возникновения Красноборского погоста

(ныне безуездного города Вологодской губернии), зна-  
комящую нас с одним моментом того долгого и мало-  
заметного процесса, который сделал из пустынь заво-  
лоцкой чуди обширную русскую область и привлек в нее  
русское население. При этом живо выступает перед нами  
и один из двигателей этого процесса — крестьянин-зем-  
левладелец. На Двине, в 75 верстах от Устья Великого,  
на Юрьеве наволоке, отдан был в 1620 г. на пустом чер-  
ном месте дикий лес, четь выти, крестьянину Рудачку  
Ожегову на льготу и на распашку с обязательством пла-  
тить в казну оброка 16 алтын 3 деньги. Около этой пу-  
стоши находились 2 деревни, описываемые со всеми ти-  
пическими особенностями северной деревни XVI или  
XVII в. Это были: деревня Драчевская на Двине, а в ней  
бобыль, пашни паханой средней земли 14 четвертей  
в поле, а в дву потому ж, сена на пожнях 135 копен, леса  
«пашенного» 7 десятин, а непашенного — 10 десятин,  
в живущем выть, и деревня Сверчевская на Двине же,  
а в ней два двора крестьянских, пашни паханой —  
12 четвертей с полуосминою, сена «вопче» с другою де-  
ревнею Сверчевскою за Двиною 111 копен, леса пашен-  
ного — 6 десятин, а непашенного — 10 десятин, в живу-  
щем выть без получети. Эти деревни отданы были тому  
же Ожегову в угодье на сенные покосы и на дровосек.  
Поселившись на этой земле, Рудачко Ожегов построил  
в 1627 г. здесь, на Красном бору, церковь Спаса неруко-  
творенного образа и церковные всякие потребности, иконы  
и сосуды, книги, ризы и колокола купил на свои деньги.  
До 1632 г. в церкви отправлялось богослужение, но по-  
том неизвестно вследствие чего прекратилось, и церковь  
9 лет стояла пустою. В 1641 г. начались чудеса и исце-  
ления многие от иконы в этой церкви, и стали привле-  
кать к ней жителей из окрестных деревень для моле-  
ния<sup>30</sup>. Вследствие этого возобновилось в церкви богослу-  
жение, при ней явились старосты из выборных мирских  
людей, 2 попа, дьякон и 2 дьячка; из приношений обра-  
зсвалась в церкви «многая казна», на которую куплено  
было всякое церковное строение; в селе, при церкви,  
ежегодно собиралась ярмарка. Между тем в 1643 г. Ру-  
дачко Ожегов уступил свою красноторскую вотчину  
с церковью брату своему Степану Ожегову, который на  
церковные деньги прикупил к церкви несколько тяглых  
пашенных земель и сенных покосов на содержание цер-

ковного причта. Степан Ожегов передал эту вотчину с несколькими другими деревнями четверым своим сыновьям. Между тем крестьяне окрестных волостей неравнодушно смотрели на доходную вотчину, образовавшуюся на диком лесу трудами крестьянина Рудачка Ожегова, и задумали отнять ее у наследников. Возникшая по этому делу тяжба повела к тому, что из Москвы велено было в 1678 г. описать красноборские земли вместе с церковью, и вот в каком положении нашли устюжские писцы погост, бывший диким лесом при поселении там Рудачка, 50 лет назад: в Юрьеве наволоке Спасский Красноборский погост на реке Двине, а на погосте 8 дворов бобыльских да двор Соловецкого монастыря; в Пермогорской волости деревня Драчевская на реке Двине, а в ней 2 двора половничьих Ивашки Ожегова (одного из 4 братьев), деревня Сверчевская, а в ней 2 двора половничьих Ивашки же Ожегова. Кроме того, там же по Двине еще Рудачко образовал на пустошах две деревни да починок с покосами. Тяжба волостных крестьян не удалась, но братья Ожеговы заняли у Соловецкого монастыря 300 руб. под залог своей Красноборской вотчины и, просрочив уплату, отступились в его пользу от этой «старинной» своей вотчины на Красном бору со всем церковным строением и утварью, а также с Драчевскою и Сверчевскою деревнями и с прикупными церковными землями.

Мы проследили шаг за шагом постепенное распространение вотчин Соловецкого монастыря в Беломорском крае в продолжение двух столетий, насколько позволяют это сделать уцелевшие соловецкие грамоты и краткие известия Соловецкого летописца. На скудную почву этих вотчин для разработки средств, какие они представляли, монастырь привлекал поселенцев. Как определены были положение и отношения этих поселенцев к своему вотчиннику? Две уставные грамоты игумена Филиппа (1548 и 1565 гг.) указывают некоторые черты того устройства, какое вносил монастырь в свои вотчины; из них же узнаем и состав жившего в этих вотчинах населения. В монастырской волости жили монастырские старцы, приказчик и келарь, которые при помощи доводчика и десятского управляли хозяйством волости и судили живших в ней крестьян. Приказчику крестьяне платили с лука по 4 московских деньги, келарю —

по 1, а доводчику по 2: «то им поминка с году на год и с великим днем», добавляет грамота. Бобыли, «кои живут о себе дворцами», платили приказчику по 2 деньги, келарю по  $\frac{1}{2}$  деньги, доводчику по 2 деньги; тоже и казаки, жившие в волостях монастыря. Придет а волость казак, незнаемый или прежде живший в ней, и захочет в волости жить и промышлять; тот человек, у которого он станет жить, должен явить его приказчику и доводчику и заплатить за явку 3 деньги первому и 1 второму; а пойдет казак вон из волости — тот, у кого он жил, должен отъявить его приказчику и доводчику, ничего не платя за это, кроме разве пошлыны, которая осталась неуплаченной за прожитое казаком время. Сбежит казак безвестно — приказчику допросить того, у кого он жил, по крестному целованью ничего не брать за это, если казак сбежал действительно безвестно. Придет казак в волость на неделю или более, да пойдет прочь, — явки за него не брать. Из этих определений видно, какой элемент населения в вотчинах монастыря отличался особенной подвижностью. О бобылях и крестьянах нет в грамотах ни одного такого определения. Какие торговые люди ездят зимой и летом по волостям с вином продажным, приказчику тех людей на подворье не принимать и вина у них не покупать ни приказчику, ни крестьянам, ни казакам, и своего не курить; за нарушение этого взыскивалось на монастырь рубль пени да на приказчика 20 алтын и на доводчика 4 гривны. Какие крестьяне или казаки станут зернью играть, на тех доправить на монастырь полтину, на приказчика — 10 алтын, на доводчика — 2 гривны, а игроков выбить из волости вон. Из других распоряжений грамоты узнаем, что не все казаки жили на чужих дворах у крестьян: некоторые имели свои дворы, держали лошадей и коров. Особенно любопытны распоряжения о солеварении в монастырских вотчинах. «Во всех наших деревнях, — пишет игумен, — цреном варить зимой и летом 160 ночей, а дров к црену сечь к зимней и к летней вари на год 600 сажен, запасать дров на один год, а вперед на другие годы не запасать; а кто станет лишние ночи варить и лишние дрова сечь, на того полагать пеню, а лишнюю соль и дрова брать на монастырь»<sup>31</sup>.

Из обзора вотчин монастыря мы видели, что большая часть их доставалась ему пустыми, нетронутыми и



незаселенными. Медленно и трудно среди суровой обстановки развивалась на них жизнь, вносимая монастырем. Между тем, с одной стороны, значение монастыря привлекало в него многочисленную братию, содержание которой требовало обширных средств, с другой стороны, на монастыре лежала обязанность заботиться о нуждах своих слуг и крестьян, которые не всегда могли найти им удовлетворение на скудной почве; наконец, стоя на окраине, он должен был энергически защищать себя и свои вотчины от враждебных нападений с запада, с Каянского рубежа. Всем этим требованиям он удовлетворял широким развитием хозяйства в своих вотчинах. В его грамотах есть довольно указаний на размеры его промышленной деятельности. Оставляя подробности, сграницимся немногими цифрами. В конце XVI в. (1584—1594) в монастыре было 270 человек братии<sup>32</sup>. В 1649 г. ее было уже 350 человек, да слуг и работных людей было в монастыре около 600 человек, не считая здесь рабочих на соляных варницах; в 1621 г. этих последних было 700 человек; все они, по выражению грамоты, пили, ели и носили монастырское. В 1621 г. в Соловецкой крепости на содержании монастыря было 1040 человек ратных людей, кроме бывших в Сумском остроге стрельцов. Соляной промысел был главным средством покрытия всех этих расходов. В грамотах монастыря постоянно слышится жалоба, что «монастырь — место невоотчинное, пашенных земель нет, разве что соль продадут, тем и запас всякой на монастырь купят и тем питаются». Около половины XVI в. монастырь продавал в Вологде и в других городах 6 тыс. пудов соли из своих варниц; в половине XVII в. он продавал ее уже 130 тыс. пудов, платя за это пошлины 658 руб. Кроме того, за крестьян со своих вотчин, рыбных ловель и других угодий он платил в казну до 4 тыс. руб. оброка и других царских сборов. В конце XVI в. он покупал ежегодно на вырученные за соль деньги до 20 пудов воска, да 8 тыс. четвертей ржи на монастырский обиход братии, слуг и крестьян, кормившихся от монастыря. При этом он скоплял средства, которыми помогал государству в трудные минуты: в царствование Алексея Михайловича, например, он выслал в Москву на жалованье ратным людям 41 414 руб. и 200 золотых.

---

---

## ПСКОВСКИЕ СПОРЫ

### I. Русское церковное общество в XV в.

Предпринимаемый рассказ имеет предметом некоторые явления, относящиеся к истории русской мысли. История русской мысли и именно мысли древнерусской, наверное, покажется несколько изысканным выражением, фразой, неточно передающей свое содержание: скажут, явления, которые под нею разумеются, дают материал только для истории русского усвоения чужой мысли, ничего не прибавившего к содержанию последней, кроме разве ошибок и искажений. Но одними новыми вкладами в умственный капитал человеческой образованности не ограничивается история мысли: она есть вместе и история мышления, формального развития народной мысли в работе над готовым чужим материалом. В этом отношении история русской мысли дает много для объяснения русского народного характера, склада народного духа.

Следовательно, есть научный интерес и в истории русской мысли. Этот интерес увеличивается своеобразными чертами, обнаружившимися в развитии русского мышления. С наибольшим напряжением и в продолжение очень долгого времени исключительно это мышление работало в области церковных предметов. Если в памятниках русской литературы, сюда относящихся, откинем чуждый по происхождению материал, перед нами останутся два элемента, характеризующие деятельность русского ума: это духовные вопросы, преимущественно занимавшие его, и приемы, им усвоенные при их разрешении. Рассмотрев характер этих вопросов и приемов,

найдем, что умственная область, к которой с особенной любовью обращалась русская мысль в продолжение многих столетий, была церковно-нравственная казуистика. При случае, хотя и по чужим образцам, древнерусский книжник умел сказать много хорошего о значении женщины в христианстве, не делая и намека, что в ее природе находит что-либо непримиримое со спасением. Но он в смущении останавливался пред какой-нибудь подробностью, например перед вопросом: «Можно ли священнику служить в одежде, в которую вшит женский плат?» Как будто путем своих общих христианских понятий о женщине задавший этот вопрос не мог добраться до ответа, ему данного: «А разве женщина погана?» Наоборот, в других случаях он умел делать очень смелые логические шаги и широкие обобщения. Он без труда решал, почему надо хоронить мертвеца не по закате солнца, а когда оно стоит еще высоко, потому что «покойник видит тогда последнее солнце до общего воскресения» (*Вопросы Кирика*). Подняться до цельного и стройного религиозного мировоззрения в духе и истине слова божия древнерусский человек не чувствовал себя в силах, сколько можно судить по его литературе; во внутренний смысл вопроса он вникал с трудом и неохотно, зато какая-нибудь внешняя подробность этого вопроса, приложение его к тому или другому практическому случаю — это могло приковывать к себе древнерусский ум с неотразимою силой. Вступая в мир религиозных понятий, он обращался прежде всего к этим отдельным случаям, мелким казусам, и на них способен был развить удивительную силу напряжения и стойкости; но, чтобы твердо уяснить себе основные начала и по ним определить все возможные практические случаи, для этого ему недоставало, по-видимому, ни умения, ни охоты. С нивы русских сердец, вспаханной, по выражению летописца, св. Владимиром и засеянной Ярославом, русская мысль потом дергала и молотила каждый колос отдельно, и потому, может быть, работа ее была так медленна и малопродуктивна, хотя производилась иногда с большими диалектическими усилиями.

Эта сила диалектического напряжения мысли рядом с недостатком внутреннего содержания в наивных вопросах, к которым она обращалась, одинаково характе-

ризует и древнейшие произведения русского мышления, например, вопросы Кирика с ответами на них, и позднейшую умственную деятельность раскола, которая и по содержанию и по приемам составляет прямое продолжение древнерусского мышления. Можно утверждать, что обе эти черты имеют в сущности мало общего с византийским богословствованием. Последнее отличалось склонностью к отвлечению, тонкостью в диалектическом развитии понятий и умением складывать их в стройную систему. Ничего этого не заметно в древнерусском богословствовании; в нем можно найти даже свойства, прямо противоположные. Однако ж византийское влияние не оставалось здесь безучастным. Происхождения указанных черт древнерусской мысли следует, кажется, искать в отношении византийского умственного запаса, принятого Россией, к умственному уровню, на котором она стояла до конца XVII в. Когда непосредственное, эпическое настроение мысли встречается с тонкими религиозно-нравственными определениями, выработанными чересчур отвлеченной мыслью под влиянием сложной церковной жизни, может быть, естественным результатом такой встречи и является наивная церковно-нравственная казуистика.

Явления русской жизни XV в., избранные предметом настоящего рассказа, любопытны тем, что в них довольно ясно выступают не только указанные особенности русской умственной деятельности, но и некоторые условия, их создавшие. Эти явления довольно известны в нашей церковной истории, но их не любят рассматривать со стороны направления, какое приняла русская умственная жизнь с XV в., со стороны побуждений и интересов, какие начали действовать в ней и обнаруживаться с того времени. Притом в изображении этих явлений допускаются обыкновенно пробелы и неточности, исправимые на основании сохранившихся исторических памятников.

В истории русской церкви XV век тем замечателен, что он вместе с внешними отношениями глубоко изменил внутреннее настроение русского церковного общества, не прибавив, однако ж, ничего к прежнему запасу его понятий и знаний. Усилиями московских князей в продолжение ста лет со времени Семена Гордого глава русской иерархии стал независимо к патриарху и пре-

стал ездить в Царьград на поставление: Русь в церковной жизни сделалась самостоятельной поместной церковью и перестала считаться епархией цареградского патриарха. Вместе с этим внешним обособлением постепенно изменился ее взгляд на себя и на свое церковное отношение к Византии, откуда некогда принесли ей азбуку христианства. Греческие иерархи, занимавшие митрополичью и епископские кафедры в России, никогда не имели ни сильного влияния на господствовавший здесь общественный порядок, ни большого личного авторитета в глазах русской паствы. Флорентийский собор, «трагедия достохвальная с концом злым и жалостным», по выражению князя Курбского, покрыл тень свет греческого православия в глазах русского общества. Митрополит Иона, оправдывая свое поставление в Москве без участия цареградского патриарха, писал в своей окружной грамоте в 1448 г., что русские князья принимали и благословение, и митрополита из Царьграда, пока там было православие. Падение Константинополя еще более сгустило эту тень. По своей привычной логике русская мысль поставила это политическое и народное несчастье в прямую внутреннюю связь с изменой православию, тем более что своих двухсотлетних владык, безбожных агарян, уже переставали бояться. «И о том, дети, подумайте, — писал в 1471 г. митрополит Филипп зашатавшимся новгородцам, — царствующий град Константинополь непоколебимо стоял, пока как солнце сияло в нем благочестие; а как покинул истину да соединился с латиной, так и впал в руки поганых». В то же время сторонние люди, приезжие с Востока, обращали внимание русского общества на богатство его собственной церковной жизни. Приступая к жизнеописанию преподобного Сергия Радонежского, ученый-серб Пахомий с риторическим одушевлением спрашивает, не из Иерусалима ли, не с Синая ли засветился этот светильник, и отвечает: нет, из Русской земли, которая недавно вышла на свет из мрака кумирслужения, но уже озарилась многими светилами, так что превзошла издавна приявших просвещение. В Царьграде, говорили русские книжники XVI в., вера православная испроказилась махметовой прелестью от безбожных турок, а здесь, в Русской земле, паче просияла святых отец наших учением: это сравнение стало народным верованием, в котором

пробудившееся чувство народной силы нашло себе самое понятное и гордое выражение. Явилась и легенда, чтобы закрепить это верование в народном воображении. Мир оскудел светом благочестия, старые звезды его, два Рима, померкли, и чудесными путями пошли их святыни искать нового приюта в третьем Риме, зашившем среди лесов «российскаго острова», где не бывало стопы апостольской. Во второй половине XV в. начали распространяться в русском обществе рассказы о двух святынях, о белом клобуке и чудотворной тихвинской иконе, появление которых на Руси легенда связывает с падением Константинополя. За много лет до этого, чтобы не сделаться добычею злого обдержания поганых, обе святыни покидают греховный царствующий град Константина для засветившегося благочестием Российского царства. Сознание собственного превосходства, выразившееся в этих рассказах, возвышалось до сожаления о своем падшем церковном учителе: это падение вызывает в правоверных русских рассказчиках теплые слезы и молитву, чтобы снова процвел благочестием этот преславный второй Рим, как иссохший жезл Аарона. Такие внешние обстоятельство, как политические несчастья Константинополя и иерархическое обособление всероссийской митрополии, дали русскому обществу случай впервые почувствовать себя взрослым в церковной жизни. Напряженность этого чувства была настолько сильна, что не дала ему остановиться и успокоиться на созерцании прав нового возраста, но доводила его до неясных помыслов о новой ответственности. В хороших головах XV—XVI вв. начинала мелькать мысль о необходимости русскому обществу строже взглянуть на себя именно потому, что оно теперь осталось единственным в мире носителем чистого православия. С этой стороны любопытно анализировать наставления, изложенные в послании великому князю Василию Ивановичу, которое приписывается старцу Филофею. Автор послания — инок псковского Елеазарова или Евфросипова монастыря, в котором за несколько лет перед тем происходил описываемый ниже церковный спор. Филофеем вполне проникнут действительным мировым событиям, изменившим положение России. «Внимай тому, благочестивый царь, — пишет он, — два Рима пали, третий — Москва — стоит, а четвертому не бывать.

Святая соборная церковь этого нового третьяго Рима в твоём державном царстве ныне по всей поднебесной ярче солнца светится православной христианской верой. Знай, все православные христианские царства сошлись в одно твоё царство; во всей вселенной один ты христианский царь. Твоё христианское царство уже другим не достанется: после него чаем царства, которому не будет конца. Подобаёт все это держать со страхом божьим». Надобно оставить исключительное упование на земные материальные силы и самим подумать об устройении церковных и нравственных недостатков русского общества, чтобы приблизить его к начертанному высокому образу единственного и последнего истинно христианского царства. Для этой цели Филофей требует от великого князя выполнения трех задач: научить подданных своих правильно полагать на себе знамение честного креста, чего многие из них не делают, потом не оставлять соборных церквей в царстве без епископов, не допускать их вдовствовать и, наконец, искоренить из православного царства противоестественный грех, горький плевел, распространившийся между мирянами и даже не одними мирянами. И оправдывая эти советы, автор послания снова молит князя внимать господа ради тому, что все христианские царства соединились в одном его царстве.

В появлении мысли об оглядке на себя, о пересмотре своих внутренних недостатков, заключается все, что можно назвать духовным приобретением русского общества, вынесенным из событий XV в. Но это приобретение не было собственно церковным ни по своему первоначальному источнику, ни по своему практическому приложению. Из описанных внешних обстоятельств оно заимствовало язык и образы, чтобы облечься в привычную форму факта церковной жизни; но самые питательные элементы своего содержания оно извлекло из политических успехов московской Руси XIV—XV вв. и преимущественно времени Ивана III. Государственный рост, доставивший русской иерархии церковную автономию, пробудил и в обществе чувство церковной возмужалости. В этом, собственно, нет ничего необычайного, ибо различные сферы народной жизни в то время далеко не различались строго. Гораздо неожиданнее на первый взгляд практическое действие этой перемены на духовен-

ство. В послании представителя его, Филофея, содержится программа, целая система отношений. Задачи, указываемые им, по существу своему все принадлежат ведомству церкви, и ни одной из них автор не доверяет духовенству, требуя и ожидая их разрешения только от государственной власти. Филофей — мыслящий монах: в своих посланиях, очень хороших по содержанию для XVI в., он смотрит гораздо выше и видит дальше сотен современных ему русских книжников. Оставаясь в кругу понятий времени, он, однако ж, ищет разумного объяснения событий, питавших суеверие в его современниках. «Перемены в судьбах царств и стран, — пишет он в другом послании, вооружаясь против современного астрологического бреда, — не от звезд происходят эти перемены. Подумай, в какую звезду стали христианские царства, которые ныне все попораны неверными. Греческое царство разорено и не созиждется, потому что греки предали православную свою веру в латинство». Однако ж в требовании и ожидании, какие Филофей развивает в послании к великому князю, звучит самоотречение русского духовенства. Тот самый писатель, который так ясно и энергично выразил почувствованное русским обществом в XV в. церковное превосходство, молчаливо признал недостаток внутреннего оправдания этого чувства. Приобретение автономии русской церковной иерархией сопровождается косвенным сознанием ее бессилия перед задачами, выполнение которых только и могло оправдать ее коренные права на существование. В этом видимом противоречии оказалось лишь действие очень последовательного общего закона русской исторической жизни. Известные условия этой последней искони могущественно задерживали образование и развитие общественных союзов, основанных на сознании общих прав и интересов, мешали образованию и развитию корпораций. Русская церковь со своими уставами и интересами, вынесенными из византийской купели, стала прямо против этих все уравнивавших и все смешивавших условий. Глубочайший научный интерес истории русской церкви состоит именно в борьбе этой единственной общественной организации, перешедшей в древнюю Русь из образованного исторического мира в готовом стройном виде, с подвижной, вечно колеблющейся волной русской жизни, которая смывала едва начинавшие обозначаться



границ сложного общественного расчленения. В этой волне потонула не одна подробность церковного устройства, не один дорогой образовательный элемент церковной жизни. Политическое объединение Руси Москвой только усилило это поглощение, сделало еще незаметнее межу, которая отделяла духовную область церкви от мира, где действуют государственная сила и внешний закон. Если перемены в церковном положении и настроении Руси XV в. имели свой первоначальный источник в ее государственном росте, то самый этот рост для представителей церкви стал не только историческим фактом, который они благословили и подкрепили своим содействием, но и нравственным правом, которому они подчинились и на которое возложили свои лучшие церковные упования. В 1354 г. патриарх согласился посвящать в сан митрополита св. Алексия, избранного на Руси великим князем московским и прежним русским митрополитом, но согласился в виде исключения, «необычного и небезопасного для церкви», допущенного ради московского князя. Через 25 лет любимец и избранник другого князя московского архимандрит Митяй, боясь ехать в Царьград на посвящение, с помощью покровителя своего уже доказывает, что можно вовсе не ездить в Царьград, а получить рукоположение от своих русских епископов, помимо патриарха. В 1447 г. в соборном послании русского духовенства к Шемяке недавний московский порядок преемства великокняжеского стола от отца к сыну назван «земской из начала пошлиной», исконным народным обычаем, а основанные на старинном родовом праве притязания отца Шемякина Юрия уподоблены сатанинскому внушению, греху праотца Адама, пожелавшего сравняться с божеством. В 1458 г. русские епископы, собравшись в Москву, постановили впредь признавать законным русским митрополитом того, кто будет поставлен в Москве, у гроба св. Петра митрополита, по избранию св. духа, по правилам апостолов и св. отцов и «по повелению господина нашего великого князя, русского самодержца», а около того же времени великий князь, столь же мало заботясь об исторической точности, как и духовенство в послании к Шемяке, написал князю литовскому: старина наша, которая повелась от прародителя нашего св. Владимира, та, что избрание и принятие митрополита всегда было правом

прародителей наших великих князей русских и нашим: кто нам будет люб, тот и будет митрополитом у нас на всей Руси. Наконец, один наблюдательный иноземец (Герберштейн), бывший в Москве 5—6 десятилетий спустя, занес в свои записки любопытное замечание: прежде митрополиты и архиепископы избирались здесь собором всех архиепископов, епископов, архимандритов и игуменов; а нынешний государь, говорят, обыкновенно призывает к себе одного из известных ему лиц и сам избирает его по своему усмотрению. Вот ряд последовательных ступеней, которые прошли обе великие силы, церковь и государство, движимые указанным русско-историческим законом. Но в практическом сознании отдельных, даже лучших умов времени действие общего исторического закона обыкновенно отражается в виде свободной теории, личного взгляда, оправдывая известную философическую притчу о камне, который, падая, находит досуг рассуждать, что он совершает это движение по собственному желанию, в силу свободного самоопределения. То же самое было со старцем Филофеем и благоразумным большинством русского духовенства, ему современного, взгляд которого он выразил в своем послании к великому князю. Указываемая здесь князю программа церковной деятельности является плодом личных взглядов Филофея, подобно тому как личным взглядом руководился современник его преп. Иосиф Санин, переходя со своим монастырем из новгородской епархии в московскую под непосредственное покровительство того же великого князя. Не замечая под собой все увлекавшей народной волны, русское духовенство думало, что угадывает насущные потребности времени и предупредительно им служит, добровольно передавая почин существенных церковно-нравственных отправлений в руки государственной власти. Если клерикализм полагать в бдительности, с какою церковные органы стерегут мир совести верующего от вторжений внешних сил, гражданского общества и государства, не имеющих своей прямой задачей спасения души, то русское духовенство уже тогда желало не быть клерикальным, подобно тому как в XVII в. русские служилые военные люди охотно отказывались от репутации воинственных, говоря: «Дай бог великому государю служить, а саблю из ножен не вынимать».

События XVI в. осуществили программу Филофея. Церковная деятельность русского духовенства этого времени является слабой сравнительно с усиленным движением в других сферах, довершившим устройство Московского государства, и даже в этой слабой деятельности оно редко выступает начинателем. Может быть, оно сильнее участвовало в нецерковных делах, и, наверное, в сфере чисто церковной гораздо больше его сделала власть государственная. Список вопросов, поставленных на Стоглавом соборе, был составлен царем. Едва ли не единственный крупный вопрос, который возбудило само духовенство и в котором оно обнаружило непривычную энергию и самостоятельность, был экономический — о земельных церковных имуществах. Церковная мысль, столь равнодушная к практическим вопросам церковной жизни, должна была принять особенное, своеобразное в своей односторонности направление. Замечательные признаки этого направления встречаем уже во второй половине XV и в начале XVI в., в одно время с первыми проявлениями описанного церковного самосознания. С этого именно времени, когда русское церковное общество почувствовало, что оно переросло свой прежний византийский авторитет, раздаются жалобы представителей русской иерархии на недостаток благочиния и упадок грамотности в среде духовенства. Бесплодная борьба с бесчинием духовенства московской епархии заставила митрополита Феодосия отказаться от кафедры (в 1464 г.). Об отвращении к грамотности и о полном невежестве людей, ищущих звания священнослужителей, горько сетует архиепископ новгородский Геннадий в своем знаменитом послании к митрополиту Симону (около 1500 г.). Те же жалобы повторились на Стоглавом соборе, и притом, несмотря на мрачную картину, начертанную Геннадием за полстолетие прежде, собор прямо заявил, что к его времени дело еще ухудшилось: «Учиться негде, а прежде в Москве, Новгороде и по другим городам многу училищ бывало, писать, петь и читать учили и грамоте гораздых тогда много было, бывали певцы, чтецы и доброписцы славные по всей земле». Одновременно с этими явлениями в различных частях русской митрополии поднимается ряд любопытных вопросов казуистического свойства. В 1455 г. возбуждено было церковное дело о ростовском архиепископе Феодо-

сии, который разрешил мирянам мясо, а инокам молоко и рыбу в крещенский сочельник, случившийся в воскресенье. Этот самый Феодосий потом, в сане митрополита, сделался жертвой своей ревности к восстановлению благочиния в среде духовенства. В 1482 г. едва не разгорелось в большой церковный соблазн возбужденное митрополитом преследование чудовского архимандрита Геннадия, который точно в таком же случае разрешил своим монахам пить богоявленскую воду поевши. Еще раньше этот Геннадий, впоследствии грозный бич новгородских еретиков и ревнитель школ для духовенства, защищал вместе с ростовским архиепископом мнение великого князя о хождении *посолонь*. В 1478 г. при освящении Успенского собора в Москве митрополит ходил с крестами «не по солнечному восходу»; это напугало Ивана III, ждавшего за это наслания гнева божия, возбудило церковный процесс, заставило перерыть церковные книги, вызвало бесконечные толки в обществе и до темноты глубокомысленные умствования со стороны защитников мнения великого князя в прениях с митрополитом; приостановленный нашествием татар спор возобновился в 1482 г. и едва не кончился полным разрывом между главами государства и иерархии. Филофей в изложенном выше послании жалуется на неправильность изображения на себе русскими крестного знамения, не указывая, в чем она состояла. Но именно в это время, в начале XVI в., появляется в русской письменности и прежде всего в одном слове митрополита Даниила довольно распространенное уже мнение о двухперстном сложении креста, новый источник церковных споров и смущений. Из другого Филофеева послания видно, что в конце XV и начале XVI в. верующие смущались существованием двух летосчислений от сотворения мира и от рождества Христова. В 1476 г., по известию летописи, возникло разногласие между новгородскими «философами» в пении *господи помилуй*. Немного раньше в той же епархии, в Пскове, завязался бурный богословский спор о сугубой аллилуии, продолжавшийся и после бесконечными прениями. Остались следы ухищренных словопрений, вызванных некоторыми из этих вопросов; другие заставляют то же предполагать самым своим содержанием. Есть указание на связь умственного направления, вызывавшего подобные споры, с разви-

тием в русском обществе описанного церковного само-мнения и гордости своими церковными преданиями. В начале XVI в. впервые обнаружилось в русских книжниках слепое благоговение перед буквой старой книги. Максим Грек вызвал споры и бурю против себя исправлением нелепостей в русских богослужебных книгах и, между прочим, уничтожением слова *истинного*, которое некоторые русские списки символа веры ставили в члене о духе св. вместо *господа*. Он чужой, приехал откуда-то, где и древнего благочестия уже нет, прavit по своему разуму, хулит и отвергает все наши святые книги и тем оскорбляет наших чудотворцев, воссиявших от начала Русской земли, которые по этим книгам спасались и угодили богу: так думали и говорили малознающие русские ревнители домашнего церковного авторитета, обиженные приезжим знающим справщиком. Теперь они почувствовали себя в состоянии и праве рассуждать о многом, о чем прежде молчали или справлялись у учителей, рассуждать по-своему, без указки, ссылаясь кстати и не кстати на свою родную старину, и любимым предметом их рассуждений стали формальные церковные тонкости, тем более что от практических вопросов церковной жизни очи устранились или были устраниены.

Изображенные три факта нашей церковной жизни, обнаружившиеся с половины XV в.: чувство церковной самостоятельности, упадок образования в духовенстве и равнодушие последнего к практической церковной самодеятельности — достаточно объясняют происхождение четвертого — умножения споров о формальных или казуистических церковных тонкостях, а всеми четырьмя фактами довольно полно определяется умственное состояние русского церковного общества во второй половине XV в.

## II. Псковское церковное общество XV в.

В России XV в. было одно местное церковное общество, которое благодаря наивной запутанности своих внутренних отношений и сложности внешних влияний ясно, может быть, яснее какого-либо другого в то время, отражало на себе изменившееся строение русской церкви с его последствиями. Это был Псков.

Приступая к рассказу о взятии Пскова великим князем московским в 1510 г., современный псковский повествователь рисует такую картину внешних отношений родного города перед его падением: от начала Русской земли сей град Псков не был владеем никоим князем, но жили люди его на своей воле. Прежние удельные княжения взял под свою власть ратью великий князь московский не вдруг, а в разное время. Город же Псков тверд стенами, и было в нем множество людей, и поэтому московский князь не пошел на них ратью, боясь, что не отступили они к Литве: он обольщал псковичей злым лукавством и хранил с ними мир, и они крест целовали ему — никуда не отступать от великого князя. Князь великий посылал к ним своих князей по их желанию, кого просили, того и посылал, а иногда посылал туда наместников по своей, а не по их воле, и эти наместники насильствовали, грабили и разоряли псковичей поклепами и судами неправедными. Жители же Пскова и окрестных городов посылали к великому князю посадников с жалобами на них. И так бывало много раз. Здесь довольно наглядно изображено, как из сравнительно богатых средств и разносторонних внешних влияний Псков не создал прочного внутреннего обеспечения своей вольности, того, чем он всего более дорожил и гордился. Разносторонние влияния обыкновенно содействуют устойчивости стоящей под ними исторической среды, если последняя имеет достаточно внутренних общественных сил. Мутное русское море медленным и тяжелым прибоем сбивало на своих окраинах клубы белой, красивой пены в виде вольных городских общин на севере и казацких дружин на юге. Но эти легкие массы, неотвердевшие, оседались и исчезали, по мере того как улегалось внутреннее беспокойное движение.

Точно так же из разносторонних церковных влияний, шедших из Новгорода, Москвы, непосредственно с Востока и от стоявшего на псковском рубеже западного католицизма, Псков не вынес ни более богатого содержания, ни более правильного устройства своей церковной жизни сравнительно с другими частями русской митрополии. Псков со своими пригородами не составлял особой епархии. Политическое обособление от Новгорода, признанное последним в половине XIV в., не сняло с Пскова церковной зависимости его от новгородского

владыки. Отношения вольного города к его епархиальному архиерею определились в угоду его политической автономии и в ущерб правильному и беспрепятственному развитию его церковной жизни. Владыке принадлежали в Пскове церковный суд, печать, воды, земли и оброки, церковные и судебные пошлины. Но эти административные и судебные права он передавал своему наместнику или владычному судье, который его именем правил духовенством псковской области и заведовал владычными доходами. Со времени договора Пскова с Новгородом в 1348 г. стало действовать постановление: от владыки быть в Пскове наместником «их брату псковитину», а из Новгорода не позывать псковичей ни дворянами, ни подвойскими, ни *софьянами*. Владыка ставил в Пскове наместника на свой святительский суд и на свой подъезд, на все свои пошлины, по выражению грамоты; священники должны были приходиться к нему на суд и на всякую расправу, вносить ему владычный подъезд и всякие пошлины и давать корм по старине. Сам владыка даже не всегда мог лично посетить свою псковскую паству. Для этого назначена была «чреда», известный срок, раз в каждые три года, как думают. Очередное посещение притом могло продолжаться не более одного месяца. Из всей новгородской епархии такие отношения существовали только в Пскове. Может быть, они не противоречили прямо церковным правилам, но во всяком случае принадлежали к тем русским церковным особенностям, которые, выходя из условий и побуждений вовсе не церковного свойства, постепенно и глубоко изменили первоначальную норму церковного порядка в России. Когда владыка приезжал в Псков в свою чреду, «на свой подъезд и на старины», псковское духовенство с крестами, посадники и бояре со множеством народа выходили за город встречать его. Большею частью это бывало зимой, в декабре или январе. Город давал подворья и корм владыке с его свитой, софьянами. В этих посещениях псковичи более всего дорожили владычным соборованием, торжественным священнодействием владыки в главном городском храме св. троицы. При этом читали синодик, проклинали злых, зла хотевших Новгороду и Пскову, и пели вечную память благоверным князьям, упокоившимся в дому св. Софии и в дому св. троицы, и другим добрым людям,

положившим головы свои за дома божии и православное христианство, а живущим окрест св. Софии в Новгороде и окрест св. троицы в Пскове, также благоверным князьям и всем православным, пели великие многа лета. Со своей стороны владыки старались не пропустить очереди главным образом ради месячного своего суда с его пошлинами, ради «подъезда» или сбора с псковского духовенства за приезд, и, наконец, ради хорошего поминка, которым дарил его Псков, посадники и все концы, при отъезде провая его с великою честью из своей земли до рубежа. За неисправный взнос подъезда священнику грозило запрещение служить. Зато летопись сохранила мало известий о духовных пастырских действиях владыки в эти приезды. Это был очень редкий, если не исключительный случай, когда архиепископ Геннадий, посетив Псков по его челобитью в 1486 г., пришел на вече, благословил народ и «многа словеса учительна простер».

Такой порядок отношений влек за собой целый ряд следствий, расстроивавших церковную жизнь Пскова. Сами владыки не скрывали, что перечисленные доходы — единственная цель их посещений. Они не любили ездить в Псков «так», чтобы только благословить и поучить «детей своих псковичь и попов». В XIV в., в смутное для псковской паствы время, это случилось раза два, и то по мольбе и челобитью самого Пскова, когда злой мор свирепствовал в городе. Даже в очередные приезды владыки очень редко проживали в Пскове весь свой месяц, спеша взять свое и воротиться домой. Рассказывая о приезде архиепископа Феофила в декабре 1476 г., псковский летописец замечает: а пробыл он в Пскове весь свой месяц, все четыре недели; давно уж владыки в свой приезд не живали так в Пскове всего месяца. Зато с денежными требованиями они являлись иногда в Псков и не в очередь, а «наробою» или даже не приезжали сами, а посылали своего протопопу просить с псковских попов подъезда. Это было источником смут и ссор паствы с пастырем. Случилось, что последний, уезжая из непокорного Пскова, предавал его проклятию. В 1435 г. архиепископ Евфимий посетил Псков не в урочный год, потребовал своего месячного суда и подъезда с духовенства, хотел даже вопреки псковскому праву посадить здесь новгородца наместником из своей руки,



а от соборования отказывался. Вышел спор, и владыка в гневе уехал. Посадники и бояре воротили его с дороги, добились ему челом, дали суд, «и попы за его подъезд и оброк не стояли». Но, когда он с наместником своим начал судить не по псковской пошлине, пскинув старину, тогда стало по грехам и по навождению диавола, произошел бой у псковичей с софьянами. Владыка уехал, не взяв и поминка от Пскова, причинив попам и игуменам много протора; не бывало так и от первых владык, как Псков стал, по грехам нашим, прибавляет псковский летописец. Этот источник церковных настроений пополнился с другой стороны. Со времени признания политической автономии Пскова уцелевшая епархиальная зависимость его от новгородского архиерея сама по себе должна была производить неминуемые церковные затруднения для обеих сторон. Притом политическая автономия не порвала исторической связи обоих городов-братьев: у них остались общие политические интересы, одинаковые враги, продолжалась общая внешняя борьба, в которой они не всегда дружно поддерживали один другого. В рассказе псковского летописца XV в. о военных неудачах Пскова не раз звучит горькая жалоба на новгородское чепособие, на холодность старшего брата к несчастиям младшего. В 1463 г. новгородцы не сдержали своего обещания, не пособили Пскову ни словом, ни делом в борьбе с немцами, не приняли его челобитья, хотя псковичи «много челом биша». Псков обратился за помощью к Ивану III и отнял у владыки его псковские земли и воды, доходы с которых обратил на корм великокняжеской вспомогательной рати, добивался даже особого для себя епископа. Политические столкновения обоих городов обнаруживали неправильность их церковных отношений. Владыка был слишком тесно связан с новгородским гражданством и слишком слабо со псковским, чтобы в подобных столкновениях направлять свое обширное гражданское влияние беспристрастно или в пользу второго. Оттого немирье Пскова с новгородцами обыкновенно превращалось в ссору его и с владыкой.

Из этих двухсторонних затруднений развились любопытные черты, характеризующие церковную жизнь Пскова и всей Руси XIV—XV вв. Прежде всего Псков рядом со стремлением к политической особенности от

Новгорода добивался и церковной. В материальном и духовном отношении он более многих епископских городов тогдашней Руси заслуживал особого епископа и притом самого деятельного и просвещенного, ибо здесь, особенно благодаря близости враждебных народных и церковных влияний, епископу предстоят трудные задачи, каких не существовало во многих других епархиях. Но московские митрополиты и по своим собственным и по московским княжеским соображениям опасались портить добрые отношения к новгородскому владыке, главе богатой епархии и представителю богатого вольного города. Потому на попытки, какие делал Псков в XIV и XV вв., выпросить у митрополита особого епископа отвечали отказом, ссылаясь на то, что не повелось старины быть владыке в Пскове, искони не бывал. Между тем сами митрополиты должны были допускать отношения, которые оправдывали эти попытки. Среди церковных смут и беспорядков, волновавших Псков в конце XIV и в начале XV в., почти незаметно деятельного пособия пастве со стороны новгородского ерхиепископа. Псковское духовенство со своими вопросами и нуждами обращается непосредственно к митрополиту, пишет ему о появившихся в городе церковных возмутителях-стригольниках, и митрополиты отвечают на его вопросы, вмешиваются в подробности церковной жизни Пскова. Митрополит Фотий просит псковичей прислать к нему в Москву благонадежного священника, желая научить его церковным правилам, церковному пению и божественным службам, как будто у Пскова не существовало своего епархиального архиерея. Митрополит Исидор хотел, по-видимому, совсем отделить Псков от новгородской епархии, отняв в 1438 г. у владыки суд и печать, воды, земли и оброки, всю пошлину владычню в Пскове, которую поручил своему митрополичьему наместнику.

Отсюда же, а не из какого-либо лучшего источника вытекали и особенности в отношениях псковской церкви к гражданскому обществу. Внимание, утомленное сухостью и бесплодием церковной жизни в Московском государстве последующего времени, соблазняется живым участием, какое принимало мирское общество вольных городов, Новгорода и Пскова, в своих церковных делах, и наоборот — участием новгородского и псковского духовенства в мирских делах своих городов.

Псковские посадники являются церковными старостами в соборе св. Троицы. Владыка помогает псковичам в укреплении их города, дает свое серебро на постройку городских стен. Наместник владыки едет вместе с псковским посадником к литовскому князю для мирных переговоров. Городское вече поднимает и обсуждает чисто церковные вопросы, псковское духовенство непосредственно участвует в совещаниях веча, предлагает ему на обсуждение свои церковные дела. Люди, занятые другими, позднейшими церковными идеалами, о которых и не грезилось псковичам XV в., готовы видеть в этих и подобных нарядных чертах признаки высшего и более глубокого церковного развития обеих вольных общин сравнительно с остальной Русью. Но некоторые ручьи кажутся чистыми только потому, что они очень мелки, а не потому, что текут очень прозрачной струей. Непривычка разделять и обособлять различные сферы жизни одинаково присуща незрелым, наивным обществам, но общества, одаренные сильным самородным общественным чутьем, источником будущего богатого развития и всевозможных тонких различий, — такие общества в самой этой непривычке умеют находить тем вернейшие средства к обеспечению своего жизненного интереса и устранять отношения, ему угрожающие. Напротив, общества, которыми общественное чувство с трудом, по каплям наживается горькими испытаниями, помощью нужды и падает с удалением этого строгого, искусного, но не творческого учителя, малодушно жертвуют самыми дорогими интересами минутному увлечению или случайному давлению со стороны. В этом отношении Псков был истым русским городом, и его церковная жизнь не стала ни глубже, ни правильнее от вмешательства мирского общества, городских властей: она была только тревожнее, — хотя, без сомнения, и эта неправильность и эти тревоги все же лучше взаимного фарисейства, которое характеризует церковную жизнь, где одни верхи иерархии боязливо пишут законы безучастной и равнодушно покорной пастве. Привычка видеть в новгородском архиепископе рядом с церковной властью, одинаковой для Пскова и Новгорода, еще чуждую силу вовсе не церковного характера — блюстителя светских интересов другого вольного города, приучала и псковскую паству не доверять и противодействовать

владыке не только в политических, но и в чисто церковных делах. Незаконное требование владыки, церковное нововведение, всякое прямое или косвенное нарушение церковной псковской старины, неприятное псковскому духовенству, становилось вопросом псковского веча, и город являлся защитником своего клира от сторонних притязаний. Псковское духовенство со своей стороны не только уступало такому вмешательству, но и радушно призывало его в случае столкновения с Софийским домом в Новгороде. Не захочется владыке ехать самому на свой месяц в Псков, но не захочется и потерять подъезд, пошлет он своего протопопы просить его с псковских попов, как это было в 1411 г.; Псков станет на свою старину, не велит попам давать посланцу подъезда, шлет ответ в Новгород: «Коли, даст бог, будет сам владыка в Пскове, тогда и подъезд его чист, как пошло исперва по старине». Точно так же приезд архиепископа не в урочное время (1435) с намерением поставить наместником новгородца, а не псковича поднял на защиту местной церковной старины посадников, бояр и весь город; а когда, не удовольствовавшись уступками, владыка позволил наместнику своему судить не по пошлине, пересужать решенные дела и ряды, сажать в тюрьму дьяконов, чего прежде не бывало, тогда псковичи, стоя за старину, побились с людьми владыки. В 1485 г. архиепископ Геннадий прислал в Псков со своим боярином некоего игумена Евфимия. Этот Евфимий прежде, когда был еще мирянином, занимая влиятельное место в псковском управлении, замутил всем Псковом, наделал много зла народу, много людей пострадало из-за него без вины, сам он едва успел бежать от плахи и спасся пострижением. Теперь Геннадий думал сделать его своим наместником в Пскове и послал туда с поручением переписать церкви и монастыри по всей Псковской земле. Псковичи заступились за свое духовенство и остановили распоряжение владыки, хотевшего навязать им дурного человека. Но, вовлекаемое в церковные дела являвшимся здесь непорядками, псковское вече вступалось в такие дела, в которых его участие могло только колебать установившийся церковный порядок. Еще в конце XIV в. митрополит Киприан в послании к псковичам жаловался на них, что в Пскове миряне судят и наказывают своих попов в церковных делах, помимо свящи-

тельского суда отставляют от службы молодых попов, овдовевших и вступивших во второй брак, вступают в церковные земли и села, купленные или завещанные по душе. Следы этого церковного самоуправления в Пскове заметны и в XV в. Архиепископ новгородский Иона жаловался митрополиту Феодосию на Псков сего городскими властями, что там обижают церковь Божию, отнимают земли, воды, оброки и всякие пошрины, издавна принадлежавшие в псковской области новгородскому Софийскому дому, и ни в чем старины не правят своему владыке. Немного времени спустя, в 1471 г., псковский летописец скорбит о таком же произвольном обращении сограждан с имуществом своих псковских церквей, даже Троицкого собора, главной святыни города. Он рассказывает о крамоле, которая направлена была против имущества одной приходской церкви и в которой участвовало псковское вече с посадниками; а некоторые иноки, одевшись в бесстыдство и злобу, приходили в мир и поднимали низшее население города, «препростую чадь», на самый дом св. Троицы, оттягивая у него земли и воды и обольщая мирян коварными речами: вы только отнимите землю ту и воду да мне дайте в монастырь, а греха вам в том не будет никакого. И посадники со всем городом на вече отдали лживым монахам землю, завещанную некогда Троицкому собору одним посадником. Если епархиальный архиерей присылал в Псков священника и дьяконов осмотреть, исправны ли антиминсы в псковских церквях, этот церковный осмотр не был возможен, прежде чем псковский великокняжеский наместник, посадники и весь Псков, «много думавше», давали присланным свое согласие на осмотр. На пастырское нерадение жившего далеко епархиального архиерея, без сомнения, падала доля ответственности за соблазнительные поступки молодых овдовевших священников, на которые указывал псковичам Киприан. Но это не давало псковскому вечу права изрекать приговоры обо всех вдовых священнослужителях. Однако ж псковский летописец рассказывает, что в 1468 г. псковичи самовольно отлучили от службы вдовствующих попов и дьяконов по всей псковской волости, не спрося ни у митрополита, ни у своего епархиального владыки. В 1494 г. это отлучение повторилось: псковская летопись глухо замечает, что оставили вдов-

вых попов от службы, по-видимому, опять без соглашения с архиепископом. Так незаметно переступали и стирали черту, которая отделяла церковную заботливость набожного и властного мирянина, его законное участие в делах и интересах своей церкви от его церковного произвола. А привыкнув не останавливаться перед этой чертой, набожный мирянин без труда нисходил до такого обращения со своим духовенством, какого не допустило бы глубокое религиозное чувство даже и тогда, когда духовенство в нравственной и умственной жизни действительно стояло бы ниже своей мирской паствы. В одном послании к псковичам по жалобе псковских священников митрополит Фотий горько упрекает подвизников и народ за уничтожение, которому они подвергают свое духовенство на суде: случится священнику искать на ком или отвечать на поклеп, его призывают на суд в полном священническом облачении, выводят «на тризница и на понос и на бесчестия» и заставляют его клясться своим священным саном: о таком бесчинии я нигде ни читал, ни слышал, прибавляет Фотий<sup>1</sup>. В 1495 г. по зову великого князя псковичи стали собираться в поход на немцев, брали с 10 сох по одному конному ратнику, хотели взять и с церковной земли. Духовенство указывало на церковное правило Номоканона, дающее льготу от ратных повинностей церковным землям. Но посадники позвали духовенство на вече, двоих священников поставили здесь в одних рубахах и хотели кнутом избесчестить и иных всех попов и диаконов иссоромтили. Однажды архиепископ Геннадий посетил Псков, когда у него было немирно с псковскою паствой. Псковичи запретили троицким священникам служить с владыкою и просвирням не велели просфор печь для владыки.

Приведенные факты важны как знаки, которыми псковская летопись отметила путь, пройденный Псковом в определении отношений церковной жизни к гражданской. В столкновениях со своей церковной, но политически удаленной властью псковская церковь искала защиты у силы не церковной, но близкой, домашней, у веча: последнее из покровительства сделало для себя церковное полномочие, усвоило властный, решающий голос в делах, не подлежащих прямо его ведомству; из этих столь перепутавшихся отношений вышло падение

церковного авторитета в Пскове, стеснение необходимого для духовенства общественного простора, ослабление его энергии в духовной деятельности.

Если теперь сравнить описанные явления на небольшой областной сцене Пскова с тем, что в то же время происходило в Москве, на большой сцене всероссийской митрополии, и при этом вспомнить, как определялись отношения церковного общества к гражданскому в центре новгородской епархии, часть которой составлял Псков — в этих трех различных исторических кругах представится сходство, способное остановить на себе внимание. Везде местное церковное общество без внутренней устойчивости становится между далекой церковной властью и близкой мирской силой. Тяготясь притязаниями первой, оно отвертывается от нее, но при этом берется за протянутую руку второй и становится ее послушным орудием. Следствия везде одинаковы: падение церковного авторитета и ослабление деятельной церковной жизни. Так было, впрочем, не в одной церковной сфере. Следя с XIV в. за движениями в постепенно растущем средоточии древнерусской жизни, наблюдатель часто готов воскликнуть: нет, не может быть, чтобы так было везде! где-нибудь в областной дали или в социальном низу бьет более свежая жизнь. А заглянет он внимательно в эту даль или в этот низ и увидит те же движения и те же мутные струи, которыми так утомил его глаза центральный водоем. И нет тут ничего удивительного: последний наполняется перемыми.

### III. Спор с владыкой

В половине XV в. у Пскова завязался с владыкой спор, в котором довольно ясно обозначились повороты указанного пути и обнаружились элементы смуты и неправильности в церковной жизни города. Спор этот касался больше церковно-практических отношений псковского общества, чем его церковных понятий, но развитие тех и других шло параллельными путями, и отклонения в движении первых довольно точно соответствовали извилинам в ходе последних.

Частная жизнь псковичей не была свободна от тех церковных беспорядков, которые так распространены были в других частях древней Руси. Особенно трудно

было. церкви провести свое влияние в семейную жизнь и дать здесь правильное и глубокое действие своим постановлениям о браке. С этой стороны семейные отношения в Пскове отличались такими же крайностями, то есть таким же произволом и непониманием церковного учения, как и в остальной Руси: здесь рядом действовали и легкомысленная распущенность и трусливое преувеличение воздержания. Многие произвольно разводились с женами: иной, отослав от себя первую и вторую жену, брал третью, потом четвертую, и священники венчали его. Митрополит Фотий, упрекая псковичей за эти беспорядки, говорил, что между ними много даже пятероженцев и многоженцев. Люди, вступившие во второй или третий брак при жизни первых жен, оставались старостами при псковских церквах. Были монахи, которые своевольно слагали с себя иноческие обязанности и уходили в мир, даже женились. С другой стороны, многие жены постригались в иночество тайно от мужей, без взаимного уговора. Этому не мешали ни признаваемая церковью и обществом широкая власть мужа над женой, ни проповедуемый древнерусским духовенством взгляд на третий брак как на законопреступление. Псковское духовенство не только допускало такое нарушение церковных определений в светском обществе, но еще поощряло его собственным примером. Биограф преп. Ефросина псковского напрасно забывает пределы своего негодования в рассказе об одном псковском священнике XV в., который, овдовев и сложив с себя священство, «распопившись», женился во второй и потом в третий раз и, однако ж, нисколько не ослабил этим влияния и уважения, каким он пользовался прежде среди духовного и мирского общества в городе. Частная жизнь белого псковского духовенства представляла явления, которые гораздо резче противоречили церковным понятиям древней Руси. Мы видели в послании митрополита Киприана к псковичам указание на некоторых молодых священников в Пскове, которые, овдовев и женившись в другой раз, продолжали священствовать. Послание Фотия показывает, что это явление повторялось и после Киприана. Он же говорит о вдовом псковском дьяконе, женившемся на жене вдовца-схимника, о вдовце-попе, взявшем за себя вдову-попадью<sup>2</sup>. Кроме этих явных нарушений чина церковного, в псковском



духовенстве не было недостатка в тех тайных бесчиниях, которые были распространены между вдовыми священно-служителями и в остальной Руси и вызвали соборное постановление 1503 г. о вдовых священниках и диаконах. Потому ли, что в Пскове эти беспорядки достигли большей степени развития сравнительно с остальной Русью, или потому, что бóльшая общественная свобода при одинаковом равнодушии к собственным нравственным недостаткам делала псковский мир более притязательным к своему духовенству, только псковичи задогдо до этого соборного постановления не раз обнаруживали особенную горячность в вопросе о предосудительном поведении вдовствующего духовенства. Выше было замечено, что даже митрополит Киприан принужден был сдерживать их нравственную ревность в этом отношении, доказывая, что не их дело судить духовенство в церковных проступках. Невнимательность высшей епархиальной власти к церковным нуждам псковской паствы еще более развязывала руки для такого непризванного усердия. Замечательно, что указанные церковные беспорядки в Пскове возбуждают заботливую деятельность верховных пастырей русской церкви, митрополитов Киприана и Фотия: они пишут туда длинный ряд посланий, учат, разъясняют, обличают; помогали ли им в этом случае такими же духовными мерами новгородские владыки, — для утвердительного ответа на такой вопрос недостает данных. Зато спор 1468—1469 гг. дает прямые указания на то, что развитие нестроений в жизни псковского духовенства облегчалось в значительной степени неправильным отношением владыки к псковской пастве.

Соблазнительные явления, происходившие от преждевременного вдовства священнослужителей, давно заботили высшую русскую иерархию мыслию, что делать со вдовцами. Русское общество XV в., которое, несмотря на свои немолодые годы, не вышло еще из нравственного и умственного детства и, несмотря на это детство, хорошо было уже знакомо с пороками очень зрелого возраста, создало из этого, по-видимому несложного затруднения серьезный и тяжелый церковный вопрос. В XVI в. митрополит Пётр дозволил вдовым священникам только под условием пострижения в монашество продолжать священнослужение и притом лишь в мона-

стырях, но не в мирских церквах. Едва ли это распоряжение строго выполнялось. В XV в. митрополит Фотий возобновил его. В упомянутом послании к псковичам, изложив обнаружившиеся в тамошнем духовенстве беспорядки, он дает правило, чтобы вдовы священники и диаконы шли в монастыри и там по испытании и покаянии священнодействовали, а в мирских церквах отнюдь не служили бы: как только, — прибавляет он, — пришел я на Русь, я положил таковое запрещение и заповедь на вдовствующих священников, по всей своей святейшей митрополии, согласно преданию св. отцов. Мера эта похожа на лечение пальца отнятием руки по самое плечо: она в одно и то же время свидетельствует и о смелой простоте тогдашней нравственной медицины и о нравственной ненадежности врачуемого организма. Распоряжение Фотия имело не лучший успех. Но псковичи снова вмешались в церковную дисциплину и возобновили вопрос о вдовцах.

С половины XV в. отношения Пскова к Новгороду и владыке становились еще натянутее прежнего. Смутно было и в самом псковском обществе; внутренние церковные замешательства тем сильнее давали чувствовать недостаток заботливой пастырской власти. Покинутые старшей братией в борьбе с немцами, псковичи в 1463 г. поссорились и с архиепископом и пытались выпросить себе в Москве особого архиерея. Едва уладилась эта двухлетняя распря, Псковскую волость посетил опустошительный двухлетний мор. Через год после мора, в июле 1468 г., лишь только успели сжать рожь, пошли проливные дожди, продолжавшиеся без перерыва до конца октября: сделалось половодие точно весной, луга затопило, много неубранного хлеба сгнило на полях, многие не успели посеять озимое; в будущем году грозила дороговизна. В эту тревожную осень псковское духовенство всех пяти соборов, белое и черное, пришло на вече и, благословив великокняжеского наместника, посадников и весь город, сказала:

— Видите, чада, и сами, какую милость посылает нам господь с небес, наказует нас за наши грехи, ожидая нашего исправления. Теперь по правилам св. апостолов и св. отцов хотим мы, все священство, между собою укрепиться обязательством, как бы нам, священникам, устроить свое управление и жить по Номоканону.

А вы, дети, будьте нам в этом поборниками, потому что здесь, в этой земле, над нами нет правителя, а самим нам той крепости удержать между собою не можно в каких ни есть церковных делах; да в иные дела наши и вы вступаетесь миром, вопреки правилам св. апостолов и св. отцов: так мы и на вас хотим такую же духовную крепость положить.

— То ведаете вы, все божие священство, — отвечало вече, — а мы вам поборники на всякое доброе дело.

Духовенство всех соборов написало грамоту из Номоканона о своих священнических крепостях и церковных делах и положило ее на хранение в вечевой ларь. Для надзора за исполнением изложенных в ней постановлений здесь же, на вече, «перед всем Псковом» духовенство избрало в правители двоих приходских священников города.

Впрочем, участие веча в деле было гораздо сильнее пассивного согласия, которым оно отвечало на предложение духовенства. Из приводимого рассказа псковской летописи нельзя усмотреть, что, собственно, написано было в крепостной грамоте, составленной на вече. Очевидно только, что вопрос о вдовых священниках и диаконах нашел в ней место и был решен отрицательно, как прежде решали его митрополиты Петр и Фотий. Другая местная летопись отметила 1468 г. кратким известием о событии, совершившемся, по-видимому, немного раньше описанного совещания духовенства с городом: «Того же лета псковичи отставили от службы вдовствующих попов и диаконов по всей псковской волости, не сославшись и не спросившись ни с митрополитом, ни с архиепископом; и архиепископ Иона хотел за это положить на псковичей неблагословение, но митрополит Феодосий возбранил ему это». Здесь совершенно неожиданно имя митрополита Феодосия, который за 4 года перед тем покинул кафедру и вместо которого тогда занимал ее Филипп. Едва ли, однако, имя Феодосия явилось в известии псковского летописца по ошибке. Управляя митрополией, Феодосий настойчиво вооружился против распущенности московского духовенства, особенно вдовствующего, и пытался восстановить во всей строгости забытое правило Петра и Фотия о вдовцах. Бесплодная борьба заставила его отказаться от пастырской деятельности<sup>3</sup>. Но, вероятно, и в монастырской келии, куда он

удалился, он сохранил долю прежнего нравственного влияния, которым и сдержал гнев новгородского архиепископа на псковичей, когда последние обратили меру Феодосия против своего вдовствующего духовенства. Высказанные сейчас догадки подтверждаются еще тем, что в дальнейшем развитии происшедшего столкновения владыки с Псковом вопрос о вдовых священнослужителях выступает на первый план, и тогдашний митрополит Филипп становится на сторону Ионы, а не Пскова. Нельзя не заметить, что выписанное выше известие летописи представляет отлучение вдовцов от службы делом всего Пскова, т. е. веча, не одного духовенства. Отсюда можно заключить, что это новое вмешательство псковского мира в церковные дела именно и вызвало торжественное появление псковского духовенства на вече и, между прочим, его жалобу, что Псков вступается миром в духовные дела не по правилам. Чтобы обеспечить крепостной грамоте поддержку со стороны всего города, духовенство занесло в нее и постановление о вдовцах: допускало ли оно здесь невольную уступку своей пастве, или само согласно было с ее желанием удалить вдовцов от священнослужения, решить трудно. Восстанавливая в таком виде связь отрывочных известий, легко видеть, что крепостная грамота имела двоякую цель: одной стороной, как новая попытка установить церковное самоуправление Пскова, она была направлена против новгородского архиепископа, а с другой стороны, ограждала свободу действий местного духовенства от произвольных посягательств на нее городских властей.

Не делая полного разрыва псковской пасты с ее епархиальным архиепископом, новая попытка Пскова, однако ж, грозила самым существенным правам последнего, стесняла еще более, если не уничтожила совершенно, его влияние на церковный суд и управление в Пскове, ставя рядом с полузависимым наместником владыки другие, совершенно независимые от него выборные органы церковного суда и управления. Опираясь и на Номоканон и на содействие местного веча, крепостная грамота подвергала опасности очень чувствительные материальные интересы Софийского дома, державшиеся на обычае или усердии пасты к духовному пастырю; в то же время, открыто заявив на вече как признанный факт бессилие или нежелание новгородского владыки

установить правильный церковный порядок в Пскове, здешнее духовенство разрушало с практической стороны его пастырский авторитет, на место которого ставило какое-то самодельное церковное уложение с самодельными блюстителями, не получившими надлежащего благословения. Каноническая сторона вопроса остается в полумраке: все заинтересованные стороны заботились о ней всего менее и слишком перепутали ее своею небрежностью, непониманием или практическими сделками и интересами нецерковного свойства. В январе следующего (1469 г.) архиепископ Иона приехал в Псков. Он приехал с миром и принят был радушно, по старому: все священство с крестами и посадники с народом вышли к нему навстречу за город. Владыка благословил граждан, потом соборовал у Троицы с обычными церемониями. После того Иона призвал к себе на подворье псковских посадников и все духовенство и стал допытываться у них про крепостную грамоту.

— Кто это сделал так без моего ведома? — спрашивал он, — я сам хочу судить здесь, а вы бы ту грамоту вынули да подрали.

Духовенство и вече не хотели возобновлять недавнюю распрю с владыкой. Года за три перед тем они написали мирную грамоту и целовали ему крест всем Псковом. Теперь они решились уговориться с ним мирно, уладить дело «пословно». Все божие священство, посадники и весь Псков, «огадав», дали такой ответ о грамоте:

— Сам, господине, ведаешь, что пробудешь у нас недолго, а в короткое время дел наших нельзя тебе управить, потому что в последнее время у нас в церквах божиих стала смута большая, между священниками в церковных делах беспорядки такие, что и пересказать тебе всего не можем: знают то сзми, кто творит все эти бесстыдства. Вот об этом священство и грамоту выписало из Номоканона и в ларь положило по вашему же слову, как ты, господине, и братия твоя, прежние владыки, приезжали прежде в дом св. Троицы, вы сами велели и благословили священство всех соборов с вашим наместником, а нашим псковитином, всякие священнические дела править по Номоканону.

— Я, дети, доложу об этом митрополиту Филиппу, — сказал владыка, — и что он мне прикажет, сообщу вам. Вижу и сам из слов ваших, что дело это большое, между

христианами соблазн, в церквах божиих мятеж, а иноверным радость, что мы живем в такой слабости, и укоры от них за нашу беспечность.

Пробыв всего две недели, владыка побрал с попов свой подъезд и уехал; псковичи проводили гостя до рубежа, много честив и дарив его. Ни с той, ни с другой стороны не было речи о праве: обе стороны как будто чувствовали, что у них затрясется почва под ногами при этой речи. Потому они ссылаются только на факты, говорят друг другу не то, что законно, а то, что прилично в вежливой беседе, которую решили кончить без ссоры. Между тем каждая сторона думала про себя свое, особенно владыка. Он перенес дело на суд в Москву. Но посла туда пошлет он один, а в Москве также более всего любили факт, и с какой стороны являлся туда челобитчик с этим фактом в руках, та находила здесь поддержку. Притом владыка мог ссылаться на старину, а Москва в чужом деле любила стоять за нее: в капитале русской цивилизации старина — понятие, менее трудное для разумения, — с успехом заменяла тогда право, как кунья морда с металлическим гвоздиком при скудности чистого металла с успехом ходила в экономическом обороте вместо денежной ценности куньего меха.

Ровно через год по написании крепостной грамоты, в октябре 1469 г., в Псков приехали послы из Москвы от великого князя и митрополита с грамотой последнего и с послом от владыки. В грамоте своей митрополит писал, что он шлет всему Пскову свое благословение и богомоление по челобитью владыки Ионы и вместе с князем великим приказывает псковскому духовенству и всему Пскову положить священническое управление на богомольца их архиепископа, потому что тем делом искони дано управлять святителю, и об этом сам владыка шлет к ним теперь же своего человека. Этот человек сказал Пскову от имени владыки: вас, все священство и весь Псков, детей своих, благословляю: если те светительские дела на меня положите, увидите сами, что я лучше вас поддержу духовную крепость в священстве и во всяком церковном управлении. Псков со своим священством согласился, положил на своего богомольца-архиепископа все церковное управление, доверил ему надзор за исполнением правил Номоканона о священниках, а свою крепостную грамоту, вынув из ларя, порвал

и с этими решениями отправил посадника в Новгород к владыке и в Москву к великому князю. Не успел посол вернуться из Москвы, как Иона прислал в Псков с призывом: «Вдовье священники и диаконы ехали бы ко мне в Великий Новгород на управление». Трудно решить, подходил ли этот исключительный случай под условие договора 1348 г.: от владыки судить псковичей их брату псковичу, а из Новгорода их не позывать ни дворянами, ни подвойскими, ни софьянами. По-видимому, подходил, потому что касался дела из разряда таких, в которых владыки привыкли переносить свою пастырскую власть на посредников, например на своего псковского наместника, о котором говорит договор. Однако ж сопротивления владычному зову не было: Псков рад был решить дело о вдовцах, и последние поехали в Новгород охотно. Здесь владыка начал брать с них мзду, с кого по рублю, с кого по рублю с полтиной, и без всякого испытания разрешал им петь по-прежнему, давая им на то благословенные грамоты за своею печатью, не по правилам, как сам обещался всему Пскову по Номоканону править о всяком церковном деле и о священниках вдовствующих, — прибавляет в заключение псковский летописец, сильно недовольный таким исходом шумного и хлопотливого дела.

#### IV. Спор с латинами

Что особенно ясно сказалось в описанном споре псковского духовенства с владыкой — это взаимное недоверие обеих сторон и их равнодушие к праву, к точному, на нем основанному определению взаимных отношений. Потом нельзя не заметить, что псковское предприятие пало так легко от недостатка внутренних средств у местного духовенства, независимой церковной опоры, способной поддержать начатую попытку местного церковного самоуправления. Само духовенство в приводимой у летописца вечевой речи как будто невольно призналось в этом недостатке. Затяжное им дело направлено было одной стороной против неправильного вмешательства псковского мира, веча в дела духовенства, и, однако ж, единственным оплотом задуманной «духовной крепости», единственным поборником ее призван тот же

мир: «А нам о себе тоя крепости удержати немочно по-промежи себе», говорили священники на вече. Следовательно, судьба дела предоставлена была случайностям вечевого настроения и отношений веча к Новгороду. Побуждаемое равнодушием и недейтельностью пастырской власти владыки, духовенство попыталось само установить некоторый порядок в своих церковных делах, наиболее смущавших умы, но этот порядок стал разлагаться, прежде чем коснулась его с такой успешной осторожностью рука владыки. Скупой на подробности, объясняющие внутреннюю сторону событий, летописец, однако, отметил черту, прямо указывающую на это. Едва успело духовенство выбрать из среды своей блюстителей за исполнением крепостной грамоты, как по грехам встали клеветники на одного из них, попа Андрея Козу, и он сбежал в Новгород жить *к владыке*.

Но предприятие вызвано было убеждением пастыря в бессилии или в бездействии пастыря — мотивом, который бывал творцом великих дел, хотя не в Пскове и не в древней России. В мысли, отсюда вытекавшей, о необходимости призвать местные церковные силы к действию там, где сказывалось это бессилие, — в этой мысли надобно искать один из источников другого явления, не шумного и, по-видимому, не тревожившего владыку, но довольно заметного в деятельности псковского духовенства. В XV в. это последнее в каждом важном деле, касавшемся всей псковской церкви, является соединенным в несколько обществ или своего рода корпораций, *соборов*. Митрополиты в посланиях своих обращаются к псковскому духовенству всех соборов. В морозные поветрия посадники и весь Псков, погадавши и сдумавши со своими отцами духовными, со всеми соборами, ставили миром новую церковь, в которой при освящении служило литургию духовенство всех соборов. Всеми соборами духовенство являлось на псковском вече.

Ни происхождение, ни значение этих соборов не называются с достаточной ясностью в известных памятниках псковской истории. Трудно решить, в какой мере эти церковные союзы вызваны или внушены были стремлением городского населения обособиться в местные общества по концам или улицам. Во всяком случае объяснение, только отсюда заимствованное, было бы слиш-



ком поверхностно. Притом соборы не соответствовали псковским концам ни числом и ни какими другими заметными отношениями. Каждый собор имел средоточие около одной или нескольких церквей в городе, именем которых он назывался. До 1357 г. Псков имел всего один собор Троицкий, сосредоточенный около главного городского храма св. Троицы. В этом году образовался другой собор при храме св. Софии. В послании к псковскому духовенству, писанном около 1395 г., митрополит Киприан обращается еще к попам только двух соборов, Троицкого и Софийского. В первой половине XV в. (с 1417 г.) становится известен третий собор, Никольский, при церкви чудотворца Николая. Во второй половине к прежним трем соборам прибавилось три новых: в 1453 г. Спасский при церквях Спаса на Торгу и мученика Димитрия в Довмонтовой стене; в 1462 г. пятый при трех церквях Похвалы св. богородицы, Покрова и св. Духа за Довмонтовой стеной; первая из них была главной, по имени которой назывался собор; в 1471 г. возник шестой собор при церкви входа в Иерусалим. В первой половине XVI в. появился еще седьмой собор, на что указывают некоторые списки псковской летописи. Впрочем, среди этих соборов Троицкий продолжал сохранять первенство как старший по времени и важнейший по церковному значению для города и назывался «передним большим» собором; Троицкий причт пользовался привилегиями, каких не имело духовенство остальных соборов. В состав соборов входило духовенство не одного только города Пскова, но и его пригородов, а также сельских приходов и монастырей. Об этом можно заключить по составу шестого собора, в который вошли 102 священника и иеромонаха, а в 1402 г. причт главной соборной церкви Троицкой состоял всего из двух священников, одного дьякона и одного дьяка. Но еще яснее указывает на такой состав соборов одно известие псковской летописи XVI в.: в 1544 г. произошло раздвоение в псковском духовенстве: сельские и пригородские попы «откололись» от городских, «от всех семи соборов», и владыка дал отколовшимся особого старосту.

Новый собор открывался с ведома и согласия веча или городских властей. Местная летопись сообщает некоторые подробности об учреждении четвертого собора.

Несколько попов *невкупных*, не принадлежавших к прежним трем соборам, согласились и обратились к наместнику великого князя, к степечному и старым посадникам с челобитьем, быть бы в Пскове четвертому собору. В начале 1453 г. архиепископ приехал в Псков на свой подъезд и на старины. Наместник и посадники со своей стороны били челом отцу господину владыке Евфимию: «Благослови, господине, четвертому собору быть в Пскове». И владыка благословил попов некупных держать четвертый собор, совершать всedневную службу. Подобным же образом, по-видимому, учреждены были второй и пятый соборы, судя по кратким известиям летописи. Участия митрополита при этом незаметно. Несколько иначе учрежден был шестой собор. В 1471 г. священники некупные били челом Пскову; чтобы попечаловался, похлопотал у великого князя и митрополита о новом соборе. Посадники вместе с челобитьем от всей Псковской земли представили митрополиту грамоты, в которых священноиноки, священники и диаконы всех старых соборов просили митрополита благословить их на устройство шестого собора в Пскове, при церкви входа в Иерусалим, приводя в объяснение просьбы, что для того собора у них набралось уже 102 служителя церковных, священноиноков и священников. Митрополит отвечал на челобитье Пскова грамотой (22 сентября 1471 г.) посадникам и прочим классам псковского населения, благословляя их и соизволяя на устройство нового собора. Непосредственное отношение Пскова к митрополиту в этом деле, помимо епархиального архиерея, объясняется случайным обстоятельством: в то время не было архиепископа в Новгороде; избранный еще в конце 1470 г. Феофил до декабря следующего года не мог получить посвящения от митрополита вследствие тогдашних политических событий.

Средоточиями новых соборов становились городские церкви, из которых некоторые были построены недавно, так что количество соборных храмов в Пскове увеличилось вместе с умножением приходских церквей в городе. Так, псковские купцы в 1357 г. поставили деревянную церковь во имя св. Софии, а священники устроили при ней второй собор. Церковь Спаса, ставшая в 1453 г. средоточием четвертого собора, построена была в 1435 г. В 1442 г. во время мора псковичи поставили деревян-

ную церковь похвалы богородицы; в 1466 г. вместо деревянной явилась каменная; за 4 года перед тем храм этот сделался пятым собором в Пскове. Может быть, подобным же путем развивались и самые соборы по мере размножения и церковно-административного сближения приходских причтов и монастырских братств в псковской области. Но довольно трудно разглядеть основания, на которых слагалось соборное общество, и его внутреннюю организацию. Благословенная грамота митрополита Филиппа на открытие шестого собора описывает лишь внешнюю его сторону: священники, вступившие в собор, должны держать свою соборную церковь честно, со святым пением и чтением, по тому же уставу, как держат божественные правила в прежних пяти соборах, а петь должны по меделям; собор учреждается для вседневной службы; который священник не будет беречь церковного пения и чтения и не будет пристоять к церкви божией, тот примет вину и казнь церковную по правилам св. апостолов и св. отцов вместе с неблагословением от митрополита. Есть, однако, несколько следов церковно-административного и судебного значения соборов. Во главе духовенства, составлявшего тот или другой собор, стояли старосты *соборские*. Их надобно отличать от простых церковных старост, которыми в Троицком соборе бывали посадники и другие знатные миряне. Архиепископы обращались к соборским старостам в грамотах, писанных к одному духовенству и по делам чисто церковным, в которых они не обращались ни к кому из мирян; перечисляя различные классы псковского населения, владыки ставили старост соборских не среди посадников, бояр, купцов, а причисляли их к «сослужбникам своего смирения» вместе с игуменами и священноиноками<sup>4</sup>. Одной из административных обязанностей соборных властей была раскладка и исправный сбор подьезда и кормов в пользу архиепископа с духовенства, принадлежавшего к собору; за это отвечали старосты и священники собора. Напоминая об уплате недоимок и угрожая запрещением священнодействовать не заплатившим подьезда, архиепископ Феофил прибавляет в грамоте своей: «И то, старосты соборские и священники соборские, положено на ваших душах». Городское духовенство с соборскими старостами, очевидно, имело в соборной администрации, по крайней

мере в раскладке и сборе владычных кормов, преобладающее значение над сельским и пригородным одного с ними собора. В 1544 г., когда приехал в Псков владыка Феодосий, в здешнем духовенстве произошло большое смятение: сельские и пригородные игумены, попы и диаконы возбудили перед владыкой тяжбу против городских духовенства всех соборов за то, что городские попы взяли с них корма для архиепископа больше, чем с самих себя; обиженные отделились от городских однособорян, и владыка благословил их, дал им особого старосту, одного из городских же приходских священников. При такой обязанности соборские старосты имели непосредственное отношение к владычному наместнику. То же заметно в судебной и пастырской деятельности соборов. В 1469 г. псковское духовенство и посадники напомнили владыке Ионе, что он и его предшественники благословляли и велели всем псковским соборам со своим наместником и их братом псковитином всякие священнические дела править по Номоканону. Следовательно, в организации псковских соборов заметны некоторые черты, сходные с церковным устройством соседней, полоцкой епархии XV—XVI вв. Там главная соборная церковь в городе Полоцке была средоточием церковного управления для города и его округа. Протопоп соборной церкви, бывший вместе и наместником епископа, имел надзор над всеми церквями и монастырями как городскими, так и уездными; со своим клиром он составлял низшую инстанцию церковного суда в уезде и вместе с городскими властями наблюдал за имуществом церквей в городе<sup>5</sup>. Часть этих отпращиваний принадлежала, очевидно, и псковским соборам, хотя они не соответствовали церковно-уездному делению Полоцкой земли на протопопии и едва ли соответствовали делению горсда Пскова на концы, а его области — на пригороды с их уездами.

Из приведенных замечаний можно сделать несколько соображений о происхождении и значении псковских соборов. Новые соборы появляются с половины XIV в., с того времени, когда Псков добился политической независимости и вместе с ней некоторой доли автономии церковной. С особенной силой соборы размножаются во второй половине XV в., когда особенно расстроились отношения псковской паствы к владыке и в первой усили-

лось стремление отделиться совершенно от последнего. Соборы присвоили себе часть тех церковно-правительственных полномочий, которыми облечен был псковский наместник владыки. Следовательно, соборы вызваны были тем же стремлением Пскова, плодом которого был владычный наместник-пскович, стремлением обеспечить свою церковную самостоятельность и местными церковными средствами восполнить недостаток энергии владычной пастырской руки, не всегда достававшей до Пскова или равнодушно опускавшейся по получении с него пошлин и подвезда.

Эти церковные формы, сложившиеся в Пскове под влиянием скрытого или явного противодействия епархиальному архиерею, надобно сопоставить с теми внутренними духовными средствами, которые церковное общество Пскова имело или развило среди этой борьбы. С этой стороны неожиданны черты, встречающиеся в посланиях митрополитов Киприана и Фотия к псковичам. В конце XIV в. у псковского духовенства не было хорошего списка церковного правила, не было и других необходимых церковных книг. Киприан велел списать и послал в Псков устав службы Иоанна Златоуста и Василия Великого, также и самую службу и чин освящения в первый день августа, синодик цареградский правый, чин поминовения православных царей и великих князей, чин крещения и венчания; о других книгах, в которых нуждалось псковское духовенство, митрополит замечает, что они переписываются и будут пересланы в Псков. Тут же Киприан учит псковских священников, как надобно причащать народ. Митрополит Фотий называет псковских священников искусными в божественном писании, но из другого его послания в Псков видно, что здешнее духовенство было незнакомо с самыми простыми, элементарными церковными правилами и священники обращались к митрополиту с просьбою вразумить их и наставить. Тот же митрополит в позднейших посланиях своих упрекает псковских священников во множестве церковных беспорядков, указывает между ними некоторых, которые живут не в славу божию и не в честь своему знанию, а на людской соблазн, к церквам божиим не радуют и людей, приходящих в храм божий, только соблазняют своим небрежением, не умеют правильно совершать таинства; митрополит просит при-

слать к нему толкового священника, чтобы научить его церковным правилам, церковному пению и служению, обещает прислать в Псков недостающие там церковные книги. Один священник приобщил человека, не бывшего его духовным сыном и уже исповеданного и приобщенного его духовником. Мелкие соблазнительные распри возникали между белым и черным духовенством. Приходские священники жаловались Фотию на игуменов, которые имеют в миру между замужними женщинами дочерей духовных или, постригши перед смертью мирянина, не позволяют уже белому священнику вместе с собою ни провожать, ни отпевать, ни поминать того человека по смерти. Все эти явления помогали развитию церковных и нравственных беспорядков в среде мирян. Выше было указано, как некоторые члены псковского духовенства собственным примером увлекали паству к нарушению церковных правил о браке. Митрополиты упрекают псковских игуменов, священников и простых монахов в неприличном занятии торговлей и ростовщичеством, а мирян — в сквернословии, суевериях, в языческих обычаях: басни слушают, лихих баб принимают, зельями и ворожбами занимаются, великим постом устраивают бои и позорища бесчинные. В 1411 г. в Пскове торжественно сожгли 12 вещей женок за колдовство. Фотий в одном послании упоминает о каком-то мирянине в Пскове, самовольно присвоившем себе сан священника и совершавшем таинство крещения<sup>6</sup>. Эти явления происходили в то самое время, когда церковное общество Пскова смущаемо было проповедью стригольников. Можно утверждать, что одним из источников стригольничьей секты была вражда низшего псковского духовенства к высшей иерархии за ее церковные поборы, но несомненно, что главную пищу это раскольническое брожение находило себе в описанных церковных и нравственных беспорядках самого низшего духовенства, а первым и главным следствием своим имело подрыв доверия ко всей иерархии вообще, восстанавливало «народ на священники».

С такими внутренними средствами псковская церковь стояла на страже русского православия против столь близкого к псковским пределам латинства. Вековая борьба Пскова с ливонским рыцарством была борьбою не только за родную землю, но и за веру и с обеих сто-

рон принимала иногда вид религиозной мести. В 1460 г. псковичи, прося у великого князя помощи, жаловались, что приобщены от поганных немцев и водою и землею и головами и церкви божии пожжены погаными на миру и на крестном целовании. За год перед тем служивший тогда Пскову князь с посадниками и другими псковичами поехал на пограничную обидную землю, предмет давнего спора с немцами, которую Псков считал собственностью своей городской святыни — Троицкого собора. Приехав, псковичи покосили здесь сено и стали ловить рыбу по старине, поставили там церковь во имя архистратига Михаила, а попавшуюся в руки чужь повесили. Но скоро поганая латына, не веруя в крестное целование, на то обидное место врасплох напала, на землю св. Троицы, сожгла церковь и с нею 9 голов псковичей. Вслед за удалявшимися врагами погнались псковичи с князем и посадниками и, вторгнувшись во вражескую землю, также пожгли много людей обоего пола: мечь мстили за те неповинные головы, прибавляет летопись. Почти в то же время немцы напали на Псковскую землю со стороны реки Наровы. Псковичи отплатили и за это: зимой вошли в немецкую землю, наделали много «шкоты», повоевали на 70 верст, много пожгли и пограбили, выжгли большую немецкую божницу, сняв с нее крест и 4 колокола, и поймали немецкого попа, а эту мечь мстили псковичи за повоеванное на реке Нарове.

Эта борьба изошряла о камень политической и национальной ненависти те церковные различия, которые отделяли латинство от православия. Псковское духовенство спрашивало митрополита Фотия, как поступать с хлебом, вином и другими припасами, привозимыми из немецкой земли; митрополит отвечал, что их можно употреблять, впрочем, не иначе, как очистив предварительно молитвой чрез священника. Опасность увеличилась в XV в., когда литовско-киевская половина всероссийской митрополии отделилась от московской и потом подчинилась влиянию латинствующей греческой иерархии, принявшей церковную унию. Уже в 1416 г., указывая псковичам на церковный мятеж близ их границы, произведенный избранием особого киевского митрополита литовскими епископами, Фотий убеждал Псков хранить свои православные обычаи, избегая «и слышати тех

неправедных предел, отмечающихся божия закона и святых правил».

Однако, как ни сильна была вражда, она не уберегала от действия враждебной церковной силы. Резкость выражений в послании Фотия указывает только на степень опасности, грозившей из-за этих неправедных пределов, а не на возможность разорвать все сношения с ними, перерезать все пути влияния оттуда. Вслед за политическим соединением Литвы с Польшей, в начале XV в., римский престол праздновал свои первые победы в Литовско-русском княжестве. В дальнейших предначертаниях папы ставили на очереди ближайшие земли Московской Руси, Новгород и Псков: вместе с званием папских наместников в этих городах Рим слал Ягеллу и Витовту благословение и повеление всеми мерами подготавливать и там торжество латинства. Решительно заявлено было и намерение отделить православные епархии в Литве от московской митрополии. Но в 1426 г., когда были еще живы перекрестившиеся из православия вооруженные наместники папы, и Ягелло, и Витовт, новгородский архиепископ Евфимий в послании к псковичам пишет о людях, которые ездили из Пскова в Литовскую землю ставиться в попы или дьяконы и потом возвращались в свою епархию: владыка предписывает псковскому духовенству прежде допущения таких пришельцев к священнодействию осматривать у них ставленные и отпускные грамоты и требовать, чтобы каждый из них нашел себе отца духовного, который, исповедав его, поручился бы за него перед псковским духовенством; кто не представит ни грамоты, ни поруки, того принимать запрещалось. Владыка не доверяет этим ставленникам из Литвы и, однако ж, не возбраняет их появления на будущее время. Есть следы соприкосновения с латинством более глубокие. Уже в происхождении стригольничьих мнений подозревают влияния, навеянные с католического Запада. Еще неожиданнее то, что в церковной практике псковского духовенства указываются черты, заимствованные с той же стороны. Фотий со смущением и прискорбием пишет, что тамошние священники при крещении обливают младенцев водой по латинскому обычаю и в миропомазании употребляют латинское, а не царградское миро. Небрежность местного духовенства и беспорядочность церковных отноше-



ний облегчали подобные незаметные вторжения латинства в псковскую православную жизнь: на первую указывает в таком смысле сам Фотий; вторая открывается из совокупности явлений церковной жизни в то время.

Боролись не одним мечом: с половины XV в. вооруженная борьба не раз сменялась богословским прением. Неистощимой и возбуждающей приправой этой полемики стала флорентийская церковная уния. Два противоположные чувства, связанные с собором во Флоренции, производили особенно раздражающее действие на русских богословских борцов. Видя твердость, с какою великий князь московский отвергнул всякое соглашение с Римом во имя древнего благочестия, и сравнивая с ней малодушную уступчивость, с какою царь и патриарх Константинополя жертвовали чистотой православия на богопротивном осьмом соборе, русское сердце XV в. наполнялось непривычным беспредельным восторгом. «Как богонасажденный рай мысленного Востока, праведного солнца Христа, или как богом возделанный виноград, цветущий в поднебесной, сияя благочестием, веселится богом просвещенная земля Русская о державе владеющего ею великого князя Василия Васильевича, боговенчанного царя всея Руси, хвалясь мудростию обличения его, богоразумно обличившего и прогнавшего врага церкви, сеятеля плевел злочестия, тьмокровного Исидора и другого такого же развратника веры, ученика его Григория, от Рима пришедшего, латином поборника; величается св. божия церковь своими пастырями и учителями». Так начинается русский грамотей в 1461 г. свое полемическое повествование о флорентийском соборе; в том же тоне он и заканчивает свой рассказ: «Ныне, богопросвещенная земля Русская, тебе подобает с православным народом радоваться, одевшись светом благочестия, имея покровом многосветлую благодать господню, наполнившись Божиими храмами, подобно звездам небесным сияющими под державою богоизбранного божественника правому пути богоустановленного закона и богомудрого изыскателя св. правил»<sup>7</sup>. Одним нарушалось это торжественное и самодовольное настроение мыслей: столько ударов пало на православный Восток, а еретический Запад стоял невредимо, и католики кололи этим глаза православному миру. «Подумай господа ради, — писал позже известный Филофей псковскому

дьяку, — в какую звезду стали христианские царства, которые ныне все пограны неверными. Греческое царство разорено и не созиждается, потому что греки предали православную свою веру латинству. И не дивись, избранник божий, что латины говорят: наше царство Ромейское недвижимо стоит; если бы мы неправо веровали, не подерживал бы нас господь. Не подобает нам слушать их прельщения, прямые они еретики, своевольно отпали от православной веры, более же всего ради опресночного служения». Остается заметный пробел в этой нравственно-исторической диалектике псковского инока.

Сохранились отрывочные отголоски полемики, завязывавшейся во второй половине XV в. с православной стороны в Пскове, с католической — в старом русском городе Ярослав Юрьеве (Дерпте). Эти прения служили продолжением давней церковно-народной борьбы Пскова с ливонскими католиками и иногда также сопровождались жертвами взаимного раздражения. Таким образом, явились мученики и материалы для местной церковной эпопеи. Псков имел давнюю и тесную связь с Юрьевом. Здесь в Русском конце был православный приход при церкви св. Николая и великомученика Георгия, построенной псковичами. В 1471 г. при этой церкви служили два священника — Исидор и Иоанн. Первый часто состязался с неверными немцами о вере, убеждая их отступить от латинства и опресночного служения и принять крещение; этим он не раз подвигал на гнев безбожных юрьевских латин. В том году возобновилась борьба Ливонии с Псковом: безбожная латина расшвирилась на христиан, как рассказывает псковский повествователь об Исидоре (в XVI в.), умыслила воздвигнуть брань на богоспасаемый град Псков и на все церкви Христовы, на месте их поставить свои храмы и ввести опресночное служение. Незадолго перед тем получили безумные латины подтверждение своим проклятым ересям от папы Евгения, антихристово предтечи, на осьмом соборе и захотели совратить людей божийх в свою веру, к своему опресночному служению. Вошел тогда бес в одного юрьевского старейшину — в немца Юрия Трясоголова; восстал он на Исидора и его прихожан и нажаловался бискупу, капланам, старейшинам и всем католикам города: «Русский поп с своими христианами, которые в нашем городе живут, хулят

нашу чистую латинскую веру и опресночное служение, называют нас безверниками и развращают обычай нашей веры». Рассерженные бискуп и старейшины положили выждать большей вины со стороны православных. Видя, что латины задумали ласками и угрозами «соединить» обитателей Русского конца к своей вере, товарищ Исидора Иоанн удалился в Псков. 6 января Исидор с прихожанами вышел на реку Омовжу освящать воду; посланцы бискупа схватили их всех и с поруганием представили на суд в ратушу. На допросе бискуп стал принуждать православных к церковному соединению с католиками и к принятию опресночного служения.

— Не бывать тому, незаконный бискуп, друг сатаны и поборник бесов, сын погибели и враг истины, — отвечал Исидор, — не бывать тому, чтобы мы отреклись от Христа — бога нашего и от христианской веры. Мучь нас, как хочешь. Еще скажем тебе, безумный бискуп, и вам всем, незаконные латины, молим вас: пощадите свои души господра ради: ведь и вы, окаянные, тоже божие создание, отступите от проклятого опресночного служения. О богомерзкая ваша прелесть! Получили вы подтверждение своей веры от злоименитого папы Евгения и от других учителей злочестивой вашей веры, которые бороды и усы свои подстригают. Так и вы, окаянные, поступаете и пойдете в муку вечную с бесами, к отцу своему сатане в подземные места, в мгляную землю, где нет света и жизни.

Исидора с прихожанами посадили в тюрьму. Бискуп велел быть в Юрьеве торжественному съезду «всех держателей градских» юрьевского округа. Когда узники стали перед этим собранием в ратуше, бискуп начал ласково говорить им о вере:

— Теперь лишь послушайте меня и судей нашего города, повинитесь перед этим множеством немцев, сошедшихся на ваше позорище со всех городов моей области: примите нашу честную веру и опресночное служение. Наша вера одна с вашей. Не губите себя, будьте нашей присной братией; захотите — и вы будете держать свою веру, мы вам не возбраняем. Только теперь повинитесь предо мною и этим собранием.

Православные сурово отвечали на эти льстивые речи и повторили то же, что сказали на первом допросе. По решению судилища их всех в числе 72 человек побро-

сали под лед в Омовжу, там, где за два дня перед тем Исидор совершал водоосвящение.

Более мирный исход имело прение, бывшее несколько лет спустя в Пскове (около 1491 г.). Латинские монахи, «серые чернцы», из Юрьева прислали к псковскому дьяку Филиппу Петрову грамоту об осьмом соборе, которую он явил псковскому наместнику и посадникам. Потом серые чернцы сами явились в Псков и начали толковать о вере, были у священников, но идти в Новгород к владыке отказались. Псковские священники много потязали их от писания; при этом споре присутствовал и дьяк Филипп, описавший его в отписке к архиепископу Геннадию.

— Пала наш, говорили католики, с вашими архиереями соединили веру на осьмом соборе; и мы и вы христиане и веруем в сына божия.

Но говорить древнерусским людям о примирении с католицизмом без уничтожения обрядов последнего, считавшихся на Руси самыми ненавистными его особенностями, без уничтожения поста в субботу и служения на опресноках, значило предполагать в православной Руси способность примириться с богопротивным жидовством, т. е. в глаза смеяться над нею.

— Не у всех вера права, — отвечали псковские священники. — Если вы веруете в сына божия, то зачем последуете богоубийцам-жидам, поститесь в субботу и служите на опресноках и этим богопротивно жидовствуете?

Меньше тревожили, по крайней мере реже затрагивались, в русской полемической литературе того времени чисто догматические особенности католицизма. Одна из них была задета в описываемом споре.

— Еще вы говорите, — продолжали псковские священники, — «и в духа святого животворящего, от отца и сына исходящего», и этим беззаконно два духа вводите, в два начала сходите, в пропасть духоборца Македония ниспадаете. Много и другого делается у вас против божественных правил и соборов.

Осьмой собор был, разумеется, главным и наиболее раздражающим пунктом спора.

— А что вы говорите нам об осьмом сонмище, — возражали священники, — о скверном соборе латинском во Флоренции, нам это хорошо известно: то окаянное

соборище было на нашей памяти и кардинал Исидор едва утек от нашего государя великого князя и бедственно скончал в Риме живот свой. Мы о том соборе не хотим и слышать, отринут он богом и четырьмя патриархами; будем держать семь соборов вселенских и поместные, ибо в тех благоволил бог, как сказано: *Премудрость созда себе храм и утверди столпов семь*, что значит семь соборов св. отцев и семь веков, доводящих до будущего века, по Иоанну Богослову.

Много и другого отмолвили от писания господни священники тем студным латинам, прибавляет дьяк, оканчивая свой краткий рассказ о прении.

## У. Богословский спор

Общественный ли быт Пскова благодаря своим более тонким формам живее отражал на себе внутренние движения, или уже все русское общество в XV в. пережило такие сильные государственные и нравственные потрясения, которые прорывались и сквозь толстую оболочку, покрывавшую внутреннее содержание русской жизни, и прорывались заметнее в тех местах, где эта оболочка меньше их сдерживала, только в Пскове рядом с препирательствами, вызванными запутанностью внутренней церковной администрации и столкновениями с внешними врагами православия, сильнее чем где-либо в тогдашней России, проявилась церковная полемика отвлеченного свойства, вызванная вопросами из области богословия или того, что тогда принимали за богословие. И к этим вопросам теологической метафизики прилагалась та же логика, какую можно заметить в полемике псковичей с владыкой и латинами, та же наклонность делать из формы содержание при неохоте прикрывать дорогое содержание формой, способной защитить его от действия губительных исторических ветров.

В начале XV в. из подгородного псковского монастыря на Снетной Горе вышел инок Евфросин, чтобы углубиться в необитаемую пустыню и там, «аще будет господевы годе», основать свой монастырек. Тогда в русских монастырях действовало еще с полной силой это пустынное движение, обнаружившееся с половины XIV в. по причинам, которые недостаточно уяснены и уяснение

которых, может быть, еще более вскрыло бы и без того заметную силу, с какою чисто материальные общественные условия древней Руси действовали под аскетическими формами на характер, направление и судьбу русского монашества. Выселения из старых монастырей в лес для основания новых в одиночку или товариществами совершались тогда по всем углам Северо-Восточной Руси, и русские святцы сохранили нам имена лишь незначительной части этих первых усердных вырубателей старорусских лесов в таких местах, куда дотоле не отважвался проникнуть даже топор русского непосредного крестьянина. Поселившись верстах в 25 от Пскова, в пустыне на реке Толве, Евфросин собрал около себя братство любителей пустыни и основал обитель с храмом во имя трех святителей. Он родился в псковском крае и вырос в понятиях и отношениях вольной области, если только эти понятия и отношения могли положить на человека отпечаток, заметно отличавший его от людей других краев тогдашней Северной Руси. Впрочем, Евфросинов биограф XVI в., слишком знакомый с литературной техникой житий, умел заткать личность своего святого густою сетью привычных образов, моральных изречений, библейских текстов и аллегорических видений. Новый монастырь возник, как возникали почти все монастыри в тогдашних лесах Северной Руси. К одинокой хижине, поставленной отшельником в лесу, стали собираться другие монахи, подобно Евфросину уходившие из старых монастырей искать нового места для подвигов уединения; за монахами стала являться и «простая чадь пользы ради», ища назидательного поучения и примера. Когда собралась братия, святой построил для нее церковь, начал рубить лес вокруг обители и пахать землю, «нивы страдати», чтобы тем кормиться. Но потом явились христоробцы, начавшие веру держать к новой обители, приносили милостыню и села давали на ее устройство, в наследие вечных благ. Монастырь Евфросина рано завязал тесные связи с городом Псковом. В числе первых иноков его был один зажиточный пскович с четырьмя сыновьями. В числе первых христоробцев, поддерживавших монастырь своими приношениями, был один псковский посадник. Эти связи установили или поддерживали близость между монастырем и городом и в духовных интересах церковной жизни.

Биограф Евфросина указывает в нем одну черту, выходящую из ряда обычных явлений, сопровождавших русское пустынножителство того времени. Рано появилась у Евфросина одна богословская забота, давно тревожил его тяжелый отвлеченный вопрос о пресвятой аллилуии, о том, двойть ли ее или троить в церковном пении. Он, по-видимому, не разделял теологической осторожности большинства современных ему русских подвижников, об одном из которых ученик — жизнеописатель замечает, что он «в догматах велико опасение и ревность имяше, аще и мало кто кроме божественного писания, начинаше глаголати, не точию слышати не хотяше, но и от обители изгоняше». Вопрос об аллилуии по самому существу своему заставлял Евфросина искать его разрешения в источниках церковного ведения, лежавших «кроме божественного писания». Прежде всего преподобный обратился к местным церковным авторитетам, много вопрошал о нем у старейшего церковного люда, «от церковные чади старейших мене», по словам самого Евфросина, записанным в его житии. Но никто из церковной чади Пскова не мог протолковать ему ту великую вещь божественного любомудрия: сами они тогда волновались этим вопросом, полагая великий раскол и разногласие посреди христовой церкви; одни двоили пресв. аллилуию, другие троили. Устроив уже свою обитель, Евфросин решился искать вразумления у церковного авторитета, более отдаленного, но и более надежного. «Братия, — говорил он, созвав иноков своего монастыря, — помышляю ити к царствующему граду, потому что от юности много труда и подвизания положил и безмерною печалию сетовал о пресвятой аллилуии; иду к святейшему патриарху в Царьград, где возсияла православная вера, и узнаю там истину о божественной аллилуии: если там двоится, то и я буду двойть, а если там троится, то и я буду троить». Евфросин простился с братией и отправился в далекое догматическое странствие. Прибыв в Царьград, он вошел в соборную церковь во время службы, после которой патриарх Иосиф пригласил его к себе в келью. Здесь была у них долгая беседа о тайне аллилуии. Патриарх благословил русского странника и повелел ему двойть святую аллилуию. После того Евфросин прислушивался к пению в соборной церкви, обошел святые

места и монастыри в области Царьграда, навестил и пустынных молчальников: везде он находил подтверждение патриаршего приказа о пении аллилуии. Прощаясь с Иосифом перед отходом в обратный путь на родину, Евфросин получил от него икону богородицы в знак благословения и писание о божественной тайне пресвятой аллилуии. Владыка напутствовал его словами: «Мир ти, чадо, пустынное воспитание! иди с миром и спаси душу свою, и бог буди с тобою и наше благословение, и падут соперники под ногами твоими, приразившись как волны морские к твердому камню: камень не сокрушится, а волны разобьются». Воротившись в свой монастырь и передав братии вместе с иконой патриарха и его писание об аллилуии, Евфросин ввел в чин церковного пения для своей обители сугубую аллилуию «по преданию вселенского патриарха». Этот чин не был простым обрядом в мнении Евфросина, но выражал догматическую мысль, «еже славословити едиными усты божество же купно и человечество единого бога славяще в животворящей аллилуии».

Так рассказывает Евфросиново житие. Этот рассказ издавна служил камнем преткновения для церковно-исторической критики. Набрасывая сомнение на все его подробности, особенно находили подозрительным три черты. Невероятным считали, чтобы в псковском духовенстве уже во время юности Евфросина, т. е. в самом начале XV в., существовало разномыслие по вопросу о пении аллилуии, чтобы некоторые и тогда сугубили ее. Потом находили много странного и невероятного в повествовании о путешествии Евфросина в Царьград, во времени, к которому житие относит это путешествие. Наконец, решительно отвергали как невозможность и клевету на греческую церковь XV в. известие жития, что Евфросин нашел обычай двоения аллилуии в цареградских церквях и монастырях, что сам патриарх дал русскому страннику подтверждение этого обычая. Источник всех этих невероятных или совершенно невозможных известий видели в отдаленности жития, написанного в половине XVI в., от времени описываемых им событий и в произволе авторской фантазии биографа. Основанием критики или ее исходным пунктом служила, собственно, мысль о невозможности того, чтобы пустынножитель XV в., причисленный русскою церковью к лику святых,



был приверженцем церковного обычая, ставшего потом, через 200 лет, одною из особенностей русского раскола.

Может быть, не одушевляясь этим практическим побуждением, критика не была бы так строга к произведению Евфросинова биографа пресвитера Василия, который по литературному характеру своему принадлежит к числу самых обыкновенных мастеров житий в XVI в. и очень мало отличался литературной изобретательностью. Большую часть своего повествования он заимствовал из старого сказания о Евфросине, ограничив свое литературное участие в этом заимствовании незначительными стилистическими поправками, сокращениями да более правильным расположением отдельных рассказов, беспорядочно рассеянных в повести его предшественника. Дошедшая до нас в редком списке повесть о Евфросине содержит в себе немало указаний на то, что она не переделка труда пресвитера Василия, а именно то писание «некоего прежнего писателя», из которого полными руками черпал этот позднейший биограф и о котором он отозвался нехотливо, сказав, что оно написано «некако и смутно, ово zde, ово инде»<sup>8</sup>. Почерк списка этой повести относится к началу XVI в., а Василий писал житие Евфросина в 1547 г.; автор является в ней иноком Евфросинова монастыря, а Василий писал это житие, по его словам в другом сочинении, «мне еще в мире сущу и белые ризы носящу», и никогда не был иноком той обители; автор повести говорит о своих сношениях с игуменом Евфросинова монастыря Памфилом, которого не знал и уже не застал в живых Василий; состав повести вполне соответствует отзыву о ней Василия; ряд посмертных чудес Евфросина прерывается в повести на четвертом чуде, а в труде Василия продолжен 15 новыми позднейшими чудесами; повесть, обращаясь к христолюбивому граду Пскову, называет его еще «землею свободной», а Василий, писавший после катастрофы 1510 г., нашел уже политически приличным пропустить эти слова в своем переложении, хотя и в его время не существовало цензуры, слишком чуткой к политическому приличию.

Таким образом не один Василий виноват в том, что он рассказывает об аллилуйи и о хождении Евфросина в Царьград за правдой об ней: он составил свой рассказ по известиям, какие нашел у своего предшественника,

а обвинять в произволе необузданной фантазии, в вымыслах повествователя, писавшего лет 20 спустя по смерти святого и в его монастыре, где в то время находилось еще столько живых обличителей, современников Евфросина, — обвинять его несколько труднее, чем пресвитера Василия, писавшего спустя 66 лет после кончины Евфросина.

Хронологические сомнения критики в рассказе о путешествии Евфросина в Царьград успокоены издателями жития, написанного Василием<sup>9</sup>. Самый факт путешествия, как и его цель, едва ли может тревожить ученую подозрительность. Евфросин ходил к патриарху раньше Флорентийского собора, до 1437 г., «в добрую пору, в самый благодатный цвет и во время прекрасные тишины нерушимые веры во Христа, еще бо не обладач бысть тогда богохранимый Константин-град от поганых бесермен», как писал Евфросин в послании к новгородскому архиепископу Евфимию; биограф со своей стороны замечает, что это было «за долго лет» до взятия Царьграда. В то время византийский и славянский православный Юг сохранял еще большую долю своего церковного авторитета в глазах русских; до нечестивого сонмища в Италии там еще видели прекрасную тишину нерушимой веры. Продолжались еще довольно тесные взаимные связи, оживляемые обоюдосторонними странствованиями с набожной или практической целью. Если основатель псковского монастыря ходил в Царьград, чтобы разрешить свое недоумение об аллилуии, то учеником его и иноком его монастыря на Толве был преп. Савва (впоследствии основавший Крыпецкий монастырь в 15 верстах от Евфросинова), о котором псковское предание, занесенное в его житие и уже разделившееся в XVI в., помнило, что он пришелец из чужой страны, но выводило его то из Сербской земли, то со Святой Горы<sup>10</sup>. Это по крайней мере значит то, что такие явления считались возможными в XV в. Напрасно было бы останавливаться на некоторых мелких чертах в рассказе Василия о пребывании Евфросина в Царьграде, которые могут показаться подозрительными. Этот рассказ составлен по неполным признаниям, какие сделаны самим Евфросином в послании к Евфимию или вырвались у него из уст во время спора и со слов свидетелей полемики записаны первым повествователем. Тогда ни про-

тивники, ни сторонники Евфросина, очевидно, не сомневались в его путешествии. Но неточности, может быть, допущенные здесь позднейшим биографом, не изменяют сущности факта.

Остаются два тревожных для критики вопроса, тесно связанные взаимно: 1. Вероятно ли, чтобы в некоторых местах псковской области существовал церковный обычай сугубить аллилуию уже в начале XV в.? 2. Вероятно ли, чтобы этот обычай находил поддержку где-нибудь на Востоке, в византийской церкви? Евфросин не вынес этого обычая из Константинополя, а искал там только его оправдания. Споря с посланцами Иова, он говорил: «Когда еще был я юн и не был монахом, я много труда положил, много думал и молился о тайне аллилуии». В послании к архиепископу Евфимию он пишет: «У меня от юности обычай двойть божественную аллилуию, а не тройть». Начиная рассказ о споре Евфросина с Иовом, биографы уверяют, что «тут утвердился один обычай у всех псковичей по мирским и по монастырским церквям тройть аллилуию» и что только в Евфросиновом монастыре отступали от этого обычая. Биографы не только не преувеличивали действительности в известии о двоении аллилуии, но даже стесняли ее размеры. Находим достаточно указаний на то, что в конце XIV и в начале XV в. не только в псковской области, но и в других частях новгородской епархии по местам употреблялась сугубая аллилуия и этот обычай является в связи с примерами, приходившими с византийского или славянского юга. Не заходя далеко в глубь старины, ограничимся указаниями памятников, относящихся к обозначенному времени, к XIV—XV вв., выражая при этом предположение, что ближайшее знакомство с письменностью древней Руси значительно увеличивает известное нам количество этих указаний.

В одном списке Златоуста, входившем в состав новгородской Софийской библиотеки и относящемся к XIV—XV вв., помещена статья о «петьи мэфимона» с прямым указанием, что во время составления ее многие двоили аллилуию<sup>11</sup>. Известна рукопись, содержащая в себе псалтирь следованную киприанова письма (т. е. митрополита Киприана, умершего в 1406 г.); здесь в чине вечерни и утрени несколько раз указано петъ: «аллилуиа, аллилуиа, слава тебе, боже» — трижды<sup>12</sup>. Эта

псалтирь киприанова письма имела значение образца, с нее списывали, переноса в списки и сугубую аллилуию. Между рукописями той же библиотеки находим псалтирь с воследованием, «Киприанов перевод», письма XV—XVI вв., где в последовании вечерни и утрени аллилуия обозначена совершенно так же, как в следованной псалтири киприанова письма<sup>13</sup>. В одной частной рукописной библиотеке хранится ветхая псалтирь, пергаменная рукопись, писанная не позже XVI в. и сильно попорченная временем: здесь после псалма СXXXIV явно читается заметка кинобарью: «аллилуиа сугуби». По некоторым особенностям языка и транскрипции в этой рукописи можно с большою вероятностью утверждать, что она не русского, а южнославянского и именно сербского происхождения<sup>14</sup>. Известно далее, что в начале XV в. псковское духовенство, обращаясь с различными церковными недоумениями к митрополиту Фотию, спрашивало его и о том, как петь аллилуию, и Фотий, отвечая им в 1419 г., указывал именно трюить этот церковный припев: это заставило преосв. Макария сделать очень естественное предположение, что некоторые в Пскове уже тогда пели или хотели петь аллилуию не так, как научает в послании митрополит Фотий, т. е. не трижды, а, вероятно, дважды<sup>15</sup>. Во второй половине XV в. псковичи, оставшиеся верными троению аллилуии, винили по обычае двоить ее именно греков, указывали на них, как на соблазнительей, распространивших этот нечестивый обычай. Сохранилось послание неизвестного по имени псковского троицкого соборянина к игумену Афанасию, стороннику Евфросина и сугубой аллилуии<sup>16</sup>. Здесь читаем: «Аще ли по Еллинох дващи глаготыи стихове и их творец в вселеньстей и апостольстей церкви именоватися?.. Но и ныне веде, отче, яко от Греческия земли развратился еси... Уже мерзость и запустение, реченное пророком Даниилом, на месте святем стоит, сиречь на соборней и апостольстей церкви Константинаграда... Уже бо прочии погибоша, глаголавшей двократы (аллилуию); и мы да не такоже погыбнем». Энергичность этих выражений свидетельствует о силе распространенного тогда в псковском духовенстве мнения, что двоение аллилуии опиралось на византийский авторитет. Автор послания не отвергает этого основания двоителей: он указывает только на ненадежность самого

авторитета. Наконец, один грек, известный современник новгородского архиепископа Геннадия Димитрий оставил нам свидетельство, которое подтверждает все вышеизложенное и одно достаточно объясняет рассказ Евфросинова биографа о хождении преподобного в Царьград. В 1493 г. он писал Геннадию из Рима: «Велел ты мне, господин, отписать к тебе о трегубном аллилуиа. Высмотрел я в книгах: но, господин, того и здесь в книгах не показано, как говорить, трегубно или сугубно. Но помнится мне, что и *у нас* о том спор бывал между великими людьми, и они решили, что все равно, потому что трегубное аллилуиа, а четвертое *слава тебе, боже* являет триипостасное единосущное божество, а сугубое аллилуиа являет в двух естествах единое божество (надлежало бы сказать, замечает преосв. Макарий: в двух естествах единое лицо Христа-бога). Потому, как ни молвит человек тою мыслию, так и добро». На этом основании Геннадий безразлично допускал и двоение и троение аллилуии, хотя как за той, так и за другой формой признавал догматический смысл, подобно греческим «великим людям».

Изложенные свидетельства письменности XIV и XV вв. достаточно объясняют, каким образом мог Евфросин с юности усвоить себе обычай двоить аллилуию и как потом мог он найти подтверждение этого обычая на юге, в греческой церкви. Неизвестно, когда закралась сугубая аллилуия в пределы новгородской епархии, но, очевидно, она уже употреблялась здесь по местам и вызывала порицание со стороны приверженцев троения, несомненно преобладавшего. В XV и в начале XVI в. незаметно следов полемики по этому вопросу в Москве. Но есть указание на то, что сугубая аллилуия была известна и здесь за много лет до Стоглавого собора. Современник, описывавший кончину великого князя Василия Ивановича, по-видимому близкий ко двору москвич, пишет, что князь, томясь предсмертными муками, пел сугубую аллилуию. «А противу недели тоя ноши, коли причастися пречистых таин, и утишися мало и начат аки во сновидении пети: аллилуиа, аллилуиа, слава тебе, боже». Потом, высказав желание постричься в присутствии митрополита Даниила, великий князь сказал ему: «Тако ли ми, господине митрополит, лежати? И начат креститися и говорити: «аллилуиа, аллилуиа, слава

тебе, боже»<sup>17</sup>. Трудно решить, откуда проник сюда этот обычай; из новгородской ли епархии, или из книг, подобных указанным выше псалтирям. Но в XV в. и двоившие и троившие аллилуию одинаково, хотя и с различными чувствами, указывали на византийский юг, как на источник двоения или авторитет, оправдывающий своим примером этот обычай.

Таким образом, нет ничего невероятного в главных обстоятельствах, которыми биограф окружает происхождение спора, завязавшегося между Евфросином и троившими аллилуию. Рассматривая этот спор вообще, как факт из умственной русской жизни XV в., так же трудно найти в нем что-нибудь несогласное с характером эпохи или общества. Вторая половина XV в. была именно временем казуистических вопросов в истории нашей духовной жизни, и мы пытались указать причины этого явления в настроении русского церковного общества того времени. Но в этих вопросах, поднявшихся в XV в., отразилось лишь давно сложившееся и удивительно долго жившее направление русского мышления. Древняя Русь так же хорошо была знакома с игрой в богословские термины, как новейшая — с игрой в термины естествознания; но если она не оставила резкого выражения своей боязни перед богословской мыслью, то потому только, что нечего было бояться. Отвергать этот двойной факт прошлого — значит совершенно не знать русской современности. Нельзя отвергать направления, путем преемственной передачи оставившего столько живых, цельных, нетронутых временем представителей не только в среде раскола, но и в том кругу нашего богословствующего мира, который почему-то усваивает себе особенное призвание в борьбе с расколом, но, ощущая больше развязности в своем языке, чем в пере, предпочитает воинствовать не литературной полемикой, а устным обличением, открывающим широкий простор для практических аргументов и в то же время позволяющим забыть обязанность логической последовательности. Это — прямое наследие нашего прошлого XV в., когда мышление, воспитанное на эпических образах и мелких житейских казусах, от сказки, загадки и пословицы перешло с теми же приемами к трактатам о глубочайших истинах христианства. Потому-то и есть так много сходного между теми и другими, между этими и многими загадками и

пословицами, с одной стороны, и этими книжными трактатами — с другой. Из множества образчиков, наглядно указывающих на перенесение одних и тех же форм мысли с одного содержания на другое, — образчиков, изобильно рассеянных по древнерусским рукописям, приведем несколько далеко не самых выразительных.

*Вопрос.* Иже всю вселенную сотворизый и пядию измеривый небо, а дланию землю, той же единою дланию покрыть бысть?

— *Ответ.* Иоанн возложи на Христа руку во Иердани.

*Вопрос.* Прииде богатый к нищему, много имея, и единого не имеяше, и дасть ему нищий?

— *Ответ.* Христос прииде ко Иоанну, не имеяше крещения.

*Вопрос.* Древян ключ, водян замок, заец убеже, а пловец погыбе?

— *Ответ.* Моисей удари жезлом море и пройде, а Фараон потопе.

*Вопрос.* Который пророк дланию седьмь небес покры?

— *Ответ.* Еда предтеча господа крести и на него руку положи во Иердани, то есть седьмь небес покры.

*Вопрос.* Что есть: живой мертвого боится, а мертвый кричаще и на глас его вси людие течаху, да спасутся?

— *Ответ.* Живой есть пономарь, а мертвый есть клепало церковное.

Есть одна неясная черта в рассказе обоих биографов Евфросина о споре, им вызванном. Этот спор произошел, когда в Пскове было пять соборов. Пятый собор утвержден на псковском вече в 1462 г. Но биографы поместили в своем рассказе написанное вследствие спора послание Евфросина к новгородскому архиепископу Евфимию и ответ последнего Евфросину. Владыка Евфимий II умер в 1458 г. Оба письма так просты и естественны, что не располагают исследователя сомневаться в их подлинности. Притом наша полемическая церковная литература, вообще не дружелюбная к исторической критике и доверчивая, всегда была так скептически строга к рассказу позднейшего Евфросинова биографа, так много в нем отвергала, что критическая осторожность беспристрастного исследования располагает больше к доверчивости, чем к сомнению. Наконец, первый

гвествователь делает искреннюю, по-видимому, характеристику владыки Евфимия, которую за эту искренность пресвитер Василий почел нужным опустить в своем изложении. «Архиепископ Евфимий был свят жизнью и имел простой обычай в книжной премудрости, вместе с тем и к законному рассуждению неглубокий искус учительства имел, и потому ничего не управил и не рассудил святому об аллилуии, но только отписал к нему в таких словах». Все это не позволяет остановиться на предположении, что составитель подложных писем, мало знакомый с временем жизни последних новгородских владык, по ошибке поставил в своем неблаговидном литературном издании имя Евфимия вместо преемника его Ионы, столь памятного в новгородской епархии и скончавшегося лет за 30 до составления повести древнего биографа. Более вероятной представляется ошибка в числе псковских соборов, при которых происходил спор: может быть, автор древней повести поместил в рассказе пять соборов, когда их было еще всего четыре; может быть, пятый собор начал слагаться при построенной в 1442 г. церкви похвалы богородицы и начал уже действовать как церковная корпорация, прежде чем псковское вече по просьбе составивших его «невкупных попов» формально признало его существование. Эти соображения заставляют отнести спор к последним 1450-м годам (1457 или 1458).

Когда Евфросин, воротясь из Константинополя, установил в своей обители обычай двойть аллилуию, жил в Пскове священник Иов, известный всему городу своим смысленным разумом и умением толковать всякое писание, ветхое и новое, искусством много говорить от писания и изъяснять силу книжную. Псковичи, духовные и миряне, привыкли спрашивать у него объяснения всякого неясного места в писании, справляться у него о церковном устройении, о вопросах церковного чина и права, и «всласть» слушали его учения. За это все в городе почитали его, звали дострочным философом и столпом церковным. По-видимому, это был тот самый священник Иов, которого около 1427 г. духовенство трех псковских соборов посылало к митрополиту Фотию с жалобой на беспорядки в церковной жизни Пскова<sup>18</sup>. Способности и общий почет внушили гордость и самознание ученому священнику, не дав ему искусства вла-



деть собою. Биографы Евфросина повествуют, что, овдовев, Иов распopilся и женился в другой, потом, после второго вдовства, в третий раз и, однако же, не потерял своей чести и славы среди псковичей «вины ради распopilные». Этот рассказ достаточно объясняется митрополичьими посланиями в Псков, откуда видно, что в то время овдовевшие священники в Пскове не только женились вторично, но иногда и после этого продолжали священствовать. Поступок Иова был довольно обычным явлением и потому мог сохранить за ним по крайней мере долю прежнего авторитета в мнении горожан. При этом, конечно, мы предполагаем, что рассказ биографов точно передает хронологическое отношение событий, что Иов распopilся до спора, а не после: в последнем случае еще менее остается невероятного в этом рассказе. Иов не сложил вместе со званием своей учительной кичливости и притязательности: он продолжал одних учить, других осуждать, одним предписывать законы, другим указывать заповеди, священникам уставлял чин церковной службы, был законодателем и для иноков, учительствовал не только в городе, но и в его окрестностях, наблюдал за чином служения и образом жизни отдаленных монастырей. Услышал он, что на Толве живет какой-то старец, который в монастыре своем двоит аллилуию, наперекор обычаю большинства псковских церквей и монастырей. Не стерпел этого своеволия достроичный философ. Откуда взял старец этот обычай и где научился ему, спрашивал Иов в негодовании: или тот пустынный разумеет лучше великих соборов наших, от которых вся псковская страна учением просвещается? Он принялся со многими укоризнами наговаривать на Евфросина священникам и всему причту городских соборов.

— Господа священники и христоролюбивые люди! Есть старец на реке Толве живущий, по имени Евфросин. Все мы считали его человеком Божиим за его премногую добродетель, за воздержание и постные труды, за строгое исправление монастырского чина по скитскому уставу; а он, как один из безумных, в суету живот живет, всеу все труды его, как мерзость, негодная богу, потому что установил он в монастыре своем обычай двоить пресвятую аллилуию, разрушая этим правило церковное и обычай, которого мы согласно держимся

«по уставу письменному». Подобаает нам теперь восдино собраться и с испытанием допросить того черноризца в его монастыре, откуда взял он такую вещь и кто научил его двоить св. аллилуию.

Несмотря на свой острый разум, Иов скоро дошел до последнего аргумента, которым, к сожалению, так легко и часто кончается церковная полемика: он стал называть Евфросина еретиком за двоение аллилуии. Впрочем первые речи Иова не встретили большого сочувствия в духовенстве и мирянах Пскова: здесь так привыкли чтить пустынноика за его подвиги, что наговоры Иова не вызвали большинства ни на одно «тяжкое слово» против Евфросина. Только немногие из духовенства и народа пристали к псковскому «столпу». В числе их находился бывший диакон Филипп, подобно Иову сложивший с себя духовное звание вследствие вторичной женитьбы, также очень ученый в писании ветхом и новом, с развязным языком и скорым словом, с пространым умом и быстрым помыслом, премудрый «дохтор» на книжную силу и изящный, многоречивый философ. Высказано было предположение, что этот бывший диакон — тот самый псковский диак Филипп Петров, который в послании к архиепископу Геннадию описал прение католических монахов с псковскими священниками<sup>19</sup>. Если эта догадка справедлива, то она объясняет близость расстриг Иова и Филиппа к духовенству псковских соборов, о которой говорят биографы Евфросина. Оба защитника тройной аллилуии начали ковать обличение на толвского подвижника. Присоединив в помощники к Филиппу одного священника, также мудрого философа, и вооружив их наставлениями своего «высокого разума», Иов послал обоих «непреборимых витий, уметелей книжной глубины», в монастырь к Евфросину, чтобы обличить и опровергнуть его самочинный обычай. Но они не были вполне уверены в возможности победить Евфросина своим витийством: они знали, что и пустынноик силен книгами и хорошо ведал многую глубину божественного писания, сокровенные тайны доведомых и неведомых вещей. Поэтому Иов написал от имени Троицкого собора, к которому, вероятно, принадлежал прежде, обличительное послание: в случае, если полемические силы посланных витий ослабеют в борьбе с таким опасным противником, они должны

были вручить ему это послание как последнее и неотра-  
зимое орудие против него.

Прибыв в монастырь и вкусив от монастырской трапе-  
зы, философы сели в кельи Евфросина на долгую беседу.

— Зачем навестили вы грешного человека, во всякой  
слабости и неисправлении перед богом присно живу-  
щего? — спросил их Евфросин.

У гостей нескоро развязался язык. Они смотрели  
в разные стороны, переглядывались между собою. Пост-  
ническое лицо святого смущало их, сокрушало их мысль;  
от взглядов его таяло, как снег, буйство их сердца. Они  
уже подумывали о послании Иова. Потом, приободрив-  
шись, один из них сказал:

— Позволь нам невеждам, отче святой, спросить  
тебя об одном слове, которое имеем мы к тебе от Иова  
Столпа и от других церковных чад. Многие люди вос-  
колебались, тяжкое слово говорят на твое преподобие  
за предложение великой церковной вещи, святой алли-  
луии. Мы пришли теперь наставить твой разум и шадим  
седины твоей старости, чтобы вконец не восстали на  
тебя все наши церковные соборы и с ними все народное  
множество города Пскова. Смотри, как бы без лепоты  
не скончать тебе своей старости; оставь, отче, свое на-  
чинание, говорим тебе прямо.

— Говорите, братие, обличайте прямо грехи мои, —  
отвечал Евфросин. — Я знаю и сам, что много грехов  
ношу от юности моей и донныне во зле пребываю, дожи-  
ваю старость свою нелепо пред богом и людьми. Так  
обнажайте, братие, словами вашими любимое терние,  
неисчетные грехи мои.

— Ты, отче, колеблешь церкви божии, мутишь бла-  
годатный закон среди них, а мы как от лютой бури по-  
гружаемся в волнах от твоего разногласия. Все церкви  
божии по всей земле нашей творят по уставу пресв.  
аллилуию; так подобает всякому христианину; а ты не  
так, ты самочинием дерзнул переложить на свой обычай  
ведомую всем великую церковную вещь. Скажи, откуда  
взял ты это, у кого научился говорить дважды пресв.  
аллилуию?

— Я, отцы мои, много грехов стяжал перед богом  
с крещения моего и доселе, — сказал Евфросин по-преж-  
нему тихо и кротко. — Но молю вас господра ради, от-  
пустите мне мои тяжкие беззакония. А что спрашиваете

вы меня о пресвятой аллилуии, то я желал бы сперва от вас слышать силу слова о ней. Вы, конечно, уже знаете и хорошо испытали глубинную тайну аллилуии: так покажите мне словом уст ваших искомую глубину, откровение премудрости божией, чтобы уразумел я мудрование ваших слов и ясно узнал, о чем вы меня пытаете. Будет добро ваше свидетельство о боге, и я приму наставление от вас; не будет добро, и я не вразумлюсь от вашей беседы. Сказано: *с преподобным преподобен будеши и со строптивым развратишися.*

— Мы, отче, не убавляем божества от единосущной троицы и не умаляем Христа, единосущного отцу слова и присного пресвятому духу, но еще величием исполняем божество, почитаем Христа в троице единого бога и совершенного в божестве и человечестве; ставим прямо перед тобою праведного послуха и свидетеля, могущего обличить твое нечестие, самую ту пресв. аллилуию, которую мы все трижды воспеваем, прославляя Христа в троице единого бога, троицу почитаем, утрояя пресв. аллилуию: аллилуия отцу, аллилуия сыну, аллилуия святому духу; и потом единого бога изображаем, когда после каждой утроенной аллилуии поем: *слава тебе, боже.* Где утроена аллилуия, там купно отец и сын и св. дух, единосущная троица, бог совершен, купно же слово божие плоть бысть, как человек совершенный и так совершенно славим его, исполняя все, и божество, и человечество. Вот почему троим мы пресв. аллилуию, соединяя славою неразделимого и неразлучного отца и сына и св. духа, плотью слова бога Христа, сына божия. Ты же, отче, не так держишь, как мы и вместе с нами весь христоименитый народ псковичей: ты одним двоением аллилуии не исполняешь божества; тем ты и умаляешь Христа, убавляешь славу его от божества и человечества. Напоминаем тебе это, вразумляя тебя. Мы не знаем, откуда навыв ты неправедно двойть единый троичный свет пресв. аллилуии, но знаем, что ты явно нечестуешь бога и всеу живот живешь, без ума проводящая свои годы, и все труды твои, как мерзость, неуютны пред богом.

Ефросина большее всего тронуло обвинение его в том, что своим двоением аллилуии он убавляет славу божию, умаляет Христа и делает труды свои неуютными пред богом. Распалив сердце свое пламенем ревности по

боге, он поднял брошенное ему тяжкое слово и простер словесные крылья к высоте боговедения.

— Братия мои возлюбленные! Никто не может сделать волос белым или черным или один локоть прибавить к своему росту; паутина не выдержит прикосновения к огню и свет не смешается с тьмою, тем более божество, живой и разумный пламень и огонь вседержителя.

Изобразив в возвышенных чертах величие и всемогущество божие, Евфросин привел собеседников своих к мысли, что никто не может ни прибавить чего-либо к величию и славе бога, ни убавить троицной славы Христа. Он указал на тщетные попытки в этом отношении еретиков, отвергавших воплощение божества или доказывавших тленность естества Христова. Проклятие и исчезновение, подобно дыму, было следствием этих безумных усилий такими средствами увеличить или умалить славу единосущной троицы.

— Поймите сказанное мною, врачи мои, — продолжал Евфросин, — и вразумитесь, что не следовало вам говорить такой неподобной вещи; мы-де прибавляем славы к божеству, а ты умаляешь ее. Говорю вам: ни мне умалить ее, ни вам умножить, но какова она есть, так и будет: бог слово без истления с плотию Христос, *и в том живот бе, и живот бе свет человеком, и свет во тме светится, и тма его не объят.*

Евфросин рассказал собеседникам, откуда он заимствовал обычай двоения аллилуии, как в юности, еще до иночества, тревожило его недоумение об этом предмете, как напрасно искал он разъяснения дела у псковского духовенства, как ходил в Царьград и там нашел полное разрешение мучившего его вопроса.

— Как держит великая церковь Константинограда, — прибавил Евфросин, — так держу и я до исхода души своей тщусь совершить, удвоив божественную аллилуию. А вы откуда взяли троице ее?

— Издревле, смотря друг на друга, так все и навывкли троице св. аллилуию, ибо так и подобает, потому что бог в троице прославляется. Где троицца аллилуия, там есть совершенная троица, отец, сын и святой дух, неразлучное божество и сила живоначального слова отча Христа бога нашего.

— Вы, братия, сказали тяжкое слово, будто я самочинно двоию аллилуию и этим убавляю божество и не

исполняю единосущной троицы. Теперь вы знаете, что я взял это у вселенской церкви цареградской и что, напротив, вы сами самочинно, своим произволом устали трое аллилуйю. Спрошу вас еще об одном. Вы пришли вразумить меня и исправить мое нечестие, узнав, что я заблудился во тьме неведения: так молю вас, выведите меня на путь света и скажите мне силу, откройте утаенную глубину пресвятой аллилуйи, покажите, какая премудрость лежит в ней и какой образ таинственно запечатлен в ней.

Но противники молчали: глубина витийства их иссякнула. Они обратились к последнему оружию, подали Евфросину написанное с хулами и укоризнами послание Иова Столпа, Евфросин взял лист и прочитал.

— Не доброе благоумие принесли вы мне, но скорее тельчие вещание; труд этот будет в неправду и в гибель от бога вашему учителю Иову Столпу.

— Помолчи, старче, — возразил Филипп, — не поноси укоризнами нашего учителя: он у нас в город высокий славный вития, церковный столп и благочестия подражатель.

— Нет, отныне он не столп благочестия, а столп, смрада исполненный. Он оставил свет божественного служения, сам отторгнулся от церкви Христовой и возлюбил тьму больше света, взял три жены, мудрствуя постыдное. Не будет он уже зваться простым столпом, а прозову его столпом мотыльным. Много смущал он меня и без меры оскорблял тяжкими словами, еретиком называл за двоение аллилуйи. Кого мне лучше слушать, вселенской ли церкви или вас невегласов, свински мудрствующих о божественном, которые учите меня и не умеете ничего сами о себе управить. Много вопрошал я вас о тайне и сокровенной силе аллилуйи и ни одного слова светлого не услышал от вас. Напрасно вы трудились: идите обратно с своим делом, потому что нездоровое учение ваше и слова ваши к вам возвратятся. А мне подобает держаться здравого учения, принятого от вселенской церкви, от которой на все страны разлился свет благодати. Этот свет освещает мне правую стезю благочестия и поэтому я проразумеваю тайну божественного хотения, истинный путь пресв. аллилуйи. Вы же идите с миром домой и пекитесь о домочадцах своих, мудрствуя о тленном. Не вам мудрить о такой тайне. Вещь

эта не изложена св. отцами в ясных писаниях и пророки не раскрыли ее тайны; даже в Царьграде не нашел я «достоверного сказателя», совершенного истолкователя; только указали мне там двоить пресв. аллилуию.

По мнению Евфросиновых биографов, посланцы Иова возвратились не только без успеха, но и совершенно разбитые, хотя из сделанного в житии изложения спора не видно, какое толкование сугубой аллилуии противопоставил Евфросин объяснению, данному его противниками. Последние донесли Иову о своем поражении, прибавив, что пустынный не только их поносит и укоряет, но и его самого называет столпом мотыльным, исполненным всякого смрада и гниения греховного.

Иов заскрежетал зубами, получив через посланных своих это жестокое прозвище. «Теперь, авва, я уже знаю подлинно, что ты еретик», — мог он выговорить в раздражении. Начал он ходить по городу, наговаривая встречному и поперечному, что Евфросин — злой еретик и враг божий; с такими речами носился он по торгам, по собраниям, даже бывал на вечерних пирах, говорил и на вече.

— Господа псковичи, божий народ! посмотрите на того старца, что живет на Толве. Вы зовете его светильником, сияющим в нашей стране; и мы его считали святым мужем, исполненным благочестия, но теперь мы истинно удостоверились, что этот старец — еретик. Все мы исполняем божество, утрая св. аллилуию, а он один не делает этого, но самовольно двоит аллилуию и тем умаляет божество. Но вы сами знаете, божий народ, какое благочестие лучше, прибавлять ли славы божеству или убавлять ее.

На этот раз речи Иова имели гораздо более действия. Народ поверил его словам, будто Евфросин убавляет славу божества, и стал считать старца еретиком. Перемена последовала также быстро, как прежде, по-видимому, быстро утвердилось в Пскове высокое мнение о подвижничестве преподобного на Толве. Монастырь и иноки Евфросина стали подвергаться оскорблениям. Неудобно стало инокам с Толвы показываться в городе: на них сыпали укоризнами и жестокими словами, никто не хотел спросить их, зачем пришли в город, никто не спешил пригласить к себе и гостеприимно угостить пришельцев, но подобно рассерженным осам все нападали

на них, говоря: это монахи того еретика, что двоит аллилуию. Идучи или едучи мимо монастыря Евфросина, псковичи говорили: вот тут авва еретик живет, не следует нам и церкви его кланяться, потому что он двоит аллилуию, и путники не скидали шапок перед монастырским храмом трех святителей вселенских.

## VI. Литературная полемика

Спор не возобновлялся в прежней форме. Главный двигатель его Иов вовсе не выступал в нем непосредственным участником, скрывался за другими, подстрекая и направляя их. Это лишило нас возможности наблюдать в открытом действии силу его «ума острого на божественное писание», по выражению враждебных ему биографов Евфросина. Вообще образ Иова является в тени именно оттого, что эти биографы говорят о нем слишком много: их пылкая речь, исполненная желчи и раздражения, больше дымит, чем освещает; в потоке многословного порицания, проведенного по всем тропам и фигурам риторики, они часто забывают указать самые существенные обстоятельства дела. Туман, в котором они поставили Иова в своей повести, сообщает его фигуре грандиозные очертания, как это часто делает полумрак с самыми обыкновенными предметами. Вдобавок биографы, поглощенные своим чувством и забывая о впечатлении, какое должна произвести их повесть, придали Иову в рассказе о его смерти трагический интерес и этим еще более закупили сочувствие читателя в его пользу. Предсказание Евфросина жестоко исполнилось на нем. Он пережил своего толвского противника. Услышав о блаженной и мирной кончине Евфросина (1481), он не утерпел и сказал: «Старец тот всю жизнь прожил в ереси и прогневал господа: дивлюсь, как это он получил такой преподобный конец, будто праведник пред богом». Смерть Евфросина не затворила уст философа, продолжавших изрекать хулы и поношения на покойного двоителя аллилуии. Но скоро постиг его неисцельный недуг, и он начал болеть «не человечески»; все тело его превратилось в один струп, по рассказу биографов Евфросина, покрылось червями, и никто не мог приблизиться к нему, чтобы позаботиться о его язвах, источав-



ших «много мотыл». Видя беду, Иов постригся. Но буйный умом и строптивый сердцем, он не смирился и в монашеской мантии и на смертном одре, не покаялся в том, что заставил вытерпеть Евфросина. Два года продолжались его страдания и «такое нелепо умре»: при погребении братия едва могла отдать ему последнее целование, «ноздри своя заемлющи». Поссорившись за величие богочеловека, соперники отошли на суд его непримиренные и обвиняя друг друга в том, что не по уставу прославляется это величие.

Но теологические страсти не улеглись вместе со спомом в келье Евфросина: они перешли на новую арену, в область литературной полемики. Ее начал тот же Иов: к сожалению, остается неизвестным его послание от имени соборного псковского духовенства: старый повествователь не поместил в своем рассказе этой «эпистолии», хотя посланцы Иова передали ее Евфросину, и он прочитал ее, назвав «телчим вещанием». Может быть, ответом на соборную эпистолию Иова было послание Евфросина Троицкому псковскому собору, хотя в нем нет прямых указаний на такое происхождение. Послание это сохранилось как приложение к древней повести о споре по поводу аллилуии. Сомневаться в его подлинности можно еще менее, чем в подлинности переписки Евфросина с владыкой Евфимием. Здесь даже очень мало говорится об аллилуии: это ряд не вполне ясных богословских размышлений и упреков, вызванных дошедшими до Евфросина слухами о порицании, какому он подвергается в Пскове. Во всяком случае это первый памятник литературной полемики по вопросу об аллилуии.

«Господам нашим, священникам собора св. Троицы и прочим, всему священническому чину, грешный в иноках метание творю, прося о Христе вашей молитвы и благословения. Слышу от многих, что вы много потязаете меня, больше же всех вас мотыльный столп Иевко; но не на меня нападает он, а скорее на святую и апостольскую церковь за то, что вот-де дважды говорят аллилуию, а не трижды, как делает сам и другие. Но большое сомнение во мне о том, вас ли послушаться, а соборную церковь оставить и проклятие на себя принять от всех семи святых соборов, или послушаться предания святых, которые из начала православной веры так пре-

дали. Совесть обличает, многие писания свидетельствуют, что подобает мне больше по святой и соборной апостольской церкви поборать и союза с ней держаться; в нее я веровал и крестился: так мне подобает веровать по Давиду, который *изволи приметися в дому бога моего паче, неже жити ми в селех грешничих*. Напомню вам кое-что и от свидетельств: во-первых, дух святыи устами Давидовыми рек: *бог отец наш прежде всех сдея спасение посреде земля*. Где же это, как не в Иерусалиме? Там заповедал господь благословение и живот до века, там Аврааму обещал бог и семени его до века, там Авраам принес богу в жертву сына своего Исаака на том месте, где предстояло Христу распяться. Оттуда пророками проповедано было о воплощении Христовом, там изволил сам господь родиться от пречистой девы Марии, там избрал он 12 апостолов, по сказанному от господя: *идеже трупие, ту соберутся орли*. Трупом господь назвал себя, а орлами пророков и апостолов, от которых *изыде во вся земля вещание их и в концы вселенная глаголы их*. Об них Павел говорил, что по отшествии моем проникнут к вам волки тяжкие, не щадящие стада Христова, и из среды нас самих выйдут люди, говорящие развращенное, чтобы отторгать от него учеников вслед за собою... И потом святые отцы, прозрев, что придут еретики исказить веру святую, во многие времена собирались духом святым в разных местах и было семь вселенских соборов св. отцов, и они утвердили православную веру и положили так: *верую во единого бога и прочее*. О том сам господь сказал «своими святыми устами: *на сем камени созижду церковь мою и врата адава не одолеют ей*, т. е. еретическое учение не вредит православной вере. И еще сказал господь: *не мните, яко приидох разорити закон или пророки, но исполнити; имеяй заповеди моя и соблюдаяй сии, той есть любяй мя а любяй мя возлюблен будет отцем моим, и аз возлюблю его и явлюся ему сам*... И Павел сказал: *сего ради оставит человек отца и мать и прилепится жене своей и будет оба в плоть едину; тайна сия велика есть, аз же глаголю во Христа и церковь*. Соборной же и апостольской именуется церковь, потому что есть в ней четыре патриарха по образу четырех евангелистов, которые содержат единство святой церкви, православную веру».

В том же направлении Евфросин продолжает свои размышления о церкви и о тех, которые от нея отделяются. Мы представили начало послания с пропуском некоторых текстов, чтобы по этому образчику можно было составить понятие о приемах богословского изложения того века. Общие размышления автор прилагает потом к случаю, вызвавшему письмо.

«Вы же, господни священники, имея очи, не видите, уши имея, не слышите, потому что омрачены они сребролюбием и пьянством и прочими житейскими печальями и гневом. Телесные очи и уши у вас есть у всех, но духовных нет совсем, о которых господь сказал: *имеяй уши слышати да слышит*. Особенно же ты, столп погибельный Иовка, свинья окаянная, тьма омраченная, законопреступник, отметник Христов, не восхотел благословения господня, но удалился от него, облекся в проклятие, как в ризу, и сам ввергся в погибельный ров и прочих неразумных увлекаешь за собой; *обратится болезнь его на главу его и на верх его неправда снидет*. Как можешь ты, скверные уста имея, отверзать их и свой богохульный язык изострять на святую церковь Божию, подобясь первым еретикам, Македонию и прочим духоборцам? Но древний поборник церкви Христовой Давид к таковым сказал: *немы да будут уста льстивого, глаголющии на праведного беззаконие гордынею уничтожением*. . . Если же ты думаешь, окаянный, не по достоинству-де пишет против меня таковое, то я приведу еще больше свидетельств против тебя для твоего раскаяния, чтобы не изострял ты своего языка на церковь Божию. Григорий Богослов сказал: первый брак — закон, второй прощение, третий законопреступление, свинское житие. Это сказал он о простых людях, а не о священниках. Послушай же, что в евангелии: бесы молили спаса войти им в свиней, и он повелел им, свиньи же все устремились с берега в море. Так все живущие свински — бесы входят в них и повергают их, словно в море, в отчаяние погибели. Послушай же, что сказал бог: не давайте исам святого и не кидайте бисера перед свиньями, чтобы не попрали они его ногами своими. И это неверные; а верные и живущие житием скверным и смрадным не свиньи ли? Все это сказано о простых, а об вас Дионисий Ареопагит говорит: достоин быть священнику господню. . .»

На этом прерывается в рукописи послание, очевидно недописанное. Полемики с враждебным соборным духовенством было, однако ж, недостаточно. Евфросин не мог переносить равнодушно, что передавали ему монахи его о тяжких словах, выговариваемых проезжими мимо их монастыря. Начал святой рассуждать про себя: назви они меня блудником, татем, разбойником или убийцей, я перенес бы это с радостью и веселием; но они зовут меня еретиком; не могу стерпеть прозвания врага Христова, и закон повелевает всякому православному христианину отрицаться от такого прокаженного имени. Он берет чернила и хартию и пишет послание к епархиальному архиерею своему Евфимию.

«Обижаемый, я молю тебя: помоги мне господу ради своею верховною властью. Поносит меня здесь некий Иов, прозываемый Столпом, — еретиком и врагом божиим обзывает меня, и не только сам ругается надо мною, но и городской народ привлек в единомыслие с собою — крамольники, бога не боящиеся! Говорят, онде умаляет славу у божества, а мы-де прилагаем славы к божеству. Точно мерой измеряют неизмеримое божество и неразлучное единство, нелепо чтут имя единосущной троицы, убавляя и прибавляя, разделяя и слагая неразделимого и неизменного бога нашего Иисуса Христа, равное слово отцу и св. духу в божестве и человечестве, и таким образом от неведения, без ума установился у них обычай нелепо троеить пресв. аллилуию. А у меня обычай с юности двоить божественную аллилуию, а не троеить, как они делают, и за это говорят на меня нечестивое слово, будто я своим двоением убавляю славу у троицы, и зовут меня еретиком, про себя же думают, что очень приятны они богу, исполняя славою троицу посредством своего троения. Но я не сам измыслил двоение аллилуии, а от вселенской церкви научился так говорить ее; затем и ходил я в Царьград в добрую пору. Теперь в прискорбии я молю тебя: рассуди распрю нашу междоусобную, наставь меня на путь истины, укажи, что свет и что тьма, что лучше для меня, повиноваться ли вселенской церкви или послушаться Иова Столпа, крамольника моего, троерженца. И судя нас верховною твоею властью, запрети ему, господу ради, называть меня еретиком за двоение аллилуии: я не еретик, хоть и грешный человек, но христианин и раб Христов, не могу

носить богомерзкой той ризы, тяжкого еретического имени. Утиши мятеж своей расправой и сними печаль с унылой души моей».

Но владыка не рассудил при междоусобной. Когда игумен Евфросинова монастыря Игнатий принес ему в Новгород послание своего учителя, Евфимий велел книгчему прочитать его перед собою. Имея неглубокий искус в учительстве, по выражению древнего повествователя, архиепископ ограничился тем, что ответил Евфросину письмом, в котором писал, между прочим:

«Ты повелеваешь нашей власти судить твое преподавание с тем твоим противником. Ведай, отче, что я немощен уставить меру такому делу и не дерзну открыть богом запечатленное сокровище, ибо все тайны божии в боге, и я не умею приставить к такой вещи ключ моего разумения. Но ты и без меня своими очами видел и ушами слышал от цареградского патриарха и от всего клироса вселенской церкви уразумел меру той вещи. Если ты оттуда взял обычай двоить аллилуйю, то не спрашивай меня об этом: разве я выше патриарха вселенского? Держи свой обычай до конца, двоя божественную аллилуйю во славу св. троицы, и не зазирай моей грубости, что я ничего не открыл тебе о вещи и не управил полезного твоей святыне».

Ответ владыки опечалил Евфросина еще более. По свидетельству биографов, преподавший с прискорбием увидел, что пастырь не завязал уст Иова браздою епитимии, не отразил остроты суровости его строгостию смирения, даже не проронил ни одного жесткого слова, чтобы сдержать его беснование.

Но полемика не ограничилась главными противниками и не кончилась с их жизнью. Спор волновал все псковское общество. Первый повествователь о нем яркими чертами рисует эту богословскую смуту, продолжавшуюся и при нем. Самая повесть, им написанная, вызвана была еще громкими отзвуками догматической борьбы. «Призываю на помощь к себе угодника Евфросина, — пишет он в предисловии, — да возмогу откровением сего преподающего отца открыть свет ведения церкви божией, великую тайну пресв. аллилуйи. Ныне великий плевел укоренился и волчец нечестия цветет посреди соборной апостольской церкви, весьма большой прах от неведения засорил церковное око и великий рас-

кол произошел в церкви божией: одни дважды поют пресв. песнь божественной аллилуии, другие трижды. Тяжкою бурей на два чина расторглись в споре: двоящие св. аллилуию укоряют троящих, а троящие с такой же укоризной молвят на двоящих. Чин троегласников в неведении нечестует Христа; чин двоегласников свободен от нечестия пред богом, но, как пресветлое солнце простирает в лучах свое непорочное сияние и сугубо освещает светлость дневного света, так и двоящие светятся перед троящими, точно день перед ночью или солнце перед месяцем».

Полемическая переписка шла между сторонниками Евфросина и Иова в псковской области. Из нее сохранился один любопытный памятник. Это — послание неизвестного автора-троегласника к какому-то иноку, ктитору общежительной лавры св. Николы Афанасию, стороннику Евфросина. Послание намекает на спор Евфросина с Иовом, как на недавнее событие, в таком же тоне говорит и о взятии Константинополя и в конце, ссылаясь на известное послание Фотия к псковскому духовенству об аллилуии, говорит: «Подобало тебе, отче, послушать митрополита киевского и московского Фотия, который писал к *нам* в дом св. Троицы в Псков». Очевидно, автор послания — пскович и, может быть, принадлежавший к причту Троицкого собора. Это несколько поддерживает догадку архиепископа Филарета, что автор послания — тот бывший диакон Филипп, «премудрый дохтор», который приходил от Иова и троицких соборян состязаться с Евфросином<sup>20</sup>. Если действительно его перу принадлежит послание, то последнее получает двойной интерес, вознаграждающий за потерю «эпистолин» Иова. Достаточно, впрочем, привести некоторые места из этого довольно пространного письма, чтобы составить о нем понятие: изысканная диалектика в толковании тройной аллилуии здесь та же, какую видели мы в споре посланцев Иова с Евфросином; нет только жестких выражений, какими испещрен спор в рассказе биографов.

«Я не решался, честной отец, сказать что-либо твоей святые своим нечистыми устами или посмотреть на твое ангельское лицо моими скверными очами, имея житье безчестное окаянными делами; но решаю поговорить с твоей святыей этим малым писанием. Но прошу

тебя, господа ради, общежительный верх, не упрекай меня, дерзнувшего на это. Ты писал священникам в соборы, потом и до мирян дошло твое послание, и многие подивились твоей решимости, потому что дерзнул ты смело написать и послать о том и о другом, именно о св. троице, т. е. об аллилуии и об Иове. Что до последнего, то знаю, отец, знаю, ты и ко мне о том писал и посылал. Но ведает бог и твоя святая душа, где ты нашел и прочитал в писании, чтобы звать мотыльным или Иудой христианский род, хотя и грешный. Знаю, отец, знаю, что мотылом прозывался один Константин Копроним, еретик, который окалял ту самую купель, в которой был крещен, за то и прозван был мотыльным. Он на св. иконы лютей гнев держал, разбивал образа и мучил святых: он и есть мотыльный, а не другой кто. Если ты называл Иова Иудой, то знаем, отче, и настоящего Иуду, который продал сына божия жидам за 30 сребренников. Перестану говорить об этом: пусть знает то любовь твоя, отче, если ты дерзнул на это против нас. Еще сказал ты, что от Сиона исшел закон и слово господне от Иерусалима. Знаю, отче, знаю, что исшел и к нам пришел, но не ныне, а при апостолах и их настояльниках, святых патриархах. А ныне не антихрист ли вышел из Иерусалима с своим пагубным учением? Много говорить о том. Еще говоришь ты: который пророк вышел от Пскова? Отвечаем тебе: не во всю ли землю *изыде вешание их*, т. е. апостолов, *и в концы вселенные глаголы их*? Иоиль говорит тебе: *излию на всяку плоть от духа моего*. Но ты говоришь: кому подобает веровать, не вселенским ли патриархам? И мы говорим: веруем, отче, и мы, но веруем, как семь вселенских соборов и поместные по проповеданию и учению апостолов утвердили и нам предали веровать во св. троицу, т. е. *верую во единого бога отца* и прочее. А не так мы веруем, как еллинские отроки, которые сошли во многобожие. Еллинами и греческое царство зовется, — да и в правду: на этих летах они при кресте Христовом к погибели своей свернулись с истины и приняли печать антихристову на челе и на деснице; ибо печать антихристова есть не иное что, как не полагать десницы на челе, не знаменоваться честного и животворящего креста Христова, — вот что печать антихристова по Богослову Иоанну. — Апостол говорит: *в последняя дни отступят нецци от веры никим же*

*нудими* о пресв. троице, т. е. об аллилуии; совратились с истины и впали во многобожие. Кто говорит аллилуия отцу, аллилуия сыну, *слава тебе, боже*, св. духу, тот видит девять богов: не раскол ли это и раздор божества, не впал ли тот в многобожие? О, премудрые еллины, сиречь греки! как же дерзнули вы разделить на 9 богов триипостасную троицу единого бога. И мы веруем по апостольскому проповеданию и учению св. отцов, как изначала предали нам веровать во единого бога, а не в 6 или 9 богов. — Не такой ли обычай держит соборная вселенская церковь: на день св. Георгия писаны стихи кир. Феофаном и на конце первого стиха писана троекратно аллилуия: первая отцу, вторая сыну, третья св. духу, а в четвертых, соединяя св. троицу во единого бога, за *слава тебе, боже*, говорится: *Христу жизнедавцу*; а во втором стихе говорится троекратно аллилуия отцу и сыну и св. духу, а за *слава тебе, боже*, говорится: *Христу воскресшу*; и в третьем стихе также троекратная аллилуия, а за *слава тебе, боже*, говорится: *Христу благодателю*. Трижды возгласив аллилуию отцу и сыну и св. духу, триипостасному божеству, четвертое *слава тебе, боже*, воздаем единому богу. Не говорится: *слава вам, божи*, но единому *боже*. Если же согласно еллинам дважды говорить аллилуию, а третье *слава тебе, боже*, то как могут те стихи с творцем их во вселенской церкви именоваться, когда Феофан говорит аллилуию троекратно и четвертое за *слава тебе, боже*, поет *Христу воскресшу*, а греки возглашают аллилуию двоекратно и третье *слава тебе, боже*? Кому следует больше верить, тому ли творцу стихов, которому лицо сожгли медной керемидой и который потерпел исповеднически много бед за Христову церковь, или еллинам, которые не приводят ни одного свидетеля из св. апостолов и отцов. Не обольщайся, отче, двоекратно поя аллилуию: не истинно это. Другие уже погибли, говорившие двоекратно: как бы не погибнуть и нам. Не подобает нам принимать новое учение. Вижу, отче, что ты от Греческой земли развратился. Ближе уже время; мерзость и запустение, реченное пророком Даниилом, стоит на месте святом, т. е. в соборной и апостольской церкви Константина-града. Знай, отчего развратилось и римское царство — не от нововводных ли учений проклятых пап и их архиепископов и священников и треокаянных иноков? От папы Христофора и



окаянного Формоза, от их нового учения отторгнулись римляне от православной веры и донныне лытают в заблуждениях».

Если бы во главе послания не стояло имя Афанасия, можно было бы подумать, что оно писано Евфросину в ответ на изложенное письмо его к священникам Троицкого собора, — так мысли Евфросина сходны с аргументами Афанасия, насколько последние указаны в послании сторонника троения.

Спор не смолк и в начале XVI в., сопровождаясь обычными увлечениями: так, толкование аллилуии, сделанное Димитрием Греком в приведенном выше послании к Геннадию, переписывалось уже с заглавием «О трегубной аллилуиа от книги Феодора Эдесскаго»<sup>21</sup>. При дальнейшем развитии спора одна сторона даже увеличила запас своих полемических аргументов. Если в XV в. в распространении обычая двоения троегласники винили развратившихся греков, то в XVI в. двоегласники упрекали троителей в подражании латинам. В одном сборнике находим апокрифическое сочинение, осененное авторитетом имени Максима Грека, под заглавием «Сказание Максима Грека, словцо к смеющим трищи глаголати аллилуиа чрез предания церковного, а четвертое *слава тебе, боже*». Любопытно особенно то, что этот сборник принадлежал Иосифову волоколамскому монастырю и писан игуменом (с 1573 г.) его Евфимием Турковым в 1562—1563 гг.<sup>22</sup> Некоторые места из этого «словца» хорошо завершают описанную полемику XV в.

«Много существует разных церковных преданий: одно из них есть древнее предание — это дважды говорить аллилуиа и потом припевать *слава тебе, боже*; и такому церковному обычаю первый научен был самими безплотными ангельскими силами блаженный Игнатий Богоносный, когда они явились ему, конечно, по божью строению, воспевая божественные псалмы, на лики разделенные. Как же ныне смеют некоторые переиначивать это ангелами преданное староцерковное предание, трижды говоря аллилуиа и четвертое *слава тебе, боже!* Что вы ответите на это? Скажете, что божия церковь в ветхом Риме так держит и возглашает? Если так, то вы явно признаете себя причастниками латинской части, а не преданного апостолами неблазненного богоразумия.

Рассудите сами, полезно ли и спасительно ли вам петь св. троицу с зловерными латинами, а не с благоверно проповедующими слово евангельской истины четырьмя православными патриархами. Но в таком случае, добрые мои, пора уже вам принять и прочие церковные папины обычаи, во всю четырехдесятницу до самой великой субботы молчать и не петь аллилуиа, потому что молчит папа, и не на квасной просфоре, а на опресноках совершать священную тайную службу, как и он совершает, и проскомисания не считать нужным, как не считает и он, и тсплоты не вливать в священный потир, но трижды вдыхать в потир, как и он. А минеи, октоихи, каноны, стихиры, тропари и кондаки, всегодное украшение и духовное наслаждение св. апостольской церкви — все это бросьте и считайте ненужным, потому что и папа в этом не нуждается».

В такие темные уголки холодной диалектики пряталась русская мысль, волей или неволей покинув просторное, согреваемое солнцем жизни поприще насущных нравственных потребностей.

---

---

## КРЕПОСТНОЙ ВОПРОС НАКАНУНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЕГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

*(Отзыв на сочинения Ю. Ф. Самарина. т. 2. «Крестьянское дело до высочайшего рескрипта 20 ноября 1857 г.»)*

Весь этот том, несмотря на внешнее разнообразие помещенных в нем статей, отличается внутренним единством и цельностью. Издатель Д. Ф. Самарин соединил в нем сочинения покойного своего брата по крестьянскому делу, написанные до рескрипта 20 ноября 1857 г., следовательно, в ту еще пору, когда вопрос об отмене крепостного права оставался человеколюбивым мечтанием немногих или только что — и притом весьма негласно — начинал подготавливаться к законодательному разрешению. Кроме довольно обширного и уже прежде известного исследования об упразднении крепостного права в Пруссии, составленного в 1856—1858 гг., все остальные статьи этого тома являются в печати впервые. Здесь прежде всего заслуживает внимания большая, продуманная и обработанная записка «О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе»; автор работал над ней года три, несколько раз переделывал, переписывал и пустил в рукописное обращение к осени 1856 г. В тесной связи с ней находятся четыре записки о некоторых частных вопросах, возбужденных крестьянской реформой, и еще пятая записка — «О мерах для смягчения и облегчения крепостного состояния».

Все эти записки составлены были в 1857 г. и вызваны постановлениями открытого тогда еще в С.-Петербурге секретного комитета по крестьянскому делу, работами которого началось практическое разрешение этого трудного и великого вопроса. Здесь находим также неоконченную «программу сведений, необходимых для опреде-

ления законодательным порядком отношений помещиков к крестьянам», предназначавшуюся для того же комитета, и несколько других разновременных заметок и отрывков по крестьянскому делу. Том начинается отрывочными заметками об инвентариях, введенных в юго-западных губерниях в 1847 и 1848 гг. Все эти статьи изданы большею частью по черновым рукописям автора и пояснены примечаниями издателя со всей внимательностью, какой заслуживают труды такого писателя.

Итак, по всему тому проходит одна тема, с первой страницы до последней проведена одна мысль, которая не покидала автора даже при изучении им судьбы прусского крепостного права. В набросанных наскоро заметках и трудолюбиво обработанных трактатах читаем размышления, наблюдения и проекты образованного и умного помещика, который задолго до законодательного разрешения крестьянского вопроса много передумал о том, как лучше разрешить его. Эта дума стала задачей его жизни; для нее собирал он наблюдения и указания на службе в комитете по устройству быта лифляндских крестьян, и в истории прусского землевладения, и в крепостной самарской деревне: она заставляла его, философа и богослова, сделаться сельским хозяином. Издатель привел в предисловии любопытные слова из письма Ю. Ф. Самарина: «Мы должны, — писал он из деревни еще в 1853 г., — свое дело сделать, т. е. освободить труд; все мои занятия направлены к этой отдаленной цели. Теперь я составляю подробную статистику имения; мне хочется до возможной точности определить сумму вынуждаемого труда и вывести его несоразмерность»<sup>1</sup>.

Благодаря этому книга читается с напряженным интересом. Люди, которым она только напоминает, что они думали в те годы, может быть, удивятся такому запоздалому действию мыслей, давно ими передуманных и частью забытых, но те, кто едва успел прочитать Корнелия Непота, когда был учрежден секретный комитет 1857 г., найдут в записках Самарина много нового и даже совсем неожиданного.

Исторический веред, каким было крепостное право на теле русского общества, созрел и готов был прорваться социальной катастрофой. Просвещеннейшее меньшинство дворянства сознавало необходимость предупредить беду своевременным отречением от того, что

опасно было отстаивать долее. Это сознание выразилось в появлении множества «записок об упразднении крепостного права», которые в 1856 и 1857 гг. ходили по рукам в Москве и Петербурге и оттуда распространялись по всей России. Большая записка самого Самарина «о крепостном состоянии» принадлежала к этой же рукописной литературе, подготавливавшей общественное мнение к неминувшему факту. Автор ее писал в октябре 1856 г.: «Записка моя пошла в ход и имеет большой успех».

И вот что прежде всего неожиданно для тех, чьи общественные воспоминания начинаются позже тех лет; в этом глубоко взволнованном обществе не только не знали, какой путь изберет законодательство для разрешения занимавшего всех вопроса, но не могли сказать наверняка, будет ли возбужден вопрос законодательным порядком. В записке Ю. Ф. Самарина и примечаниях издателя рассеяны указания на это, любопытные в высокой степени. В 1856 г. взгляд правительства на вопрос о крепостном праве еще не был заявлен, его намерения для большинства были еще «предметом сомнения»; «самое робкое слово, замолвленное в пользу освобождения крестьян», подвергало того, кто его произносил, двойной общественной опале: с одной стороны его клеймили «как человека, правительством подкупленного и угождением прокладывающего себе дорогу», с другой — на него указывали «как на врага правительства и порядка». В 1857 г. еще запрещено было печатать что-либо по крестьянскому вопросу. Только в этом году возник комитет по этому вопросу и только в следующем году он перестал быть секретным; журналом 18 августа 1857 г. этот комитет только еще решил собрать материалы и сведения, «необходимые для постановления тех мер, кои должны быть впоследствии приняты к освобождению крепостного сословия», и ровно через три года шесть месяцев после того огромный закон, которым разрешался коренной, многими веками запутанный вопрос нашей внутренней жизни, был готов вполне и совершенно. Если бы понадобилось доказать, что люди 1850—1860-х годов были способны к напряженной, ускоренной работе и не были лишены отваги, достаточно указать на Положение 19 февраля.

Далее опыт 18 лет научил нас не только ценить совершенную этим Положением реформу, но и внимательно

по считать затруднения, которыми она сопровождалась. Разбирая эти затруднения, находим, что они не политические, а экономические. Реформа прошла, не нарушив революционным образом ничьего права, признанного законом, не поколебав основания государственного порядка и общественной безопасности. Но, пока она входила в жизнь, развитие освобожденного народного труда запуталось столькими узлами, что наша экономическая будущность остается под сомнением и изучающий сметы государственных доходов над графами прямых налогов с тревогой ставит знак вопроса.

Изучая источники этих затруднений, находим, что они не вызваны Положением 19 февраля, а скорее всего развились оттого, что недостаточно были предусмотрены его составителями. Довольно известно, что по всему акту 19 февраля проходят две струи, заметно несогласные между собой. С одной стороны, план устройства мирского крестьянского самоуправления отличается заботливым вниманием к интересам крестьян; как бы не доверяя достаточной зрелости их, чтобы распорядиться разумно самими собой, составители Положения старались дать им простые и ясные, подробные наставления и предписания, оградить их мир от всяких сторонних вторжений и влияний, не дать ему сойти с прямого пути и, так сказать, принудительно воспитать в нем привычку к самостоятельности. С другой стороны, как бы считая их одинаково с помещиками созревшими для понимания и устройства своих хозяйственных дел, они предоставили обоим разлучившимся сословиям, которые сцеплены были друг с другом так долго и так насильственно, расчитаться между собой полюбовно, стараясь возможно менее стеснить договаривающиеся стороны, боясь охладить их взаимную уступчивость излишней регламентацией: на это указывают и менее заботливая разработка практических подробностей и меньшая настойчивость в проведении основной мысли.

Смотря на дело не как на вопрос законодательства, а как на факт, уже совершившийся, с точки зрения почти 20-летнего опыта, мы готовы спросить: отчего произошло это различие во взглядах творцов Положения на «сельское общественное управление» и «на земельное устройство» крестьян, как случилось, что они легче отнеслись ко второй, несравненно более тяжелой поло-

вине своей задачи и никто не указал им, людям, несомненно доброжелательным, на риск, какому они подвергают экономическую будущность народа, открывая слишком широкое участие в ее устройении всяким случайностям.

В заметках, наблюдениях и проектах Ю. Ф. Самарина находим, может быть, лучшее, что было говорено и писано о крепостном праве у нас, и, читая их, начинаем понимать, как это случилось, откуда возникли несбыточные опасения и неоправдавшиеся надежды.

В большой записке о крепостном состоянии автор старался соединить все, что могло склонить людей его сословия к убеждению в необходимости и возможности отмены этого состояния. В первой половине записки он размышляет о влиянии, т. е. вредных последствиях крепостного права, во второй предлагает меры к замене его гражданской свободой. Первая часть не имеет практического интереса для нашего времени, но она любопытна как исторический памятник, в котором отмечены факты общественного и нравственного сознания того времени, указаны понятия, тогда державшиеся еще на поверхности общественного мнения, а теперь погрузившиеся на дно общества и донашиваемые где-нибудь в забытом углу старой усадьбы. Значит, думаешь невольно, читая записку, в 1856 г. еще надобно было доказывать людям вред крепостного права. Мы начали было — и очень охотно — забывать о существовании такой надобности в то время, хотя не далее как в 1852 г. издана была инструкция для женских учебных заведений, в которой предписывалось внушать воспитанницам на основании св. писания, что крепостное право следует беречь как учреждение божественное, как одну из заповедей божиих. Искренно и последовательно, иногда с мастерской диалектикой автор раскрывает вред крепостного права для общественной нравственности, для государственного благоустройства и народного хозяйства. Он отметил и внешний толчок, возбудивший в обществе помыслы о внутреннем неустройстве и, следовательно, о крепостном праве после продолжительного самообольщения мыслью о внешнем могуществе и внутреннем порядке государства: этот толчок дан был исходом Восточной войны, т. е. «утратой нашего политического и военного первенства». Автор указывает на

суровое побуждение разрешить как-нибудь крепостной вопрос: он предвидит насильственное и кровавое его разрешение самими крепостными в случае дальнейшей его отсрочки правительством и призывает свое сословие к чистосердечному содействию ожидаемым мерам правительства, чтобы подготовить мирную развязку.

Гораздо важнее для нас вторая половина записки, где автор развивает свой план, выходя из крепостного состояния к гражданской свободе. Основная его мысль — предоставить определение условий этого выхода добровольному соглашению помещиков с крепостными. Так, автор возвратился к мысли указа 2 апреля 1842 г. об обязанных поселянах, которым помещику разрешалось освободить своих крестьян от крепостной зависимости, полюбовно договорившись с ними о поземельном наделе и о размерах повинностей за уступленную им землю. Так как этот указ страдал неполнотой, неясностью, торопливостью обработки и сопровождался распоряжениями, стеснявшими его действие, то он не имел успеха. По плану Самарина его нужно было разъяснить и дополнить и в исправленном виде издать вновь под новым названием. Новый закон должен был определить в общих чертах только юридические отношения помещиков к освобождаемым крестьянам и обеспечить казенные интересы при заключении сделок; затем «все хозяйственные условия, касающиеся до надела землею и угодьями, до числа рабочих дней, способа производства работ, количества оброка и т. п., следует предоставить обоюдному соглашению договаривающихся сторон, в том убеждении, что выгоды их оградятся их собственною о себе заботливостью гораздо действительнее, чем контролем чиновников»<sup>2</sup>. Отдельные лица могли выходить на волю без согласия помещика и без земли, уплатив определенный законом выкуп; но целые сельские общества выходили из крепостной зависимости в положение обязанных крестьян не иначе, как с землей и по соглашению с помещиком; это условие ставилось для сохранения общинного крестьянского владения землей. В ожидании, пока помещики решатся воспользоваться законом, автор предлагает ряд мер для прекращения дальнейшего развития крепостного права, запрещение переводить крестьян с пашни во двор, с оброка на барщину. Для первых крестьян, которые станут в положение обя-



занных, он проектирует временный порядок управления, в котором — надобно это отметить — помещик удерживал больше власти над крестьянами, чем сколько оставило за ним Положение 19 февраля, ему предоставлялась не только вотчинная полиция, но и суд над крестьянами в известных пределах с правом применять наказания, определенные в сделке с обоюдного согласия, лишь бы они не превышали законом установленной меры; точно так же право помещика удалять из сельского общества вредных и неисправимых членов в проекте Самарина шире и применение его легче, нежели в Положении 19 февраля<sup>3</sup>.

Такова сущность плана добровольных сделок. Верил ли сам автор в успех этой своей реставрации закона 1842 г., который в свою очередь был новой редакцией закона 20 февраля 1803 г.? Едва ли. Он сам признается, что имеет в виду *«немногих и лучших из сословия поместного дворянства»*, и тут же оговаривается, что это еще вопрос, воспользуются ли они предлагаемой мерой<sup>4</sup>. Потом он предлагает несколько вспомогательных средств для поощрения к добровольным сделкам: пример сверху от владельцев удельных имений, разрешение капиталистам — не дворянам приобретать населенные имения с обязательством представлять при купчей проект добровольной сделки с крестьянами приобретаемого имения, также разрешение увольнять крестьян по духовным завещаниям ради спасения души; но в этих мерах, если нет иронии, гораздо больше уныния, чем надежды на успех проекта. Самарин был слишком умен, чтобы верить и во внутреннее достоинство своего плана, не только в его практический успех. На возражение, что крестьяне, обрадованные небольшим облегчением, не будут в состоянии при заключении сделки соблюсти свои выгоды на будущее время, он отвечает только *«патологической вероятностью»*: ожидание лучшей будущности так укоренено в крестьянах, и они так дорожат этой надеждой, что не согласятся променять ее на ничтожное облегчение в настоящем<sup>5</sup>.

Что заставляло его так настойчиво доказывать преимущество добровольных сделок перед введением принудительных отношений законодательной властью, это у него не совсем ясно: может быть, боязнь испугать помещиков решительными мерами; может быть, недоста-

ток собственной решимости; всего вероятнее — взгляд на положение дела, не соответствовавший действительно-сти. По крайней мере через год, после того как записка о добровольных сделках была пущена в ход, при первом соприкосновении с действительным положением дела, как только вопрос в комитете стал на путь практического разрешения, произошла значительная перемена во взгляде Самарина. «Признавая, — пишет он в другой записке, предназначавшейся для комитета, — необходимость, справедливость и пользу указа, имеющего цель облегчить и поощрить заключение добровольных сделок, *надобно заранее убедиться, что этим путем Россия не выйдет из крепостного состояния*»<sup>6</sup>. Благодаря этому взгляду и несмотря на предвидение катастрофы от дальнейшей отсрочки развязки крепостного вопроса, Самарину не было, по-видимому, страшно протянуть операцию слабо понуждаемых добровольных сделок на неопределенно продолжительное время. У него незаметно сознания неотложности развязки дела; он нигде не останавливается даже на приблизительном определении желаемого срока, к которому вся масса крепостных путем сделок перешла бы в положение обязанных поселян, и как будто не видит надобности ускорить превращение обязанных в полных собственников. В одной из четырех записок, составленных для комитета в 1857 г., возражая на мнение, по-видимому, довольно распространенное в то время, что освобождение крестьян без пашни, только с усадьбой и выгоном, дало бы средство развязать узел без экспроприации и, следовательно, без вознаграждения помещиков, невозможного будто бы при тогдашнем состоянии государственных финансов, Самарин находит в этой мысли только недоразумение, потому что можно и пашню укрепить за крестьянами без финансовой операции: помещик, сохраняя право собственности на эту пашню, уступает ее крестьянам в вечное владение и распоряжение за известный постоянный доход в виде барщины или оброка<sup>7</sup>. Как бы соглашаясь молчаливо с мыслью о невозможности вознаграждения, он здесь и возбуждает вопрос о выкупе. Между тем еще прежде, в конце своего проекта о добровольных сделках, развивая взгляд на дальнейший ход освобождения крепостного сословия, он предвидит только в неопределенном будущем необходимость и назначение последнего

срока для сделок и обязательных положений для запоздавших и выкупа крестьянских повинностей посредством внутреннего или внешнего займа<sup>8</sup>. По некоторым намекам Самарина можно заключить, что перед открытием губернских комитетов утверждался такой взгляд на дело; у правительства неостанет средств для выкупа паделов и нет «никаких» данных о настоящем положении крепостных отношений, чтобы развязать их принудительно посредством готового и во всех подробностях разработанного плана; потому остается ограничиться переходом крепостных в положение обязанных, а определение условий перехода предоставить полюбовному соглашению заинтересованных сторон<sup>9</sup>. Отсюда выходил такой политический и культурный софизм: правительство еще не знало, как развязать крепостные отношения, значит, это уже знали и могли сделать сами помещики и крестьяне без указаний правительства. Для нас этот софизм изощряется еще указанием опыта: в 1861 г., давая крестьянам и помещикам в руководство при добровольном соглашении подробное Общее положение, законодатель нашел необходимым присоединить к нему длинный ряд дополнительных правил и местных положений, предостерегая, что «во всех тех случаях, когда добровольные соглашения между помещиками и крестьянами не состоятся, надел крестьян землею и отправление ими повинностей производятся на точном основании местных положений»; и четыре года назад думали, что дело пойдет серьезно без таких дополнений и предостережений, по одному простому слову: уговаривайтесь полюбовно, как знаете!

Все черты этого взгляда, вскрывающиеся в суждениях и намеках Самарина, любопытны для истории великого факта, закрепленного законом 19 февраля. Теперь поздно полемизировать против этого взгляда, и было бы неблагодарностью порицать за него людей того времени, подобных Самарину, по мере разума старавшихся помочь разрешению труднейшего вопроса, какой когда-либо разрешался в нашем народе и во всем пространстве пережитых им столетий. Но происхождение этого взгляда, кажется, есть простая научная задача, разрешить которую может попытаться всякий желающий уяснить себе факты своего времени, никого не порицая, и задача, тем более обязательная, что только ее

решением можно объяснить себе многое в том порядке вещей, какой стал складываться после 19 февраля.

Кажется, дело шло таким образом. Прежде всего важно соображение, заставившее Самарина отвергнуть применимость инвентарной системы юго-западных губерний к разрешению крепостного вопроса в остальной России. Инвентарные правила, по его мнению, — это контракт, которому недостает только одного добровольного согласия связанных им сторон, т. е. именно того условия, на котором основывается внутренняя законность и прочность всякого договора, а вся сила в том, что в области *гражданских отношений* предписанию начальства только подчиняются, тогда как «*добровольная же сделка... связывает совесть, возбуждая сознание гражданской свободы и нравственного долга*»<sup>10</sup>.

В своем проекте он представляет помещиков и крестьян сторонами, свободно договаривающимися для заключения частной сделки. Хотя, рассуждая о праве крестьян на землю, он, по-видимому, не согласен видеть в них простых постояльцев, а в помещике — хозяина дома<sup>11</sup>, однако легко заметить, что его план добровольных сделок построен именно на таком взгляде, и если правительство подходит ближе к этим сделкам, чем к отношениям домовладельцев и постояльцев, то лишь потому, что сделки касаются судьбы многомиллионного класса, чрезвычайно важного для интересов государства и малообеспеченного. Итак, помещики и крестьяне — гражданские стороны, заключающие простые сделки, не выходящие из сферы гражданского права. Разделял ли сам Самарин такой образ мыслей или только хотел основать свой проект на взгляде, тогда господствовавшем в дворянстве, в том и в другом случае этот взгляд не более как ученое предположение, которое довольно трудно доказать.

Это предположение основано на мнении, что помещик есть простой частный землевладелец, а его земля — простая гражданская собственность. Трудно разобрать, каким образом это мнение всплыло наверх, когда возбужден был вопрос об отмене крепостного права, только оно было юридическим недоразумением, потому что русский помещик вплоть до 19 февраля 1861 г. владел своей землей не на гражданском, а на политическом праве, потому что это владение неразрывно связано было

с такими обязанностями, которые по действовавшему гражданскому праву не связаны были с простой земельной собственностью. Эти обязанности впервые отменены были законом 19 февраля<sup>12</sup>. Исторический ход развития такого землевладения довольно известен. К концу XVII в. и вотчины и поместья одинаково стали землевладением, обусловленным государственной службой землевладельцев, впрочем, между ними оставалась юридическая разница: одни наследовались по праву завещания, другие только фактически переходили к сыновьям или родственникам. В начале XVIII в., в эпоху страшной путаницы понятий и отношений, закон 1714 г. с единонаследия, устанавливая одинаковый порядок наследования для вотчин и поместий, забыл отличить действовавшее право от действовавших фактов: тогдашний законодатель был вообще равнодушен к такой юридической метафизике и смешал поместья с вотчинами. Закон 1731 г., отметив этот порядок наследования, подтвердил это смешение. Однако они не утратили характера владения на политическом праве: государственные обязанности, под условием которых они были утверждены за владельцами, не только не были сняты с последних, но еще усложнились после первой ревизии податной и полицейской ответственностью за крепостных, приписанных к владельцу. Закон 18 февраля 1762 г. о вольности дворянской снял с дворян-землевладельцев служебную, всенную повинность, но повинности правительственные, обязанности по управлению крепостными и их продовольствию и призрению, как и ответственность за них в известных отношениях, не были ослаблены, а расширены, точнее, формулированы позднейшим законодательством. Вся перемена, произведенная законом 1762 г., состояла в том, что из обязательного гвардейского рядового или армейского офицера, наделенного за это землей с крестьянами, помещик превратился в участкового помощника уездного исправника, стал правительственной особой в своем поместье. Он поддерживал общественный порядок между своими крестьянами и дворянами, судил их и наказывал, отдавал в рекруты и ссылал в Сибирь неисправимых, устраивал средства и порядок продовольствия крепостных и обсеменения их полей, отвечал за них по взносу податей и всех казенных взысканий, был их попечителем, ходатайствовал за них

в суде по делам гражданским и уголовным. Одним словом, в его лице гражданское право поземельной собственности слилось с властью и обязанностями правительственного агента: дело само по себе простое и бывалое как в Европе, так и в древней России, хотя не совсем своевременное в век Монтескье и Вольтера, книжки которых были настольными у русских правительственных лиц того времени. Здесь, впрочем, важен не политический анархизм, а то, что только под условием этих правительственных обязанностей помещик удержал за собой право поземельной собственности с прикрепленными к ней крестьянами, после того как избавлен был от служебной повинности, которая создала ему эту собственность. Если дворянство, принимая такой условный дар, не протестовало против его условий, то лишь потому, что видело в них скорее заманчивые права, чем обязанности, которые могли стать тяжелыми.

В нынешнем столетии помещики, пытавшиеся понять свое владельческое положение не помощью тонких соображений цивилиста, а на основании непосредственных фактов действительности, приходили к заключению, одинаковому с мнением императора Павла, что они не столько простые собственники своих имений, сколько их политические управители. Сам Самарин приводит несколько таких определений. Так, в «Земледельческом журнале» за 1821 г. напечатано было: «Помещиком я разумею *наследственного чиновника*, которому верховная власть, дав землю для населения, вверила через то и попечение о людях населенных; он есть природный покровитель сих людей» и т. д. Самарин с негодованием восстает против такого определения<sup>13</sup>, и мы с ним согласны, что оно не имело никакого основания, кроме... закона.

Такое значение владельца крепостных душ не осталось в кругу политических идей, но пошло дальше учебников русского государственного права: оно решительно подействовало на характер и приемы помещичьего хозяйства. Сельское хозяйство помещика в нынешнем столетии все больше усваивало себе приемы сельской администрации, и сам он из землевладельца-агронома все более превращался в крепостного душеправителя. Этот факт слишком еще памятен, чтобы его надобно было доказывать, и Самарин в своих записках не раз под-

тверждает его. Рассматривая в записке 1856 г. влияние крепостного права на народное хозяйство, он показывает, как постепенно вопросы о почве, удобрении и т. п. уступали место в помещичьем хозяйстве выдвинутому на первый план вопросу *«об управлении крестьянами, как рабочим механизмом, заменяющим у нас оборотный капитал»*, и здесь же приводит характеристический отзыв секретаря Общества сельского хозяйства в 1835 г.: «Многие помещики жалуются, что опытность хозяина должна состоять теперь более в умении управлять самими крестьянами, нежели их работами»<sup>14</sup>. Еще в прошедшем столетии возник взгляд на крепостное право, прямо противоположный действовавшему законодательству и понятиям, господствовавшим в дворянстве; в царствование Александра I из него вышел целый ряд освободительных проектов, которые даже обсуждались в правительственной среде. Этот взгляд, нападая на крепостное право, как на государственное установление, видел в утвержденной законом власти помещика над крестьянами великую неправду, но этот протест возбуждался, собственно, злоупотреблением помещичьей власти, проявлениями дикого и грязного произвола со стороны владельцев. Такой взгляд привел к практическому заключению, что для прекращения зла достаточно законодательным порядком уничтожить личную власть помещика над крепостными, дать последним личную волю, подарив им усадьбы или просто пустив их на все четыре стороны, как в древнее время отпускали холопов перед смертью, лишь бы не было этого ежедневного постыдного жертвоприношения возмутительному помещичьему произволу. В этом воззрении было много идилического чувства и очень мало практической сообразительности; его проповедовали люди, которые, подобно императору, проникнуты были гуманными идеями просветительного века и никогда близко не присматривались к быту русской деревни. Плохие хозяева не могли понять, что в занимавшем их деле есть сторона, несравненно более важная и тяжелая, чем негодяи-управляющие из своих или немцев, розги и похождения с крестьянками: экономическая, поземельная сторона вопроса совсем ускользала от их внимания, возмущенного чувством скорби и стыда за крепостное отечество. Любопытно читать откровенный рассказ одного из этих неопытных энтузиастов.

стов о том, как он хотел освободить своих крестьян. Возмущенный слухами о неистовствах помещиков, он решил, что необходимо прежде всего поставить крестьян в совершенно независимое положение от помещиков. Он составил очень простой план освобождения без тяжелой операции выкупа: крестьянам отдавались даром в полную собственность дворы их со скотом и всем имуществом, с усадьбами и выгоном, остальную землю помещик удерживал за собой, предполагая половину обрабатывать вольнонаемными рабочими, а другую отдавать в наем своим крестьянам. Когда в 1819 г. он предложил этот план крестьянам своей смоленской деревни и на их вопрос о пахотной земле ответил, что она будет принадлежать ему, а крестьяне будут властны нанимать ее, они, несмотря на худое качество этой земли, прямо объявили доброму барину: «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому: мы ваши, а земля наша». А это был человек бескорыстный, руководившийся только желанием добра крестьянам: вскоре он сам убедился и признался в негодности своего плана.

Этот взгляд или, говоря точнее, весь круг понятий, из которого он вышел, имел более важное практическое значение, чем обыкновенно думают: он действовал и тогда, когда уже покинули мысль об осуществлении какого-либо основанного на нем плана эмансипации. Он утвердил или по крайней мере поддержал одностороннее отношение к делу. Вопрос о крепостном праве решительно превратился в вопрос о власти помещика над крестьянами; перед лицом законодательства и общественного мнения остался правитель ревизских душ и исчез землевладелец, на земле которого жили миллионы государственных плательщиков.

Эту односторонность легко заметить в законодательстве текущего столетия о крепостном состоянии и в мнениях той среды, где формулировались законы. Сперанский, например, в исторической записке о землевладении и крестьянах, составленной в 1836 г., признавая крепостное состояние «столь же законным, как и все другие» по его происхождению, восстает только против злоупотреблений законным правом, но возлагает надежды, во-первых, на смягчение нравов и развитие лучших понятий *о распределении труда* при содействии «простого расчета обоюдных выгод» и, во-вторых, на то, что самый



закон со временем путем благоразумного дополнения «может быть приведен в такую ясность и полноту, что отступления от него сами собою должны будут прекратиться»: это та же сельская идиллия, какая господствовала в царствование Александра I, с присоединением самоуверенности кодификатора. Проект Перовского, разбиравшийся 10 лет спустя после этой записки, также основан только на постепенном законодательном ограничении правительственной власти помещиков. Известно, как законодательство 40-х годов оправдало надежды Сперанского. Самарин горько жалуется на непоследовательность и колебание этого законодательства<sup>15</sup>; но жаловаться можно только на его последовательность и верность традиционному направлению. Достаточно перечислить важнейшие из законов того времени: закон о праве крепостных быть заключенными по требованию помещика в смирительных и рабочих домах не более 3 месяцев, закон о праве крестьян приобретать недвижимые имущества с дозволения помещиков, закон о праве крепостных выкупаться на волю с землей при продаже имения их помещика с аукциона и т. д. Все права и права и нигде нет мысли о факте, о возможном и необходимом: не доставало только закона о праве крепостных воспитывать своих дочерей в заграничных пансионах или открывать банки с основным капиталом не меньше 5 млн. Дали право выкупиться при продаже имения с публичного торга и ничего не сделали, чтобы помочь крестьянам добыть нужные для выкупа деньги в назначенный законом 30-дневный срок. С конца прошедшего столетия изданы были сотни распоряжений о разных правах и пределах власти, и во всей этой массе, если не ошибаемся, было только два закона, прямо и близко входивших в хозяйственные, поземельные отношения крестьян к помещикам, пытавшихся установить обязательные нормы этих отношений: разумеется закон 1797 г. о трехдневной барщине и постановление 1827 г. о том, что помещик не может продать свою землю, не оставив крестьянину, на той же земле водворенному, до 4,5 десятин земли.

Так вопрос о крепостном праве перенесен был из сферы экономической политики, где и родилось оно, в чуждую ему область юридической диалектики. Несмотря на возражения, которые можно предвидеть, мы

думаем, что таксе преобразование вопроса совершилось описанным выше процессом. Имение русского помещика, населенное прикрепленными к земле крестьянами, никогда не было простой полной собственностью на гражданском праве. Помещичье землевладение возникло под влиянием экономических потребностей государства из сочетания служебных обязанностей помещика с податными повинностями крестьян как порядок их взаимных поземельных отношений, обязательно установленный законом, но не определенный в подробностях. После отмены обязательной службы дворян из обязанностей помещика, происходивших от возложенной на него законом ответственности перед правительством за своих крестьян в известных отношениях, возникла землевладельческая и судебно-полицейская власть его над крестьянами. Дальнейшее законодательство, собственно, определяло свойство и пределы этой власти, а не регулировало созданный временными нуждами государства порядок поземельных отношений крестьян и помещиков, видоизменяя его согласно с потребностями своего времени. Благодаря этому помещик стал сознавать себя не столько землевладельцем, сколько наследственным вотчинно-полицейским правителем поселенных на его земле крестьян; этот взгляд отразился и на приемах его сельского хозяйства. Либералы, восставшие против этой власти за злоупотребление ею, не стали на одну точку зрения с законодательством, ее создавшим: они видели в помещике только правителя, облеченного по закону властью, которой он не умеет пользоваться. Это — столкновение либерального образа мыслей с направлением законодательства, оно преимущественно, хотя не оно одно, утвердило в умах мнение, что узел крепостного вопроса заключается главным образом в личной власти помещика над крестьянами в этом «правительственном установлении», как она названа в ст. 288 Уложения о наказаниях, а не в поземельных отношениях обеих сторон: лишь бы удалось развязать этот узел, а поземельные отношения можно было бы свести тогда на почву гражданского права и разверстать простой полюбовной сделкой землевладельца с нанимателем земли и продавца с покупщиком.

Люди 1850-х годов, заговорившие о необходимости отмены крепостного права и сообщавшие мнение и све-

дения комитету 1857 г., не были вполне свободны от такого взгляда на дело. Весь рассматриваемый том сочинения Самарина доказывает это. Самарин лучше предков знал действительное положение крепостных крестьян, он даже очень хорошо знал его и, несмотря на то, думал, что задача законодательства может ограничиться при разрешении вопроса определением юридических отношений между помещиком и крестьянами, приведением власти первого над последними в должные границы, поэтому, составляя план управления крестьянами, перешедшими в положение обязанных путем добровольной сделки с помещиками, он замечает, что вопрос об окончательной организации сельских обществ, «которого самое возбуждение было бы преждевременно, по важности своей едва ли имеет равный себе»<sup>16</sup>.

Затем поземельное устройство крестьян он считал возможным предоставить соглашению между ними и помещиком как двумя равными гражданскими сторонами. Во второй половине XIX столетия было бы поздно доказывать, что отмена правительственной власти помещика над крестьянами еще не снимала с него государственных обязанностей, на которых она основывалась, так как эти обязанности давали оправдание не одной этой власти, но и самому праву собственности над землею помещика. Но любопытно то, что ряд вопросов, который и после того предстояло разъяснить и который, на наш взгляд, должен был бы пойти впереди при обсуждении дела, в записках и проектах Самарина не затронут. Так, добровольная сделка предполагает две свободно договаривающиеся гражданские стороны. Но ведь помещик не мог отказать в земле своим крестьянам, заменив их приглашенными вольнонаемными рабочими, и не захотел бы, если бы даже мог, а крестьяне не могли переселиться на другую землю; таким образом, добровольная сделка между ними без подробных указаний законодательной власти была бы похожа на договор сиамских близнецов о том, как им относиться друг к другу. Притом план освобождения, основанный на юридической фикции свободного гражданского договора двух вовсе не свободных и не гражданских сторон, при последовательном своем проведении вел к таким последствиям, которые могли бы далеко разойтись с действовавшей системой государственного хозяйства и даже

затруднить ее преобразование. Люди 1850-х годов, добросовестно передумавшие такое количество мыслей об освобождении и устройстве крепостных крестьян, никак не хотели остановиться на скромном заключении, что им прежде всего предстояло решить очень сложную, это правда, но только статистическую задачу: надобно было определить с возможной тогда точностью, какое количество земельных средств требовалось в данной местности труду наличных рабочих сил для удовлетворения как их собственным необходимым потребностям, так и государственным требованиям, какие падали на представляемое ими количество ревизских душ. Каждая точно высчитанная цифра в ответ на этот вопрос дала бы законодательству более твердое основание для решения дела, чем любой проект управления обязанных крестьян.

Если бы оказалось, что наличное количество помещичьей земли, находившейся в крестьянском пользовании, не давало возможности установить равенства между обеими найденными величинами, тогда было бы гораздо легче изыскать и привести в действие вспомогательные средства, например правильно устроенный порядок переселений, чем стало теперь. В числе этих средств могла бы быть и добровольная сделка, но не как юридический принцип, а только как вспомогательное практическое средство, призванное для определения подробностей, недоступных законодательной регламентации. Самарин также, по-видимому, не хотел признать всей суровой серьезности этой задачи и остался на точке зрения, в которой нельзя не заметить смелого оптимизма. В одной из составленных для секретного комитета в 1857 г. записок, отстаивающей освобождение крестьян с землею в количестве, необходимом для их *пропитания*, он оправдывает возможность предоставить определение этого количества добровольному соглашению сторон, указывая на то, что, «конечно, никто лучше самих крестьян не знает меры действительной их потребности», и вслед за тем читаем строки, имеющие значение исторического документа: «Поэтому, до тех пор пока добровольное их согласие почитается необходимым условием *безопасно* допускать заключение и таких договоров, по которым они должны остаться при одних усадьбах и огородах или с малой частью прежних своих полей; *где*

*крестьяне откажутся от всей пашни или от некоторой ее части, смело можно поручиться, что там они точно в ней не нуждаются»*<sup>17</sup>. Не мешало ему в той же записке ставить целью законодательства создание состояния вольных крестьян-собственников, так как земля составляет «необходимое условие материального существования крестьян как самостоятельного сословия». В другой записке, отвечая на вопрос комитета о мерах для более точного определения повинностей крепостных крестьян их помещикам, он высказывает уверенность, что в этом вопросе — и будто бы только в этом — заключена *вся сущность* вопроса о крепостном праве<sup>18</sup>.

Кто знает, может быть, если бы люди 1850-х годов не стояли на этой точке зрения, теперь бы не было обильных жалоб и затруднений, при которых обыкновенно ссылаются на статьи 122 и 123 местного Положения для великорусских, новороссийских и белорусских губерний.

Издатель обещал в скором времени выпустить третий том, куда войдут дальнейшие труды Ю. Ф. Самарина по крестьянскому вопросу, когда последний был уже возбужден открыто; сверх того, в предисловии к этому тому издатель намерен «представить краткий очерк общественной и литературной деятельности его [Ю. Ф. Самарина] по освобождению крестьян от крепостной зависимости в связи со всем ходом крестьянского дела в России»<sup>19</sup>. То и другое в высшей степени любопытно, тогда можно будет если не оправдать, то истолковать некоторые черты его взгляда на дело, которые во втором томе остались не вполне развитыми, потому что автор не имел случая или побуждения извлечь из них все практические последствия. Так, для истории реформы любопытно знать, нашли ли место в дальнейшей разработке вопроса Самариным исторические заключения, высказанные им в записке 1857 г. «О праве крестьян на землю»<sup>20</sup>. Тогда обозначаются яснее и самые основания его первоначального взгляда на крестьянское дело вместе со всем кругом его исторических и политических понятий. Можно предвидеть, что принятое Самариным после 20 ноября 1857 г. практическое участие в разрешении вопроса уяснило ему самому одни из его прежних мнений и изменило другие; признаки этого изменения показываются уже во втором томе. Самарин был одним из последних представителей цель-

ного, законченного образа мыслей, воспитанного идеями и событиями первой половины нашего века; один из немногих он спас свой умственный и нравственный груз от крушения среди качки, которая началась во второй половине и от которой разбилось столько надежд и убеждений. Любовь к отечеству заставляла этих людей покидать их любимую сферу отвлеченных идей и нисходить в мир грубых печальных явлений действительности. Сюда они приносили приемы размышления, к которым привыкли на своей метафизической высоте: они ставили нравственные принципы и юридические тезисы там, где действовали статистические цифры и экономические факты. Читатель, обсыхающий на берегу после тревожного 18-летнего плавания, с эстетическим наслаждением читая Самарина, с удивлением замечает, что на том берегу еще господствовало такое настроение духа, при котором можно было углубиться в психологический и патологический анализ крепостных отношений и вырабатывать формулы гражданского права для разрешения этих психологических и патологических отношений. Очень жаль, но можно и опасаться, что, когда практические последствия этих возвышенных, но несвоевременных упражнений обозначатся еще яснее, они подадут повод к такому приговору: эти люди были слишком философы и эстетики, чтобы стать деловыми устроителями народного хозяйства; они так много занимались познанием сущности вещей, что для их абстрактной мысли исчезали конкретные различия между камнем и куском хлеба, и, когда у них попросили последнего, они в философской рассеянности взялись за первый. Такое суждение было бы слишком искусственно и не совсем справедливо. Можно объяснить дело проще и вернее: эти люди были *так воспитаны*; вера спасла их благодушную и иногда, как в Самарине, сильную мысль от уныния, потому что какая же другая сила, кроме веры во что-то, не то в русский здравый смысл, не то в русское «авось», могла внушить им надежду на успех простой добровольной сделки без прямого законодательного регулирования и понуждения или подсказать слова, написанные некогда Я. И. Ростовцевым: «Исход крестьянского вопроса представляется мне в радужном свете: крестьяне получают свободу полную; зачнут они богатеть» и т. д.

---

---

## СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ

*(умер 4 октября 1879 г.)*

С. М. Соловьев родился 5 мая 1820 г. в Москве<sup>1</sup>. Отец его, протоиерей Михаил Васильевич, был законоучителем в Московском коммерческом училище. Первоначальное образование Сергей Михайлович получил дома и только уже на 14-м году поступил в I Московскую гимназию прямо в третий класс. Окончив гимназический курс в 1838 г. с отличным успехом (имя его осталось на золотой доске I гимназии), он перешел в Московский университет на первое отделение философского факультета, как тогда назывался историко-филологический факультет. Из гимназии он вынес основательное знание древних классических языков, и им посвящен был первый литературный опыт, явившийся в печати с именем Соловьева: это была произнесенная им на гимназическом акте при выпуске речь «О значении древних классических языков при изучении языка отечественного». Изучение древних языков продолжалось и в университете, где в то время сильно действовал на умы слушателей своими блестящими и полными новизны лекциями о древней истории профессор римской словесности Д. Л. Крюков. По рассказу самого Соловьева, Крюков даже предлагал ему специально готовиться под его руководством к занятию кафедры римской словесности. Но Соловьев уже решил выбор ученой специальности, посвятив себя изучению истории, преимущественно отечественной. В это же время, когда Соловьев был на втором курсе (1839 г.), начал свою столь памятную в истории Московского университета ученую

деятельность только что вернувшийся из-за границы преподаватель всеобщей истории Т. Н. Грановский. Вместе со многими товарищами Соловьев подчинился обязательному действию сильного таланта; впоследствии исторические занятия сблизили его с Грановским, Соловьев стал потом его ближайшим товарищем и до конца его жизни остался связан с ним самой тесной дружбой.

В студенческие годы Соловьева русскую историю преподавал в Московском университете известный М. П. Погодин. Тогда уже близилась к концу его профессорская деятельность, прекратившаяся неожиданно для него самого в 1844 г., когда он по некоторым причинам покинул службу в университете в надежде вернуться туда года через два, — и уже не возвращался. Погодин заметил даровитого студента, прилежно и с успехом занимавшегося изучением отечественной истории. Задумав оставить университет на время, Погодин года за два до своей отставки, предупредив совет об этом намерении, указал ему в числе других кандидатов для замещения своей кафедры (Григорьева и Бычкова) и на студента Соловьева, бывшего тогда на последнем курсе.

Тотчас по окончании университетского курса новому кандидату 1-го отделения философского факультета представился случай побывать за границей и там довершить свое историческое образование. Он отправился туда с семейством графа А. Г. Строганова, которому рекомендовал молодого кандидата тогдашний попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов. Соловьев пробыл за границей два года (1842—1844 гг.). Проездом он посещал Берлинский университет, бывал, между прочим, в аудитории Неандера; в Праге познакомился и много беседовал об истории славянства и России с Шафариком и другими чешскими учеными. Но главным местом его заграничных занятий был Париж. Здесь он много читал и много слушал, посещая усердно лекции Ампера, Кинэ, Ленормана, Мишле, Рауль-Рошета, Ж. Симона, Ф. Шаля, также Фр. Араго и Мицкевича. К изучению истории России он старался подготовить себя основательным знакомством с историей всеобщей, особенно с теми ее явлениями, которые имеют прямую или косвенную связь с фактами нашего прошедшего. Впрочем, и на чужой стороне не прекращались занятия



отечественной историей: в Париже Соловьев если не писал, то обдумал и подготовил свою магистерскую диссертацию, которую представил факультету вскоре по возвращении в Москву, в начале 1845 г., выдержав перед тем экзамен на степень магистра русской истории.

Возвратившись из-за границы, Соловьев чрезвычайно быстро прошел ряд испытаний, обязательных для ученого, ищущего профессуры, хотя эти испытания в то время были несравненно сложнее и труднее, чем стали теперь: так, публичной защите диссертации в то время предшествовал диспут в закрытом заседании факультета, чем приобреталось право и на словесный экзамен и на публичную защиту диссертации. Выдержав магистерский экзамен в начале 1845 г., он дважды напечатал и в октябре того же года защитил магистерскую диссертацию: *«Об отношениях Новгород к великим князьям»*. Через год факультету была уже представлена им докторская диссертация: *«История отношений между русскими князьями Рюрикова дома»* — объемистая книга в 700 страниц. Такая скорость тем удивительнее, что она не отразилась заметно на качестве ученой работы и что, в то время как писалась эта книга, автору ее пришлось работать над другим делом, самым трудным в ученой жизни профессора: в июле 1845 г., по предложению попечителя, он был избран в преподаватели русской истории в Московском университете, читать свой первый курс в университете, — а после защиты магистерской диссертации утвержден был на кафедре русской истории, впрочем, только в звании исправляющего должность адъюнкта, хотя уже имел степень магистра. Определение совета Московского университета, дозволявшее печатать представленную Соловьевым на степень доктора диссертацию, состоялось 18 декабря 1846 г., в июне следующего года диссертация была защищена, а в промежутке 27-летний магистр русской истории успел сдать экзамен на степень доктора исторических наук, политической экономии и статистики — экзамен, на котором ему предложено было 11 вопросов из этих наук, а также из древней и новой географии. В три года со времени возвращения из-за границы — два экзамена и две диссертации с четырьмя диспутами, не считая первого курса русской истории, читанного студентам в 1845/46 академическом году, не считая и ряда статей, написанных в то же

время: русские ученые редко поднимались по лестнице ученых степеней так быстро и с таким успехом. Уже в те годы Соловьев в совершенстве обладал тем умением беречь время, которое дало ему возможность сделать так много впоследствии.

Обе диссертации создали автору громкую известность не только в тесном кругу ученых, но и во всем читающем обществе. Первое его исследование, выпущенное в свет в ограниченном количестве экземпляров, разошлось так быстро и так настойчиво спрашивалось публикой, что в 1846 г. автор принужден был с некоторыми пополнениями перепечатать его в *«Чтениях Общества истории и древностей российских»*. По свидетельству одного тогдашнего московского литератора — наблюдателя, первую диссертацию Соловьева «все литературные партии встретили самым решительным одобрением без различия мнений»<sup>2</sup>. Вторую диссертацию встретили с таким же, если не с большим сочувствием, которое сказалось и на диспуте (9 июня 1847 г.) и в печати. «Диспут блестящий!» — так начал упомянутый наблюдатель свой отчет о нем: «Несмотря на летнее время, — продолжает он, — когда Москва пуста, большая университетская аудитория была полна; кроме профессоров и студентов, было много лиц сторонних; некоторые посетители и посетительницы не задумались для ученого торжества приехать с дач; публика живо заинтересовалась и следила с участием за диалектикой и доводами говоривших», а говорили, возражая Соловьеву, Грановский, Бодянский, Кавелин и студент Клеванов. Незадолго до диспута ученый из другого литературного лагеря, враждебного тому, к которому примкнул Соловьев, известный И. Д. Беляев в *«Московском городском листке»* поместил о его книге небольшую, но бойкую статейку, подобные которой ему редко удавалось писать потом: здесь рецензент называл труд Соловьева «книгой, по своему превосходному содержанию долженствующей быть настольною у каждого занимающегося русскою историей», книгой, которую «можно прочесть с удовольствием десять раз и больше»; строгая логическая последовательность в выводах, по признанию критика, царит над всем сочинением; выводы и факты являются в книге чем-то неразрывным, родным друг другу; иногда даже дивишься, прибавляет Беляев, отчего преж-

ние историки не замечали того, что так естественно и просто открыл Соловьев<sup>3</sup>.

Успех обеих диссертаций, не устаревших и доселе, сбъясняется не одним талантом автора, но и его серьезной подготовкой: в этих первых ученых опытах своих начинавший историк выступил уже с обдуманними историческими понятиями, с определенным взглядом на задачи и приемы исторического изучения. Этот взгляд определился с помощью раннего и близкого знакомства Соловьева с современным состоянием исторической науки на Западе; знакомство это началось еще на студенческой скамье в Москве, и потом ему преимущественно посвящены были двухлетние заграничные занятия. В «*Москвитяине*» в 1843 г. напечатана была чрезвычайно живая, с юношеским одушевлением написанная статья о Парижском университете, под которой стоит пометка: «Прага Чешская, 23 июня 1843 г.» С большим увлечением, которое сообщается и читателю, передает здесь московский слушатель французских профессоров впечатления, накопившиеся в нем в продолжение академического года, когда он усердно посещал Сорбонну. Это ряд метких характеристик преподавателей, которых он слушал в Париже, с остроумными замечаниями о характере и манерах французского университетского преподавания. Мишле, например, выдержками из его лекций очерчен во весь рост с его отвращением к системе, с внешней беспорядочностью и болтливостью изложения и с блестящей, ловко заостренной и иногда очень меткой отдельной фразой. Но Соловьев не увлекался восторженной импровизацией французских профессоров; отдавая должное внешним качествам их преподавания, он хорошо видит его внутренние недостатки, превращающие университетскую лекцию в публичную ораторскую речь. Очевидно, не под влиянием этих более ораторских, чем ученых, чтений складывался взгляд Соловьева на задачи и приемы научного исторического исследования. Притом курсы, слушанные им в Париже, по крайней мере те, о которых он отдает отчет в своей пражской статье, и по содержанию своему были слишком далеки от того порядка исторических явлений, на котором он потом останавливал преимущественное внимание в своих исследованиях, а в краткой автобиографической статье, составленной им для «*Словаря профессо-*

ров Московского университета» (1855), он сам заметил, что за границей «он продолжал исторические занятия, разрабатывая преимущественно те предметы, которые имели ближайшее отношение к его главному предмету — отечественной истории»<sup>4</sup>. В Париже он слушал в 1842—1843 гг. чтения С.-Марка Жирардена о французской драме, Ф. Шаля — по истории немецкой литературы, Кинэ — по истории древней немецкой, итальянской и испанской литературы, Ампера — о французской литературе XVII в., Россье С.-Илера — о состоянии Италии до основания Рима, филолога Патэна — о комедиях Теренция, Ж. Симона — о философии, Ленормана, премника Гизо по кафедре новой истории, — о евангелии и христианстве, наконец, Мишле, курс которого, называвшийся философией истории, по-видимому, мало соответствовал своему названию. Разнообразие этих курсов свидетельствует о широкой любознательности молодого кандидата, посвятившего себя изучению отечественной истории, но его исторические взгляды вырабатывались больше путем обширного чтения, чем под влиянием заграничной университетской кафедры. В то время изучена была Соловьевым большая часть важнейших произведений западно-европейской исторической литературы, многочисленные выписки из которых он хранил в своих бумагах. Из всех представителей европейской историографии XIX в. никого не ставил он так высоко, как Гизо, а из исторических произведений прошлого столетия великое научное значение придавал он философии истории Вико (*Scienza nuova*). Эти имена бросают некоторый свет на источник и характер общих исторических воззрений, которые легли в основание трудов Соловьева по русской истории.

С начала нынешнего века европейская историческая литература стала заметно принимать иное направление, какое лишь изредка появлялось в ней прежде отдельными робкими попытками без взаимной связи и последовательного развития. Философски, а ргіогі построенные схемы в истории стали терять прежнюю цену, как еще раньше потеряли ее разные историко-дидактические построения судеб человечества. Исторический опыт, тяжелые и быстрые перемены, часто совершенно непредвиденные, какие были испытаны европейскими обществами с конца прошедшего столетия, привели к мысли,

что в истории, помимо той пищи, какую она доставляет философскому и эстетическому созерцанию, есть еще сторона, более важная для изучения и более нужная для практических потребностей настоящего и будущего, — это природа и действие сил и условий, участвующих в построении человеческих обществ. Историческая мысль стала внимательнее всматриваться в то, что можно назвать механизмом человеческого общежития. В этом наблюдении она пошла двумя путями, направляемая различными впечатлениями, какие вынесены были из недавнего опыта. Этот опыт состоял из ряда потрясений, совершившихся и в политической жизни обществ и вызванных борьбою и сменой разных государственных порядков, и, чтобы найти причины столь великих и неожиданных крушений, одни наблюдатели обратились к рассмотрению политической конструкции, кладки разных обществ и изучению процесса, каким они складывались. Но один и тот же политический порядок имел неодинаковую судьбу в разных местах, приводил к различным последствиям; порядок, по-видимому, наиболее разумно проектированный и обещавший прочно обеспечить человеческое благополучие, на иной почве не принимался, портился, разрушал спокойствие и благосостояние целого общества и уступал место другому, казавшемуся худшим, как будто в деле политических учреждений кладка, технически лучшая, может быть негодной на иной исторической почве. И потому другие наблюдатели сосредоточивали свое внимание на свойствах этой почвы и того материала, который из нее извлекался для построения общества. Так задача исторического исследования раздвоилась: для одних предметом его сделались преимущественно генезис и развитие политических форм и социальных отношений, политика и право, для других — рост национальных преданий и обычаев, дух и быт народа. Это раздвоение по существу своему не давало повода к антагонизму обоих направлений в исторической науке: оно, собственно, было не более как простым разделением труда в работе над одним и тем же предметом; однако ж это разделение иногда принималось за различие самых воззрений, принципов и вызывало борьбу.

Соловьев присоединился к первой из этих школ, если можно так назвать указанные направления, господство-

вавшие в исторической литературе. Преемство политических форм, происхождение и развитие сословного расчленения общества и т. п. — таковы были предметы, на которых он прежде и больше всего сосредоточил свое внимание, как только принялся за самостоятельную обработку отечественной истории по окончании приготовительных занятий. С таким взглядом на задачи исторического изучения возвратился он в 1844 г. из-за границы, и присутствие программы, построенной на таком взгляде, заметно уже в содержании первого университетского курса, читанного им в 1845/46 академическом году. В подробном «Отчете о состоянии и действиях Московского университета» за этот год читаем, что исправляющий должность адъюнкта магистр Соловьев преподавал по собственным запискам русскую историю студентам 3-го курса 1-го отделения философского факультета и 2-го курса юридического по 4 часа в неделю, предполагая довести свой курс до новейших времен: «Преподаватель особенно обращает внимание своих слушателей на родовой быт, господствовавший в древней Руси, и постепенный переход его в быт государственный; равно обращает особенное внимание на отношение между Русью московской и Русью литовской и на историю сословий»<sup>5</sup>. Сверх того, студентам 4-го курса философского факультета он преподавал по 2 часа в неделю *специальный курс*, предметом которого была «история междуцарствия». В отчетах ближайших следующих лет находим указания только на содержание этих специальных курсов: в 1846—1847 гг. читана была история царствования трех первых государей из дома Романовых, в 1847—1848 гг. история Петра Великого и т. д. Но уже из отчета за первый год преподавательской деятельности Соловьева достаточно видны содержание и характер его другого курса, который студенты слушали прежде специального: это был общий обзор истории России, столь памятный всем его слушавшим, который останавливался там, откуда профессор в следующем году предполагал вести более подробное его продолжение. Так уже в первые годы Соловьев установил тот порядок преподавания, которого он долго держался потом: начав специальное изложение с эпохи, на которой прервалась «История государства Российского» Карамзина, Соловьев с каждым годом понемногу подвигался все дальше

вперед, но студент специально знакомился с доставшейся ему эпохой, уже подготовленный к тому общим курсом русской истории с древнейших времен. Содержанием этого курса была именно смена политических форм с объяснением исторических обстоятельств, при которых одна из них зарождалась, падала и переходила в другую, и с указанием перемен, какие при господстве той или другой из них происходили в составе общества и во взаимных отношениях его частей. С течением времени фактические подробности в этом курсе сглаживались все более, так что он превратился, наконец, в непрерывную цепь обобщений, в историко-философскую формулу политического и социального развития России.

Тот же самый взгляд на задачи исторического изучения проходит и по обеим диссертациям Соловьева, и последовательное проведение в них этого взгляда было главной причиной сильного впечатления, какое они произвели на читающее общество. Такое генетическое изучение форм и отношений государственного и общественного быта России было тогда если не совершенной новостью в нашей историографии, то во всяком случае явлением, к которому еще не привыкли, которому предшествовали слабые попытки в этом роде. А в обеих первых книгах Соловьева, даже в их заглавиях, как в устном изложении с университетской кафедры, так потом в *«Истории России»* на первом плане именно *отношения*. В диссертации об отношениях Новгорода к князьям сделана попытка объяснить социальное происхождение и первоначальное устройство русского города древнейшего времени; здесь же впервые высказана была мысль, которой потом историк дал такую важную роль в ходе политической истории России, — мысль о политическом значении новых городов, возникших в северной Руси XII в., среди которых сложилось понятие об отдельной княжеской собственности, об *уделе*, сменившее прежний порядок владельческих отношений между князьями, основанный на понятии об общности, нераздельности владения. Задачей исследования было изучение «характера новгородского народовластия», решение вопроса: «Был ли Новгород республикою, в которой развивался особый быт, не имевший ничего общего с бытом других городов русских, отделился ли он своим бытом при Ярославле I, или отделился от новой Руси вместе со старей

и потом, оставшись один представителем последней, не мог удержать старины и преклонился перед городами юными?»

Тот же взгляд во второй диссертации приложен к кругу явлений нашей политической истории, еще более широкому. В нашей исторической литературе это был первый опыт, имевший целью вывести из одного начала и изобразить в виде непрерывного, последовательного процесса ряд форм политического быта, сменившихся в России с половины IX до конца XVI в. Восстанавливая этот процесс, Соловьев высказался решительно против искусственного деления нашей истории, против названий одного периода удельным, другого монгольским, дающих неверное понятие о характере времени или разрывающих естественную связь событий, «естественное развитие общества из самого себя». Книга об отношениях русских князей Рюрикава дома по основной своей мысли имеет тесную внутреннюю связь с исследованием о новгородских отношениях, развивает положения, намеченные в последнем. В этой книге получил окончательную обработку факт, который обозначен был Соловьевым как главное содержание его первого университетского курса, — факт постепенного перехода родовых отношений, служивших первоначальным основанием порядка княжеского владения, в отношения государственные. Посредствующим моментом, через который совершился этот переход от одного порядка к другому, служило понятие о княжестве как об отдельной собственности князя, понятие, происхождение которого объяснено было автором в исследовании о Новгороде, и которое, на его взгляд, возникло из отношений, установившихся между новыми городами Северной Руси и князем. Что вызвало государственные отношения, спрашивает исследователь, и что дало им торжество над родовыми? Ответом на этот вопрос служит такой ряд исторических соображений: по распадении Ярославова княжеского рода на семьи, часто одна другой враждебные, семья северных князей не развивается в род, как это было на Юге, где обособлявшиеся княжеские семьи стремились опять развиться в роды с прежними родовыми отношениями; на Севере первоначальная княжеская семья, отделившись от южных, в дальнейшем развитии своем распадается на такие же отдельные семьи, которые не смыкаются в



родовое целое, между которыми не повторяются прежние родовые отношения: это потому, что нет условия, при котором только они и могли повториться, «нет более понятия об общности, нераздельности владения»; отсюда «постоянное разделение и постоянная борьба между княжествами», что «дает сильнейшему возможность подчинить себе слабейшие; эта возможность основывается на понятии об отдельной собственности, которая исключала родовое единство; понятие же об отдельной собственности явилось на севере вследствие преобладания там городов новых, которые, получив свое бытие от князя, были его собственностью». Таким образом, родовой быт, господствовавший в древней Руси, является началом, из которого последовательно развился ее политический порядок, и самый этот быт как исходная точка развития древнерусских политических форм исследован историком более в явлениях политического порядка, чем в явлениях гражданского общежития, в кругу частных гражданских понятий и отношений.

Со времени возвращения своего из-за границы Соловьев удивительно много пишет: в одно время с обеими диссертациями и вслед за ними составлен был им ряд значительных по объему статей не только по русской, но и по всеобщей истории. В 1846 и 1847 гг., когда писалась и печаталась книга об отношениях князей, напечатаны были в разных периодических изданиях исследования о нравах и обычаях в древней Руси от времен Ярослава I до нашествия монголов, о состоянии духовенства в России до половины XIII в., о местничестве, о Мстиславе Храбром, о Данииле, князе галицком; сверх того, изложена была русская летопись для первоначального чтения и составлены два очерка по всеобщей истории «Рим» и «Варвары»<sup>6</sup>. В 1848 г. приготовлены были к печати две обширные статьи, из которых одна содержала в себе обзор событий русской истории от кончины царя Феодора Иоанновича до вступления на престол дома Романовых, другая — очерк истории Малороссии до подчинения ее царю Алексею Михайловичу. Исследования, обзоры, очерки, критики и рецензии идут непрерывным рядом до 1851 г., продолжают и далее, вливаясь потом из разных повременных изданий, подобно притокам большой реки, в «Историю России с древнейших времен». Следует также припомнить, что к 1850 г. у

Соловьева был уже готов на кафедре цельный общий курс древней русской истории и специально изложена была история XVII и начала XVIII в.

Такой усиленной ученой деятельностью приготавливался Соловьев к труду, который стал главным делом его жизни и навсегда связал его имя с успехами русской исторической науки и русского общественного сознания. Важнейшие источники древней русской истории были уже им изучены, важнейшие ее явления обдуманы и приведены во взаимную связь, когда 30-летний историк, по достижении профессорского звания (в июле 1850 г. утвержден был ординарным профессором), предпринял, как он сам замечает в своей упомянутой выше автобиографической записке, «труд написать полную отечественную историю с древнейших времен до настоящего». В августе 1851 г. вышел первый том этой *«Истории»* и потом в продолжение 27 лет каждый следующий том с неизменной точностью являлся через год после предшествующего.

Появление этого капитального труда многими встречено было с некоторым недоверием: многим еще казалось слишком смелым писать историю России после Карамзина. Но знаменитая книга Карамзина, прочитанная столь многими, воспитавшая в обществе нашем столь живой интерес к собственному прошедшему, была отражением умственного состояния этого общества, которое уже было отжито им до половины XIX в.; она не отвечала на исторические вопросы, которые успели выступить в нашем общественном сознании со смерти знаменитого историографа, не отвечала требованиям, с какими стали обращаться к историографии. Около половины нашего века в истории искали уже не одних «удовольствий для сердца и разума», не пищи для воображения, не «созерцания многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность», но искали и других, более сухих и прозаических указаний. Присутствие этой потребности в нашей литературе за много лет до выхода первого тома *«Истории России»* Соловьева, между прочим, доказывается появлением исторического труда, отличающегося мыслью и талантом, но составленного слишком торопливо и без достаточной подготовки, — *«Истории русского народа»* Полевого.

Пока историческая критика разберется в огромном труде Соловьева и оценит его научные результаты, обновим еще раз в памяти то, что было нами в нем читано в продолжение столь многих лет, те основные мысли, в которых выразился взгляд историка на ход нашей истории и которые надолго останутся точкой отправления и опоры для дальнейшего изучения русского прошедшего. Этот взгляд, обнимая собою девять веков жизни русского народа, проходит чрез длинный ряд томов «*Истории*» цельной связующей их нитью, которая, о чем никогда не перестанет жалеть русская историческая наука, прерывается на последней четверти прошлого столетия, оставляя нас без последнего слова, без окончательного суждения историка, которое не только осветило бы смысл и значение этого века в нашей истории, но и бросило бы луч исторического света на времена, еще более к нам близкие.

Когда Соловьев начинал писать первый том своей «*Истории России*», процесс русской исторической жизни, как он понимал его, уже представлялся ему вполне ясно, и оставалось только изложить его подробности. Взгляд на этот процесс определился и установился в первых трудах историка, который остался верен ему и впоследствии. В предисловии к первому тому этот взгляд тот же, каким находим его и 13 лет спустя, когда повествователь, дошедши до конца XVII в., на минуту остановился, чтобы оглянуться на оставшееся позади его время. Согласно с задачей исторического изучения, рано им усвоенной, он поставил главной целью своего труда воспроизвести последовательный рост политической и социальной жизни России. «Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснять каждое явление из внутренних причин — вот обязанность историка в настоящее время, как понимает ее автор предлагаемого труда». Преемство именно политических и общественных форм, в какие облекалась жизнь русского народа, несколько раз изложено было историком и в главном труде и в отдельных опытах. Так, в одной статье 1857 г. это преемство изображено кратко, в виде схемы, отмечающей только самые

крупные явления, главные моменты исторического процесса<sup>7</sup>.

На нашей равнине до Рюрика живет несколько редко разбросанных народцев славянских и финских. Они живут особыми, замкнутыми, самостоятельными родами. В некоторых племенах на севере эти роды были приведены к единству под одну общую власть сначала силою, были покорены пришлыми варягами. По изгнании последних родовая особенность высказалась в усобицах, «встал род на род». Тогда обращаются к недавно испытанному средству, уже добровольно призывают общую власть. Пользуясь соединенными силами призвавших племен, князья подчиняют себе все остальные. Вместо племен по соединении их являются волости, каждая со своим князем, но эти князья все — члены одного нераздельного рода, и эта нераздельность поддерживает единство земли во время государственного младенчества. Потом волости соединяются в государство, их князья исчезают, является единовластие. По окончании медленного вследствие громадности страны процесса государственного объединения Русское государство получает возможность войти в систему европейских государств с сильным влиянием.

В *«Истории России»* эта историческая формула раскрывается в таких приблизительно чертах.

Некогда какой-то враг вытеснил славян, именно наших предков, с Дуная, погнав их на девственный северо-восток, из лучшей страны в худшую. Так история-мачеха заставляла их населить страну, где природа является мачехою для человека, тогда как немцы шли в обратном направлении, на юго-запад, из худших стран в лучшие, в области Римской империи, где природа для человека — мать и где притом была уже цивилизация. В этом причина различия всей истории этих двух племен — братьев по происхождению. Наши славяне со своими родами, с их князьками разбросались, затерялись на великой Русской равнине, в поселках по Днепру, Днепру, Оке и т. д. Их городки — огороженные села. Из соседней степи налетят кочевники: городки падали, и степной хищник запрягал славянских женщин в свою телегу. Промчится буря, и все тихо по-прежнему; от хищников остается одна пословица: «Изгибоша аки Обри»; силы не возбуждаются постоянным присут-

ствием врага, как у германцев в соседстве с римлянами. Но и для наших славян пробил час исторической жизни. На Днепре показываются лодки: плывет из Новгорода русский князь с дружиной. «Платите нам дань», — говорят они в каждом встречном селении. Дело не новое: несут меха, чтобы сбыть гостей поскорее. Но гости не уходят, усаживаются в Киеве, рубят городки, ходят по рекам и речкам за данью. Люди уходят из сел, покидая своих родовых князьков, селятся около городков, где есть льгота и защита, можно много заработать, уходят с князем в поход на Царьград, вступают в дружину, где жить хорошо: от всех почет и всего вволю. Племенное деление исчезает: население делится на сословия — на княжих *мужей*, полных людей, и на полулюдей, *мужи-ков*, последние — на городских промышленников и на сельчан; земля делится не на племенные области, а на княжения, называющиеся по именам главных городов, правительственных средоточий.

Так изменился быт населения под влиянием правительственного начала, но и последнее подпало влиянию туземного быта. В населении равнины господствовал родовой быт: по смерти Ярослава до конца XII в. и между князьями действуют родовые отношения, на них основан порядок владения землей, которую князья считают нераздельным достоянием всего своего рода, отсюда сильное, непрерывное движение, передвижка князей из волости в волость по старшинству, борьба, споры, усобицы. Но эта беспорядочная беготня князей по волостям не давала последним обособляться, волею-неволею вовлекала их в общую жизнь, создавала общие всем им интересы, укореняла в них сознание своей взаимности, нераздельности всей земли и, таким образом, положила прочное основание государственному и народному единству. Отдельные племена с призыванием князей приведены были в связь, преимущественно внешнюю; благодаря родовым княжеским отношениям, со смерти Ярослава является впервые русский народ. Теми же отношениями определился и склад общества. Увлеченная вихрем княжеского движения дружина не приобрела самостоятельного положения ни в качестве оседлых землевладельцев по областям, как феодальное дворянство на западе, ни в качестве наследственных областных правителей, как польское вельможество; оставаясь бро-

дядчим военным братством с правом служить какому захочет князю, она не привыкла действовать дружно; каждый руководился личными, а не сословными интересами. Но при подвижности князей и их дружин получают значение главные города областей со своими вечами: они — сила постоянная — пользуются ослаблением князей от усобиц; область смотрит, что скажут, как решат на вече в ее старшем городе, и привыкает руководиться этим решением. Так подле власти князя является власть городского веча, но та же подвижность князей мешала точно определить отношения обеих властей друг к другу. Бродячие князья, не думающие ни о чем прочном, постоянном, бродячие дружины, городские веча с первоначальными формами народных собраний без всяких определений, без крепких форм, способных упрочить местное самоуправление, и, наконец, высшее духовенство во главе с митрополитом-греком, чужим человеком без языка перед народом и влияния — таковы созданные или поддержанные родовыми княжескими отношениями элементы русского общества XI и XII вв.

Как же вышло это общество из такого жидкого, колеблющегося состояния?

Пользуясь неурядицей, кочевники стали одолевать Русь в своем напоре из степи. Это заставило часть жителей юго-западной Украины выселиться в страны, более спокойные, дальше на северо-восток, в область верхней Волги. Но здесь уже хозяйничает князь; поселенцы садятся на его земле, в его городах, получают от него льготы, всем ему обязаны, от него во всем зависят. Из этой зависимости развивается здесь сильная княжеская власть, какой не было на юго-западе, и вместе с ней — оседлость князя, привязанность к своему княжеству, а отсюда — понятие *о моем*, о княжестве как собственности князя. Так на севере со времени Андрея Боголюбского являются основания нового политического порядка. Понятие об отдельной собственности развивает в князьях стремление увеличить свое княжество на счет других, прекращается передвижка князей из волости в волость, родовые отношения рушатся, происшедшее отсюда разъединение князей помогает одному из них, сильнейшему, подчинить других. Таким является князь московский: он присоединяет к своим владениям чужие и низводит своих ближайших родственников, удельных

князей, в положение подданных, отнимая у них одно право за другим. Так совершается переход родовых отношений между князьями в государственные: Русская земля на севере собирается и образуется Московское государство.

Но эти политические успехи достигнуты были не без больших национальных и нравственных потерь. Юго-Западная Русь, обессилевшая с отливом исторической жизни на северо-восток, вконец разоренная татарами, отделяется от северо-восточной, подчиняется Литве, а через нее Польше и долго тратит свои силы в бесплодной для своего народного развития борьбе за народность. С другой стороны, русский человек, одинокий, заброшенный в мир варваров, затерянный в северо-восточных пустынях, забытый своими и забывший о своих по отдаленности, вышел из общения с европейско-христианскими народами, в каком находился, живя на юго-западе, и целые века двигался все далее в пустыни востока, живя в отчуждении от западных собратьев. Отсюда слабость материального, общественного и духовного развития. Общественные силы растут туго. Двор московского князя в XIV и XV вв. наполняется знатными пришельцами с разных сторон. Но это боярство живет еще преданиями отжившей старины, привычками вольных дружин XII в., держится за свое право перехода, когда переходить стало уже не к кому. Запоздалые притязания ведут к борьбе, которая при Грозном принимает кровавый характер и кончается не в пользу знати. И город на севере не удерживает прежнего значения. Ростов Великий падает, побежденный новыми княжескими городами, тотчас по смерти Андрея Боголюбского и не поднимается более. Падает потом и Новгород Великий, вследствие прилива богатств неестественно вздувшийся в государство, но представлявший собою библейскую статую с золотою головою и глиняными ногами: низшие слои общества были против своекорыстной знати немногих, правивших делами города фамилий и помогли их гибели. При неразвитости торговли и промышленности в земледельческом государстве города его бедны и слабы, в них не прививается даже самоуправление, какое пытался дать им Грозный. При слабости других сил одна великокняжеская власть развивается на просторе; при разбросанности населения, недостатке сознания об-

щих интересов раздробленные части общества стягиваются сильной правительственной централизацией, как развитый член стягивается хирургической повязкой. Новые тяжести, вызванные внешним положением объединившегося государства, постоянною борьбой на востоке, юге и западе, мешают подняться общественным силам. Сословия закрепляются: служилое — обязательно военной службой, городское и сельское — тяглом; для обеспечения дохода казны и служилого помещика горожане прикрепляются к городам, крестьяне — к земле. Те и другие бегут от закрепления, куда можно, более всего на Дон, в степь, в казаки. Когда государство начинает сжимать вольное казачество, последнее опрокидывается на государство; в начале XVII в., по пресечении старой династии, оно вмешивается в Смуту, начатую людьми, питавшими старинные притязания, и потрясшую государство в самом основании; неоднократно поднималось и потом в XVII и XVIII вв. Но государство устояло. При первых трех царях новой династии оно готовится вступить в общую жизнь с Западной Европой, занять место среди европейских держав. Начинаются важнейшие преобразования, под влиянием которых воспитывается Петр: он доканчивает начатое, решает нерешенное. Усвоение европейской цивилизации, имевшее при Петре материальные цели, во второй половине XVIII в. рождает потребность в духовном, нравственном просвещении.

Таков ряд мыслей, на основе которых развивался рассказ историка. Большая часть их была новостью, когда их впервые высказывал Соловьев, и стала теперь достоянием нашего общественного сознания.

В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли. В истории нашей науки и литературы было немного жизней, столь же обильных фактами и событиями, как жизнь Соловьева. Поминать ее не перестанет наш университет, с которым она была связана в продолжение 40 лет. Соловьев был питомцем этого университета, 34 года преподавал в нем, 6 лет стоял во главе его как ректор, наконец, в его аудитории получил первую обработку главный труд жизни Соловьева. Еще в 1843 г. в статье о Парижском университете он писал о заключении русским обществом «святого союза» с русским университетом «для дружного, братского прохождения своего великого



поприща». «История России», ставшая крупным фактом в развитии нашего общественного сознания, служит новой связью, скрепляющей этот союз, и оба союзника не забудут последнего урока, какой сам собою вытекает из исторического процесса, изображенного Соловьевым. Обзор этого процесса он закончил словами: «Наконец, в наше время просвещение принесло необходимый плод: познание вообще привело к самопознанию», а самопознание, прибавил бы он, если бы довел свой рассказ до нашего времени, должно привести к *самодеятельности*.

---

---

**РЕЧЬ,  
ПРОИЗНЕСЕННАЯ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ  
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 6 ИЮНЯ 1880 г.,  
В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ**

Значение Пушкина не ограничивается его местом в истории того, что он сам считал собственно литературой, т. е. в истории литературы художественной. У него есть место и в более тесной литературной области: в его творчестве есть сторона специальная, но близкая всякому, для кого русское слово родное. Его творения представляют интерес и для русского историка.

Я разумею здесь не тот интерес, какой имеет для историка всякий памятник поэзии. В этом смысле вся поэтическая деятельность Пушкина принадлежит нашей истории. Пушкин отделен от нас целым поколением. Новый слой понятий и забот, ему неизвестных и чуждых его времени, образовался над его могилой. Он был свидетелем стремлений и отношений, от которых уже далеко отодвинулись мы. Художественная красота его произведений приучила нас с любовью повторять то, чего мы уже не разделяем, эстетически любоваться даже тем, чему мы не сочувствуем нравственно; в стихе, лучше которого мы не знаем доселе, подчас звучат воззрения, которые для нас — общественная или нравственная археология. С этой стороны все написанное Пушкиным — исторический документ, длинный ряд его произведений — поэтическая летопись его времени.

И сам Пушкин — уже вполне историческое явление, представитель исчезнувшего порядка идей, хотя исполнения некоторых его благих чаяний мы ждем доселе. Мы изучаем его так же, как изучаем людей XVIII и XVII вв. Независимо от своего таланта для нас он наи-

более выразительный образ известной эпохи. Самые недостатки его имеют для нас не столько биографический, сколько исторический интерес. Мы ошибемся в цене его современников, если забудем, сколько сил этого великолепного таланта потрачено было на ветер, на детские игрушки для взрослых. Пушкин имел печальное право более всех, говоря словами другого поэта, благодарить свое время

За жар души, растроченный в пустыне.

Без Пушкина нельзя представить себе эпохи 20-х и 30-х годов, как нельзя без его произведений написать истории первой половины нашего века. При каком угодно взгляде на Пушкина, на значение его поэзии за ним останется страница в нашей истории.

Но его нельзя обойти и в нашей историографии, хотя он не был историком по ремеслу — ни по призванию, прибавят, может быть, иные. Вернее, он только мало знал отечественную историю, хотя и не меньше большинства образованных русских своего времени. Но он живее их чувствовал этот недостаток и гораздо более их размышлял о том, что знал. Из его заметок и журнальных статей видим, какое сильное впечатление произвел на него исторический труд Карамзина, как он следил за современной исторической письменностью. По мере созревания его мысли и таланта усиливалась и его историческая любознательность. В последние годы, как известно, он много занимался родной стариной даже в архивах. Он иногда обращался к русскому прошедшему, чтобы найти материал для поэтического творчества, взять фабулу для поэтического создания. Но я хочу сказать не об этих пьесах. *Борис Годунов*, *Полтава*, *Медный Всадник* — читая их, мы готовы забыть, что это исторические сюжеты: эстетическое наслаждение оставляет здесь слишком мало места для исторической критики.

Иное значение имело для Пушкина ближайшее к нему столетие. Он вырос среди живых преданий и свежих легенд XVIII в. Екатерининские люди и дела стояли к нему ближе, чем он сам стоит к нам. Там он угадывал зарождение понятий, интересов и типов, которыми дорожил особенно или которые встречал посто-

янно вокруг себя. Об этом веке он заботливо собирал сведения и знал много. Он мог рассказать о нем гораздо больше того, что занес в свои записки, заметки, анекдоты и т. п. Иногда он облакал явления этого времени в художественную форму повести или романа. Во всем этом нет следов продолжительного и систематического изучения. Но здесь рядом с поспешными суждениями встречаем замечания, которые сделали бы честь любому ученому историку. Наша историография ничего не выиграла ни в правдивости, ни в занимательности, долго развивая взгляд на наш XVIII в., противоположный высказанному Пушкиным в одной кишиневской заметке 1821 г. Сам поэт не придавал серьезного значения этим отрывочным, мимоходом набросанным или неоконченным вещам. Но эти-то вещи и имеют серьезную цену для историографии. Пушкин был историком там, где не думал быть им и где часто не удается стать им настоящему историку. *Капитанская дочка* была написана между делом, среди работ над пугачевщиной, но в ней больше истории, чем в *Истории пугачевского бунта*, которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману. Я хочу напомнить об историческом интересе, который заставляет читать и перечитывать эти второстепенные пьесы Пушкина.

Наш XVIII век гораздо труднее своих предшественников для изучения. Главная причина тому — большая сложность жизни. Общество заметно пестреет. Вместе с социальным разделением увеличивается в нем и разнообразие культурных слоев, типов. Люди становятся менее похожи друг на друга, по мере того как делаются неравноправнее. Воспроизвести процесс этого нравственного разделения гораздо труднее, чем разделения политического. С половины века выступают рядом образчики типов разнохарактерного и разновременного происхождения. Чем далее, тем классификация их становится труднее. Часто недоумеваешь, к какой эпохе приурочить зарождение того или другого из них, в каком порядке разложить их по историческим витринам.

Между этими типами есть один — может быть, самое своеобразное явление общественной физиологии. Он зародился лет 200 назад и, вероятно, долго проживет после нас. Ему трудно дать простое и точное название: в разные поколения он являлся в чрезвычайно разно-

образных формах. Достаточно указать на два имени в его генеалогии, чтобы видеть степень его изменчивости. Едва ли не первым блестящим образчиком этого типа был администратор и дипломат XVII в. А. Л. Ордин-Нащокин. Но скучающий от безделья Евгений Онегин был в прямой нисходящей поэтическим потомком этого исторического дельца. Дадим этому типу имя сложное, как и он сам. Это русский человек, который вырос в убеждении, что он родился не европейцем, но обязан стать им. Вот уже 200 лет этот тип господствует над остальными и по влиянию на наше общество, и по своему интересу для историка. Без его биографии пустеет история нашего общества последних двух столетий. Около него сосредоточиваются, иногда от него исходят самые важные умственные, а подчас и политические движения.

При всей видимой изменчивости основные черты типа остаются одни и те же во всех фазах его развития. Следя за ними, удивляешься не тому, что отцы и дети выходят так непохожи друг на друга, а тому, что столь непохожие друг на друга люди — все-таки отцы и дети. Разнообразие видов одного типа происходит от различных способов решения культурного вопроса, который лежит в самой его сущности: родившись русским и решив, что русский не европеец, как сделаться европейцем? Первое поколение этого типа вообще склонялось к той мысли, что все русское надобно делать по-западноевропейски. Второе — уже думало, что все русское хорошо было бы переделать в западноевропейское. Чувствуя свое невежество, иногда находили, что надобно заимствовать с Запада свет знания, но без огня, которым можно обжечься; а в другое время брала верх уверенность, что можно взять этот свет целиком, только не следует подносить его близко к глазам, чтобы не обжечься. Далее, одни думали, что можно стать европейцем, оставаясь русским; другие настаивали, что необходимо для этого перестать быть русским, что вся тайна европеизации для нас заключается в совлечении с себя всего национального. Существовало даже убеждение, не лишенное остроумия, и, может быть, высшее выражение доселе, что если человечность наша себе высшее выражение в европеизме, то надобно иметь в себе возможно меньше западноевропейского, чтобы стать европейцем. Что еще замечательнее, это убеждение едва ли

не первые начали высказывать у нас русские с западно-европейскими фамилиями.

Вы видите, милостивые государи, что этот тип нельзя упрекнуть в упрямстве и застое: в нем, напротив, слишком много нравственной гибкости и умственного движения. Все это затрудняет его историческое изучение, научную классификацию его разновидностей. Пушкин интересовался этим типом и любил некоторые его явления. Он и сам представлял одну из его разновидностей, даровитую, восприимчивую, блестящую. Его наблюдал он вокруг себя и из этих наблюдений создал свою эпопею Евгения Онегина. Сознательно или нет, на разновременных вариантах того же с особенной любовью останавливался он и в преданиях прошедшего. Этим он и помог много историку в изучении любопытного типа. В длинном ряду эскизов и повестей, оконченных и неоконченных: в *Арапе Петра Великого*, в *Дубровском*, в *Капитанской дочке* и др., перед читателем проходят разнохарактерные фигуры этого типа, появившиеся на пространстве слишком ста лет. Надеюсь, вы охотно позволите мне ограничиться простым хронологическим каталогом этих не лишенных занимательности физиономий.

Позади их всех стоит чопорный Гаврила Афанасьевич Р. в *Арапе Петра Великого*. Это невольный, зачисленный в европейцы по указу русский. Все его понятия и симпатии принадлежат еще старой неевропейской России, хотя он не прочь послужить на новой службе и сделать карьеру. Это еще не тип европеизованного русского, а скорее русская гримаса европеизации, первая и кислая. Вкус новой культуры еще не привился, но это вопрос недолгого времени. Сам *арап* Ибрагим, к сожалению, остался недорисованным в неоконченной повести. Можно только догадываться по некоторым штрихам, что из него имел выйти один из петровских дельцов — людей, хорошо нам знакомых по Нартовым, Неплюевым и др. Это характеры резкие и жесткие, но хрупкие по недостатку гибкости и потому неживучие: они вымирали уже при Екатерине II. Зато живуч был общественно-физиологический вид, представленный в лице молодого К., Ибрагимова товарища по курсу высшей европеизации в парижских салонах. Это русский пети-метр XVIII в., великосветский русский шалопаи на

европейскую ногу, «скоморох», по выражению старого князя Лыкова в *Аране*, или «обезьяна, да не здешняя», как назван он в одной комедии Сумарокова. В *Аране Петра Великого* он еще не на своем месте, не в пору вернулся из-за моря и испытывает неудобства рано прилетевшей ласточки. Полная весна наступит для него в женские эпохи, при двух Аннах, двух Екатеринах и одной Елизавете. При Петре ему холодно и неловко в его нарядном кафтане среди деловых людей, которые скидали рабочие куртки только по праздникам. Со временем он будет нужным и важным человеком в праздном обществе; теперь он шут поневоле, и Петр колет ему глаза его бархатными штанами, каких не носит и царь. Троекуров в *Дубровском* — постаревший петиметр в отставке, приехавший в деревню дуристь на досуге. У младших петровских дельцов часто бывали такие дети. Живя в более распущенное время, они теряли знания и выдержку отцов, не теряя их appetитов и вкусов. Невежественный и грубый Троекуров, однако, старается дать дочери модное воспитание с гувернером французом и выдает замуж за самого модного барина. Троекуровы родились при Елизавете, процветали в столице, дурили по захоластьям при Екатерине II, но посеяны они еще при Аннах. Это миниатюрные провинциальные пародии временщиков столицы, которых превосходно характеризовал граф Н. Панин, назвав «припадочными людьми». «Как увидишь его, Троекурова, — говорил местный дьячок, — страх и ужас! А спина-то сама так и гнется, так и гнется». . . . Особенно удался Пушкину в *Дубровском* князь Верейский, достойный зять Троекурова. Это — настоящее создание екатерининской эпохи, цветок, выросший на почве закона о вольности дворянства и обрызганный каплями росы вольтерьянского просвещения. Князь Верейский — едва ли не самый ранний экземпляр новой разновидности нашего типа, которая развилась очень быстро. Подобными ему людьми до скуки переполняется высшее русское общество с конца царствования Екатерины. За границей они растрачивали богатый дедовский и отцовский запас нервов и звонкой наличности и возвращались в Россию лечиться и платить долги. Князь Верейский жил за морем и, приехав *умирать* в Россию, напрасно пытался оживить угасшие силы и затеями сельской роскоши, и расцвет-

шей на сельском приволье дочерью Троекурова. Он, иначе, тоньше редижированный Троекуров: его европеизованное варварство из острого и буйного троекуровского переродилось в тихое, меланхолическое, не под гуманизирующим влиянием Монтескье или Вольтера, а просто потому, что тесть привез в деревню из Петербурга мускулы и нервы, чего зять уже не привез из Парижа. Отсюда «непрестанная» скука князя Верейского, которая с его легкой руки стала неременной особенностью дальнейших видов этого типа. Дубровский-отец — лицо, любопытное по своей литературной судьбе. Это — любимое некомическое лицо нашей комедии XVIII в., ее Правдин, Стародум или как там еще оно называлось. Но оно никогда не удавалось ей. Это потому, что екатерининская комедия хотела изобразить в нем человека старого петровского покроя, а при Екатерине II такой покрой уже выводился. Пушкин отметил его вскользь, двумя-тремя чертами, и, однако, он вышел у него живее и правдивее, чем в комедии XVIII в. Дубровский-сын — другой полюс века и вместе его отрицание. В нем заметны уже черты мягкого, благородного, романтически протестующего и горько обманутого судьбой александровца, члена Союза Благоденствия. Среди образов XVIII в. не мог Пушкин не отметить и *недоросля* и отметил его беспристрастнее и правдивее Фонвизина. У последнего Митрофан сбивается в карикатуру, в комический анекдот. В исторической действительности недоросль — не карикатура и не анекдот, а самое простое и вседневное явление, к тому же не лишенное довольно почтенных качеств. Это самый обыкновенный, нормальный русский дворянин средней руки. Высшее дворянство находило себе приют в гвардии, у которой была своя политическая история в XVIII в., впрочем, более шумная, чем плодотворная. Скромнее была судьба наших Митрофанов. Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительство, но решительно сделали нашу военную историю XVIII в. Это — пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суворовых. Пушкин отметил два вида недоросля или, точнее, два момента его истории:



один является в Петре Андреевиче Гринева, невольном приятеле Пугачева, другой — в наивном беллетристе и летописце села Горюхина Иване Петровиче Белкине, уже человеке XIX в., «времен новейших Митрофане». К обоим Пушкин отнесся с сочувствием. Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину. Историк XVIII в. остается одобрить и сочувствие Пушкина и вкус Марьи Ивановны.

Такова у Пушкина коллекция художественно-исторических портретов, которые все изображают один и тот же тип в его видоизменениях. Ряд их замыкается современником поэта — Е. Онегиным. Герой особого рода, но, однако, сродни своим предшественникам: и Троекуров, и Верейский, и Митрофаны всех сортов — все они прямые или боковые его предки. Онегин — лицо, столько же историческое, сколько поэтическое. Мы все читали сочинения и записки людей, чаявших обновления России после войн за освобождение Европы. Припоминая читанное, мы знаем, чем *были* Онегины после 1815 г. Поэма Пушкина рассказывает, чем *стали* они после 1825 г. Это Чацкие, уставшие говорить и с разбитыми надеждами, а поэтому скучающие. Позже, у Лермонтова, они являются страдающими от скуки на горах Кавказа, как другие в то время страдали, хотя и не от одной скуки, за горами Урала.

Так, у Пушкина находим довольно связную летопись нашего общества в лицах за 100 лет с лишком. Когда эти лица рисовались, масса мемуаров XVIII в. и начала XIX в. лежала под спудом. В наши дни они выходят на свет. Читая их, можно дивиться верности глаза Пушкина. Мы узнаем здесь ближе людей того времени, но эти люди — знакомые уже нам фигуры. «Вот Гаврила Афанасьевич! — восклицаем мы, перелистывая эти мемуары, — а вот Троекуров, князь Верейский» — и т. д., до Онегина включительно. Пушкин не мемуарист и не историк, но для историка большая находка, когда между собой и мемуаристом он встречает художника. В этом значении Пушкина для нашей историографии, по крайней мере главное и ближайшее значение.

---

---

## ПРАВО И ФАКТ В ИСТОРИИ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА

*Письмо к редактору «Руси», 1881, № 28*

Обращаюсь к вам с запоздалым объяснением. В любопытных и многими прочитанных статьях Д. Ф. Самарин вспомнил о напечатанной мною два года назад в *«Критическомъ обозрении»* рецензии II тома сочинений Ю. Ф. Самарина. Здесь, отозвавшись обо мне в незаслуженно лестных выражениях, автор обвиняет меня: 1) в том, что я ребячески свысока отношусь к Положению 19 февраля *«как к изделию помещиков, сумевших в свое время обделать свои дела насчет благосостояния крестьян и подавших им камень, когда у них просили хлеба»*, 2) в том, что на могилу людей, положивших свою душу в дело освобождения крестьян, я бросил отзыв, в котором назвал их философами и эстетиками, утратившими понимание *«конкретных различий между камнем и куском хлеба»*, так что, *«когда у них просили последнего, они в философской рассеянности взялись за первый»*.

Начну со второго обвинения. В моей рецензии действительно приведен такой отзыв, но он не принадлежит мне. Я только высказал опасение, что так будут отзываться о Ю. Ф. Самарине и людях его характера и образа мыслей, и заранее не согласился с таким отзывом и пожалел о нем. Не скрою, что так отзывались и отзываются о Ю. Ф. Самарине, и повторяю, что не согласен и никогда не соглашусь с таким приговором. Я знаю Ю. Ф. Самарина только как писателя, судил о нем как о писателе; в статье моей довольно мест, из которых

видно, что я отношусь к нему далеко не в духе приведенного отзыва, и в одном из них замечено, что было бы неблагодарностью порицать за взгляд на крестьянское дело людей, подобных Самарину. Итак, да позволит мне Д. Ф. Самарин во втором его обвинении видеть одно недоразумение.

Что касается первого, то я никак не мог найти в своей рецензии ни одного места, откуда видно было бы, что я отношусь свысока к Положению 19 февраля; я только назвал его законом, закрепившим «великий факт» нашей истории. Точно так же нигде не сказал я, что это Положение есть изделие помещиков, подавших крестьянам «камень, когда у них просили хлеба», и у меня нет этих последних слов, которые г-н Самарин поставил в кавычках, как мое подлинное выражение: это, очевидно, составленная самим г-ном Самариным парафраза не мне принадлежащего и мне антипатичного отзыва, который притом относится не к помещикам и не к Положению 19 февраля, а к Ю. Ф. Самарину и людям его характера и образа мыслей.

Мне остается предположить, что г-н Самарин только подозревает меня в приписываемых им мне суждениях, т. е. прочитал их у меня между строками. Я не отрицаю у читателя права такого чтения, особенно в короткой журнальной рецензии, где трудно высказать все без недомолвок... Но и за автором можно признать право вскрывать свои междустрочия. Судя по обвинениям, г-н Самарин читал между моими строками, чтобы узнать, как я отношусь: 1) к Положению 19 февраля и 2) ко взглядам Ю. Ф. Самарина на крестьянское дело до 20 ноября 1857 г. Позвольте мне через посредство Вашего издания высказать об этом прямо и откровенно то, что я сказал бы лично г-ну Самарину, если бы представился случай и г-н Самарин удостоил спросить меня об этом.

На вопрос о Ю. Ф. Самарине достаточно повторить сказанное мною в рецензии второго тома его сочинений. Я считаю его деятелем крестьянской реформы искренним и добросовестным, с сильной мыслью, хорошо знавшим дело, задолго до реформы много передумавшего о ней, для которого эта дума стала задачей жизни, но мнения которого о деле до 20 ноября 1857 г. (насколько можно судить о них по второму тому его сочинений)

ниже Положения 19 февраля. Что касается самого Положения, то я нахожу в нем прямой и решительный, исторически последовательный ответ на величайший и труднейший вопрос нашей истории, подготовленный веками и чрезвычайно запутанный неблагоприятными обстоятельствами нашей жизни. Объясню возможно коротко, почему я так думаю.

Наша история в продолжение веков создавала бродячее безземельное крестьянство, работающее на чужой земле и с чужим земледельческим капиталом. Вопросом государственного порядка и исторической будущности России было сделать крестьянство оседлым и работающим на земле, прочно за ним обеспеченной. Государство шло к разрешению этого вопроса сквозь длинный ряд неудач и затруднений. Бродячество, безземелье и недостаток земледельческого капитала привели к тому, что уже в XVI в. большинство крестьян на землях крупных землевладельцев было без шума, незаметно закрепощено путем долгового обязательства и подверглось опасности кабального или полного холопства, а холоп для государства — неплательщик.

Притом, тяготясь поземельным государственным тяглом, крестьяне начали уменьшать или бросать свои тяглые участки, превращаясь в бобылей и нанимая нетяглые «пустошные» пашни в ущерб казенному интересу. Все это заставило правительство сначала прикрепить крестьян на землях государственных и дворцовых, также на землях мелких землевладельцев, чтобы не дать крупным сманивать с них рабочие руки, а потом сделать это поземельное прикрепление общим по закону, чтобы остановить невыгодное казне сокращение тяглой пашни. Тогда страшно усилились крестьянские побегі. Против этого правительство стало усиливать власть землевладельцев над крестьянами. Но отсюда вышло новое затруднение; земледелец привык владеть людьми, лично к нему, а не к земле прикрепленными, своими холопами, и, чем более усиливалась его власть над крестьянами, тем более старался он приблизить их к своим дворовым людям, отрывая от земли, а дворовый тоже неплательщик, нетяглец. Отсюда развились к началу XVIII в. в широких размерах перевод крестьян во двор, на барскую пашню с тяглом и продажа без земли. Против этого правительство придумало очень

остроумную меру — подушную подать. Крестьянин становился прикрепленным лично к помещику, который отвечал за него перед правительством, но и прежний холоп, лично крепкий помещику, одинаково с крестьянином подлежал подушной подати, становился тяглом.

Правительство и помещик, так сказать, установили между собой совместное владение вместо прежнего чересполосного: перед землевладельцем крестьяне приблизились к положению холопей, перед государством и холопы сравнялись с крестьянами. Последнее доселе старалось удерживать за собой распоряжение личностью и трудом крестьян, оставляя за первым власть над личностью и трудом холопей; теперь, уступив землевладельцу распоряжение личностью крестьян, правительство наложило руку на часть труда холопей. Подушная подать, как она ни претит современным экономическим понятиям и вкусам, принесла стране огромную экономическую пользу. Благодаря ей Россия распахалась. Поземельная подать древней Руси содействовала упадку земледелия, сокращению крестьянской пашни. В XVIII в. душевая доля крестьянского участка редко превышала высший душевой надел той же местности по Положению 19 февраля, чаще была ниже его и редко падала до низшего: средний пахотный участок в 6 десятин на двор и в 4 десятины на работника в некоторых имениях принадлежал к числу крупных. Посошков в эпоху введения подушной подати считал нормальным участком на двор в 6 десятин.

В конце XVIII и начале XIX в. опытные сельские хозяева находили, что взрослый работник должен и может обрабатывать на себя не менее 8 или 9 десятин, не считая сенокоса. Можно собрать по разным местностям много указаний на то, что с половины XVII в. в 1½ столетия рядом с приростом числа работников и количество пашни на каждого увеличилось иногда вдвое и даже более. Это понятно: подушная подать усилила податную тяжесть крестьян вдвое, по местам даже более против прежнего поземельного тягла и, падая одинаково на пашущих много и мало, побуждала пахать возможно более.

Значит, если поземельное прикрепление повело только к личному, не привязав крестьян прочно к земле, то личное укрепление благодаря подушной подати больше

прежнего привязало рабочие руки к земле, сделало крестьянский труд более прежнего земледельческим. Так положено было начало разрешения одной части указанной выше исторической задачи — части народнохозяйственной. Оставалась другая часть — юридическая. Решение ее поведено было менее удачно. Подушная подать сама по себе не внесла никакого нового юридического основания во взаимные отношения помещика и крестьян; была только усилена власть и ответственность первого за последних и введена чисто техническая финансовая перемена в системе прямых налогов, принята другая, более надежная единица обложения, тяглая душа вместо тяглого двора или участка. Но ведь ревизская душа не психологическое понятие, это известная постоянная платежная мера податного труда, приложенного к земледелию или промыслу, соответствующая известному пахотному участку или промысловому заработку. Так и понимают душу крестьяне, когда в разверстке платежей и мирской земли между работниками, «братами», дробят души на половины, четверти и т. д. Ревизия не заменила поземельного прикрепления личным, а имела целью обеспечить, утвердить первое последним. Перестав быть основанием финансовых соображений, земля не перестала служить основанием юридических отношений помещика и крестьянина. Отсюда вытекали все права и обязанности землевладельца.

В XVIII в. те и другие были усилены. Еще до указа 1714 г. поместья, подобно вотчинам, становились наследственными, но теперь и дворянская служба окончательно стала общеобязательной и наследственной. Усилилась власть помещика над крестьянами, зато и прежняя государственная служба усложнилась обязательным обучением дворянина, ответственностью за казенные платежи крестьян, обязанностью кормить последних в неурожайные годы и т. п. Под условием этих повинностей и укреплялась за дворянами земля с крепостным населением. Этот условный характер дворянского землевладения не исчез после закона 18 февраля 1762 г. о вольности дворянства, отменена была, и то с оговорками, только обязательность государственной службы сословия, а прочие повинности остались и даже были усилены, и только поэтому 19 февраля последовало не тотчас за 18-м, а через 99 лет.

В числе этих повинностей разумелась и обязанность обеспечить крепостных крестьян землей, чтобы они были исправными плательщиками казны, за что по закону отвечал помещик, только способ этого обеспечения предоставлен был на волю помещика, хотя закон 1827 г. с 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> десятинах стеснил его произвол и в этом отношении. Из сочетания этих прав и обязанностей сложилось крепостное право по закону. Но от закона следует отличать то, что временно допускалось правительством как неизбежное зло. Рядом с законным крепостным правом развилось другое, обычное, точнее говоря, не крепостное право, а крепостной факт; некоторые черты его имели большое значение в истории крестьянского вопроса. В вотчинах и поместьях древней Руси, еще до поземельного прикрепления, образовалось различие между пашней барской и крестьянской, сначала хозяйственное, потом и финансовое, состоявшее в том, что барская пашня не подлежала государственному тяглу, какое падало на крестьянскую.

Прикрепление крестьян к земле утвердило это различие, сделав его обязательным: ни крестьянин не мог быть взят во двор землевладельца, ни крестьянский участок не мог быть присоединен к барской пашне. На этом различии был основан простой и легкий способ освобождения крестьян с землею, задуманный канцлером царевны Софьи, князем В. В. Голицыным. Юридическую сущность поместного и вотчинного землевладения можно выразить так: земля принадлежала владельцу под условием службы, была владением на государственном праве; притом часть ее обязательно находилась в пользовании прикрепленных к ней крестьян. Подушная подать не изменила этой сущности; но, приняв другую единицу обложения, она изменила основание расчисления всех повинностей, а это дало одностороннее направление законодательству по крестьянскому вопросу. С тех пор как ревизия заменила кадастр, а ревизская душа закрыла собой крестьянский участок, крестьянские повинности перенесены были с земли на души, а с тем вместе и повинности дворянские связались с душевладением. Поэтому главным предметом законодательного внимания сделалась власть помещика над крестьянами; он стал важен для правительства как полицейское орудие или, говоря словами Карамзина, как «наследственный чинов-

ник», которому правительство, дав землю для населения, вверило чрез то «попечение о людях, на оной жить имеющих, и за них во всех случаях ответственность».

Вопрос разделился: подушные отношения отделились от поземельных, и последние всецело отошли в круг хозяйственных соображений землевладельцев, стали делом вотчинной экономики, перестав быть задачей государственного права. И землевладельческие, и душевладельческие права помещика вытекали из одинакового источника, обуславливались одинаковыми государственными обязанностями.

Но так как правительство XVIII в. вмешивалось только в отношения помещика к крестьянам как государственным плательщикам, регулируя власть первого над последними, но не касаясь их взаимных поземельных отношений, хозяйственных операций с землей, населенной крестьянами, то при таком неодинаковом отношении правительства к тем и другим правам и в дворянском обществе с течением времени утвердился неодинаковый взгляд на те и другие: на дворянскую землю привыкли смотреть как на полную собственность владельца по гражданскому праву, а в крепостном крестьянине соглашались видеть как бы предмет совместного владения помещика и правительства.

Притом, так как при обеспечении казенных крестьянских платежей ответственностью помещика правительство не имело более интереса поддерживать прежнее различие между пашней барской и крестьянской, то это различие перестало быть обязательным и указанный взгляд был распространен на все земли владельца.

Так подушная подать повела к важному недосмотру в законодательстве: этот недосмотр повел к юридическому недоразумению, которое в свою очередь породило две политические иллюзии.

Когда возникли толки об улучшении быта крепостных крестьян, то восторжествовали две неосуществимые идеи: 1) правительство путем обязательного закона может предпринять только личное освобождение крестьян, не касаясь дворянской земельной собственности, т. е. освобождение без земли, 2) определение дальнейших поземельных отношений обеих сторон может быть представлено вполне добровольному их соглашению без вмешательства правительства. Не удивляйтесь тому, что



я связываю обе эти идеи: они родные сестры, и юридически, и исторически, дочери одной матери, которую была мысль, что дворянская земля с крепостными крестьянами — полная гражданская собственность владельца.

Мысль о безземельном освобождении у нас взяла верх с начала XIX в., когда при содействии закона о вольности дворянства успел установиться взгляд на дворянскую землю как на полную собственность владельцев: эту мысль встречаем в основе проектов графа Стенбока, Сперанского (при Александре I), Мордвинова, динабургского дворянства, комитета 6 декабря 1826 г., графа Перовского, сенатора Шипова и др. До того времени, напротив, люди, думавшие об улучшении быта крестьян, большей частью были против их освобождения и настаивали на отводе земли в настоящее пользование крестьян за определенные законом повинности: так думали и влиятельные и государственные люди и ученые-теоретики: князь Д. Голицын, Елагин, Поленов, Миллер и многие другие. В связи с появлением мысли о безземельном освобождении является и идея добровольного соглашения. Ее высказывает в екатерининской Комиссии об Уложении депутат Козельский, план которого составлен под влиянием поземельных отношений в Малороссии, где еще продолжались переходы безземельного крестьянства; в связи с правом дворян увольнять своих крестьян без земли она является в «проекте прав благородных», составленном одной из подкомиссий той же екатерининской Комиссии; при Александре I ее повторяют проекты безземельного освобождения крестьян, составленные по образцу остзейской эмансипации.

Так юридическая часть государственной исторической задачи осталась неразрешенной. Привязав крестьянский труд к земле экономической мерой, предстояло привязать его к ней юридически, создать право крестьян на землю. Как и из каких элементов можно было создать его без законодательного переворота? Кажется, эта возможность оставалась. Неопределенность и путаницу в поземельные отношения и понятия внесли крепостные обычаи, вкравшиеся в законное крепостное право. Предстояло очистить последнее от первых. Личное прикрепление принято было как мера обеспечения поземельного прикрепления, а не уничтожения его. На помещиков воз-

ложена была ответственность за благосостояние и податную исправность крестьян. Прежде подать обеспечивалась землей. С Петра I в народное хозяйство внесена была масса нового неземледельческого труда. Помещику предоставлено было устроить доходнейший способ приложения крепостного труда при новом положении народного хозяйства. Допущенная вследствие этого продажа крестьян без земли и другие уклонения от законного порядка были уступки, не уничтожавшие права. Законной основой отношений обеих сторон оставалась земля.

Еще до отмены крепостного права законодательство начало очищать это основание от примесей обычая законом о 4,5 десятинах и стеснением продажи без земли. При отмене личной крепости законным основанием для определения поземельных отношений обеих сторон оставался порядок, созданный поземельным прикреплением. При этом юридически последовательно само собой восстанавливалось древнерусское разделение барской и крестьянской пашни. Оно сглажено было новыми обязанностями, наложенными на помещика при установлении личного прикрепления крестьян и пережившими обязательную службу сословия. Как скоро упразднялось личное прикрепление, падали и эти обязанности, но зато часть помещичьей земли должна была отойти в постоянное пользование крестьян, оставаясь неполной собственностью помещиков, а остальная часть перешла характер полной собственности на гражданском праве. Затем выкуп неполной земельной собственности помещика, отошедшей в постоянное пользование крестьян, был бы уже вопросом не права, а экономической политики.

Значит, право крестьян на землю не есть следствие исконного фактического и бесспорного владения землей, как думал Ю. Ф. Самарин, не есть и следствие дара со стороны помещиков в вознаграждение за вековой крепостной труд, как думал некогда князь Черкасский, а следовательно вытекает из поземельного прикрепления, видоизмененного, но не отмеченного последующим законодательством и искаженного помещичьей практикой.

Итак, начала, положенные в основание Положения 19 февраля, опираются на право, исторически сложившееся и не прекращавшееся до 1861 г. Вот почему я считаю его не коварным изделием помещиков и не законо-

дательной революцией, экспроприацией помещичьей собственности, а законодательным актом, разрешившим величайшую задачу нашей истории — создание оседлого крестьянства, работающего на земле, прочно обеспеченной за ним законом. Кажется, мы не расходимся с Самариным во взглядах на Положение, хотя, может быть, он не согласится с моим историческим его объяснением. Буду рад, если он с чем-нибудь согласится, и благодарен, если что-нибудь поправит.

Но едва ли мы сойдемся с ним во взглядах на мнения Ю. Ф. Самарина по крестьянскому делу до 20 ноября 1857 г. Они слишком во многом опираются на факты, допущенные в это дело в ущерб историческому праву. Основная его идея — добровольное соглашение — выросла на почве крестьянского безземелья, хотя он был за освобождение с землей. Вольный договор и в древней Руси повел к личному закабалению безземельных крестьян на землях крупных землевладельцев. Положение 19 февраля поставило в границу эту идею. Вот почему я счел себя вправе сказать, что оно выше мнений Ю. Ф. Самарина, высказанных им до 20 ноября 1857 г.

---

---

## ОТВЕТ Д. И. ИЛОВАЙСКОМУ

Г-н Иловайский почтил несколькими замечаниями мою книгу «Боярская дума древней Руси»<sup>1</sup>. К сожалению, эти замечания носят несколько личный, субъективный характер, что ослабляет их научный интерес и мешает в ответе на них держаться в пределах научно интересного. Мой труд привлек к себе внимание г-на Иловайского не сам по себе, не судьбою учреждения, в нем исследуемого, а одною своею подробностью, близко касающейся почтенного моего рецензента. Говоря о составе боярской думы в первые века нашей истории, я коснулся истории общественных классов на Руси и при этом высказал мимоходом несколько мыслей, сходных с так называемой у нас норманской теорией. Норманизм, как известно, — большое место у г-на Иловайского. Он давно и упорно с ним воюет, и небольшая рецензия моей книги есть только заключительная часть статьи, в которой автор отбивается от новых ударов, направленных против него г-ми Васильевским и Веселовским: в этой ученой борьбе я только случился кстати, подвернулся под руку с своей книжкой. Г-н Иловайский и меня причислил к школе норманистов. Я ничего не имею против чести принадлежать к этой почтенной и так много сделавшей для нашей историографии школе, если только ее представители сочтут меня заслуживающим места под их знаменем. Приподнимая перед читателем завесу своего ученого кабинета, г-н Иловайский рассказывает в рецензии, что с некоторого времени он начал вести нечто вроде хроники, куда заносит труды по русской

истории, несогласные с его теорией о начале Руси. И моя книга попала в эту хронику.

Я, впрочем, должен оговориться, что мой труд не заслужил места в этой хронике. Почтенный рецензент напрасно думает, будто в первых главах своей книги я «косвенно полемизирую» с ним, не называя его. Только местах в двух я привел мнения г-на Иловайского, с которыми позволил себе не согласиться, но при этом я обозначил не только его имя, но и страницы сочинения, из которого приведены эти мнения. Признаюсь, в других местах книги я всего менее думал о прямой или косвенной полемике с г-ном Иловайским, а просто высказывал свои мысли, которые, к сожалению, оказались несогласными со взглядами не одного г-на Иловайского, но и некоторых других почтенных историков.

Таким специальным, субъективным происхождением рецензии определилась ее цель. Рецензент остановился только на первых главах моей книги. Он доволен тем, что я говорю в дальнейших главах (с XV в.), где ничего нет о варягах, и очень недоволен первыми. Недовольство выходит из того, что норманистская точка зрения, на которую я стал при изображении начала нашей истории, по мнению рецензента, ввела меня, как вводила и других исследователей, в противоречие с фактами. Значит, цель рецензии — показать, каким фактам я противоречу по вине усвоенной мною норманской теории.

Я высказал мысль, что до VII в. масса восточного славянства сосредоточена была на северо-восточных склонах и предгорьях Карпат, что эта ветвь славян участвовала в воинственном движении всего прикарпатского славянства против Византии, что это движение сомкнуло племена восточных славян в большой военный союз, во главе которого стояло племя дулебов-волянн со своим князем, что потом восточные славяне передвинулись с Карпатских склонов далее на восток, в область Днепра. Соображения, на которых я основывал эти догадки, изложены в статьях, помещенных в «Русской мысли», но в книгу свою я перенес из этих статей только главные выводы, что и оговорил в примечании, чтобы любознательный читатель мог видеть, на чем я строю эти выводы. Рецензент упрекает меня в том, что я говорю «о каком-то» военном союзе восточных славян, о «каком-то» воинственном их движении и о передвиже-

нии их к Днепру, основывая все это более на «соображениях и догадках, чем на положительных свидетельствах». Но, когда нет или мало положительных свидетельств, исследователю остаются одни соображения и догадки, а «соображения» необходимы даже и при обилии положительных свидетельств. Можно отвергать доказываемый мною военный союз восточных славян в VI в., как и их воинственное движение против Византии. Но я не знаю, что хотел сказать рецензент, называя этот союз, как и это движение, «каким-то»: в статьях моих указано, о каком союзе я говорю, какое движение разумею.

Далее, я доказывал, что восточные славяне, заселяя Поднепровье, становились в круг таких условий, которые втянули их в живые торговые сношения с черноморскими, азовскими и каспийскими рынками, что этими торговыми успехами созданы были древнейшие русские города Поднепровья, что в IX в., еще до появления заморских князей, о которых рассказывает наша летопись, эти торговые города политически подчинили себе окрестные славянские поселения и что образовавшиеся таким путем городские области, похожие на позднейшие области вольных городов Новгорода и Пскова, были первыми политическими союзами на Руси, предшествовавшими русскому Киевскому княжеству. Возражая на все это, можно доказывать, что таких условий и вызванных ими торговых успехов у поднепровских славян не существовало, что большие торговые города Поднепровья возникли иначе и окрестных поселений себе не подчиняли. Г-н Иловайский и возражает против доказываемых мною фактов, и в его возражениях можно уловить два соображения: во-первых, он говорит, будто я «в основу всего здания русского государства» кладу торговлю и преимущественно внешнюю, для чего в истории нет аналогии, так как «везде государства возникали из борьбы племен и народов, т. е. силою оружия»; во-вторых, он утверждает, что вопреки моей мысли о «необыкновенном влечении славян к торговым оборотам» население Киевской Руси занималось преимущественно земледелием. Первое возражение, если даже признать верной мысль, на которой оно основано, само по себе ничего не опровергает, а только подтверждает своеобразный ход нашей истории: положим, государства возникали везде

так, как думает г-н Иловайский, и у нас государство могло возникнуть иначе. Притом возражение это направлено не против того, что я утверждал. Я говорил не о том, как возникло Русское государство, а о том, как содалась древнейшая политическая форма на Руси, когда еще не было Русского государства, как возникли большие торговые города, правившие своими областями еще до возникновения Киевского княжества, которое, если угодно, можно назвать Русским государством. Но русский город как политическая сила и Русское государство не одно и то же. Новгород и Псков в свое время были политическими властителями значительных территорий, но ни того ни другого не называют Русским государством: для них это слишком крупный термин. С другой стороны, я не думал отрицать ни «борьбы племен», ни «силы оружия» в образовании городских областей, как и Киевского княжества. Ту и другую политическую форму я признал делом одного интереса, внешней торговли, в том смысле, что обе они возникли для ограждения последней и созданы были классами, наиболее в ней заинтересованными, но дело это не обошлось без участия оружия, к сожалению. Иное дело — процесс создания известной политической формы, и иное дело — *интерес*, который ее созидает. Точно так же и второе возражение направлено против того, чего я не утверждал. Я доказывал не то, что Киевская Русь не занималась земледелием, а то, что первоначальной экономической силой, которая строила политический порядок в Киевской Руси, был городской торговый капитал, а не капитал землевладельческий, который явился позднее; я вел речь не о господствовавшей в то или другое время форме народного труда, а о классе трудящихся, достигшем господства в известное время. При этом у меня нет ни слова о «необыкновенном влечении славян к торговым оборотам», я говорил только об условиях известного времени, содействовавших торговым успехам поднепровского славянства.

Положим, однако, что и мой военный прикарпатский союз и мои городские области с их торговыми успехами в VIII и IX вв. — все это лишь мои неудачные догадки; разумеется, я поступлюсь ими, как скоро будет доказана их неосновательность. Но эти догадки не заимствованы у норманистов и даже могут вызвать возражения с их

стороны; вообще они не имеют прямой связи ни с какой высказанной в нашей литературе гипотезой «о начале Руси». При чем же тут норманизм?

Почтенный рецензент находит в моей книге и другой, еще более важный недостаток. Он с удивлением останавливается на том, что у меня, русского историка, в начале русской истории рецензент *почти* не находит русского народа». Этот недосмотр произошел от двух простых причин. Во-первых, я излагал не историю русского народа, а только судьбу одного из учреждений, некогда им правивших, и одного общественного класса, тесно связанного с этим учреждением. Во-вторых, в самом начале русской [истории] я *почти* не заметил русского народа, потому что его тогда и не было, а были только элементы, славянские и неславянские, из которых он потом сложился медленным, трудным и сложным процессом. *Народ* есть прежде всего термин политический, так по крайней мере я понимал это слово, отличая его от *племени*. Вовлеченный самой задачей своей книги в круг понятий и явлений государственного права, я не мог шутить этим словом. Мой почтенный рецензент, по-видимому, не думает, что следует быть столь разборчивым в терминологии. Он упрекает меня в том, что в первых главах моей книги, объясняющих зарождение Русского государства, отсутствует русский народ или то самое «племя», которым создано это государство. Но я именно то и доказывал, что Киевское княжество, как и раньше его образовавшиеся городовые волости, создано не каким-либо *племенем*, а классом, выделившимся из разных племен. Киевское княжество, или, если угодно, Русское государство, не созданное никаким одним племенем, составилось из разных племен, не только славянских, но и финских; я отличал политическую силу, создавшую это государство, от племенных элементов, из которых оно составилось. Но в этой, может быть мелочной, терминологической разборчивости нисколько не виновато мое мнение, что Рюрик был норманн, а Игорь — сын норманна. Если бы я вместе с г-ном Иловайским производил Русь от роксолан, я и роксолан не назвал бы русским народом. Причем тут норманизм?

Кроме изложенных общих возражений, г-н Иловайский делает мне несколько частных замечаний, направ-



ленных против некоторых подробностей в моей книге. Так, он не разделяет моего мнения, что слово *витязь* есть русская форма скандинавского *викинга*. Рецензент утверждает, что корень *вит* весьма распространен в славянских языках, а переход германского окончания *ing* в русское *яг* или *язь* есть выдумка норманистов, разрешенная им, рецензентом, в «Разысканиях о начале Руси», где указано, что «закон этот мнимый». Но прежде всего эта выдумка принадлежит не норманистам, а сравнительному языковедению, которое додумалось до нее независимо от какой-либо теории о начале Руси. Не будучи специалистом сравнительного языковедения, я уже потому не мог следовать в нем за г-ном Иловайским, что в сравнительной грамматике, которой я учился, есть несколько постоянных и твердых правил, всеми, кроме г-на Иловайского, признаваемых, а законы, на которых построена лингвистическая система г-на Иловайского, не только не пользуются общим признанием, но и остаются неизвестны и, по-видимому, только еще создаются. Положим, я усвоил бы себе мнение г-на Иловайского, что упоминаемый в договоре Игоря русский посол Вуефаст есть не что иное, как *Буй-хвастун*<sup>2</sup>. Я могу усвоить это только на веру, не понимая, почему это так, ибо законы языка, оправдывающие такое словопроизводство, пока еще не обнаружены. Но может случиться, что сравнительная грамматика г-на Иловайского в окончательном своем построении не оправдает такой этимологии, и [он] придумает какую-либо новую, еще более остроумную. При чем тогда останусь я, что стану делать с своим *Буйным хвастуном*? Помня уроки сравнительной грамматики, которой я учился, я привык думать, что не корень решает вопрос о происхождении слова: по корню слово *витязь* можно сблизить и с лат. *vita*. Национальную физиономию дает слову суффикс. Есть ли *язь* — суффикс славянский, т. е. такой, посредством которого возможно производство славянских слов от славянских корней? Я очень хорошо знаю, как г-н Иловайский разрушает мнимый закон, будто бы придуманный норманистами. Закон гласит, что немецкий суффикс *ing* при переходе слова в славянский язык превращается в носовое окончание *яг* или *язь* и что в славянском языке слова с таким окончанием заимствованы от иноземцев.

Опровергая этот закон, г-н Иловайский не приводит ни одного русского слова с окончанием *яг* или *язь*, а выписывает ряд русских слов с суффиксом *яга* (бродяга, скряга, скупяга и т. д.)<sup>3</sup>. Не берусь решать, имеет ли этот суффикс этимологическое родство с *яг* или *язь*; я только вижу, что г-н Иловайский опровергает не совсем то, даже, может быть, совсем не то, что требовалось опровергнуть. Я не признаю мнимым придуманного сравнительным языковедением закона, пока г-н Иловайский не приведет ряда других русских слов, которые были бы составлены из славянских корней с суффиксом *яг* или *язь*, т. е. в которых это окончание не принадлежало бы к корню, как в слове *грязь*. В разбираемой рецензии автор приводит новое опровержение закона: немецкое слово *ring* при переходе в русский язык приняло форму *рынок*, а не *рязг* или *рязь*. Но это слово перешло в русский язык не прямо из немецкого, а через посредство польского (*rynek*), а поляки взяли его у немцев в сравнительно позднее время, когда первобытная общеславянская фонетика уже разбивалась, теряясь в наречиях отдельных славянских племен. Тогда иностранные слова, переходившие в язык того или другого племени, принимали формы, несогласные с этой фонетикой. Мы теперь говорим *шиллинг*, а в старину X—XI в. на Руси говорили еще *щбляг* или *щеляг*. В истории языка, как и в истории народа, необходимо различать явления, между которыми лежит целый ряд веков. Но производство *витязя* от скандинавского *викинга* ни опровергает, ни доказывает происхождения первых русских князей из Скандинавии, а только служит указанием на старинное знакомство наших славян с норманнами, чего не отвергает и г-н Иловайский в своих «Разысканиях». Если бы в языке древних роксолан открылись слова с суффиксом *ing*, я стал бы утверждать, что при переходе в наш древний язык этот суффикс преобразился бы в окончание *яг* или *язь*. При чем же тут норманизм?

---

---

## РУССКИЙ РУБЛЬ XVI—XVIII вв. В ЕГО ОТНОШЕНИИ К НЫНЕШНЕМУ.

Опыт определения меновой стоимости старинного рубля  
по хлебным ценам (материалы для истории цен)

- I. Постановка вопроса. — II. Древнерусская хлебная четверть. —  
III. Приемы исследования. — IV. Рубль XVI в. Проверка выводов. —  
V. Рубль XVII в. — VI. Рубль первой половины XVIII в. —  
VII. Главные выводы.*

### I

Предлагаемая статья есть не более как рискованная попытка не решить, а только поставить один вопрос, касающийся историографической техники. В источниках нашей истории сохранилось довольно много известий, рисующих экономическую жизнь русского общества в минувшие века. К сожалению, лучших из этих известий, именно тех, в которых точно обозначены старые русские цены предметов, мы не умеем прочесть как следует. Например, в известии, что такой-то русский землевладелец XVI в. брал со своих крестьян оброка по 3 руб. с выти, скрывается указание на стоимость земли, труда, капитала, на условия поземельной аренды, настроение рынка и на многое другое, что мы желали бы знать о русском обществе того времени; только мы не понимаем ни того, что такое выть в данном случае, ни того, что значил рубль на рынке во всех случаях, о которых нам говорят известия XVI в. Подобные известия — историографические загадки, шифрованное письмо, ключ к которому потерян. Пока не будет найден этот ключ, значительный запас таких известий, сохранившийся в источниках, остается заманчивым, но недоступным, т. е. бесполезным для науки материалом. Поискать не самого

ключа, а пути, которым можно найти его, — вот задача предлагаемого небольшого метрологического опыта.

Вопрос, о котором идет речь, был поставлен уже 30 лет тому назад в сочинении М. Заблоцкого *О ценностях в древней Руси*. Но эта постановка сообщила задаче излишнюю сложность и трудность. Чтобы понять древние цены, их надобно перевести на язык цен нашего времени, т. е. определить меновое отношение старинных денежных единиц к нынешним. Для этого нужно, по мнению Заблоцкого, произвести последовательно три вычисления. Во-первых, надобно определить весовое отношение древних металлических денежных единиц к нынешним, например узнать, насколько московская серебряная деньга XVI в. тяжелее или легче нашей копейки серебра. Во-вторых, так как номинальная цена монеты обыкновенно бывает выше действительной стоимости заключающегося в ней чистого драгоценного металла, чем покрываются издержки лигатуры и самого производства монеты, то при сравнении древней монетной единицы с нынешней надобно вычислить эту разницу в той и другой, чтобы таким образом определить взаимное отношение обеих единиц по весу чистого драгоценного металла, из которого они сделаны. Наконец, так как стоимость монетных драгоценных металлов, серебра и золота, изменчива, то, высчитав вес и пробу старой и нынешней монеты, остается определить, насколько теперь вздорожал или подешевел самый металл, употребляющийся на монету, сравнительно с тем, что он стоил в прежнее время. Это относительная стоимость монетного металла определяется на основании рыночного отношения его как товара к другим товарам и именно к предметам первой необходимости, а также и к труду, необходимому для их производства.

Таковы три операции, которые М. Заблоцкий считал необходимыми для приблизительно точного перевода древних цен на современные. Две первые операции, чисто нумизматические, основаны на изучении разновременных монетных систем; последняя не касается нумизматики, а относится к другим частям метрологии, требует изучения системы мер и весов. Нельзя ли упростить этот сложный процесс, сократив одни вычисления и совсем отбросив другие? Чтобы наглядно показать, какие возможны здесь сокращения, возьмем такой пример.

Кильбургер, живя в Москве в 1674 г. вместе со шведскими послами, к свите которых он принадлежал, покупал здесь чай по 30 коп. за фунт<sup>1</sup>. Вычислим по способу Заблоцкого, что стоил фунт чаю в Москве 200 лет назад на наши деньги. Серебряная копейка в царствование Алексея Михайловича, по исследованию Заблоцкого, весила 10 долей. В нынешней серебряной копейке (банковой монеты)  $4\frac{4}{5}$  доли. Значит, копейка царя Алексея по весу равнялась  $2\frac{1}{12}$  нашей серебряной копейки. Теперь надобно высчитать разницу пробы в обеих копейках, определить их отношение по весу чистого серебра без лигатуры. Но уже сам Заблоцкий, определяя отношение старинной монеты к нынешней, не пользуется этим вычислением, на необходимости которого он настаивает, излагая программу своего исследования. В его книге находим сравнительную таблицу старинных серебряных денег и нынешних серебряных копеек по весу с лигатурой, но не находим таблицы, в которой было бы показано их взаимное отношение по весу чистого серебра. Причиной этого пробела был недостаток точных сведений о степени чистоты древнерусской серебряной монеты. Заблоцкий ограничивается только недостаточно доказанным общим заключением, что проба наших денег от Ивана Грозного до Петра Великого «могла разниться от 80 до 90 золотников» и что, говоря вообще, древнерусская монета была не ниже пробы нынешней нашей серебряной монеты, определенной  $83\frac{1}{8}$  золотника<sup>2</sup>. Но это проба банковской монеты, рядом с которой у нас ходит еще серебряная разменная монета со значительно низшей пробой, а цены нашего внутреннего рынка выражаются этой последней монетой, а не банковской. Следовательно, перевод древних цен на нынешние усложняется еще новым нумизматическим вычислением: приняв заключение Заблоцкого о пробе древнерусской монеты, надобно еще банковые серебряные копейки переложить на разменные, чтобы получить точное отношение древних цен к нынешним. Не заботясь о совершенной точности, положим, что копейка царя Алексея равняется приблизительно 3,7 копейки нынешней разменной монеты<sup>3</sup>. Определив относительную степень чистоты металла в древних и нынешних копейках, остается сделать последнюю операцию — с помощью хлебных цен узнать стоимость серебра как товара в XVII в. и теперь. Огра-

ичимся для этого ценою ржи. Тот же Кильбургер пишет, что, когда он жил в Москве, четверть ржи продавали здесь по 70—60 коп. В 1882 г. средняя цена четверти ржи в Московской губернии была 8 руб. 40 коп. Умножив среднюю цену у Кильбургера 65 коп. на 3,7 и отбросив дробь, найдем, что эти 65 десятидольных копеек 85-й пробы по количеству чистого серебра равняются приблизительно 240 нынешним копейкам 48-й пробы. Итак, в 1674 г. за четверть ржи платили столько чистого серебра, сколько его в 240 нынешних разменных серебряных копейках, а в 1882 г. — столько, сколько его в 840 таких же копейках. Значит, серебро в 1674 г. было в  $3\frac{1}{2}$  раза дороже, чем в 1882 г. Поэтому копейка 1674 г., по количеству чистого серебра равняющаяся нынешним ходячим 3,7 коп., по сравнительной стоимости серебра равняется  $3,7 \times 3,5 = 12,9$  нынешним.

Теперь, отбросив все эти нумизматические вычисления, сложные и трудные, даже не всегда удающиеся по свойству сохранившегося материала, ограничимся одним простейшим метрологическим расчетом: разделив цену четверти ржи в 1882 г., 840 коп., на 65 коп., ее цену в 1674 г., получим ту же цифру 12,9, определяющую рыночное отношение копейки 1674 г. к нынешней. Помножив на эту цифру цену фунта чаю в Москве в 1674 г., 50 коп., найдем, что она равнялась нашим 3 руб. 87 коп., т. е. была значительно выше нынешней цены этого товара, если только Кильбургер покупал в Москве простой черный чай, а не какой-либо из высших сортов. Легко заметить, что при точном вычислении этот упрощенный прием всегда приведет к тому же результату, какой получается посредством сложных операций по способу Заблоцкого, потому что все разницы в весе и пробе монеты, в стоимости монетного металла и пр. сводятся к одной, все выражаются в различии хлебных цен. Точнее говоря, изменение хлебных цен происходит не оттого, что изменяется полезность хлеба, всегда одинаковая, а от перемен в весе и пробы монеты, как и в стоимости монетного металла, т. е. от изменения качества меновых знаков, посредством которых оценивается на рынке полезность хлеба. Значит, пользуясь изложенным приемом при сравнении старых цен с нынешними, мы, вместо того чтобы последовательно вычислять частные отношения, основанные на изменении веса и пробы монеты, как

и стоимости металла, прямо вычисляем окончательное общее отношение, в которое эти частные отношения входят как производители в свое произведение.

Разумеется, выведенное только для примера отношение копейки царя Алексея к нынешней не имеет надлежащей точности. Такой точности нельзя достигнуть помощью единичного известия о цене хлеба только в Москве 1674 г. и притом о цене одной ржи. Для этого необходимы более сложные основания, только эти основания не нумизматические. Это не значит, что нумизматика совсем не нужна для исторического изучения цен. Она может понадобиться, но не для определения самого отношения старых денежных единиц к нынешним, выводимого на основании хлебных цен, а только для исторического объяснения колебаний, каким подвергалось это отношение. Если, например, в короткое время хлеб стал вдвое дороже, мы должны прежде всего узнать, не изменилась ли денежная единица, которой выражалась новая цена хлеба. Если окажется, что в то же время вошла в обращение монета с прежним названием, но вдвое легче весом или с пониженной вдвое пробой, то мы признаем вздорожание мнимым. Если же на монетном дворе все осталось по-прежнему, надобно будет искать причин явления на рынке. Но было ли вздорожание мнимое или действительное, произошла ли нумизматическая перемена в денежной единице, или нет, отношение этой единицы к нынешней, определяемое хлебными ценами, стало иное, именно показатель отношения уменьшился вдвое.

## II

Изложенный упрощенный способ тем удобнее, что и без того остается много затруднений, которые необходимо одолеть при определении рыночного отношения старинных денежных единиц к нынешним. Самое важное из этих затруднений заключается в разнообразии и изменчивости древних хлебных мер.

Наиболее употребительные хлебные меры в Московской Руси XVI—XVII вв. были: *бочка, кадь* или *оков*, *зобница, коробья, рогожа, мех* или *мешок, мера, четверик*, наконец, *четверть*. Четверть была четвертая часть бочки, кади или окова. Псковская зобница XV и XVI вв. делилась так же на 4 четверти, следовательно, соответ-

ствовала бочке или кади. Новгородская коробья была половина бочки или кади. В одном акте начала XVI в. 554 рогозины, или рогожи, ржи приравнены 800 бочкам «в белозерскую меру»; следовательно, рогожа ржи содержала в себе около 1½ бочки (1,44). Мех, или мешок, — трудно определяемая и, вероятно, изменчивая мера; ниже будут приведены некоторые указания на вместимость, какую имел мех в иных местах древней Руси. По *Торговой книге* XVI—XVII вв. мера равнялась четверику, но в Двинской земле мерой называлась половина четверти, т. е. осмина. Четверик получил свое название оттого, что он составлял четвертую часть осмины, почему акты и называют и его иногда «четвериком осминным»<sup>4</sup>. Таким образом, все хлебные меры Московской Руси могут быть сведены к наиболее употребительной из них — к четверти, как части к целому или наоборот.

При возможности восстановить отношение четверти к другим хлебным мерам сравнительное изучение старинных и позднейших цен не представляло бы никакой трудности, если бы сама четверть была в древней Руси мерой однообразной и устойчивой. К сожалению, для метролога, она была неодинакова в разные времена и в разных местах древней Руси. Теперь едва ли где уцелели самые орудия хлебной меры (посуда), употреблявшиеся в древней Руси, например клейменные казенные осмины, четверики и т. п. Поэтому, чтобы, хотя приблизительно, определить вместимость какой-либо старинной хлебной меры, надобно знать вес входившего в нее хлеба. Но в древней Руси не любили определять количество хлеба весом и переводить меры сыпучих веществ на меры веса. Остается собирать косвенные указания, часто даже ловить очень неясные намеки, которые позволяют догадываться о том, что такое была четверть в разные времена и в разных местах древней Руси. В этом состоит самое большое затруднение, мешающее изучению старинных хлебных цен; в этом же заключается и источник пробелов, неточностей и ошибок, которых трудно избежать в изучении как этих цен, так и самых хлебных мер древней Руси. Начнем с известий о четверти во второй половине XVII в.

Упомянутый выше Кильбургер замечает, что четверть — самая большая мера в Московии<sup>5</sup>. Следовательно, в его



время более крупные меры, бочки, рогожи и др. были уже малоупотребительны. Кильбургер знает четверть четырех величин: московскую, новгородскую, псковскую и печорскую. Новгородская четверть заключала в себе две стокгольмские тонны. По *Метрологии* Петрушевского, шведская тонна хлебная равняется 5,59 нашим четверикам с надбавкой хлеба в зерне по 8 канн на тонну. Так как канна есть  $\frac{1}{56}$  тонны, то шведская тонна зернового хлеба содержит в себе 6,38 четвериков<sup>6</sup>. Значит, новгородская четверть времен Кильбургера равнялась 12,76 нынешним четверикам. Три московские четверти, по Кильбургеру, равнялись двум новгородским, т. е. в московской четверти было 8,5 нынешних четвериков. Выходит, что московская четверть в конце царствования Алексея Михайловича была на полчетверика больше нынешней. Происхождение этого излишка несколько объясняется вычислением веса старинной четверти. Полагая четверик ржи в  $1\frac{1}{8}$  пуда, или 45 фунтов, согласно с нормальным весом, какой имеет этот хлеб при хорошем урожае, найдем, что в старинной четверти ржи было 382,5 фунта. Но известно, что фунт XVII и первой половины XVIII в. у нас был больше нынешнего, равнялся 112 нынешним золотникам, как разъяснил это г-н Прозоровский при помощи *Арифметики* Леонтия Магницкого 1703 г. Такой же фунт употреблялся в Москве как весовая единица и в XVI в., что видно из записки посетившего Московию в 1565 г. итальянца Барберини, который, говоря о московском весе, замечает, что в унции — 5 московских золотников<sup>7</sup>. Так как нынешний фунт составляет  $\frac{6}{7}$  старого московского фунта, то переложив 382,5 фунта на старый вес, получим для московской четверти времен Кильбургера 8 пудов 6 фунтов тогдашнего московского веса. В *Арифметике* Магницкого есть задача, которая дает основание догадываться, что он считал меру, или четверик ржи, в 1 пуд весом (л. 106 об.). Отсюда следует, что московская четверть, какую знал Кильбургер, заключала в себе 8 пудов ржи нормального веса, иногда немного больше или меньше, смотря по качеству урожая. Такая вместимость четверти подтверждается наказом 1696 г. нерчинским воеводам, которым предписывается хлеб с казенных пашен «в приход принимать и в расход давать и писать четвертями в московскую четверть, а не пудами»,

также хлебное жалованье служилым людям, которое «пищут в прежнюю четверопудную четверть», выдавать новой московской четвертью, «расчитая вполы» против прежней четверти, «а не против веса»<sup>8</sup>. Хлебные оклады служилым людям определены были известным количеством прежних четверопудных четвертей. Теперь велено было выдавать хлебное жалованье новой московской четвертью, т. е. рассчитывать оклады на новую единицу вдвое больше прежней по вместимости и по весу. Но так как зерно родилось неодинакового веса, то для устранения недоразумений и произвола в расчете предписывалось при переложении окладов с прежней меры на новую принимать во внимание не вес, а только вместимость, «расчитая вполы», т. е. деля на 2, хотя бы переложенный таким образом оклад по весу зерна не равнялся прежнему. Значит, в новой московской казенной четверти предполагалось ровно 8 пудов зерна (ржи) нормального веса. Объяснением такого распоряжения может служить сохранившаяся в бумагах Сибирского приказа воеводская смета хлеба, недоданного в окладное жалованье разным служилым людям и ружникам города Якутска за 1654—1691 гг.; обозначив, сколько пудов и четвертей разного хлеба недодано, смета продолжает: «А в новую великих государей *осьмипудную* четверть на все прошлые вышеписанные годы хлеба будет дать» столько-то<sup>9</sup>. Все это приводит к тому заключению, что московская казенная четверть конца XVII в. отличалась от нынешней торговой не объемом своим, а только весом зерна, какой тогда считался нормальным. Ныне четверть содержит в себе около 9 пудов ржи нормального веса: это средний вес ржи, которая в разных местах России родится качеством от 8 пудов 22 фунтов до 9 пудов 16 фунтов на четверть. По отношению старого московского фунта к нынешнему (как 7 к 6) 8 пудов четверти XVII в. равнялись нынешним 9<sup>1</sup>/<sub>3</sub> пуда. Это вес нынешней очень тяжелой ржи. Поэтому можно думать, что в московской России XVII в. считалась нормальной рожь такой доброты, какая ныне значительно выше нормы. Если это соображение имеет некоторое основание, то вес тогдашней московской четверти дает нам не лишнее интереса косвенное указание на производительность русской почвы 200 лет назад.

Если московская четверть времен Кильбургера по вместимости равнялась нынешней, то новгородская содержала в себе 1½ нынешней, а по весу ржи заключала в себе 12 старых московских пудов, или 14 нынешних. Кильбургер не определяет точно отношения псковской и печорской четвертей к новгородской, замечая только, что первая немного более последней, а вторая немного более первой.

В наказе нерчинским воеводам 1696 г. и в смете якутского воеводы 1691 г. четверопудная четверть названа «прежней», а осмипудная казенная — «новой». От псковского летописца узнаём, что действительно в начале XVII в. была в ходу четверть вдвое или почти вдвое меньше той, какая употреблялась позднее. Описывая голод и дороговизну 1602 г., он замечает: «А четверть была старая невелика, против нынешней вдвое менши, полумера». Говоря о дороговизне хлеба в Пскове в 1612 г., он опять прибавляет: «А четвертина мала была, мало болши осмака»<sup>10</sup>. Последовательный рассказ этой летописи прерывается на известии о смерти царя Михаила в 1645 г., следовательно, замечание об отношении «старой» четверти к «нынешней» могло принадлежать человеку, жившему около половины XVII в. и позднее и знавшему удвоенную четверть второй половины этого века. Из сочинения о Московском государстве английского посла Флетчера, бывшего в Москве в 1588 и 1589 гг., узнаем, что такая половинная четверть употреблялась здесь и во второй половине XVI в. В одном месте он говорит вообще, что четверть содержит в себе три английских бушеля или несколько менее; в другом месте читаем, что именно четверть пшеницы равняется почти трем английским бушелям<sup>11</sup>. Возьмем старое определение бушеля, какое имеется у нас под руками. В одном немецком энциклопедическом словаре начала XVIII в. английский бушель сыпучих веществ приравнен 64 фунтам<sup>12</sup>. Согласно с Флетчером, который считает на четверть пшеницы три бушеля без малого, мы убавим у трех бушелей (или 192 фунтов) примерно 6 фунтов. Во времена Флетчера на Руси сеяли только яровую пшеницу. По урожаю 1882 г. средний вес четверти этого хлеба — около 9 пудов 12 фунтов. Разделив эти 372 фунта на 186, найдем, что четверть пшеницы времен Флетчера была ровно вдвое меньше нынешней.

К тому же выводу приходим и другим путем. Превратив 186 нынешних фунтов в старые русские фунты, получим  $159\frac{3}{7}$ ; недостает только  $\frac{4}{7}$  фунта до 4 пудов, т. е. до той четверопудной «прежней» четверти, о которой говорит наказ нерчинским воеводам.

Итак, во второй половине XVI и в первой половине XVII в. ходячей хлебной мерой в Московской Руси была четверть в 4 старых пуда или  $4\frac{2}{3}$  нынешних. Находим косвенное указание на то, что и прежняя новгородская четверть была вдвое или почти вдвое меньше той, какую знал Кильбургер. Из наказа нерчинским воеводам видно, что и по введении новой казенной четверти по местам продолжали пользоваться старыми местными четвертями. Грамота чердынскому воеводе 1681 г., говоря о том, сколько четвертей ржи и ржаной муки платили посадские люди и крестьяне северных поморских уездов на содержание сибирских служилых людей, прибавляет, что они платили столько четвертей: «В прежний вес, муки ржаной по 5 пуд с четью, а рожь по 6 пуд с четью ж, четверть, и с мехами»<sup>13</sup>. Поморские уезды принадлежали некогда к Новгородской области или по крайней мере имели с нею тесные торговые связи; четверть ржи в 6 пудов 10 фунтов с мешком можно поэтому считать старой новгородской четвертью, которая принята была за ходячую хлебную меру на всем поморском севере. Излишком 10 фунтов с мешком объясняется замечание псковского летописца о прежней четверти, что она «мала была, *мало больши осмака*», т. е. осмины второй половины XVII в.

Трудно решить вопрос, решение которого необходимо для истории хлебных цен XVII в.: когда введена была новая удвоенная четверть? По крайней мере мы не встретили прямых известий об этом. Остается довольствоваться косвенными указаниями. В делах Сибирского приказа сохранилась смета хлебных запасов, собранных с казенных пашен Томского уезда в 1642 г. Осимой ржи было сжато 331 сотница (копна во 100 снопов) и 30 снопов; из этого было намолочено 690 четвертей<sup>14</sup>. Значит, сотная копна дала 2 четверти с очень мелкой дробью. Из хозяйственных книг по вотчине известного боярина Б. И. Морозова узнаем, что в 1659—1661 гг. в его арзамасских и курмышских деревнях из сотницы ржи умолачивали не больше четверти зерна, чаще гораздо менее,

иногда только по осмине. То же и с овсом: из 328 сотных копен и 15 снопов томского казенного овса в 1642 г. намолотили 796<sup>1</sup>/<sub>2</sub> четверти, почти по 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> четверти из копны, а в вотчине Морозова копна овса давала четверть зерна, иногда несколько более, иногда немного менее<sup>15</sup>. Таким образом, в 1642 г. копна того и другого хлеба давала вдвое больше четвертей зерна, чем в 1659—1661 гг. Как ни различные могли быть копны по качеству колоса или зерна, такая значительная и однообразная разница заставляет догадываться, что она происходила не от изменчивости умолота, а от неодинаковой хлебной меры: в 1642 г. копна давала вдвое больше четвертей зерна, потому что четверть тогда была вдвое меньше, чем в 1659 г. Некоторым подтверждением этой догадки может служить указание одной духовной 1548 г., из которой видно, что в XVI в. в московских областях из копны овса получалось умолоту по 3 четверти московских, т. е. немного больше, чем из сотницы томского казенного овса в 1642 г.<sup>16</sup> Менее вероятно предположение, что разница в умолоте копны томской и арзамасско-курмышской происходила от различной вязки снопов: сколько можно судить по сохранившимся известиям об отношении густоты посева к ужину, в древнерусском земледелии на всем пространстве московской Руси принят был довольно однообразный нормальный сноп.

Меньше, чем можно было бы ожидать, дает для разрешения исследуемого вопроса известная указная книга «о хлебном и калачном весу» 1623—1631 гг.<sup>17</sup> Это ряд актов, касающихся полицейского надзора за торговлей печеным хлебом в Москве. От времени до времени особо назначенная для «хлебного дела» комиссия устанавливала таксу, с которой обязаны были соотноситься московские хлебники и калачники. Эта комиссия составлялась из дворянина с несколькими выборными присяжными или «целовальниками» от посадского торгово-промышленного населения столицы. Комиссия делала «опыт», покупала в мучном ряду по четверти муки пшеничной и ржаной, из которой хлебники под ее наблюдением выпекали калачи и хлебы ситные и решетные, потом высчитывала издержки производства, причисляя к ним содержание лавки, также «тягло и промысл» и рассчитывая все это на каждую четверть муки. Эти издержки производства, «харч», как тогда говорили, при-

кладывали к торговой цене муки и сумму разверстывали на вес выпеченного хлеба. Тогда на московском хлебном рынке продавались хлебы и калачи алтынные, грошовые, двуденежные и денежные, следовательно, от колебаний цены муки изменялся вес печеных хлебов и калачей. Сметив стоимость четверти муки с харчом и свесив выпеченный из нее хлеб, комиссия высчитывала, какого веса должны быть хлебы и калачи алтынные и другие. На основании этого опыта составлялась «роспись» или весовая такса, показывавшая, сколько должны весить каждый хлеб и калач алтынный или другой при той или другой цене четверти муки. Вот для примера начало росписи ржаных решетных хлебов, составленной на основании опыта комиссией Немира Киреевского в 1626 г. «На решетные хлебы купят муки ржаные четь по 6 алтын по 4 деньга, да харчу на ту четь положено на хлеб: провозу до двора и из двора в ряд 6 денег, подквасья на 3 деньга, дров на 8 денег, выдачи на лавку 10 денег, на тягло и на промысл 9 денег, на свечи и на помело деньга, и всего харчу положено 7 алтын с деньгою; и обоего мука куплею с харчом в хлебах станет 12 алтын 5 денег; и выпечи из тое муки хлебов алтынных 11, да 2 хлеба грошовых, хлеб двуденежный, хлеб денежный; весу в алтынном хлебе 23 гривенки (фунта) с четью, в грошовом 15 гривенок с полугризенкою, в двуденежном 8 гривенок без чети, в денежном 4 гривенки без полчети».

В росписи приведено 26 разных цен четверти ржаной муки и высчитано количество решетного хлеба, какое должно быть выпечено из каждого сорта. Роспись этих цен составлена по известной системе: каждая следующая цена алтыном выше предыдущей. Вес четверти муки не указан прямо, но его можно определить по количеству выпекаемого из нее хлеба, исключив припек. Для этого переложим роспись в нижеследующую таблицу, обозначая в первой графе цены четверти ржаной муки в деньгах (полукопейках), во второй — количество выпекаемого из нее решетного хлеба (без дробей), а в третьей цены (в сотых долях деньга) фунта печеного хлеба, какие выходят по росписи при различных ценах муки:

40 . . . 298 . . . 0,25 ден.	118 . . . 438 . . . 0,35 ден.
46 . . . 314 . . . 0,26	124 . . . 441 . . . 0,36
52 . . . 329 . . . 0,26	130 . . . 443 . . . 0,38
58 . . . 344 . . . 0,27	136 . . . 444 <sup>19/24</sup> . . . 0,39
64 . . . 357 . . . 0,28	142 . . . 444 <sup>23/24</sup> . . . 0,40
70 . . . 370 . . . 0,28	148 . . . 439 . . . 0,42
76 . . . 381 . . . 0,29	150 . . . 423 . . . 0,43
82 . . . 391 . . . 0,30	160 . . . 435 . . . 0,45
88 . . . 400 . . . 0,31	166 . . . 431 . . . 0,47
94 . . . 409 . . . 0,32	172 . . . 426 . . . 0,47
100 . . . 422 . . . 0,32	178 . . . 421 . . . 0,51
106 . . . 428 . . . 0,33	184 . . . 414 . . . 0,53
112 . . . 434 . . . 0,34	190 . . . 406 . . . 0,55

Эта таблица возбуждает много недоумений, разрешить которые, может быть, сумеет только знаток-пекарь. Однообразная прогрессия, по которой увеличиваются цифры первой графы, за исключением двух, заставляет видеть в них не справочные, а примерные, математические цены: рыночные цены едва ли могут расти с такою правильностью. Так как вместе с поднятием цен увеличивается и количество выпекаемого из четверти хлеба до цены 142 денег включительно, то в основании таблицы цен до обозначенного предела предполагаются, очевидно, разные сорта муки на одном и на том же рынке в данную минуту, а не колебания курса мучных цен на разных рынках или в разное время. Все это пока понятно; надобно только спросить знатоков хлебного дела, возможно ли было найти на старинном московском рынке зараз 18 разноценных сортов ржаной муки. Но что такое концы обоих первых столбцов, где цены муки возвышаются по мере уменьшения припека, т. е. по мере падения доброты муки? Это и не повторительная таблица пересчитанных выше сортов муки при другом, высшем курсе хлебных цен и не дальнейший перечень новых, высших сортов муки при прежнем уровне цен: в первом случае следовало ожидать во второй графе после числа 444<sup>23/24</sup> повторения прежних цифр выпеченного хлеба, а во втором — дальнейшего возвышения этих цифр. Вместо того находим в последних 8 рядах таблицы какое-то соединение прогрессивно дорожающих цен муки с прогрессивно падающей ее добротой. Трудно угадать, какую практическую цель по отношению к хлебному рынку имела эта математическая выкладка. Благодаря такому построению таблицы в ней не за что схватиться, чтобы точно определить, какой припек пред-

полагается в ней от разных сортов муки. Остается довольствоваться догадками. Возьмем низший сорт муки, из четверти которого Киреевский выпек 298 фунтов хлеба. Меньше 15 фунтов на пуд припека, кажется, не бывает, да и при таком припеке едва ли пекарь согласится работать. Предположив такой припек, найдем, что четверть ржаной муки ценой в 40 денег по таблице весила 5 пудов 16 фунтов. Но к этому надобно прибавить, что в 1631 г. один из преемников Киреевского — Львов производил новый опыт и из одинаковых по цене сортов ржаной и пшеничной муки получил меньше печеного хлеба, чем его предшественник. Объясняя это, Львов, производивший опыт летом, замечает в своей записке, что Киреевский делал опыт зимой, а зимой четверть муки весит больше, «потому что мука в закроме вызябает и в мере садится, а ныне привозят с мельниц горячую муку, и в мере мука ставится стромкá», т. е. не так плотно укладывается, как зимой мука, давно привезенная с мельницы и улежавшаяся. Вследствие этого вышла значительная разница в результатах обоих опытов: Киреевский получил 434 фунта ржаного хлеба из четверти муки ценой в 112 денег, из которой по опыту Львова можно было получить только 375 фунтов. Уменьшив по этой пропорции цифру 298, найдем, что из четверти муки ценой в 40 денег Львов получил бы только 257 фунтов. С припеком в 15 фунтов на пуд ржаной муки, не успевшей плотно улежаться, окажется в четверти только 4 пуда 26 фунтов. Но так как припека, по всей вероятности, было больше 15 фунтов, то указная книга о хлебном и калачном весе дает некоторую поддержку выводу, извлеченному из сопоставления хлебной томской сметы 1642 г. с хозяйственными книгами морозовской вотчины: в 1626—1631 гг. в Москве продавали муку четвертью, которая равнялась осмине второй половины XVII в. или, согласно со свидетельством псковского летописца, была немного больше этой осмины.

Несмотря на шаткость изложенных оснований, можно, кажется, с некоторой вероятностью признать, что замена старой, четырехпудовой четверти новой, осмипудовой произошла в промежуток 1642—1659 гг., т. е. около половины XVII в.

Эта четырехпудовая четверть, как мы видели, употреблялась в Москве и в XVI в. Но есть указания, воз-



буждающие недоумение о четверти, какая была в ходу в Новгородской земле во второй половине этого века. В таможенной грамоте 1563 г., данной таможенным целовальникам города Орешка и его уезда, и потом в откупной грамоте 1587 г. о сборе отданных на откуп таможенных пошлин в Великом Новгороде читаем одинаковое постановление: «Продавати и купити хлеб всякой в новую меру и пятно [клеймо] на мерах держати, а старых мер не держати и хлеба в старую меру не продавати и не купити»<sup>18</sup>. Из недоумения, возбуждаемого вопросом об отношении этой новой меры к старой, можно выйти двумя догадками. Прежде всего возникает предположение, не хотело ли московское правительство, завершая политическое и административное объединение государства, водворить на всем его пространстве единство мер и весов, вытеснив местные метрические единицы московскими. В таком случае под новой мерой в приведенных таможенных уставах надобно разуметь московскую четверть, а под старой местную новгородскую. Но этому мешает одно обстоятельство: новгородская четверть, вместимостью превосходившая московскую в 1½ раза, не исчезла с рынка и после указанных таможенных грамот. Приблизительно до половины XVII в., когда действовала московская четырехпудовая четверть, новгородский хлебный рынок пользовался шестипудовой четвертью, которую признавало и московское правительство. Когда московская казенная четверть из четырехпудовой превратилась в осмипудовую, тогда и новгородская удвоилась. Значит, и после выраженного в грамоте 1563 г. и повторенного грамотой 1587 г. решительного запрещения держать на новгородском рынке старую меру, местная новгородская четверть не только не была вытеснена казенной московской, но и при изменении обеих сохранилось их прежнее метрическое отношение друг к другу. Притом несколько странно, что в обоих приведенных актах московское правительство, вводя в Новгороде свою *старую* московскую меру, называет ее *новой* мерой, а не просто московской, как оно обыкновенно выражается в других таможенных грамотах, когда говорит о своей казенной четверти. Гораздо надежнее другое предположение: новая мера — та же старая новгородская мера; только теперь посуда этой меры, проверенная и заклеянная, была введена пра-

вительством с запрещением употреблять прежнюю посуду, которая делалась без надлежащего надзора и контроля и могла подвергаться фальсификации с корыстной целью в ущерб покупателю хлеба или казенной таможене, собиравшей померную пошлину с продаваемого хлеба по количеству четвертей. В таможенной грамоте 1563 г. есть намек, как будто оправдывающий такое предположение: она грозит штрафом тому, «кто учнет пуд свой держати и товар весити, или в меру в свою учнет хлеб продавати, не в пятенную меру». Речь как будто идет не о различной вместимости, а о мере клейменной и неклеяемой, т. е. проверенной и непроверенной. Еще прямее указывает на то же одна заемная 1588 г.: три крестьянина Новгородской земли заняли у ключника Вяжицкого монастыря коробью овса «в новую меру»<sup>19</sup>. Коробья — новгородская мера, равнявшаяся двум новгородским четвертям. На обороте заемной отмечено, что один из трех должников «свою треть овса заплатил, *осмину с третником*»; значит, коробья овса, занятая всеми троими, содержала в себе 4 осмины «в новую меру», т. е. те же две новгородские четверти, потому что московских осмин в новгородской коробье было 6, а не 4. Но всего более подтверждается второе предположение сравнением приведенных таможенных грамот с другими, в которых померная пошлина рассчитана прямо на московскую четверть<sup>20</sup>. Здесь также запрещается продавать хлеб «не в пятенную меру». При этом здесь устанавливаются такие таможенные нормы: с четырех московских четвертей всякого хлеба померной пошлины 1 деньга; кто продаст 4 четверти, не явив померщикам, с того 1 руб. штрафа; кто продаст без явки меньше 4 четвертей, но не меньше двух или меньше двух четвертей, но не меньше осмины, с того взять штраф «по расчету, как емлют протаможье с 4 четвертей»; меньше осмины позволялось продать без явки и беспошлинно. Те же нормы встречаем в таможенных грамотах ореховской 1563 г. и новгородской 1587 г.; только здесь цифры другие. По ореховской грамоте пошлины с  $1\frac{1}{3}$  четверти «новой меры» назначается 1 четверетца, т. е. четверть новгородской деньги; так как последняя была вдвое больше деньга московской, то четверетца равнялась московской полуденьге; действительно, в новгородской грамоте с  $1\frac{1}{3}$  четверти хлеба положено пошлины пол-

деньги. Так как в других таможенных грамотах 1 деньга пошлины положена на 4 четверти московских, то  $1\frac{1}{3}$  четверти новгородской и ореховской грамот соответствует 2 четвертям московским. В такой же пропорции изменены и другие цифры: 4 московские четверти соответствуют  $2\frac{2}{3}$  четвертям, осмина заменена третьей четверти. Если треть новгородско-ореховской четверти равнялась половине четверти московской, то первая четверть равнялась  $1\frac{1}{2}$  второй: это и есть то самое отношение, какое существовало между новгородской и московской четвертями в XVII в. Очевидно, в новгородской и ореховской таможенных грамотах тарифные нормы по московскому счету переложены на метрическую систему Новгорода Великого. Так как в Москве не было никакой нужды вводить в Новгороде новую меру, отличную от московской, то она хотела в интересе таможенного сбора только упрочить своим клеймом старую местную меру, оградив ее от порчи, какой обыкновенно подвергаются торговые меры и весы при отсутствии надзора и проверки. Может быть, при этом была установлена и новая ходячая единица меры взамен прежней, что, собственно, и разумели грамоты новгородская и ореховская под «новой» и «старой» мерой: например, прежде самая крупная мерная посуда, которой продавали хлеб на тамошних рынках, могла быть в осмину, а теперь для более удобного расчисления тарифа была введена клейменная посуда в четверть.

Остается сделать несколько замечаний о *мехе*, или *мешке*. По-видимому, он служил больше тарой, чем мерой: мешками не столько мерили, сколько продавали или ссыпали хлеб. Поэтому мешки могли быть очень разнообразны по объему. Впрочем, есть некоторые указания, как будто намекающие на однообразную вместимость наиболее ходячего мешка. Псковской летописец говорит о дешевизне предметов первой необходимости в 1467 г.: зобница ржи стоила 18 денег, овса — 8 денег, пуд соли — 3 деньги. В 1499 г. он жалуется на дороговизну: четвертка ржи стоила 9 денег, овса — 4 деньги, значит, зобница ржи стоила 36 денег, овса — 16 денег, ровню вдвое дороже 1467 г. Можно предположить, что то же было и с солью, а соли мех покупали в 1499 г. по 35 денег и меньше, значит, мех соли весил 5—6 пудов<sup>21</sup>. Это само по себе шаткое сопоставление находит неожи-

данную поддержку в упомянутой выше смете казенных хлебных запасов по Томскому разряду 1642 г. В смете обозначено муки ржаной 91 мех; по мере казенной томской осмины оказалось в этих мешках муки  $125\frac{1}{8}$  четверти, т. е. по 1,37 четверти в мешке. При тогдашней, четырехпудовой четверти мешок муки ржаной весил около  $5\frac{1}{2}$  тогдашних, или около  $6\frac{1}{2}$  нынешних, пудов.

### III

Теперь обратимся к изучению хлебных цен. Наперед изложим приемы этого изучения.

В изданных памятниках XVI и XVII вв. можно набрать значительный запас хлебных цен. Но немногие из них годятся в дело. Большею частью то большие цены, или голодные, или, если можно так выразиться, слишком сытые, дешевые. Они потому и были отмечены в свое время, что стояли выше или ниже нормального уровня. В древней Руси этот уровень был чрезвычайно шаток. Причиной этого была патология древнерусского рынка. Он был удивительно пуглив; малейшее затруднение производило на нем панику. В урожайные годы замешательство в подвозе поднимало цены втрое, вчетверо и более. Раз в Пскове (в 1467 г.) вдруг вздорожал хмель, когда хлеб был дешев: зобницу хмеля продавали по 120 денег. Но в нем не было недостатка, а только отчего-то временно приостановился его подвоз. Скоро его навезли вдоволь, и цена его также быстро упала до 15 денег за зобницу, т. е. стала дешевле в 8 раз. Можно представить себе, какие колебания производил неурожай. В голодные 1601—1603 гг. цена ржи поднималась в 80 и даже в 120 раз выше нормального уровня (с 5 денег за четверть до 2 и до 3 руб.). Всем этим затрудняется выбор здоровых, нормальных цен. В характере древнерусского хлебного рынка замечаем и другую особенность, по-видимому, противоположную первой. Она состояла в том, что при мимолетных болезненных колебаниях цен от испуга этот рынок упорно держался прежних цен, как скоро приходил в нормальное настроение. Эту особенность можно формулировать так: *хлебные цены часто колебались, но медленно изменялись*. Без сомнения, главной причиной такой устойчивости нор-

мальных цен было то, что при множестве частных, скоропреходящих затруднений, часто пугавших хлебный рынок, туго изменялись коренные условия, влиявшие на сельское хозяйство. Благодаря этому при изучении движения цен сами собой обозначаются продолжительные периоды, в течение которых здоровые хлебные цены держались приблизительно на одинаковом уровне. Сопоставляя старинные цены с нынешними, надобно брать эти крупные периоды, а не отдельные моменты, выражающиеся в отдельных, случайно попавшихся исследователю ценах того или другого года. Отсюда вытекает вторая задача — определить этот уровень, т. е. уловить основные цены, в которых выражалось действие коренных, устойчивых условий хлебного рынка в известный период. Разрешение этой задачи затрудняется разнообразием, каким, несмотря на эту устойчивость, отличаются даже, по-видимому, нормальные цены, отмеченные в памятниках одного и того же периода. Это разнообразие объясняется различием времен года, к которым относятся дошедшие до нас цены, качеством или сортом хлеба и тому подобными условиями, колеблющими нормальные цены. Из всех таких условий на далеком хронологическом расстоянии исследователь может уловить только одно географическое, выражающееся в изменении цен по местностям, которое обуславливалось неодинаковым отношением спроса и предложения на разных рынках. На пространстве веков это отношение значительно изменилось вследствие перемен, происшедших в путях сообщения, в географическом размещении земледельческого труда, во всем складе народного хозяйства. Во многих южных черноземных краях России, которые теперь служат главными поставщиками центральных хлебных рынков, в XVI в. еще не было хлебопашества или оно только что заводилось. Между тем там уже водворялось неземледельческое население, которое должно было получать часть необходимого ему хлеба со стороны, иногда издалека. Разумеется, отношение хлебных цен в этих местностях к ценам центральных руководящих рынков тогда было далеко не то, какое существует теперь. Что делать с такими местными ценами? Чтобы яснее понять значение этого вопроса, возьмем такой примерный случай. Положим, четверть ржи теперь стоит в Ельце 7 руб., а в Москве — 8 руб.

В конце XVI в. экономическое состояние Елецкого края было таково, что нынешняя четверть ржи могла там стоить 25 денег в то время, когда в Москве ее покупали по 20 денег. Цель сопоставления цен разных местностей состоит в определении общего уровня цен, существовавшего в известное время, чтобы по этому уровню узнать отношение старинной денежной единицы к нынешней. Сравнив московские цены, найдем, что копейка конца XVI в. стоила в 80 раз дороже нынешней, а по елецким ценам выходит, что она равнялась только 56 нынешним. Такая разница произошла, как легко заметить, оттого, что отношение московских цен к елецким теперь не то, какое существовало в XVI в., а обратное: теперь первые выше вторых, а тогда были ниже. Получив два отношения копейки XVI в. к нынешней, столь далекие друг от друга, как 80 и 56, надобно взять средние цены, чтобы вывести среднее отношение. Средняя цена, выведенная из цен московской и елецкой, в XVI в. выйдет выше первой, а теперь она ниже. Но действительная средняя, определяющая нормальный уровень цен, в XVI в., как и теперь, была ближе к московской, чем к елецкой, которая в XVI в. принадлежала к числу высоких, а теперь принадлежит к числу низких. Следовательно, чем больше введем мы в расчет цен, подобных елецким, тем получаемые нами средние все более будут удаляться от нормального уровня, приближаясь одни к высшему пределу, другие к низшему. Определяя помощью таких средних рыночное отношение старинной денежной единицы к нынешней, мы, очевидно, берем величины несоизмеримые, сравниваем высокие цены XVI в. с нынешними низкими. Поэтому цены, какие держались на некоторых местных рынках древней Руси, находившихся в исключительном положении, и которые стояли к ценам московского рынка в отношении, обратном их нынешнему отношению, должны быть причислены к большим, ненормальным и, подобно голодным, не могут быть вводимы в расчет.

Основанием при определении отношения старинных цен к нынешним послужит нам таблица хлебных цен 1882 г., помещенная в издании департамента земледелия и сельской промышленности: *1882 год в сельскохозяйственном отношении* (общий обзор года). В этой таблице сведены средние цены хлеба, выведенные по губер-

ниям на основании полученных от сельских хозяев сведений о том, почему продавали они полевые произведения на месте в августе, сентябре и октябре 1882 г. (стр. 40—52). В сельскохозяйственном отношении этот год отличался особенностями, которые представляют некоторые удобства изучающему историю русских хлебных цен. В нечерноземной полосе, которая составляла большую часть территории Московского государства XVI и XVII вв., урожай ржи был вообще хороший, в северных, восточных и юго-восточных губерниях черноземной полосы средний или даже несколько ниже среднего; то же было с ячменем и гречихой; урожай яровой пшеницы и овса был большею частью средний, местами, преимущественно также в нечерноземной полосе, в центральных промышленных губерниях, даже выше среднего. Таким образом, по урожаю главных хлебов, наполнявших древнерусский хлебный рынок, 1882 год восстановил приблизительно то состояние, в каком находилось земледельческое производство в старой Московской Руси: вообще не выходя из пределов нормального, урожай этого года дал лучший сбор на нечерноземной, нежели на черноземной почве. В Московском государстве XVI и XVII вв. нечерноземная почва точно так же давала больше хлеба, нежели черноземная, где успехам земледелия мешали редкость населения и неблагоприятные внешние обстоятельства. Климатические условия сделали в 1882 г. то же, что два-три века назад делали условия исторические. Другая особенность заключалась в уровне хлебных цен этого года. По замечанию названного выше издания, хлебная торговля отличалась в 1882 г. неустойчивостью и понижением цен, особенно с августа. Хлебные цены этого года стояли на 10—30% ниже цен 1881 г. Главною причиной такого упадка цен была слабость заграничного спроса на русский хлеб. В Венгрии, Германии, Франции, Англии был хороший урожай; к тому же Америка поставила на европейские рынки громадное количество своего хлеба по очень дешевой цене. Влияние заграничного спроса на уровень русских хлебных цен есть условие русского хлебного рынка, которого не знала старая московская Русь. Тогда хлеб не был важною статьей русского вывоза, и цены его определялись исключительно качеством урожая. Значит, и по характеру хлебных цен 1882 год напоминает древнюю

Русь: в этот год слабо действовало условие, поднимающее цены на хлеб, которое на древнерусском хлебном рынке совсем не действовало или оказывало малозаметное действие. Вследствие этого при определении отношения хлебных цен этого года к старинным знаменатели отношения выйдут несколько меньше тех, какие получились бы на основании более высоких цен другого года: сравнивая, например, старинную цену ржи с ценой 1882 г., мы найдем, что последняя в 80 раз выше первой, тогда как цена 1881 г. выше той же старинной раз в 85. Это представляет то удобство, что и в отношении старинной денежной единицы к нынешней, выведенном помощью сравнения хлебных цен, труднее будет подозревать преувеличение дороговизны старинных денег сравнительно с нынешними: получив, например, из сопоставления хлебных цен вывод, что рубль известного времени стоил на рынке 80 нынешних, мы можем с некоторою уверенностью думать, что на самом деле он стоил скорее дороже, чем дешевле этого. Эта уверенность усиливается еще двумя вводимыми в наш расчет условиями, благодаря которым также понижается знаменатель отношения старых хлебных цен к нынешним: деля нынешнюю цену на древнюю для определения этого отношения, мы берем такие цифры нынешней цены, которые несколько меньше надлежащих, и такие цифры древней цены, которые выше надлежащих, т. е. делим наименьшее делимое на наибольшего делителя, уменьшая частное с обеих сторон. Нынешние средние цены хлеба в упомянутой таблице выведены из данных, показывающих, почему продавали хлеб на месте сами производители, а большая часть старых цен, вошедших в наши вычисления, показывает, почему покупали хлеб на рынке потребители. Значит, мы сравниваем величины, не вполне соизмеримые, берем такие нынешние цены, в состав которых не входят ни плата за провоз, ни барыш скупщика-торговца, ни внутренняя таможенная пошлина, которой была обременена древнерусская хлебная торговля и от которой свободен хлеб на нынешнем рынке: словом, мы уменьшаем отношение старинных хлебных цен к нынешним на всю сумму накладных расходов, которые поднимают цену хлеба на пути от производителя к потребителю. С другой стороны, вычитывая отношение старых хлебных цен к нынешним, мы будем приравнивать мос-



ковскую четверть с половины XVII в. к нынешней, а четверть более раннего времени к половине нынешней четверти. Но это не вполне точно: старая московская осмипудовая четверть ржи по отношению старого московского пуда к современному весила несколько больше нынешней; если в нынешней нормальной четверти ржи считать 9 пудов 5 фунтов, то старая московская осмипудовая весила около 9 пудов 13 фунтов нынешних. Соответственный этому перевес перед нынешней осминой имела и четырехпудовая московская четверть XVI и первой половины XVII в. Таким образом, для получения точного отношения старинных хлебных цен к нынешним следовало бы несколько возвышать последние или уменьшать первые; не делая этого, мы опять уменьшаем частное, получаемое от деления последних на первые.

Однако из всего этого не следует заключать, что мы намеренно сравниваем несоизмеримые величины, чтобы получить заведомо неточный вывод. Несоизмеримость эта только кажущаяся. Чтобы видеть это, надобно ближе войти в сущность нашей задачи. Эта задача состоит в оценке меновой стоимости старинного рубля сравнительно с нынешним, или, говоря проще, в определении того, во сколько раз большее количество хозяйственных благ можно было приобрести на старинный рубль сравнительно с нынешним. Вполне точная оценка должна быть основана на всей совокупности хозяйственных благ, приобретаемых за деньги. При невозможности взять в расчет всю их совокупность, мы ограничиваемся ценами хлеба как предмета, вернее других выражающего меновое значение денежной единицы. Но хлеб по своей стоимости не всегда имеет одинаковое отношение к сумме остальных предметов, необходимых человеку и приобретаемых за деньги. Значительный заграничный спрос на русский хлеб теперь держит хлебные цены в России на уровне выше того, на каком они стояли сравнительно с другими предметами первой необходимости в XVI и XVII вв., когда этого условия не существовало. Следовательно, в общей сумме необходимых потребностей русского человека хлеб теперь составляет более ценную статью, чем какую он составлял два-три века назад. Определяя по одним хлебным ценам сравнительное меновое значение старинного и нынешнего рубля, мы оце-

ним первый выше, а второй ниже того, как оценили бы его, взяв в расчет всю совокупность необходимых потребностей. Чтобы нагляднее выразить то, о чем идет речь, воспользуемся такой примерной схемой: если древнерусскому человеку стоило 1 руб. такое же количество предметов, удовлетворяющих этим потребностям, какое нам обходится в 20 руб., и если при этом на хлеб он издержал 10 коп., десятую долю всех своих расходов, то теперь за такое же количество хлеба надобно заплатить  $2\frac{1}{2}$  руб., не десятую, а осьмую часть всех расходов, и не в 20, а в 25 раз дороже того, что стоила эта статья древнерусскому человеку. Соответственно этому и старинный московский рубль по хлебным ценам будет равняться 25 нынешним, а по стоимости всех необходимых предметов — только 20. Чтобы устранить эту разницу и восстановить более точное отношение, надобно несколько возвысить старые цены или уменьшить нынешние; это именно и делают изложенные условия, введенные в наши вычисления. К этому следует прибавить еще одно обстоятельство. В древней Руси процент населения, занимавшегося хлебопашеством, был гораздо выше нынешнего. Численный перевес сельского населения над городским в настоящее время слабее прежнего; притом в древней Руси значительная часть и городского населения занималась хлебопашеством. Все это при отсутствии или слабости вывоза хлеба за границу уменьшало оборот хлебной торговли, т. е. количество потребителей, покупавших хлеб. Пользуясь опять примерной схемой, можно предположить, что если в древнее время у нас из 20 человек занимались хлебопашеством 19, то теперь им занимается только 17; притом первые 19 пахали на 20 потребителей, а последние пахут на 22, т. е. на 20 внутренних потребителей и на 2 иностранцев, получающих хлеб из России. В первом случае оборот хлебной торговли выразится цифрой 1, во втором — цифрой 5. Благодаря такому ограниченному числу потребителей, покупавших хлеб, большая часть продажного хлеба переходила от производителя-продавца к потребителю-покупателю на месте, не уходя на далекие рынки, а внутренняя таможенная пошлина побуждала того и другого избегать и ближайших официально признанных рынков. Может быть, большее количество продажного хлеба тогда шло в оборот, минуя рынок, где была таможня; поэтому,

древнерусские торговые цены не вполне точно выражают действительную стоимость хлеба, которая была несколько ниже их, да и торговые цены не вполне соответствуют ценам нынешних главных рынков, потому что хлеб, поступающий на тогдашний рынок потребления из ближайших к нему мест производства, был свободен от доброй доли накладных расходов, которые теперь нарастают на его цене вследствие передвижения его на далекие расстояния и неизбежного при этом размножения посредников, которые становятся между производителем и потребителем. Если бы у нас был обильный запас известий о хлебных ценах как на крупных, так и на мелких древнерусских рынках, из этого запаса можно было бы выбрать цены, соответствующие тем, какие держатся на главных русских рынках нашего времени. Но в древнерусских памятниках находим немного таких известий и очень значительная, если не большая, часть их идет с рынков, далеко не главных, или даже дает не торговые, не потребительские цены, а такие, по которым покупали хлеб из первых рук, прямо от производителя. Вообще древнерусские хлебные цены, которыми может располагать исследователь, ближе к производительским, чем к потребительским. Поэтому и сравнивать их следует с низшими из нынешних цен; в противном случае мы будем сравнивать низшие старинные цены с высшими современными, получая при каждом сравнении такое частное от деления последних на первые, которое больше знаменателя действительного отношения старых цен к нынешним.

Итак, вводя в расчет такие условия, которые уменьшают этот знаменатель, мы этим только уравновешиваем ряд других условий, производящих обратное действие, исправляем неточность, происходящую от изменившегося значения хлебных цен. Руководясь изложенными соображениями, мы будем высчитывать по хлебным ценам рыночное отношение старинного рубля к нынешнему.

#### IV

От последнего года XV в. дошел до нас ряд данных, которые могут послужить точкой отправления при изучении хлебных цен в XVI в. В известной окладной книге

Вотской пятины 1500 г. хлебный оброк, какой платили в казну оброчные крестьяне, сидевшие на казенной государевой земле, иногда заменяется денежным<sup>22</sup>. Узнаем, что коробья ржи стоила 10 тогдашних новгородских денег, пшеницы — 14 денег, ячменя — 7 денег, овса — 5 денег. Так как мы занимаемся не местным новгородским, а московским рублем, который потом стал общерусским, то приведенное известие новгородского памятника надобно переложить на московские метрические единицы. Тогдашние рубли новгородский и московский были счетные денежные единицы различной величины; по количеству серебра новгородская деньга была вдвое больше московской, а новгородский рубль — слишком вдвое больше московского: в первом считалось 216 новгородских денег, или 432 московских, а во втором — 200 московских, или 100 новгородских денег. Со времени указа 1536 г., несколько понизившего вес новгородских денег, или новгородок, повелевшего выделять их из полуфунта серебра 300 вместо прежних 260, новгородки по новому «знамени» или штемпелю, на них появившемуся (великий князь на коне с копьем в руке), стали зваться еще «деньгами копейными», или *копейками*, а за вдвое меньшей по весу московской деньгой осталось название *московки*, или *деньги* в собственном смысле. Поэтому с нынешней копейкой, сотой долей нашего рубля, мы будем сопоставлять одну новгородку или две деньги-московки, которые в конце XV в. составляли также сотую часть тогдашнего *московского* рубля. Новгородская коробья содержала в себе две новгородские четверти, а новгородская четверть равнялась  $1\frac{1}{2}$  московских. Принявши в расчет эту разницу в хлебной мере, найдем, что третья часть коробьи, равная московской четверти, стоила — ржи  $3\frac{1}{3}$  новгородки, пшеницы —  $4\frac{2}{3}$ , ячменя —  $2\frac{1}{3}$ , овса —  $1\frac{2}{3}$ . Принимая московскую четверть того времени за половину нынешней, эти цены надобно еще удвоить. Перелагая хлебный оброк на деньги, казна, вероятно, соображалась с местными ценами хлеба, разумеется, не обижая и себя. Можно думать, что ее оценка приближалась к торговой цене хлеба на главном рынке края, в Новгороде, если не совпадала с ней: этим можно объяснить и то, что казна наша возможным назначить одинаковые цены оброчного хлеба для всех уездов Вотской пятины, описанных

в книге 1500 г. Это предположение оправдывается и летописными известиями о хлебных ценах. Рассказывая о поставлении архиепископа Макария на новгородскую кафедру в 1526 г., местный летописец замечает, что при этом владыке господь послал его епархии времена тихие и прохладные и «обилие велие»: коробью ячменя покупали по 7 новгородок, т. е. по той же цене, какая назначена в писцовой книге 1500 г. С другой стороны, в Пскове в 1485 г., за 15 лет до составления этой книги, при хорошем, хотя не повсеместном урожае ярового покупали четверть ячменя по 5 псковских денег, 1½ деньгами дороже казенной оброчной таксы 1500 г., а зобницу (две коробьи) овса — по 10 и по 12 денег, т. е. ровно по той же цене, какая назначена в книге 1500 г., или с прибавкой 1 деньги на коробью<sup>23</sup>. Уезды Вотьской пятины, описанные в окладной книге 1500 г. (Новгородский, Копорский, Ямский, Ладожский, Ореховский и Корельский), захватывают угол нынешней Новгородской губернии, большую часть Петербургской и значительную часть Выборгской губерний. В издании департамента земледелия и сельского хозяйства 1882 г. нет цен Выборгской губернии. По Петербургской губернии в издании не показаны цены яровой пшеницы; притом остальные цены довольно близки к новгородским: одни, как цены ржи, немного ниже их, а другие, как цены овса, немного выше. Потому мы введем в расчет только средние цены Новгородской губернии. Удвоив выведенные выше по книге 1500 г. цены хлеба в уездах Вотьской пятины, получим следующий ряд отношений, в которых последующие члены означают выраженные в новгородках старинные вотьские цены количества хлеба, приблизительно равняющегося нынешней торговой четверти, предыдущие члены — выраженные в копейках средние цены этой четверти в Новгородской губернии 1882 г., а знаменатели отношений показывают, во сколько раз по сравнению тех и других цен московский рубль конца XV в. стоил на рынке дороже нынешнего:

Рожь . . . . .	900 : 6 $\frac{2}{3}$ = 135
Пшеница . . . . .	1200 : 9 $\frac{1}{3}$ = 128
Ячмень . . . . .	635 : 4 $\frac{2}{3}$ = 136
Овес . . . . .	390 : 3 $\frac{1}{3}$ = 117

Средний знаменатель — 129. Мы не впадем в неточность, если, приближая этот знаменатель к знаменателю

ржи как главного хлеба, положим, что *московский рубль конца XV в. по хлебным ценам Вотьской пятины равнялся 130 нынешним.*

Цены XVI в. гораздо более затрудняют исследование. Известия этого века дают два ряда цен, дешевых и дорогих, хотя и не голодных. Первые почти не изменяются в продолжение всего столетия, но они страдают географической неопределенностью, не приурочены к месту. Из записок Герберштейна узнаем, что в 1520-х годах вообще в Московии, когда она не страдала от неурожая, принятая там мера хлеба продавалась по 4, 5 и 6 денег. По сравнению с другими известиями видно, что Герберштейн разумел под этой мерой московскую четверть и именно четверть ржи. Один хронограф, говоря о голоде, начавшемся в Московской земле в 1601 г., замечает, что до этого голода покупали бочку или оков ржи по 3 алтына и по гривне, т. е. по  $4\frac{1}{2}$  или по 5 денег четверть, это даже немного дешевле казенной оценки ржи сто лет назад, по книге Вотьской пятины 1500 г. Флетчер, бывший в Москве в 1588 и 1589 гг., говоря об изобилии и дешевизне хлеба в Московии, прибавляет, что пшеница продается иногда по 2 алтына четверть: если перевести московскую меру на новгородскую, то найдем, что новгородская коробья пшеницы, стоявшая по книге 1500 г. 14 новгородских денег, по цене Флетчера стоила бы 18 новгородских<sup>24</sup>. В известиях XVI в. не находим дешевых цен овса и ячменя, но их можно приблизительно восстановить по тому отношению, какое существовало в древней Руси между стоимостью разных видов зернового хлеба: четверть овса ценилась обыкновенно вдвое дешевле четверти ржи, а четверть ржи принимали за  $1\frac{1}{4}$  четверти или за 10 четвериков ячменя. Приняв для московской четверти ржи в XVI в. цену 5 московок, получим для четверти овса  $2\frac{1}{2}$  московки, а для четверти ячменя — 4. Чтобы получить стоимость нынешней четверти, эти цены надобно удвоить, т. е. московки принять за копейки. Но эти цены не приурочены к определенной местности, являются в источниках с характером обычных, ходячих по всей Московии, по крайней мере в центральных ее областях. Чтобы найти соответствующие им нынешние цены, надобно вывести среднюю из средних цен каждого хлеба в нынешних центральных губерниях Великороссии, т. е. Московской и смежных с нею<sup>25</sup>.

Получим такой ряд отношений, составив последующие члены из дешевых цен XVI в., выраженных в копейках, а предыдущие — из средних цен каждого хлеба по центральным губерниям Великороссии:

Рожь . . . . .	785 : 5 = 157
Овес . . . . .	307 : 2½ = 123
Ячмень . . . . .	502 : 4 = 125
Пшеница . . . . .	1057 : 12 = 88

Средний знаменатель отношений — 123. Очевидно, понижение этого знаменателя в XVI в. сравнительно с XV в. произошло оттого, что в центральных, «низовых» областях государства пшеница стоила дороже, чем в Новгородской земле конца XV в.: без этого теперь средний знаменатель вышел бы больше того, какой выведен по книге Вотьской пятины 1500 г. Итак, *по дешевым ценам хлеба московский рубль XVI в. в 123 раза дороже нынешнего.*

Можно, однако, заметить, что цены, сообщаемые Герберштейном, Флетчером и русским хронографом, держались на рынке только в особенно благоприятные годы и часто сменялись более высокими. Правда, незначительное возвышение их уже считалось *дороговизной*: тот же хронограф, который сообщает, что в конце XVI в. покупали бочку ржи по 3 алтына и по гривне, прибавляет: «А коли дорого, ино и по 5 алтын». Значит, 5 денег за четверть ржи не были ценой дешевой из дешевых, если 7½ денег за четверть считались уже ценой дорогой. Замечательно, что все дошедшие до нас хлебные цены XVI в., которые можно приурочить к какой-нибудь местности, к определенному рынку, выше дешевых цен Герберштейна, Флетчера и хронографа. Известная Торговая книга, изданная Сахаровым, по многим признакам отмечает цены, господствовавшие в городе Москве в конце XVI в. Отсюда узнаем, что при покупке большими партиями в столице продавали пшеницу по 13 алтын 2 деньги бочку, т. е. по 20 денег четверть, а пречневую крупу — по 6 алтын 4 деньги бочку или по 10 денег четверть<sup>26</sup>. Если эти цены сравнить с московскими 1882 г., получится знаменатель отношения значительно меньше того, какой выведен выше из сравнения дешевых цен XVI в.<sup>27</sup> Другие известия сообщают еще более высокие цены. Герберштейн говорит,

что в год его поездки в Московию (второй в 1526 г.) в Вологодской земле была такая дороговизна, что четверть ржи продавалась по 14 денег. Из одного духовного завещания начала XVI в. узнаем, что в Белозерском краю бочка ржи в «белозерскую меру» ценилась по 50 денег, т. е. четверть стоила те же 14 денег, о которых говорит Герберштейн, а белозерская мера, сколько можно судить о том по белозерской таможенной грамоте 1551 г., была та же московская или очень близкая к ней мера. В 1549 г. крестьяне поморской Шунгской волости (ныне Олонецкой губернии Повенецкого уезда) заняли полторы коробки ржи с условием платить рост «на четыре пятое зерно», т. е. 25%; по истечении срока займа они обязались или возвратить занятой хлеб с таким ростом, или заплатить за хлеб деньгами по полтине московской за коробью. В состав этой полтины или 100 денег, разумеется, входил и рост; сделав учет по 25%, найдем, что коробка ржи при заключении займа была оценена в 80 денег: треть коробки, т. е. московская казенная четверть ржи по этой оценке стоила  $26\frac{2}{3}$  деньги, почти вдвое дороже дорогой цены Герберштейна и с лишком втрое дороже дорогой цены хронографа. В приходо-расходной книге Корнилиева-Комельского монастыря 1576—1578 гг. находим несколько любопытных указаний на хлебные цены и их колебания в Вологодском краю. В сентябре 1576 г. куплена была четверть пшеницы за 4 алтына, а в ноябре 1577 г. за четверть пшеницы и четверть ржи монастырь заплатил 10 алтын; но так как в октябре того же года монастырь купил 3 четверти ржи за 10 алтын (по 20 денег четверть), то, предполагая, что цена ржи не изменилась в продолжение месяца, найдем, что четверть пшеницы стоила 40 денег, почти вдвое дороже, чем год назад. В апреле 1578 г. монастырь с одного своего должника взыскал 25 алтын 3 деньги за 5 четвертей ржи и за 2 четверти овса; в марте сам монастырь купил 9 четвертей овса за 20 алтын, по  $13\frac{1}{3}$  деньги четверть; при такой цене овса монастырь засчитал своему должнику четверть ржи приблизительно в 25 денег, немного дороже, чем сам покупал рожь в октябре 1577 г.<sup>28</sup> Значение этих вологодских цен несколько уясняется сопоставлением их с псковскими 1560 г. По сельскохозяйственным условиям



Псковский край был довольно похож на Вологодский. В 1560 г. в Пскове покупали рожь по 16 денег (псковских) четверть, овес — по 12, ячмень — по 20 денег, а пшеницу — по 33 деньги, или 11 алтын<sup>29</sup>. Переложив псковские деньги и меры на московские, получим цены, очень близкие к вологодским, как это видно из следующей таблицы, в первом столбце которой обозначены вологодские цены московской четверти, а во втором — псковские, выраженные также московками.

Рожь . . . . .	20—25 . . . . .	21 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>
Овес . . . . .	13 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> . . . . .	16
Пшеница . . . . .	24—40 . . . . .	44
Ячмень . . . . .	— — . . . . .	26 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>

Мы считаем здесь псковскую четверть в полторы московских, но псковские цены еще более приблизились бы к вологодским, если бы мы вполне точно рассчитали отношение псковской четверти к московской: первая была больше последней с лишком в 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> раза. Псковский летописец, записавший местные цены 1560 г., называет их дорогими и объясняет причину дороговизны: в то лето яровые хлеба не уродились, а в XVI в. яровыми хлебами были все, кроме ржи. В таблице эта причина отразилась как на отношении псковских цен к вологодским, так и на отношении псковских цен яровых хлебов к цене ржи. Псковские цены овса и пшеницы выше вологодских, тогда как псковская цена ржи приближалась к низшей из двух вологодских. Овес, который обыкновенно стоил вдвое дешевле ржи, в Пскове продавался дешевле только на четверть цены ржи; ячмень, который, как мы видели выше, обыкновенно на 25% был дешевле ржи, теперь стоил в Пскове на 25% дороже ее. Значит, неурожай сильно поднял в Пскове только цены яровых хлебов, а цены ржи остались на нормальном уровне или стали немного выше его, т. е. 20 московок за московскую четверть можно считать не дешевой, но довольно обычной ценой ржи в северной заволжской полосе Центральной Великороссии XVI в., как и на ее северо-западной новгородско-псковской окраине. Это заключение несколько поможет нам разобраться в хаосе дешевых и дорогих цен XVI в. Оно подтверждается и другим известием псковской летописи. В 1543 г. в Пскове был дорог всякий хлеб, не

один яровой, но ячмень продавали по той же цене, как в 1560 г., по 20 псковских денег местную четверть, а овес— даже дешевле, по 10 денег; зато рожь продавали по 25—30 денег местную или по 33—40 московок московскую четверть<sup>30</sup>. Сравнительно с этими цифрами цена 1560 г. (21 московка) может быть названа довольно умеренной. Но и псковские цены обоих этих лет далеко не достигали высшего предела дороговизны, какая иногда бывала в Московском государстве. По словам Флетчера, приехавшего в Московию в 1588 г., тогда была здесь такая дороговизна, что четверть ржи и пшеницы покупали по 13 алтын. В Белозерском краю уже в 1587 г. четверть ржи стоила 84 деньги, а четверть овса — 56 денег: это вчетверо дороже дешевых вологодских цен 1577 и 1578 гг. На севере эта дороговизна продолжалась и в 1589 г.: в Новгородской земле покупали рожь по 20 алтын местную четверть, т. е. по 80 денег московскую четверть<sup>31</sup>. Но, рассказывая об этой дороговизне, летописец уже прямо говорит, что это был голод.

Изучение хлебных цен XVI в. вполне подтверждает отмеченную выше особенность древнерусского хлебного рынка. В продолжение столетия незаметно постепенного роста хлебных цен, зато видим повторявшиеся от времени до времени сильные их колебания. Пределы этих колебаний обозначаются ценами ржи, которая в Белозерском краю в 1587 г. стоила 84 деньги четверть, а в самом конце века в Москве ее продавали, по свидетельству хронографа, по 4—5 денег, т. е. в 18 раз дешевле. При таких колебаниях, изучая отношение денежной единицы XVI в. к нынешней по ценам хлеба, очевидно, нельзя получить надежного вывода на основании одних дешевых цен. Когда мы из записок Герберштейна и из русского хронографа узнаем, что четверть ржи и в начале, и в конце века продавали по 4—6 денег, отсюда при других известиях о других ценах мы должны заключить, что так бывало часто, но далеко не было так всегда: значительно более высокие цены были не мимолетным и редким затруднением хлебного рынка, а довольно обычным явлением. Чтобы получить более точный вывод, надобно взять такое сочетание дешевых и дорогих цен, которое выражало бы собою не одни счастливые или одни несчастные моменты древне-

русского сельского хозяйства, а среднюю величину, выведенную из сложности тех и других цен. Для этого мы возьмем рассмотренные выше дорогие цены разных местностей, сопоставим их со средними ценами 1882 г. по тем губерниям, к которым эти местности принадлежат ныне, выведем средний знаменатель, который будет показывать отношение московского рубля XVI в. к нынешнему по дорогим хлебным ценам XVI в., наконец, сопоставив этот знаменатель с выведенным выше по дешевым ценам того же века, возьмем их среднюю величину, которая, как нам кажется, точнее выразит отношение московского рубля XVI в. к нынешнему. Повторяя при этом вышеуказанные приемы, мы присоединим к ним еще некоторые соображения. По дешевым ценам, как мы сказали выше, незаметно постепенного вздорожания хлеба в продолжение XVI в.: низкие цены конца этого столетия, отмеченные хронографом, не выше низких цен, записанных Герберштейном в начале того же века. Но высокие цены второй половины века вообще значительно выше высоких цен первой половины: так, например, Герберштейн в описании центральной Московской области замечает, что в неурожайном 1525 г. за стоившее прежде (разумеется, четверть ржи) 3 деньги здесь платили 20 и даже 30 денег, а от Флетчера узнаем, что в 1588 г. рожь и пшеницу продавали в Московии по 78 денег четверть. Трудно сказать, есть ли это случайность, объясняющаяся скудостью дошедших до нас известий, или в самом деле хлебные цены второй половины века поднимались до высоты, какой они не достигали в первую. Большая вероятность последнего предположения заставляет принять эту разницу в расчет. Поэтому все отношения, какие можно вывести из сравнения дорогих цен XVI в. с нынешними, мы сведем в две таблицы, из которых одна основана на ценах первой половины, другая — на ценах второй половины века<sup>32</sup>.

Москва 1520-х годов . . . . .	Рожь . . . . .	840 : 30 = 28
Вологда 1520-х годов . . . . .	Рожь . . . . .	900 : 14 = 64
Белоозеро начала XVI в. . . . .	Рожь . . . . .	900 : 14 = 64
Псков 1543 г. . . . .	Рожь . . . . .	725 : 40 = 18
	Овес . . . . .	380 : 13 $\frac{1}{3}$ = 28
	Ячмень . . . . .	565 : 26 $\frac{2}{3}$ = 21
Новгород 1544 г. . . . .	Рожь . . . . .	900 : 13 $\frac{1}{3}$ = 67
Шунга 1549 г. . . . .	Рожь . . . . .	1350 : 26 $\frac{2}{3}$ = 51

Средний знаменатель отношений 43. Сопоставив его с выведенным выше знаменателем 123, найдем, что по сложности средних знаменателей отношений дешевых цен XVI в. и дорогих цен первой его половины к ценам 1882 г. *московский рубль первой половины XVI в. равняется 82 нынешним.*

Подобным образом составим отношения дорогих цен второй половины века к нынешним. Приняв дешевые цены за низший предел, до которого падала стоимость хлеба в XVI в., мы можем ввести в расчет как высший ее предел и такие дорогие цены, которые современники считали уже голодными или близкими к голодным<sup>33</sup>.

Поков 1560 г. . . . .	{	Рожь . . . . .	725 : 21 $\frac{1}{3}$ = 34
		Овес . . . . .	380 : 16 = 24
		Ячмень . . . . .	565 : 26 $\frac{2}{3}$ = 21
		Пшеница . . . . .	1200 : 44 = 27
Вологда 1577 и 1578 гг.	{	Рожь . . . . .	900 : 25 = 36
		Овес . . . . .	355 : 13 $\frac{1}{3}$ = 28
		Пшеница . . . . .	1240 : 40 = 31
Белоозеро 1587 г. . . . .	{	Рожь . . . . .	900 : 84 = 11
		Овес . . . . .	390 : 56 = 7
Новгород 1589 г. . . . .	{	Рожь . . . . .	900 : 80 = 11
Архангельск 1596 г. . . . .	{	Рожь и овес . . . . .	1750 : 49 = 36
Москва конца XVI в. . . . .	{	Рожь . . . . .	840 : 22 $\frac{1}{2}$ = 37

Средний знаменатель 25. Повторив прежний способ действия, найдем, что *московский рубль второй половины XVI в. в 74 раза дороже нынешнего.*

Легко заметить, что эти выводы получены довольно искусственным, так сказать механическим способом, который не дает никакого ручательства в том, что выведенные посредством него знаменатели показывают действительное среднее отношение хлебных цен XVI в. к нынешним. Но более надежные выводы едва ли и можно получить из таких случайных и неполных данных, какие можно собрать в памятниках XVI в.: для этого надобно было бы знать, насколько устойчиво держались на тогдашних рынках дешевые цены, как часто сменялись они дорогими и т. п. По крайней мере в своем расчете мы приняли все предосторожности против преувеличения стоимости рубля XVI в. сравнительно с нынешним, из дорогих цен брали самые высокие, отбрасывая цены, приближавшиеся к дешевым, так что выведенные нами за обе половины XVI в. знаменатели

можно считать наименьшими, какие можно вывести из известных цен XVI в., а такие знаменатели представляют меньше опасности, чем преувеличенные: руководствуясь такими знаменателями, исследователь экономического быта того века наделает меньше ошибок. Трудно придумать средство проверить, что полученные нами выводы если и не выражают вполне точно ценности рубля XVI в. сравнительно с нынешним, то и не преувеличивают ее. Цены других предметов потребления не могут служить такой проверкой, потому что значение самих этих цен определяется ценами хлеба. Все эти предметы можно разделить на два разряда, резко различавшиеся между собою по сравнительной стоимости, какую они имели в XVI в.: к одному разряду можно отнести предметы привозные, к другому — туземные. Выше было уже замечено, что в сумме потребностей человека, которым удовлетворяет рынок, хлеб составлял в древней Руси более дешевую статью, чем какую составляет он теперь. Но если все другие предметы, кроме хлеба, обходились древнерусскому потребителю дороже, чем обходятся они нам, то особенно дорого стоили ему предметы привозные, что объясняется условиями внешней торговли России в те века. В следующей таблице показаны выраженные в копейках и пудах отношения нынешних цен некоторых из этих привозных предметов к ценам второй половины XVI и начала XVII в., заимствованным из записки Барберини и частью из Торговой книги; в этой таблице мы сопоставили высшие нынешние московские цены с низшими тогдашними московскими же ценами, чтобы получить знаменатели отношений выше средних и, таким образом, нагляднее показать, как далеко не достигают и эти преувеличенные знаменатели выведенного нами общего знаменателя отношений хлебных цен<sup>34</sup>.

Перец (черный) . . . . .	1200 : 411 = 2,9
Сахар головной . . . . .	850 : 343 = 2,4
Гвоздика . . . . .	3000 : 2000 = 1,5
Мускатные орехи . . . . .	8000 : 1028 = 7,7
Имбирь . . . . .	1400 : 411 = 3,4
Чернослив . . . . .	1100 : 43 = 25,5
Изюм . . . . .	1100 : 34 = 32,3
Бумага хлопчатая . . . . .	1400 : 103 = 13,6
» писчая (стопа) . . . . .	1200 : 40 = 30,5

Сами по себе эти отношения ничего не значат или значат противное тому, что должны значить. Если, например, стопу писчей бумаги в конце XVI в. в Москве покупали по 4 гривны, а мы покупаем по 13 руб., отсюда вовсе не следует заключать, что с тех пор бумага вздорожала в  $30\frac{1}{2}$  раза: этого не могло случиться, потому что в XVI в. бумагу привозили в Московию голландцы, с большими издержками и риском совершая поездки к восточным балтийским и даже беломорским берегам, а теперь товар этот в огромном количестве выделяется в России. Действительный экономический смысл этим отношениям сообщают цены хлеба. Если стопа бумаги, которая стоит теперь 13 руб., в конце XVI в. продавалась по 40 коп., а на копейку тогда можно было купить хлеба в 74 раза больше, чем теперь, значит, бумага теперь стала в 2,2 раза дешевле, чем была в то время. Эти отношения мы намеренно составили из низших цен XVI в. и высших нынешних, чтобы получить наибольшие знаменатели, какие получить можно: разумеется, деля 74 на эти знаменатели, мы получим наименьшие частные, показывающие, во сколько раз подешевел тот или другой привозной товар с конца XVI в. Так узнаем, что сахар стал дешевле не менее как в 30 раз, гвоздика — не менее 49 раз. Если по отмеченным в таблице предметам можно судить о тогдашней стоимости вообще всех колониальных и мануфактурных товаров сравнительно с их нынешними ценами, то окажется, что эти товары, большею частью предметы роскоши, с тех пор *подешевели в  $5\frac{1}{2}$  раз.*

Туземные предметы по своей сравнительной стоимости гораздо ближе подходили к хлебу, как это видно из следующей сравнительной таблицы московских цен 1882 г. и цен второй половины XVI в., заимствованных из записки Барберини 1565 г., из статейного списка посольства Флетчера 1588—1589 гг. и частью из Торговой книги <sup>35</sup>.

Курица . . . . .	65 : $1\frac{1}{2}$ к.	= 43
Утка живая . . . . .	80 : 3	= 27
Масло коровье (фунт) . . . . .	35 : $\frac{3}{7}$	= 82
Солонина (фунт) . . . . .	13 : $\frac{5}{8}$	= 21
Яиц сотня . . . . .	250 : 5	= 50
Кочней капусты сотня . . . . .	500 : 12	= 42
Огурцов сотня . . . . .	14 : $\frac{4}{5}$	= 17
Масло семенное (пуд) . . . . .	650 : 20	= 32

Воск (пуд) . . . . .	2900 : 103	= 28
Мед (пуд) . . . . .	200 : 41	= 49
Лен (пуд) . . . . .	1000 : 70	= 14
Сало говяжье (пуд) . . . . .	640 : 24	$\frac{1}{2}$ = 28
Овчина . . . . .	250 : 6	= 42

Средний знаменатель 37. Итак, домашняя птица, мясо, продукты пчеловодства и огородничества, как и другие туземные предметы продовольствия и домашнего хозяйства, кроме хлеба, с конца XVI в. подешевели ровно вдвое, если о сравнительной ценности всего этого можно судить по указанным в таблице статьям.

Еще ближе к хлебным ценам сравнительная стоимость скота в XVI в. Впрочем, для изучения этой статьи хозяйства мы имеем очень скудные данные, извлеченные из приходо-расходной книги Комельского монастыря и Уставной книги Разбойного приказа<sup>36</sup>. Найденные здесь цифры мы сопоставляем со средними ценами на скот в издании департамента земледелия и сельской промышленности 1882 г., где показаны особо цены скота осенью и весной. В приходо-расходной книге помечено, в каком месяце и по какой цене продана лошадь или корова. Мы сопоставляем весенние цены департамента с весенними и летними ценами приходо-расходной книги, а осенние цены первого — с осенними и зимними ценами второй. При этом надобно заметить, что в издании департамента выведены средние цены только рабочих лошадей, а в приходо-расходной книге обозначены цены и рабочих и более дорогих выездных, следовательно, средние цены лошадей, выведенные по этой книге, выше средних в издании департамента, а потому и средний знаменатель отношения, выведенный из сравнения тех и других, выйдет скорее ниже, чем выше действительного. Такса Разбойного приказа выше цен приходо-расходной книги и, по-видимому, соображена с курсом более дорогих рынков: мы сопоставляем ее со средними годовыми ценами скота по Московской губернии в 1882 г. Получаем такой ряд отношений, в которых предыдущими членами служат цены 1882 г. (в коп.), а последующими — цены XVI в.

Вологда . . . . .	{	Лошадь весной и летом . . . . .	5000 : 88 = 57
		» осенью и зимой . . . . .	4000 : 60 = 67
Москва . . . . .	{	Корова весной . . . . .	3200 : 67 = 48
		Лошадь осенью . . . . .	4500 : 138 = 33

Указные цены . . .	{	Лошадь рабочая . . . . .	5250 : 150 = 35
		Корова . . . . .	4500 : 100 = 45
		Бык . . . . .	4500 : 100 = 45
		Овца . . . . .	400 : 10 = 40

Средний знаменатель 46, т. е. *скот подешевел с конца XVI в. только в 1,6 раза.*

Наконец, всего любопытнее было бы определить сравнительную стоимость труда. Но удовлетворительному решению этого вопроса, кроме скудости данных, мешает еще трудность найти соизмеримые величины, т. е. такие древние и нынешние цены, которые означали бы стоимость одинакового труда и при одинаковых условиях. В издании департамента приведены поденные цены на труд сельских рабочих во время производства ярового посева, сенокоса и уборки хлебов. Данных о стоимости такого труда мы не находим в памятниках XVI в. Но в приходе-расходной книге Корнильева монастыря есть довольно много указаний на то, что платил монастырь разным наемным мастеровым и черноработчим. Все эти цены годовые, а не поденные. Все рабочие служили монастырю на его харчах; притом одни работали в своей «одеже и обуви», другие получали то и другое от монастыря; сообразно с этим изменялась и наемная плата деньгами. При таких разнообразных условиях сравнение древних и нынешних цен на труд становится очень рискованным. Чтобы получить возможно безопасный вывод, сделаем такой расчет. Цены на сельский труд в 1882 г. вообще были умеренные. Мастеровой труд ценится выше работы простого поденщика, но сельский рабочий весной и летом — далеко не самый дешевый поденщик. Погодная наемная плата, разумеется, относительно ниже поденной; положим, что она вдвое ниже последней, т. е., считая в году 300 рабочих дней, положим, что сельский поденщик в 150 дней весенней и летней рабочей поры выработает столько же, сколько получил бы он, нанявшись на целый год. Поэтому средний по Вологодской губернии заработок сельского пешего рабочего за 150 дней на хозяйских харчах мы сопоставим с годовой платой тех мастеров и рабочих Корнильева монастыря в 1576—1577 гг., о которых в приходе-расходной книге прямо замечено, что они получали плату не только «за рубахи и рукавицы и ногавицы и за всю обувь», но и «за



шубу и за сермягу, за все платье», т. е. работали во всей своей одежде, тогда как другие, имея свои рубахи и обувь, получали шубу и сермягу от монастыря и за то пользовались меньшей денежной платой. Таким образом, мы по возможности уравновесим различные условия древнего и нынешнего найма и вместе с тем приблизим цифры старинных цен на труд к цифрам нынешних, иначе говоря, уменьшив расстояние между этими цифрами, получим такие отношения между теми и другими ценами, знаменатели которых трудно будет заподозрить в преувеличении, что нам и нужно всего более. Пеший рабочий в Вологодской губернии получал в 1882 г. средним числом по 45 коп. за день работы в страдную пору на хозяйских харчах, что составит 67 руб. 50 коп. за 150 рабочих дней. Комельский монастырь платил сапожному мастеру при его платье 90 коп. в год, плотнику — 110 коп.; следовательно, в 1576/77 г. первый получал в 75, а второй в 61 раз меньше сельского рабочего 1882 г. Швецу монастырь платил 105 коп. в год, а другому мастерскому, ремесло которого не обозначено, даже только 45 коп., следовательно, первый получал в 64, а второй в 150 раз меньше нынешнего сельского поденщика. Чернорабочие получали почти столько же, сколько мастера, потому что обязаны были «всякое дело делати черное по вся дни», иногда даже по воскресеньям. Средняя плата им при своем платье была 110 коп., в 61 раз меньше заработка нынешнего сельского работника. Но Герберштейн говорит, что в городе Москве обычная плата за работу простому поденщику была 1½ деньги, в 94 раза меньше, чем сколько получал чернорабочий поденщик в Москве в 1882 г. (60—80 коп.). Такие цифры заставляют думать, что *труд теперь нисколько не дешевле, чем он был в XVI в., напротив, стал, по-видимому, даже несколько дороже.*

Нельзя не заметить некоторой последовательности в выведенном при помощи хлебных цен отношении древней стоимости разных предметов потребления к нынешней. Предметы привозные, удовлетворявшие преимущественно потребностям роскоши, теперь подешевели больше, чем предметы туземного производства, а из этих последних оскот подешевел меньше других предметов, наконец, труд не подешевел вовсе, может быть,

даже вздорожал. Когда мы утверждаем, что даже предметы туземные, кроме хлеба, теперь стали дешевле, чем были в XVI в., это значит, что они подешевели сравнительно с хлебом, т. е. хлеб вздорожал больше остальных предметов хозяйства, или, говоря точнее, *в общем подъеме цен с XVI в. до нашего времени стоимость хлеба поднялась гораздо выше, чем стоимость других предметов потребления*, так что рыночное отношение первого к последним теперь далеко не то, какое существовало триста лет назад. Эту именно перемену и хотели мы обозначить, когда, соображая общие условия сельского хозяйства в древней и современной России, сказали, что в сумме хозяйственных потребностей хлеб для нас составляет более ценную статью, чем какую был он для древнерусского человека: вывод, основанный на этих общих условиях, вполне подтверждается результатами, к каким привело изучение истории цен.

При более подробном и внимательном изучении цен XVI в. можно, без сомнения, точнее определить, насколько изменилась сравнительно с ценами хлеба стоимость других предметов потребления. Мы коснулись этого мимоходом только для того, чтобы нагляднее показать, что цены этих предметов не могут служить поверкой выведенного по хлебным ценам отношения древнего рубля к нынешнему, напротив, хозяйственное значение цен самих этих предметов за известное время становится понятно только при условии, если наперед определено по хлебным ценам отношение тогдашнего рубля к нынешнему. Поверка выводов должна быть основана на разборе возможных ошибок в способе, каким они получены. Главное побуждение, заставляющее сомневаться в точности этих выводов, заключается в том, что мы недостаточно знаем свойство хлебных цен XVI в., на которых они основаны. Из хронографа узнаем, что до 1601 г. в Московской земле покупали четверть ржи по  $4\frac{1}{2}$  и по 5 денег, а в дороговизну — по  $7\frac{1}{2}$  денег. Но что значат эти низкие цены? Изложенные выше выводы построены на том предположении, что такие цены равномерно чередовались на центральных рынках с более высокими, т. е. что в каждое двухлетие круглым счетом один год господствовали низкие цены, а другой — высокие. Но этому известию можно придавать и другое значение: по поводу страшного

вздорожания хлеба хронограф для усиления контраста мог припомнить самые дешевые цены, какие бывали иногда, хотя и не часто. Недаром цены, находимые во всех других известиях второй половины XVI в., не такие общие, а приуроченные к известной местности, выше цен хронографа вчетверо, впятеро и больше. Другие памятники, к которым мы обращаемся для проверки своих выводов, внушают даже мысль, что, чем более наберем мы в уцелевших источниках XVI в. известий о местных ценах хлеба, тем более увеличим только список дорогих, а не дешевых цен. С этой стороны заслуживают внимания два памятника, расходная книга Болдина-Дорогобужского монастыря и вкладная книга Кандалакшского монастыря Кемского уезда Архангельской губернии<sup>37</sup>. В 1586 г. Болдин монастырь заплатил своим крестьянам по 36 денег за четверть ржи: это очень дорогая цена, в 7 раз дороже дешевой цены хронографа. Во вкладной книге Кандалакшского монастыря находим ряд хлебных цен за 1584—1600 гг. Некоторыми из них нельзя воспользоваться: в книге, например, записано 8 бочек с 1 мерой ржи и ячменя ценой в 5 руб., но не обозначено, сколько ржи и сколько ячменя. Чтобы воспользоваться другими ценами, надобно предварительно объяснить своеобразную метрику Поморского севера, которой держится книга. Она считает новгородками и деньгами, разумея под последними московки, но рубль принимает только московский в 100 новгородок или 200 московок. Хлеб измеряется в ней *мерами и бочками*. В 1655 г. положены были в монастырь две меры с четвериком ржи за 22½ алтына, очевидно, мера оценена была в 10 алтын, а четверик — в 2½, т. е. в мере считалось 4 четверика, следовательно, мера была половина северной, т. е. новгородской, четверти. В 1594 г. положены были в монастырь 4 бочки ржи за 3 руб. 12 алтын, по 7 алтын мера, т. е. в бочке считалось 4 меры: это малая бочка, равнявшаяся новгородской коробье. По цене монастырских вкладов мера ржи стоила в 1584 г. 30 денег; в 1585 г. — 30 денег; в 1593 г. — 50 и 150 денег; в 1594 г. — 42 и 50 денег; в 1599 г. — 40 денег; в 1600 г. — 26 денег. Переложив северные меры на тогдашние московские четверти, считая 6 московских четвериков в мере, найдем, что московская четверть ржи, по оценке Канда-

лакшского монастыря, стоила в 1584 г. 40 денег; в 1585 г. — 40 денег; в 1593 г. —  $66\frac{2}{3}$  и 200 денег; в 1594 г. — 56 и  $66\frac{2}{3}$  деньги; в 1599 г. —  $53\frac{1}{3}$  деньги; в 1600 г. —  $34\frac{2}{3}$  деньги. Если даже откинем непомерно высокую, близкую к голодной цену — 200 денег, то получим из остальных среднюю — 51 деньга за московскую четверть. Сопоставив эту среднюю и смоленскую цену 1586 г. со средними по Архангельской и Смоленской губерниям 1882 г. (1150 и 790 коп.), получим отношения, знаменатели которых даже немного ниже того, какой выведен выше, по дорогим ценам второй половины XVI в. (именно получим 23 и 22). Правда, цены обеих монастырских книг нельзя считать нормальными. Обе книги принадлежат двум далеко не самым хлебородным окраинам тогдашнего Московского государства. Цены, по которым Болдин монастырь покупал в 1585/86 г. не только хлеб, но и другие товары как в Москве, так и на месте, значительно выше обычных московских цен того времени; значит, болдинская книга отметила цены и дорогого края и дорогого времени. О беломорском побережье нечего и говорить: там, на окраине земледельческой полосы, всегда господствовала сравнительная дороговизна. Вообще подозрение, что выведенное выше отношение рубля второй половины XVI в. к нынешнему, как 74 к 1, преувеличено, значительно ослабляется географией дорогих хлебных цен XVI в. Если местные цены, дошедшие от этого века, как нарочно, почти все много выше дешевых общих, отмеченных Герберштейном, Флетчером и хронографом, то при этом не следует забывать, что эти местные цены, как нарочно, идут из таких малохлебных или крайних областей, как Смоленская, Псковская, Новгородская, Белозерская, Вологодская, Архангельская, и не дошло ни одного достаточно полного и ясного известия из местностей, более центральных или хлебных, тянувших к Твери, Владимиру, Нижнему, Рязани, Туле, а дешевые цены у иностранцев и в хронографе прежде всего и могли быть взяты с этих центральных и обильных хлебом рынков. Несмотря на все это, для проверки своих выводов предположим в этих ценах не обычный, нормальный уровень, а только счастливые явления, такие же отдельные, одиночные случаи, какими были дорогие цены, и в таком значении поставим их в один ряд

с последними; при этом мы будем выводить средние из дорогих и дешевых, когда те и другие относятся к одной и той же местности, а из таких же параллельных дорогих будем брать низшие, которые можно принять за средние между дешевыми и самыми дорогими<sup>38</sup>. Из этих умеренно дорогих местных цен и из средних общих составим отношения, сопоставляя первые с местными средними ценами 1882 г., а вторые — с общими средними, выведенными из местных по центральному губерниям Великодержавии, как уже делали выше. Средние знаменатели этих отношений, составленных с очевидной натяжкой данных в сторону их понижения, выйдут, разумеется, ниже выведенных нами за обе половины века цифр 83 и 74; их можно будет принять за крайние низшие пределы отношения рубля первой и второй половины XVI в. к нынешнему. Цены первой половины явятся в таких отношениях:

Великороссия . . .	Рожь . . . . .	785 : 5 = 157
Москва . . . . .	Рожь . . . . .	840 : 14 = 60
Новгород . . . . .	Рожь . . . . .	900 : 13 $\frac{1}{3}$ = 67
	Ячень . . . . .	635 : 4 $\frac{2}{3}$ = 136
Белоозеро . . . . .	Рожь . . . . .	900 : 14 = 64
Псков . . . . .	Рожь . . . . .	725 : 33 $\frac{1}{3}$ = 22
	Овес . . . . .	380 : 13 $\frac{1}{3}$ = 28
Шунга . . . . .	Рожь . . . . .	1350 : 26 $\frac{2}{3}$ = 51
Средний знаменатель . . . . .		73

Легко заметить, что это понижение знаменателя произошло от псковских цен, которые, очевидно, много выше умеренно дорогих; если бы их не было, средний знаменатель вышел бы не только не ниже, но даже выше 83, именно 89.

Выше мы заметили, что 20 и 21 деньга за московскую четверть были хотя не дешевой, но довольно умеренной ценой ржи для Вологодского и Псковского краев во второй половине XVI в.; такими же ценами можно признать 30—35 денег для Беломорья; для Москвы мы принимаем, по показанию Маржерета, 22 деньга. Сопоставляя с этими умеренно дорогими местными ценами ржи выбор цен других хлебов, составим такой ряд отношений за вторую половину XVI в.:

Великороссия . . . . .	Рожь . . . . .	785 : 6 = 131
	Пшеница . . . . .	1057 : 12 = 88

Москва . . . . .	Рожь . . . . .	840 : 22 = 38
Переяславль . . . . .	Овес . . . . .	330 : 6 = 55
Псков . . . . .	Рожь . . . . .	725 : 21 = 35
Вологда . . . . .	Рожь . . . . .	900 : 20 = 45
	Пшеница . . . . .	1240 : 24 = 52
Архангельск . . . . .	Рожь и овес . . . . .	1750 : 49 = 36

Средний знаменатель . . . . 60

Псковская цена опять оказалась сравнительно выше других: без нее средний знаменатель поднялся бы до 64. Это объясняется прежде всего тем, что псковские цены взяты из летописи, которая обыкновенно отмечала только особенно высокие цены, поднимавшиеся выше умеренно дорогих. Итак, первая поверка приводит к тому, что знаменатель 83, выведенный для рубля первой половины XVI в., по-видимому, несколько не преувеличен, а знаменатель рубля второй половины 74 может быть понижен до 64 или до 60.

Возможен и другой способ проверки. Определяя отношение дешевых и высших дорогих цен XVI в. к нынешним, мы сопоставляли те и другие со средними ценами 1882 г. Но, может быть, это неправильно: может быть, лучше было бы сопоставлять древние дешевые и дорогие цены отдельно с дешевыми и дорогими новейшими, составляющими низшие и высшие пределы колебаний, из которых выведены средние в издании департамента. Правда, издесь мы сделаем явную натяжку с намерением понизить знаменатель отношения древнего рубля к нынешнему. Колебания цен в пределах одного урожайного года, происходящие от качества хлеба, от условий места и времени года, далеко не те же, что колебания на протяжении многих лет, зависящие от изменчивости урожая: последние, разумеется, несравненно сильнее первых; самая дорогая из цен урожайного года еще не составляет дороговизны. Значит, сопоставляя наиболее дорогие цены XVI в. с высшими 1882 г., мы, собственно, будем сравнивать высшие из дорогих древних цен с высшими из дешевых новейших: полученные знаменатели отношений выйдут много ниже тех, какие получились бы при сравнении соизмеримых цен. Для ослабления этой натяжки мы только выбросим из числа дорогих цен те, которые названы в источниках голодными или приближались к ним. Помещенная выше (стр. 198) схематическая таблица

дешевых цен XVI в. преобразится в следующую, в которой предыдущими членами отношений будут средние из низших цен по центральным губерниям великороссии 1882 г.

Рожь . . . . .	613 : 5 = 123
Овес . . . . .	225 : 2 1/2 = 90
Ячмень . . . . .	364 : 4 = 91
Пшеница . . . . .	875 : 12 = 73
<hr/>	
Средний знаменатель . . . . .	94

Сопоставив высшие из дорогих цен XVI в. с высшими 1882 г., получим два таких ряда отношений, из коих первый относится к первой половине XVI в., а второй — ко второй половине.

Псков . . . . .	{	Рожь . . . . .	920 : 40 = 23	920 : 21 = 44
		Овес . . . . .	450 : 13 1/3 = 34	450 : 16 = 28
		Ячмень . . . . .	750 : 26 2/3 = 28	750 : 26 2/3 = 28
		Пшеница . . . . .	—	1440 : 44 = 33
Вологда . . . . .	{	Рожь . . . . .	150 : 14 = 75	1050 : 25 = 42
		Овес . . . . .	—	420 : 13 1/3 = 31
		Пшеница . . . . .	—	1500 : 40 = 37
Новгород . . . . .		Рожь . . . . .	1350 : 13 1/3 = 101	— — —
Белоозеро . . . . .		Рожь . . . . .	1350 : 14 = 96	— — —
Шунга . . . . .		Рожь . . . . .	2000 : 26 2/3 = 75	— — —
Архангельск . . . . .		Рожь . . . . .	— — —	— — —
		и овес . . . . .	— — —	2050 : 49 = 42
Кандалакша . . . . .		Рожь . . . . .	— — —	1450 : 51 = 28
Дорогобуж . . . . .		Рожь . . . . .	— — —	900 : 36 = 25
Москва . . . . .		Рожь . . . . .	— — —	1000 : 22 = 45
			<hr/>	
Средние знаменатели . . . . .			62	35

Соединяя средний знаменатель первой таблицы с тем и другим средним знаменателем второй, найдем, что рубль первой половины XVI в. относится к нынешнему, как 78 к 1, а рубль второй половины — как 64 к 1. Значит, вторая проверка еще более первой сблизил крайние низшие пределы этого отношения с выведенными прежде цифрами 83 и 74. Обе изложенные проверки позволяют свести исследование о рубле XVI в. по хлебным ценам к тому окончательному заключению, что *в первую половину века он равнялся 73—83 нынешним, а во вторую 60—74 нынешним.*

Одна черта хозяйственного быта древней Руси побуждает к возможному понижению цифры, указывающей, во сколько раз древний русский рубль стоил до-

роже нынешнего. Предмет потребления, по своему значению в хозяйственном обиходе больше других приближающийся к хлебу, как одна из насущных потребностей, соль была чрезвычайно дорога в древней Руси, что зависело от условий ее добывания в те века и от тяжелой пошлыны, на ней тяготевшей. По кормовой книге Кириллова-Белозерского монастыря<sup>39</sup> и по прихода-расходной книге Корнилиева-Комельского монастыря соль в Белозерском краю в 1570-х годах стоила 8 и 10 денег за пуд, в Вологодском — 18 и 20 денег, а из статейного списка посольства Флетчера узнаем, что в 1580-х годах ее продавали в Москве по 20 и по 34 деньги, в Казани — по 18 денег за пуд. Если из таких данных позволительно выводить среднюю цену, то такую средней даже без слишком высокой московской цены 34 деньги выйдет 16 денег или 8 коп. за тогдашний или почти 7 коп. за нынешний пуд. Так как даже при крайнем низшем пределе отношения рубля того времени к нынешнему, как 60 к 1, эти 7 коп. (без  $\frac{2}{7}$ ) равняются 403 нынешним, то при нынешней средней цене соли — 40 коп. за пуд, этот предмет во второй половине XVI в. был дороже нынешнего по крайней мере в 10 раз.

## V

Для изучения хлебных цен XVII в. мы располагаем более обильным запасом данных, и притом более удобных для изучения. Они дают возможность чаще пользоваться средними ценами, чем это можно было при изучении данных XVI в. Когда одно известие говорит о дорогой цене ржи в Поонежье 1549 г., а другое отмечает еще более дорогую, дорогобужскую цену 37 лет спустя, то выводить среднюю из таких данных значило бы играть средними. В XVI в. по некоторым местностям можно собрать погодные известия о ценах за несколько лет, проследить их колебания и вывести из них такие средние, которые дают более точное понятие об уровне цен, чем одиночные, случайные данные, какие находим в известиях XVI в.

Смутное время, начавшееся голодом 1601—1603 гг., продолжавшееся самозванщиной и кончившееся великой «разрухой» государства, произвело крутой перелом



в курсе хлебных цен: в это время они стали на уровне, до которого редко поднимались прежде, и потом остались на нем надолго. Народонаселение центральных областей страшно поредело от внешних войн и внутренних усобиц, а еще больше, может быть, от побегов на более безопасные северные и восточные окраины. В этом последнем отношении бедствия Смутного времени только послужили новым толчком, поддержавшим и усилившим отлив населения из центра к окраинам, начавшийся во второй половине XVI в. Среди уцелевшего сельского населения заметно в первое царствование новой династии чрезвычайное развитие бобыльства, маломочного безземельного или малоземельного крестьянства, которое, потеряв земледельческий инвентарь вследствие разорений, принуждено было совсем бросить пашню или брать ничтожные участки. Все это уменьшило число и силу производителей, поставлявших хлеб на центральные рынки.

Подъем цен начался в 1601 г., с первыми признаками трехлетнего неурожая, и дошел в Москве с 20 денег до 3 руб. за четверть ржи. Но и по миновании этого голода цена хлеба при содействии политических бедствий иногда поднималась до 7 и даже до 9 *тогдашних* рублей за четверть ржи, как было при царе Василии Шуйском: это в 360 раз дороже дешевой цены, по которой продавали рожь до Смутного времени, по свидетельству хронографа. Такие бедственные цены, разумеется, не могут быть приняты в расчет при изучении нормальных цен. Но и те цены Смутного времени 1601—1612 гг., которые можно назвать нормальными, большею частью выше самых высоких цен XVI в., нам известных. Вообще они держатся около 100 денег за московскую четверть ржи и часто поднимаются выше. Из одного акта узнаем, что в 1601 г., при самом начале голодного трехлетия, прасолы в Сольвычегодске, скупив хлеб, продавали рожь по 200 денег за четверть, овес — по 120, ячмень — по 160 денег. Московское правительство, чтобы помешать спекуляции, установило указные цены, предписав продавать рожь по 100 денег четверть, овес — по 50, ячмень — по 80 денег, т. е. понизило цены вдвое: эту пониженную таксу и можно считать нормальным уровнем хлебных цен на севере тогдашней Великой России. Дешевые цены, какие бывали там в Смутное

время, узнаем из акта продажи с публичного торга имущества, оставшегося после убитого в Новгороде народом за измену М. Татищева в 1608 г. Приказные, руководившие аукционом, разумеется, ценили вещи невысоко и продавали некоторые из них с наддачей. Рожь они оценили по 60 денег за четверть «з таможенную меру», т. е. по 40 денег за московскую четверть, овес — по 30 денег за новгородскую или по 20 денег за московскую четверть. Ту же цену ржи встречаем в кормовой книге Кириллова-Белозерского монастыря, в которой записано, что в начале XVII в. в монастыре на помин души была принята рожь по 40 денег за четверть. Эти известия несколько объясняются вкладной книгой Кандалакшского монастыря, которой мы уже выше пользовались. Здесь отмечены цены ржи почти за каждый год с 1604 по 1611 г., и здесь 1608 год самый дешевый, когда рожь стоила те же 40 денег за московскую четверть, как ценили ее приказные на новгородском аукционе<sup>40</sup>. При такой цене на крайнем севере хлеб мог продаваться и дешевле во многих центральных местах, хотя политические смуты отзывались на них больше, чем на дальнем севере. С другой стороны, псковская летопись указывает и высшую из нормальных, негодных цен Смутного времени: говоря, что в 1612 г. рожь продавали во Пскове по 180 денег (псковских) местную четверть, т. е. по 240 московок за четверть казенную московскую, она считает такую цену дороговизной.

Сопоставляя встреченные в известиях Смутного времени нормальные цены 1601—1612 гг., низкие и высокие, со средними ценами 1882 г., получим такой ряд отношений<sup>41</sup>.

Сольвычегодск 1601 г. . . . .	{	Рожь . . . . .	900 : 100 = 9
		Овес . . . . .	355 : 50 = 7
		Ячмень . . . . .	700 : 80 = 9
Холмогоры 1602 г. . . . .	{	Рожь . . . . .	1150 : 120 = 10
		Овес . . . . .	600 : 52 = 12
» 1609 г. . . . .	{	Ячмень . . . . .	960 : 78 = 12
		Рожь . . . . .	1150 : 48 = 24
Кандалакша 1604—1611 г.	{	Рожь . . . . .	1150 : 69 = 17
Козельск 1603—1604 г. . . . .	{	Рожь . . . . .	800 : 100 = 8
Арзамас 1603—1604 г. . . . .	{	Рожь . . . . .	760 : 190 = 4
Новгород 1608 г. . . . .	{	Рожь . . . . .	900 : 40 = 22
		Овес . . . . .	390 : 20 = 19
		Пшеница . . . . .	1200 : 100 = 12

Вологда 1611 г. . . . .	}	Рожь . . . . .	900 : 80 = 11
		Овес . . . . .	355 : 50 = 7
Псков 1612 г. . . . .		Рожь . . . . .	725 : 240 = 3

Средний знаменатель . . . 12

Итак, в *Смутное время* рубль по ценам хлеба равнялся 12 нынешним, т. е. хлеб в начале XVII в. стал в пять раз дороже, чем был во второй половине XVI в. Если эти выводы заслуживают какого-нибудь доверия, то они довольно выразительно обозначают силу народно-хозяйственного потрясения, испытанного Московской землей в *Смутное время*.

Может быть, отношение рубля *Смутного* времени к нынешнему, как 12 к 1, вышло несколько ниже надлежащего, вследствие того что в случайных известиях, из которых оно выведено, преобладают более высокие цены хлеба сравнительно с теми, какие господствовали на рынках того времени. Если хлеб в начале XVII в. вздорожал впятеро против прежнего, то незаметно столь же значительного возвышения цен на другие предметы: в Дорогобужском уезде в 1603—1604 гг. мед и другие товары продавались немного дороже, чем 17 лет назад, скот не дороже, чем в Вологодском уезде в 1577 г., и дешевле указной таксы Разбойного приказа, установленной при царе Федоре<sup>42</sup>. Можно думать, однако, что если знаменатель отношения 12 и следует поднять, то немного — на единицу и едва ли больше, по крайней мере из полевых растений, не принятых в расчет при его выведении, пенька в Дорогобужском краю 1603—1604 гг. стоила 20 и 26 денег, в 20 раз дешевле средней цены ее в Смоленской губернии 1882 г., а 1½ пуда льна и 1½ пуда конопли, данные Кандалакшскому монастырю за 1 руб. 32 коп. в 1607 г., по ценам Олонецкой губернии 1882 г. стоили около 12 руб., только в 10 раз дороже, а цены льна и пеньки в Архангельской губернии (не обозначенные в издании департамента) ниже олонекких, судя по ценам других произведений земледелия.

Известия за время царствования Михаила также дают возможность уловить высшие и низшие цены, в пределах которых совершались колебания на хлебном рынке. Пользуясь или вынуждаемая этими колебаниями, казна позволяла себе своего рода игру на курсе

хлеба, взимала хлебные налоги, например *посопный хлеб*, *стрелецкий хлеб*, иногда натурой, а в иных случаях деньгами, смотря по тому, как ей было прибыльнее, точно так же производила и свои платежи служилым людям. В 1617 г. хлеб в Новгороде был очень дорог: рожь продавали по 266 денег за московскую четверть (по 2 руб. за новгородскую), овес — по 146 денег, ячмень — по 200 денег. В это же время в заонежских погостах Новгородского уезда цены на хлеб стояли втрое ниже, именно рожь стоила 80 денег четверти, овес — 40 денег, ячмень — 66 денег. Казна нашла более выгодным произвести на тот год сборы с Заонежья (ныне Олонецкой губернии) натурой и дала соответственное тому предписание новгородской администрации<sup>43</sup>. Поэтому, когда казна заменяла хлебные сборы денежными, отсюда довольно верно можно заключать, что цены, по которым натуральные платежи казне перекладывались на деньги, были довольно высоки, напротив, цены, по которым она переводила свои хлебные дачи служилым людям на деньги, можно считать довольно дешевыми. Если 80 денег за четверть ржи были умеренной или дешевой ценой для Заонежья в 1617 г., такими же ценами для Москвы были в 1620-х годах 50 денег за четверть ржи и 40 денег за четверть овса или 90 денег за юфть хлеба, как платила казна жалованье справщикам и мастерам московского Печатного двора (типографии). По приходо-расходным книгам этого двора за 1620—1629 гг. видно что это были цены, очень умеренные, потому что сам Печатный двор для переплета книг покупал тогда в московских лавках ржаную муку от 96 до 256 денег за четверть, а пшеничную — от 128 до 240 денег<sup>44</sup>. Печатный двор покупал мелкими мерами, четвериками, переплачивая, разумеется, лишнее против покупной цены целой четверти, притом это была мука сеяная, высоких сортов. Поэтому можно думать, что средняя цена ржаной муки по приходо-расходным книгам Печатного двора — 157 денег за четверть соответствовала средней цене — 112 деньгам, какую находим в «Книге о хлебном и калачном весе» за 1631 г.<sup>45</sup> При таких московских ценах может показаться невероятно дешевой цена, по какой казна принимала деньги за посопный хлеб с Ровдогорской волости близ Холмогор в 1626 г.: в этом малохлеб-

ном краю ей платили за казенную четверть ржи по 50 и по 54 деньги, в то время когда в Москве она сама находила выгодным платить взамен хлебного жалования по 50 денег за четверть ржи. Вкладная Канда-лакшского монастыря и здесь дает объяснительную справку. В ней отмечены вкладные цены ржи с 1613 по 1629 г. Цены эти с 40 денег за московскую четверть поднимались до 106 денег; средняя цена за эти годы 78 денег, на 9 денег выше средней за Смутное время. В 1626 г. отмечена цена ржи по 106 денег за четверть, но уже в следующем году даже в том бесхлебном краю она падала до 40 денег, заставляя предполагать как в Москве, так и в Холмогорах цены еще ниже, оставшиеся не отмеченными в известных нам источниках. Этими местными колебаниями объясняется, каким образом казенная приемная, т. е. довольно высокая цена хлеба в Холмогорском округе 1626 г., могла стоять на одной высоте с казенной отдаточной, т. е. довольно дешевой ценой в Москве того же года. Соображая все это, надобно признать новгородские цены 1617 г. исключительными, почти голодными и вывести из расчета. Другие соображения заставляют считать такими же исключительными сибирские цены хлеба. В то время там едва заводилось хлебопашество вокруг немногих новопостроенных русских городов и большая часть хлеба для продовольствия поселенцев доставлялась из Европейской России. В 1622 г. четверть пшеницы ценилась в Тюмени в 264 деньги, а четверть ячменя — в 132 деньги, вдвое и втрое дороже стоимости этих хлебов в Холмогорском округе 1632—1634 гг., а в 1882 г. хлебные цены по Тобольской губернии были более чем втрое ниже цен по Архангельской<sup>46</sup>. Согласно с одним из высказанных выше правил, принятых в руководство при настоящем исследовании, местности со столь изменившимися хлебными рынками не могут быть вводимы в расчет. Несмотря на эти исключения, оценка тогдашнего рубля сравнительно с нынешним по свойству ее оснований, наверное, выйдет ниже надлежащей. Этими основаниями служат данные центрального московского и северных рынков, а на этих рынках господствовали дорогие цены; говоря точнее, хлебные цены тогда стояли на них гораздо выше сравнительно с другими, центральными и особенно юго-восточными,

рынками, чем стоят теперь; например, цены московские или новгородские в XVII в. были вдвое или втрое дороже казанских а ныне только раза в  $1\frac{1}{2}$  и даже меньше; эта любопытная экономическая разница заметна в истории хлебных цен до половины XVIII в. Правда, за время царя Михаила известны хлебные цены еще двух центральных рынков, сверх московского, но и те, как нарочно, казенные приемные, т. е. выше нормальных. В 1624 г. позволено было с тяглых людей Каширского уезда взять за стрелецкий хлеб, если они пожелают, деньгами, по 140 денег за четверть ржи и четверть овса (юфть): это в  $1\frac{1}{2}$  раза дороже того, что тогда сама казна платила в Москве за юфть хлеба. В 1633 г. с вотчины суздальского собора взято за тот же стрелецкий хлеб 160 денег за юфть<sup>47</sup>. Казна в таких случаях назначала высшие цены, какие можно было назначить; для восстановления равновесия отношений и мы вправе сопоставить эти цены не со средними, а с высшими же ценами 1882 г. На основании изложенных замечаний из хлебных цен Михайлова времени можно составить такой ряд отношений<sup>48</sup>:

Москва 1620—1631 гг. . . . .	{	Рожь . . . . .	840 : 50 = 17
		Овес . . . . .	350 : 40 = 9
		Мука ржаная . . . . .	1200 : 112 = 11
		» пшеничная . . . . .	2100 : 150 = 14
		Ржаной печеный хлеб (фунт) . . . . .	3 : $\frac{1}{6}$ = 18
Холмогоры 1626—1636 гг. . . . .	{	Рожь . . . . .	1159 : 80 = 14
		Ячмень . . . . .	960 : 68 = 14
Кандалакша 1613—1629 гг. . . . .	{	Рожь . . . . .	1150 : 78 = 15
		Овес . . . . .	1350 : 80 = 17
Заонежье 1617 г. . . . .	{	Рожь . . . . .	635 : 40 = 16
		Овес . . . . .	1200 : 140 = 9
Кашира 1624 г. . . . .	{	Рожь и овес . . . . .	1200 : 140 = 9
Суздаль 1633 г. . . . .	{	» » . . . . .	1595 : 160 = 10
Средний знаменатель . . . . .			14

Кроме географии цен, еще одно обстоятельство можно считать вероятной причиной того, что этот знаменатель вышел ниже надлежащего. В своих источниках мы не нашли хлебных цен за последние 9 лет царствования Михаила (1638—1645), а они в это время, кажется, шли вниз, так что, введя их в расчет, мы получили бы средний знаменатель несколько выше 14. Значение обоих этих условий наглядно объясняется таблицей хлебных цен за вторую половину XVII в.

Изучение этих цен встречается одно метрическое затруднение. В это время вошла в употребление новая хлебная мера, вдвое больше прежней, но неизвестно точно, когда именно была она введена на рынках, и притом рядом с новой мерой по местам употреблялась и старая, так что исследователь часто может недоумевать, к которой из них относится известная хлебная цена. Можно только с некоторой вероятностью объяснить, почему так незаметно, по-видимому, произошла на рынке столь важная метрическая перемена. Новая четверть в 8 тогдашних пудов ржи не была совершенной новостью в системе мер сыпучих веществ. Уже в первой половине века существовали две казенные четверти: одна была торговая, которую и казна выдавала хлебное жалованье служилым людям и которая потому называлась *отдаточной*; но в свои магазины казна принимала хлеб, вероятно для упрощения счета, четвертью, вдвое большей, которая потому носила название *примочной*<sup>49</sup>. Эта двойная четверть постепенно и вошла в употребление на рынке. Выше мы привели известия об этой четверти. В хлебных ценах второй половины XVII в. также можно найти некоторые указания на время, когда произошла эта перемена: по ним можно догадываться, что новая четверть была принята на хлебном рынке уже с первых лет второй половины века, если не раньше. Рижский купец де-Родес, отмечая в своей записке 1653 г. хлебные цены, господствовавшие в разных областях Московии, говорит, что в центральной Московской области четверть хлеба (ржи) стоит 1 руб. Это, очевидно, цена новой двойной четверти: если бы де-Родес разумел старую, мы имели бы в его сообщении цену хлеба, небывалую в Москве даже в голодные годы второй половины века, хотя Родес передает обычные, нормальные цены; даже спустя слишком сто лет новая двойная четверть ржи стоила в Москве только 130 коп., на 70 коп. дешевле цены Родеса. Можно догадываться, что уже в 1651 г. новая мера была принята на московском хлебном рынке. В известной расходной книге митрополита Никона записаны расходы его с декабря 1651 г. по август 1652 г. во время поездки его из Новгорода в Москву, пребывания его в столице и путешествия в Соловецкий монастырь за мощами св. митрополита Филиппа

и обратно<sup>50</sup>. В этом любопытном памятнике находим такие московские цены хлеба, которые могли относиться только к новой двойной четверти: овес покупали по 30 коп. четверть, пшеницу — по 128 коп., горох — по 80, 96 и 120 коп. Желябужский, перечисляя московские цены хлеба в 1698 г., когда был «недород велик», разумел новую двойную четверть; цена овса у него 45—48 коп., пшеницы — 170 и 150 коп., горох — 150 и 120 коп.<sup>51</sup> Значит, если бы расходная книга разумела старую малую четверть, оказалось бы, что в урожайный 1652 г. хлеб в Москве стоил гораздо дороже, чем в неурожайный 1698 г.

По-видимому, всю вторую половину XVII в. можно принять за один период в истории хлебных цен, к которому, может быть, пришлось бы присоединить и два последние десятилетия первой половины, если бы известны были в достаточной степени хлебные цены за это время. До начала реформ Петра или, лучше сказать, до начала Северной войны нормальный уровень хлебных цен, кажется, оставался один и тот же, хотя хлебный рынок по временам испытывал тяжелые кризисы. В 1660 г. сведущие люди из тяглых торговых классов, призванные для совещания с боярами об экономическом положении государства, в числе причин наступившей дороговизны указывали на эпидемию 1654 г., заявив при этом, что до морового поветрия, опустошившего села и деревни, хлеб был недорог<sup>52</sup>. Начавшаяся в том же году продолжительная война также содействовала поднятию хлебных цен. В 1652 г. для Никона покупали ржаную муку в Москве по 54 и по 58 коп. четверть, а в 1654 г. подрядчикам, которые бы взялись доставить ржаную муку в русский лагерь, осаждавший тогда Смоленск, указано было давать по 120, 135 и по 150 коп. за четверть<sup>53</sup>. Но всего более подействовали на курс цен вызванные войной финансовые операции правительства, особенно с медными деньгами, выпущенными в 1656 г. с номинальной стоимостью серебряных. Неудача этой кредитной операции произвела на рынке страшный беспорядок, который, однако ж, не составляет важного затруднения при изучении цен. Медные деньги несколько лет ходили наравне с серебряными, а потом быстро стали падать в цене, так что расчеты на медные деньги довольно легко отличить от расчетов



на серебро. Притом сохранились две таблицы лаж на медные деньги, из коих одна представляет постепенное падение их курса в Москве, а другая в Новгороде. С помощью этих таблиц можно для многих местностей переложить *медные* цены на *серебряные*. По цене дров в одном акте узнаем, что в 1663 г. в Старой Русе рубль серебряный равнялся 9 руб. 75 коп. медью<sup>54</sup>. По официальной таблице, в Новгороде с 1 сентября 1662 г. по 15 июля 1663 г. серебряный рубль равнялся 10 медным. По этому известию можно думать, что курс медных денег в Новгороде и Старой Русе был приблизительно одинаков, и потому старорусские медные цены можно переводить на серебряные по новгородской таблице. Гораздо более затрудняется изучение цен тем странным явлением, что вместе с возвышением цен при расчетах на медные деньги вследствие упадка их курса поднимались цены хлеба и на серебро. В декабре 1661 г., когда в Москве серебряный рубль стоил 4 медных, правительство, желая сдержать усиление дороговизны в Смоленске, нашло возможным предписать, чтобы четверть ржи продавалась там по 3 руб., а четверть овса — по 1½ руб., считая, по-видимому, на медные деньги. По московскому курсу 3 руб. медью равнялись 75 коп. серебром, а 1½ руб. — 37½ копейкам: это не дешевые, но сравнительно умеренные цены ржи и овса. В Вологде в сентябре 1661 г. четверть ржи при незначительном еще лаже на медные деньги стоила 120 коп.; в конце того же года и в следующем она продавалась уже по 6, потом — по 16 медных руб., но в то же время и на серебро стоила она 2 и потом даже 4 руб.: это непомерно высокая, почти голодная цена. То же явление заметно и в пределах Новгородской земли. В 1659 г. летом, когда в Новгороде лаж медных денег был не более 5 коп. на рубль, Воскресенский Новонерусалимский монастырь брал с своих крестьян в Старорусском уезде за оброчный хлеб по 4 руб. за четверть ржи и по 160 коп. за четверть овса: на серебро рожь стоила по новгородскому курсу 380 коп., а овес — около 152 коп. В начале 1661 г., когда в Новгороде серебряный рубль стоил 140 коп. медью, в старорусских селах того же монастыря четверть ржи стоила уже 8 руб. медью, т. е. около 570 коп. серебром, а овес — 240 коп. медью, или около 170 коп.

серебром; между тем в 1657 г., когда медные деньги еще ходили в одной цене с серебряными, Иверский монастырь, только предчувствуя дороговизну, закупил в Боровичах большую партию хлеба, заплатив за четверть ржи по 1 руб., с лишком впятеро дешевле цены 1661 г., а за четверть овса — по полтине<sup>55</sup>. Котошихин замечает, что вследствие выпуска медных денег «в государстве серебряными деньгами учала быть скудость, а на медные было все дорого». Изложенные данные показывают, что все становилось дорого не только на медные, но и на серебряные деньги, т. е. кризис финансовый усложнился еще экономическим, происшедшим, может быть, от неурожая или от последствий того же финансового кризиса. Если мы введем в расчет ненормальные цены, которыми обнаружился этот двойной перелом, мы дадим решительный перевес дорогим ценам и получим тем более неточный вывод, что этот кризис был непродолжительной бурей, налетевшей на русский рынок, напряженное действие которой длилось года три, во многих местах гораздо меньше. По крайней мере незаметно продолжительного действия неудачной операции на курс хлебных цен. Чрез несколько лет после изъятия медных денег из обращения (в 1663 г.) мы не только видим прежние цены, державшиеся до кризиса, но даже встречаем случай такой дешевизны, о какой не говорит ни одно известие первой половины века; Матвеев рассказывает в своих записках, что в 1687 г. рожь продавали в Москве по 12 коп., а овес — по 7 коп. четверть, т. е. более чем вчетверо дешевле цен 1652 г. по расходной книге Никона<sup>56</sup>. В этом отношении любопытно составить сравнительную табличку цен по областям в записке Родеса 1653 г. с ценами после 1663 г. Торговый агент пишет, что в центральной Московской области четверть хлеба (ржи) стоит 1 руб., в Казанской, Нижегородской и близлежащих — от 12 до 25 коп., в Ярославской, Ростовской и Вологодской — от 36 до 50 коп.<sup>57</sup> Взаимное отношение областных цен, обозначенное цифрами Родеса, не оправдывается данными второй половины века: не видно, например, чтоб казанские и нижегородские цены были в 4—8 раз ниже московских. Причина этого в том, что у Родеса слишком высока московская цена: может быть, в 1653 г. четверть ржи в Москве доходила

до рубля, но обыкновенно она стоила значительно дешевле. Зато в Казанской земле в самом конце века встречаем цены, соответствующие как низшему, так и высшему пределу стоимости ржи по таблице Родеса: в наказе казанскому воеводе 1697 г. юфть хлеба оценена была в 20 коп., из которых 12—15 коп. по обычному отношению цены ржи к цене овса надобно отчислить на четверть ржи, а в 1696 г. Троицкий Сергиев монастырь, постановив взыскать хлебный оброк со свияжских вотчин деньгами, назначил за четверть ржи именно 25 коп.<sup>58</sup> В числе нижегородских цен 1670—1680-х годов также встречаем 25 коп. за четверть ржи, хотя другие известные нам цены значительно выше. По расходной книге Никона цена ржи в Вологде за год до Родеса (40 коп.) соответствует его показанию. Нам известны ярославские и вологодские цены после 1663 г., но если и тогда, как теперь, тверские цены занимают середину между теми и другими, то показание Родеса оправдывается хозяйственной запиской кашинского землевладельца Еремеева (1680—1690), который ценил рожь в своем имении по 40 коп. четверть<sup>59</sup>. Все это приводит к тому заключению, что средний уровень хлебных цен во всю вторую половину XVII в. оставался одинаков и что возвышение цен, на которое жаловались в Москве после морового поветрия 1654 г., было временным затруднением, созданным в значительной степени искусственно, не столько народно-хозяйственными, сколько политическими причинами. Руководствуясь изложенными соображениями, сопоставим средние хлебные цены 1882 г. со средними и одиночными ценами второй половины XVII в., выражая, как и выше, в копейках тогдашнюю и современную стоимость нынешней четверти хлеба<sup>60</sup>.

Москва 1651—1698 гг.	}	Рожь . . . . .	840 : 72 = 12
		Овес . . . . .	350 : 33 = 11
		Пшеница . . . . .	1500 : 144 = 10
		Мука ржаная . . . . .	1200 : 95 = 13
		» пшеничная . . . . .	2100 : 105 = 20
		Пшено . . . . .	1400 : 162 = 9
		Крупа гречневая . . . . .	1100 : 119 = 9
		Горох . . . . .	1200 : 116 = 10
		Семя конопляное . . . . .	1000 : 60 = 17
		Лен (пуд) . . . . .	700 : 60 = 12
Пенька . . . . .	375 : 21 = 18		

Смоленск 1661 г. . . . .	{ Рожь . . . . .	790 : 75 = 11
	{ Овес . . . . .	300 : 37 = 8
Новгород Великий 1657 г. {	Рожь . . . . .	900 : 66 = 14
	Овес . . . . .	390 : 33 = 12
Кандалакша 1650—1665 гг.	{ Рожь . . . . .	1150 : 75 = 15
	{ Рожь . . . . .	909 : 40 = 22
Вологда 1652 г. . . . .	{ Пшеница . . . . .	1240 : 90 = 14
Усть-Сысольск 1684 г. . .	{ Рожь . . . . .	900 : 60 = 15
	{ Рожь . . . . .	760 : 37 = 21
Нижний 1670—1681 гг. . .	{ Овес . . . . .	270 : 19 = 14
	{ Ячмень . . . . .	450 : 17 = 26
	{ Пшеница . . . . .	960 : 50 = 19
Олонец 1674—1676 гг. . .	{ Рожь . . . . .	1350 : 50 = 27
	{ Овес . . . . .	635 : 26 = 25
	{ Рожь . . . . .	865 : 40 = 22
Кашин 1680—1690 гг. . . .	{ Овес . . . . .	335 : 25 = 13
	{ Ячмень . . . . .	625 : 30 = 21
	{ Пшеница . . . . .	1175 : 60 = 20
	{ Рожь . . . . .	540 : 25 = 22
Свияжск 1596 г. . . . .	{ Овес . . . . .	275 : 15 = 18
	{ Ячмень . . . . .	400 : 20 = 20
	{ Пшеница . . . . .	800 : 50 = 16
Казань 1697 г. . . . .	{ Рожь и овес . . . . .	815 : 20 = 41

Средний знаменатель . . . 17

Итак, рубль второй половины XVII в. равняется 17 нынешним.

Неровность частных знаменателей в таблице объясняется разнохарактерностью введенных в нее хлебных цен XVII в. Одни из этих цен средние, другие — одиночные; притом некоторые из средних выведены из сложности дорогих и дешевых, другие только из дорогих; наконец, и из одиночных цен одни очень дорогие, другие — очень дешевые. Важным условием этой неровности является и география цен XVII в. Легко заметить, что частные знаменатели возвышаются, хотя без строгой постепенности, по направлению с севера и северо-запада к югу и юго-востоку: знаменатели вологодские выше беломорского, кашинские выше вологодских, нижегородские выше кашинских, казанско-свияжские выше нижегородских, московские выше смоленских. Это объясняется прежде всего большим непостоянством северных хлебных рынков сравнительно с южными: нормальные цены там чаще уступали место дорогим вследствие более частых неурожаев, и потому в известиях, идущих с тех рынков, мы встречаем больше дорогих цен, чем нормальных. Притом, как уже было замечено,

северные цены хлеба прежде превышали южные гораздо больше, чем теперь. Эта географическая неполнота хлебных цен за время царя Михаила и заставляет подозревать, что выведенная из них оценка рыночной стоимости рубля того времени сравнительно с нынешним ниже надлежащей: если из предыдущей таблицы исключить цены кашинские, нижегородские и казанско-свияжские, которых нет в таблице цен Михаила времени, то средный знаменатель уменьшится до  $14\frac{1}{2}$ , т. е. выйдет немного больше знаменателя, выведенного из цен Михаила времени.

Несмотря на возможную неточность выводов вследствие неполноты и случайности данных, можно, кажется, с некоторой вероятностью так обозначить перемены в рыночной стоимости рубля, совершившиеся в продолжение XVII в.: сравнительно со второй половиной XVI в. в Смутное время хлеб вздорожал в 5 раз, в царствование Михаила стал немного дешевле, именно был почти в  $4\frac{1}{2}$  раза дороже, чем во второй половине XVI в., а во второй половине XVII в. подешевел еще более, так что стал только в  $3\frac{1}{2}$  раза дороже сравнительно со второй половиной XVI в.; иначе говоря, во столько же раз подешевел рубль в эти три периода XVII в. Такое значительное падение рыночной стоимости рубля в XVII в. изменило прежнее отношение стоимости других хозяйственных предметов к нынешним их ценам. В памятниках XVII в. можно собрать очень обильный материал для истории цен самых разнообразных статей хозяйства, несравненно более обильный, чем для истории хлебных цен; чтобы исчерпать его, понадобилось бы особое исследование. Ограничимся немногими замечаниями. Другие предметы хозяйства в XVII в. вздорожали далеко не в одинаковой степени с хлебом. Так, указом 1620 г. такса скота для Разбойного приказа возвышена была только вдвое против указных цен, установленных при царе Федоре Ивановиче<sup>61</sup>. У Кильбургера находим относящиеся к 1674 г. московские цены домашней птицы, дичи, мяса, продуктов пчеловодства, огородничества и т. п.<sup>62</sup> Цены эти большей частью сходны с теми, какие находим в расходной книге Никона и у Олеария, Лизека, Штрауса и Корба. Не приводя здесь самой таблицы отношений этих цен к нынешним, отметим только ее итог: цены Кильбург-

гера относятся к нынешним приблизительно, как 1 к 20. Выше мы видели, что по данным второй половины XVI в., цены тех же предметов относятся к нынешним, как 1 к 37, т. е. почти вдвое ниже цен Кильбургера. Принимая рубль второй половины XVI в. за 60—74 нынешних, найдем, что тогда означенные предметы хозяйства были в  $1\frac{1}{2}$  или в 2 раза дороже, чем теперь; так как рубль второй половины XVII в. по хлебным ценам равняется только 17 нынешним, то цены тех же предметов, которые в XVI в. стоили в  $1\frac{1}{2}$ —2 раза дороже, чем теперь, в XVII в. стали почти в  $1\frac{1}{5}$  раза дешевле нынешних. Соответственно этому должно было измениться отношение цен и других предметов внутреннего производства, как и цен труда к нынешним. Выше был указан перелом в истории цен, состоявший в том, что в общем подъеме цен с XVI в. до нашего времени стоимость хлеба поднялась гораздо выше, чем стоимость других предметов потребления. Теперь можно точнее обозначить хронологию этого перелома: он начался именно чрезвычайным вздорожанием хлеба в начале XVII в.

## VI

Обращаемся к изучению хлебных цен первой половины XVIII в., далее которой не простирается наш опыт.

К сожалению, за три первые десятилетия этого века мы не могли собрать достаточно полных и надежных данных, так что это время остается для нас пробелом в истории хлебных цен. В задачах известной *Арифметики* Магницкого, изданной в Москве в 1703 г., есть несколько хлебных цен, но по свойству источника трудно сказать, насколько эти данные согласны с действительными ценами московского рынка того времени. Впрочем, цены Магницкого по сравнению с другими данными очень похожи на действительные и именно нормальные московские цены хлеба. Рожь у него стоит 96, 84, 60 и 46 коп. четверть; средняя цена — 71, почти одинаковая со средней московской ценой ржи за вторую половину XVII в. В 1701 г. был издан указ, неоднократно повторенный впоследствии, который запрещал вывозить хлеб за границу, если в Московской области

цена его поднималась выше рубля (за четверть ржи). По книгам о хлебном и калачном весе в 1631 г. тогдашний фунт печеного ржаного хлеба в Москве стоил  $\frac{1}{5}$  коп.; в одной задаче Магницкого хлеб в  $3\frac{1}{3}$  фунта оценен в 1 коп., т. е. фунт — в  $\frac{3}{10}$  коп., в  $1\frac{1}{2}$  раза дороже 1631 г., что очень вероятно<sup>63</sup>. Желябужский рассказывает, что в 1704 г. четверть ржи покупали по 150 и 180 копеек; но тогда был «голод великий по деревням» вследствие неурожая озимого. Если позволительно из таких скудных данных заключать что-либо, то можно думать, что хлебные цены мало изменились в первые 15 лет царствования Петра Великого. Имея в виду последние годы этого царствования, Фокеродт говорит, что 12 четвериков муки (ржаной) стоили внутри страны не более 150 коп., т. е. не больше 1 руб. четверть, а это предполагает цену ржи, очень близкую к ценам Магницкого. С другой стороны, в 1724 г. было указано при заборе полками провианта и в другое время платить за четверть ржаной муки не более 150 коп., крупы — не более 200, овса — не более 50, за пуд сена — 3 коп. Судя по данным Магницкого и Желябужского, такие цены и в первые годы XVIII в. были высокими, но далеко не голодными. Все эти данные относятся преимущественно к центральному московскому рынку. О других местностях капитан Перри, живший в России с 1698 по 1715 г., пишет, что во многих местах по Волге между Шексной и Казанью четверик ржи продается обыкновенно по 6—7 пенсов (коп.), пшеницы — по 9 пенсов и прочий хлеб соответственно этому, т. е. четверть ржи — по 48—56 коп., пшеницы — по 72 коп. Рядом с этими ценами встречаем и более высокие. По одной дорожной расходной книге 1719 г. овес покупали в Москве по 55 и 64 коп. четверть, в Твери — по 80, в Новгороде — по 120—180, в Петербурге — по 165—185, муку ржаную в Петербурге — по 290 и по 300 коп., что предполагает цену ржи около 2 руб. четверть. Значит, на рынках того времени бывали цены дороже высших указных 1724 г. В делах адмиралтейской провиантской канцелярии сохранились две ведомости о хлебных ценах в Козлове за июнь и октябрь 1724 г.: цена ржи здесь 60—84 коп. четверть, пшеницы — 106—200 коп., почти вдвое дороже цен среднего Поволжья у Перри<sup>64</sup>. Все это заставлял

предполагать значительное повышение цен в последние годы царствования Петра. Из рассмотренных цен составим сравнительную таблицу, выводя средние из параллельных цен и сопоставив цены Перри со средними ценами 1882 г. по губерниям Ярославской, Костромской, Нижегородской и Казанской.

Москва . . . . .	}	Рожь . . . . .	840 : 71 = 12
		Овес . . . . .	350 : 56 = 6
		Ячмень . . . . .	450 : 67 = 7
		Мука ржаная . . . . .	1200 : 100 = 12
		Печен. ржаной хлеб (фунт) . . . . .	3 : $\frac{1}{4}$ = 12
		Пенька (пуд) . . . . .	375 : 30 = 12
Поволжье . . . . .	}	Рожь . . . . .	735 : 52 = 14
		Пшеница . . . . .	1000 : 72 = 14
Тверь . . . . .		Овес . . . . .	335 : 80 = 4
Новгород . . . . .		» . . . . .	390 : 145 = 3
Петербург . . . . .		» . . . . .	450 : 175 = 3
Козлов . . . . .	}	Рожь . . . . .	650 : 74 = 9
		Овес . . . . .	235 : 43 = 5
		Пшеница . . . . .	900 : 149 = 6
		Семя конопляное . . . . .	850 : 80 = 11
Средний знаменатель . . . . .			9

Этот знаменатель, выведенный из столь скудных данных, может иметь лишь то значение, что показывает, в каком направлении стали изменяться хлебные цены с начала XVIII в. В предыдущее столетие после Смутного времени, страшно их поднявшего, они все падали; теперь они опять пошли вверх. Этот поворот объясняется разными причинами, нумизматическими и экономическими. Новая монета, выпущенная Петром, была достоинством ниже прежней. Огромное количество народного труда было отвлечено от земледелия в армию, на фабрики и заводы, к разным казенным работам. Выведенный знаменатель может послужить связующим звеном между хлебными ценами второй половины XVII и 1730—1750 гг. Для изучения цен этих двух десятилетий мы имеем значительную коллекцию рапортов, какие присылались в Камер-коллегию и Ревизион-коллегию из провинциальных и уездных канцелярий или городских ратуш<sup>65</sup>. Коллекция эта отличается довольно случайным, беспорядочно разнообразным составом: из некоторых городов встречаем сплошной ряд



ежемесячных отчетов за один или несколько лет; зато из других нет ни одного отчета; притом находим отчеты о текущих ценах в нескольких городах за какой-либо один год, но разных месяцев или за одни и те же месяцы, но разных лет, наконец, отчеты разных лет и разных месяцев, так что трудно сделать такой подбор ведомостей, который дал бы понятие об уровне одновременных цен хлеба в разных местностях или об их колебаниях на одних и тех же рынках в продолжение нескольких лет. Приноравливая тогдашнее областное деление к нынешнему, встречаем также большое разнообразие: по одним губерниям в коллекции есть сведения о ценах в губернском городе с одним или несколькими уездами, по другим только в одном или нескольких уездных, наконец, по некоторым есть прейскуранты только губернского города без уездных. Из 1730-х годов только за один 1737-й можно подобрать значительное количество ведомостей из разных городов, преимущественно за осенние месяцы; вместе с тем сохранились ведомости Тамбова за все месяцы 1732—1736 гг. и за несколько месяцев 1737 г. Сколько можно судить о тогдашнем курсе хлебных цен, по данным одного этого рынка, цены 1737 г. были довольно близки к средним ценам за все десятилетие 1731—1740 гг.: по тамбовским ведомостям 1732—1737 гг. незаметно последовательного роста цен; до 1737 г. хлеб в Тамбове бывал и значительно дороже и дешевле, чем в этом году. Цены 1740-х годов вообще несколько выше цен предыдущего десятилетия. Сохранившиеся в коллекции ведомости 1740-х годов сообщают спорадические данные разных лет, месяцев и местностей, не позволяющие составить из них ничего цельного и последовательного. На таком составе коллекции построен наш расчет. Отношение рубля 1730-х годов к нынешнему мы определяем по ведомостям 1737 г., выводя средние цены, где для этого есть материал, или довольствуясь одиночными и сопоставляя те и другие со средними ценами 1882 г. по тем губерниям, в состав которых ныне входят означенные в ведомостях города. Точно так же поступили мы и с ценами 1740-х годов, соединив в одну таблицу данные из ведомостей разных лет и городов и не обращая внимания на то, к какому месяцу относится та или другая ведомость. Средние цены годовые мы выводили из от-

носящихся к одному и тому же году месячных ведомостей одного или нескольких городов известной губернии по нынешнему областному делению России, средние за несколько лет из средних годовых; если ведомости разных городов одной губернии относятся к разным годам, мы не выводили по ним средних цен по губернии за эти годы, а сопоставляли цены каждого города со средними 1882 г. отдельно. По ведомостям 1737 г. можно составить такую таблицу.

Псков . . . . .	{	Рожь . . . . .	725 : 102 = 7
		Овес . . . . .	380 : 64 = 6
		Ячмень . . . . .	565 : 70 = 8
		Гречиха . . . . .	500 : 71 = 7
Смоленск . . . . .	{	Рожь . . . . .	790 : 78 = 10
		Овес . . . . .	300 : 44 = 7
		Ячмень . . . . .	545 : 60 = 9
		Рожь . . . . .	650 : 50 = 13
Тамбов . . . . .	{	Овес . . . . .	235 : 33 = 7
		Ячмень . . . . .	475 : 40 = 12
		Пшеница . . . . .	800 : 132 = 6
		Рожь . . . . .	670 : 43 = 16
Пенза . . . . .	{	Овес . . . . .	250 : 30 = 8
		Пшеница . . . . .	900 : 118 = 8
		Рожь . . . . .	725 : 40 = 18
		Овес . . . . .	275 : 32 = 9
Елец . . . . .	{	Ячмень . . . . .	620 : 28 = 22
		Пшеница . . . . .	1095 : 120 = 9
		Гречиха . . . . .	580 : 30 = 19
		Рожь . . . . .	725 : 61 = 12
Курск . . . . .	{	Овес . . . . .	270 : 52 = 5
		Пшеница . . . . .	1125 : 135 = 8
		Гречиха . . . . .	540 : 59 = 9
		Ячмень . . . . .	500 : 47 = 11
Чугуев . . . . .	{	Овес . . . . .	270 : 55 = 5
		Ячмень . . . . .	550 : 56 = 10
		Гречиха . . . . .	550 : 53 = 10
		Рожь . . . . .	700 : 61 = 11
Вятка . . . . .	{	Овес . . . . .	275 : 27 = 10
		Ячмень . . . . .	580 : 32 = 18
		Рожь . . . . .	512 : 120 = 4
		Овес . . . . .	238 : 52 = 5
Пермь . . . . .	{	Ячмень . . . . .	320 : 95 = 4
		Пшеница . . . . .	685 : 210 = 3
Средний знаменатель			10

Итак, рубль 1730-х годов равняется 10 нынешним.

По ведомостям 1740 г., сохранившимся в коллекции, можно составить более разнообразную таблицу<sup>66</sup>,

Руза и Волоколамск 1744, 1745 и 1748 гг. . . . .	Рожь . . . . .	840 : 110 = 8
	Овес . . . . .	350 : 63 = 6
	Ячмень . . . . .	450 : 88 = 5
	Пшеница . . . . .	1500 : 200 = 7
Архангельск 1745 и 1748 гг. . . . .	Рожь . . . . .	1150 : 120 = 10
	Овес . . . . .	600 : 48 = 12
	Ячмень . . . . .	960 : 110 = 9
	Рожь . . . . .	900 : 176 = 5
Новгород 1743 г. . . . .	Овес . . . . .	390 : 137 = 3
	Пшеница . . . . .	1200 : 256 = 5
	Рожь . . . . .	725 : 224 = 3
Псков 1743—1745 гг. . . . .	Овес . . . . .	380 : 113 = 3
	Ячмень . . . . .	565 : 152 = 4
	Рожь . . . . .	900 : 88 = 10
	Овес . . . . .	355 : 30 = 12
Устюг 1748—1749 гг. . . . .	Ячмень . . . . .	700 : 62 = 11
	Пшеница . . . . .	1240 : 190 = 7
	Рожь . . . . .	790 : 155 = 5
	Овес . . . . .	300 : 75 = 4
Смоленск 1742—1744 гг. . . . .	Ячмень . . . . .	545 : 102 = 5
	Рожь . . . . .	700 : 70 = 10
	Овес . . . . .	275 : 58 = 5
	Ячмень . . . . .	580 : 68 = 9
Вятка 1746 г. . . . .	Пшеница . . . . .	880 : 198 = 4
	Рожь . . . . .	875 : 93 = 9
	Овес . . . . .	350 : 44 = 8
	Ячмень . . . . .	600 : 66 = 9
Чухлома 1742 и 1746 гг. . . . .	Пшеница . . . . .	1200 : 162 = 7
	Рожь . . . . .	875 : 77 = 11
	Овес . . . . .	350 : 48 = 7
	Ячмень . . . . .	600 : 62 = 10
Кологрив 1750 г. . . . .	Рожь . . . . .	765 : 114 = 7
	Овес . . . . .	345 : 48 = 7
	Ячмень . . . . .	600 : 60 = 10
	Рожь . . . . .	540 : 55 = 10
Казань 1743, 1746 и 1749 гг. . . . .	Овес . . . . .	275 : 34 = 8
	Ячмень . . . . .	450 : 67 = 7
	Пшеница . . . . .	850 : 124 = 7
	Рожь . . . . .	650 : 66 = 10
Сызрань 1744 г. . . . .	Овес . . . . .	300 : 47 = 6
	Пшеница . . . . .	800 : 160 = 5
	Семя конопляное . . . . .	960 : 140 = 7
	Рожь . . . . .	650 : 30 = 22
Алатырь 1750 г. . . . .	Овес . . . . .	300 : 28 = 11
	Пшеница . . . . .	800 : 83 = 10
	Семя конопляное . . . . .	960 : 80 = 12
	Рожь . . . . .	675 : 82 = 8
Рязань 1744 г. . . . .	Овес . . . . .	285 : 49 = 6
	Рожь . . . . .	675 : 30 = 22
Пронск 1746 г. . . . .	Овес . . . . .	285 : 28 = 10
	Рожь . . . . .	675 : 58 = 12
Ряжск 1748 и 1749 гг. . . . .	Овес . . . . .	285 : 36 = 8
	Рожь . . . . .	725 : 30 = 24
Ливны 1750 г. . . . .		

Тамбов 1743 и 1744 гг. . . . .	{	Рожь . . . . .	650 : 62 = 10
		Овес . . . . .	235 : 35 = 7
		Ячмень . . . . .	475 : 46 = 10
		Пшеница яровая . . . . .	800 : 112 = 7
Лебедянь 1750 г. . . . .	{	Рожь . . . . .	650 : 64 = 10
		Овес . . . . .	235 : 52 = 5
		Пшеница озимая . . . . .	900 : 160 = 6
		Гречиха . . . . .	500 : 32 = 16
Пенза 1743 и 1746 гг. . . . .	{	Просо . . . . .	570 : 32 = 18
		Семя конопляное . . . . .	850 : 72 = 12
		Рожь . . . . .	670 : 50 = 13
		Овес . . . . .	250 : 37 = 7
Керенск 1748—1750 гг. . . . .	{	Пшеница . . . . .	900 : 123 = 7
		Рожь . . . . .	670 : 46 = 15
		Овес . . . . .	250 : 34 = 7
		Пшеница . . . . .	900 : 91 = 10
Воронеж 1743 г. . . . .	{	Рожь . . . . .	725 : 45 = 16
		Овес . . . . .	230 : 23 = 10
		Пшеница . . . . .	975 : 113 = 9
		Рожь . . . . .	725 : 163 = 4
Курск 1749 г. . . . .	{	Овес . . . . .	270 : 125 = 2
		Гречиха . . . . .	540 : 120 = 4
		Семя конопляное . . . . .	750 : 240 = 3
		Овес . . . . .	240 : 28 = 9
Полтава 1743 г. . . . .	{	Ячмень . . . . .	425 : 30 = 14
		Просо . . . . .	485 : 42 = 12
		Рожь . . . . .	550 : 56 = 10
		Овес . . . . .	270 : 31 = 9
Киев 1743 г. . . . .	{	Ячмень . . . . .	400 : 39 = 10
		Пшеница . . . . .	980 : 107 = 9
		Грехича . . . . .	450 : 51 = 9
		Просо . . . . .	450 : 60 = 7
Средний знаменатель . . . . .			9

Итак, рубль 1740-х годов равнялся 9 нынешним.

## VII

Изложенный опыт есть не более как материал, черновая работа, в которой, наверное, окажутся крупные пробелы и еще более крупные промахи, могут показаться подозрительными или неудачными не только выводы, но и самые приемы исследования. Предпринимая этот опыт, автор ставил себе целью не добиться окончательных, надежных результатов, а только поставить несколько проблематических положений, которые могли бы быть пополнены и исправлены знающими людьми при помощи новых данных, какие, наверное, найдутся

при более широком изучении источников<sup>67</sup>. Таким образом, мог бы, наконец, хотя с приблизительной точностью, разрешиться один специальный вопрос, который ложится поперек дороги всякому исследователю, предпринимающему изучение экономического быта России в минувшие века: этот вопрос состоит в определении рыночной стоимости или менового значения старинных наших денежных единиц сравнительно с нынешними. Пока не решена эта задача, исследователь не может воспользоваться, как следует, большей частью фактов экономической истории России и фактов, наиболее ценных. Мы бы желали, чтобы пересмотру и исправлению подверглись прежде всего следующие главные выводы нашего опыта.

*В XVI и первой половине XVII в. наиболее распространенными торговыми мерами хлеба у нас служили четверти московская в центральных и южных областях Московского государства и новгородская на севере. Первая вмещала в себе 4 древнерусских, или  $4\frac{2}{3}$  нынешних, пуда ржи, т. е. была фунта на 4 больше половины нынешней торговой четверти ржи весом в 9 пудов 5 фунтов; вторая четверть была в  $1\frac{1}{2}$  раза больше первой, т. е. весила 7 нынешних пудов ржи. С половины XVII в., если не раньше, та и другая четверти удвоились.*

Определяя по ценам хлеба меновое отношение старого московского, потом всероссийского рубля к нынешнему кредитному, получаем такие приблизительные цифры:

Рубль	1500 г. стоил	не менее	100	нынешних
»	1501—1550 гг.	равнялся	63—83	»
»	1551—1600 гг.	»	60—74	»
»	1601—1612 гг.	»	12	»
»	1613—1636 гг.	»	14	»
»	1651—1700 гг.	»	17	»
»	1701—1715 гг.	»	9	»
»	1730—1740 гг.	»	10	»
»	1741—1750 гг.	»	9	»

---

---

## ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ

### I

В изданной недавно на немецком языке книге дерптского профессора русского права г-на Энгельмана<sup>1</sup> опять затронут старый вопрос, который столько раз и с таким напряженным вниманием обсуждается в нашей литературе и все еще остается нерешенным: это вопрос о происхождении крепостного права в России. К сожалению, надобно прибавить, что и книга г-на Энгельмана не снимает этого вопроса с очереди, не дает на него удачного ответа. Одною из причин этой неудачи и едва ли не главною причиной был важный пробел, допущенный автором. В исследовании о происхождении, развитии и отмене крепостного права в России читатель не находит точного и ясного юридического определения русского крепостного права, не видит, что понимает автор под этим термином. По-видимому, автор не находил нужным задавать и самому себе предварительный общий вопрос о том, что это за институт, историю которого он задумал изложить. В кратком введении он отличает древнерусское холопство как от поземельной зависимости, основанной на договоре крестьянина с землевладельцем и соединенной с прикреплением первого к земле последнего (Hörigkeit), так и от крепостного права в собственном смысле (Leibeigenschaft)<sup>2</sup>. Холопство исстари существовало на Руси; договорная поземельная зависимость, соединенная с прикреплением к земле, устанавливается только с конца XVI в. Первое было институтом частного права, вторая — институтом права государственного. С тех пор как установилось поземельное прикрепление,

оба института существовали некоторое время рядом в строгой юридической раздельности. С конца XVII в. правительство начало сближать и смешивать их один с другим, привлекая прежде свободных от тягла холопов к несению государственных повинностей, какие лежали на крепких земле тяглых крестьянах. Это уравнивание холопов с крестьянами повело к тому, что и землевладельцы стали обращаться с теми и другими, как с крепостными (Leibeigene). Этот момент излагаемого автором исторического процесса и не разъяснен им достаточно; именно благодаря отсутствию определения крепостного права остается неясным, стали ли землевладельцы относиться к крепким земле крестьянам, как они относились прежде к холопам, или наоборот, или же, наконец, установилось какое-либо новое отношение к тем и другим, непохожее на прежние отношения ни к тем, ни к другим. Для разъяснения этого пункта читателю приходится собирать рассеянные по книге намеки, в которых вскрывается взгляд автора на сущность русского крепостного права. Но тут читатель встречается с новым затруднением. Г-ну Энгельману не нравится старое московское правительство с теми политическими и юридическими порядками, которые оно устанавливало в своем государстве, и автор при каждом удобном случае спешит поделиться с читателями дурным впечатлением, какое он вынес из изучения этих порядков. Московскому правительству больно достается от автора за нетерпимость, с какою оно стирало местные особенности, все подгибая под невысокий московский уровень, за непонимание самостоятельного местного права, самобытной местной культуры. Автор читает этому правительству суровый, правда, немного запоздалый урок, зачем оно не возвысилось до той мысли, что существование в известной части государства своеобразного и развитого гражданского порядка, крепкого самобытного права нимало не мешает прочному подчинению этой части государственному целому, хотя бы большинство остальных частей этого целого стояло на более низкой ступени развития. Автор того мнения, что это правительство вообще не думало о праве, не ценило его ради него, пренебрегало всяким правом во имя пользы, что единственной обязанностью московских судей было блюсти не право и правду, а близоруко рассчитанный казенный

интерес, что московские чиновники понимали закон только в смысле произвольного мероприятия, направленного к удовлетворению минутных потребностей, и т. п. Такие исторические обобщения выступают за пределы научного изучения и соприкасаются с областью личных ощущений, характеризуя не столько предмет исследования, сколько самого исследователя, особенности его мышления. В «историко-юридическом этюде», как г-н Энгельман назвал свое исследование, такие ощущения, несомненно, проникнутые теплой задушевностью, неудобны тем, что под действием их тают юридические определения, расплавляясь в неуловимые схемы, подчас лишённые реального содержания. Рассматривая значение Уложения 1649 г. в истории крепостного права, автор говорит, что этот законодательный свод дал поземельной крепости новое основание, благодаря которому она стала превращаться в настоящее крепостное право. В чем же состояло это превращение? Определяя перемену, какую Уложение произвело в характере поземельной крепости, автор после одной из нетерпеливых жалоб на недостаток чувства права и правды в московском правительстве того времени говорит, что обязанный или крепкий земле крестьянин был тогда «связанный предоставлен личному произволу землевладельца». В другом месте автор утверждает, что проводимый в Уложении взгляд на поземельную крепость основан на мысли, впрочем, не выраженной прямо и положительно: «Крестьянин принадлежит землевладельцу». С большой прямоотой и юридической определенностью выражает автор свой взгляд на сущность крепостного права в перечне признаков, которыми обозначилось постепенное превращение обязанного крестьянина в крепостного человека: здесь автор не раз высказывает мысль, что это превращение состояло именно в уравнении крестьянина с холопом, что не холопы поднимались до положения обязанных крестьян, а, напротив, обязанные крестьяне низводились до положения холопов, крепостных<sup>3</sup>.

Итак, сущность крепостного права, по мнению автора, состояла во владении крестьянами на том же праве, на каком прежде владели на Руси холопами. Значит, крепостное право по своему происхождению имело самую тесную связь с древнерусским холопством: последнее было не только юридическим образцом, но частью и юри-



дическим источником первого. Но во введении, строго различая холопство и крепостное право, г-н Энгельман говорит, что по своему историческому происхождению обе эти формы владения людьми не имели ничего общего. Таким образом, приступая к работе, автор имел в виду не ту схему истории крепостного права в России, на какой он построил изложение этой истории. Можно заметить и другое противоречие в его взгляде. Холопство он назвал во введении институтом частного права, а поземельную зависимость обязанного крестьянина — институтом права государственного. Если крепостное право сложилось путем уравнивания крепких земле крестьян с холопами, значит, оно было следствием превращения института государственного права в институт права частного. Но в своей книге автор не раз высказывает мысль, что корнем, из которого выросло крепостное право, был взгляд на землевладельца, какой проводило законодательство с XVII в.: землевладелец по отношению к крестьянину, работавшему на его земле, рассматривался не как одна из договаривающихся сторон в поземельной сделке, чем он был прежде, а как орган правительства, обязанный по закону ответственностью за своих крестьян в известных случаях. Контрагент в поземельной сделке, несомненно, есть явление частного права, а орган правительства — явление права государственного. Выходит, что крепостное право развилось путем превращения отношений частного права в отношения права государственного или путем замены первых последними. Таким образом, автор допускает два пути образования крепостного права, и пути, настолько различные, что они исключают друг друга.

Все это дает некоторое основание догадываться, что автор приступил к изложению истории крепостного права в России, прежде чем у него установился твердый взгляд на это право, свободный от всяких колебаний. Этот недостаток оказал неблагоприятное действие на ход исследования, особенно на решение вопроса о происхождении института. Не зная, как понимает автор крепостное право, читатель не в состоянии объяснить себе выбора фактов, какой он находит в книге. Чтобы показать, что заставило московское правительство в конце XVI в. установить поземельное прикрепление крестьян, г-н Энгельман в первой главе книги делает очерк их положения

в России до этого времени. В этом очерке отмечено много явлений, имеющих, по-видимому, очень отдаленное отношение к вопросу и притом не всегда точно воспроизведенных, но зато опущены факты, которых никак нельзя обойти в истории крепостного состояния на Руси. Чтобы дать понятие о древнейших поземельных отношениях в России, автор пользуется результатами исследования г-жи Ефименко о крестьянском землевладении на крайнем севере России, в Архангельской губернии, не поясняя, насколько поземельные отношения, описанные в этой статье по памятникам XVI—XVIII вв., близки к тем, какие существовали у нас в древнейшее время, и почему для объяснения поземельного прикрепления и крепостного права понадобились особенности землевладения, развившиеся именно в краю, где не привилось крепостное право: в Архангельской губернии десятая ревизия насчитала всего 20 человек крепостных дворовых людей и не нашла *ни одного* крепостного крестьянина. Но автор ничего не говорит о древнерусском холопстве и даже решительно и строго отличает его от крепостного права, между тем как именно холопство и было первичной формой крепостного состояния на Руси и оставалось господствующей его формой до самого законодательного своего упразднения. Если историк крепостного права в России счел возможным обойти древнейшую и много веков господствовавшую форму этого права, отсюда можно заключить только то, что он составил себе свое особое понятие о крепостном праве, несогласное с древнерусским законодательством, которое признавало крепостным человеком прежде всего и преимущественно холопа.

Эти колебания и недоразумения объясняются и до некоторой степени, может быть, даже оправдываются взглядами на сущность крепостного права, какие высказывались в нашей литературе и которых г-н Энгельман не мог согласить и примирить. За это нельзя винить его строго по двум причинам. Во-первых, в нашей исторической литературе высказывались очень несходные взгляды на крепостное право, которые притом были обращены не столько на его юридическую сущность, сколько на его историческое развитие и значение, отвечали на вопрос не о том, что такое это право, а о том, как оно установилось и какое оказало действие на различные стороны

народной жизни. Во-вторых, самое это право по своему юридическому составу было таким сложным институтом, который трудно поддается точному определению. Русское законодательство никогда не решалось на это, не пыталось точно и прямо формулировать основания крепостного права. Из всех определений, высказанных в нашей литературе, наибольший авторитет, бесспорно, принадлежит тому, какое встречаем в одной записке Сперанского, составленной в 1836 г.<sup>4</sup> Составитель свода законов Российской империи пытался определить сущность «законного крепостного права» в России на основании точного и буквального смысла действовавших тогда законов. «Законное крепостное состояние, по его словам, в существе своем есть состояние крестьянина, водворенного на земле помещицей с потомственной и взаимной обязанностью: *со стороны крестьянина* обращаться в пользу помещика половину рабочих своих сил, *со стороны помещика* наделять крестьянина таким количеством земли, на коей мог бы он, употребляя остальную половину рабочих его сил, трудами своими снискивать себе и своему семейству достаточное пропитание». Это определение страдает двумя пробелами: во-первых, в нем не обозначены отношения крепостных крестьян к государству; во-вторых, оно касается только крепостных крестьян, не захватывая дворовых людей. У нас издавна установилась понятная привычка, говоря о крепостном состоянии, разуметь под ним преимущественно или исключительно крепостное крестьянство, которое составляло коренной и многочисленнейший элемент крепостного населения в России. Этим объясняется и тезис, поставленный Ю. Ф. Самариним в одной из записок по крестьянскому делу, писанных в 1857 г. «Крепостное право, — писал он, — слагается из двоякой зависимости: лица от лица (крестьянина от помещика) и земледельца от земли, к которой он приписан; второе из этих отношений (зависимость поземельная) заключает в себе всю историческую сущность крепостного права». Пока говорят об экономическом и политическом значении крепостного права, эта привычка ничему не вредит, но, как скоро заходит речь о крепостном праве как юридическом институте, привычное представление может повести к важным недоразумениям. Важнейшее из них, всего более повредившее постановке и решению вопроса

о происхождении крепостного права, состоит в предположении, что это право имело внутреннюю юридическую связь с поземельным прикреплением крестьян, т. е. что крепость лица землевладельцу обуславливалась по закону прикреплением к земле и взаимно обуславливала это прикрепление. Свод законов нисколько не оправдывает этого предположения. Правда, законодательство императора Николая I пыталось установить общую связь крепостного состояния с землей. Эта попытка выразилась в законе 15 февраля 1827 г., предписывавшем, чтобы в пользовании крестьян, поселенных на земле помещика, находилось не менее  $4\frac{1}{2}$  десятин земли на душу; то же стремление еще заметнее в основанной на узаконениях того же царствования статье 1069 тома IX свода законов<sup>5</sup>, в силу которой дворянину дозволялось приобретать дворовых людей и крестьян без земли не иначе, как с припиской их к собственным населенным крепостными недвижимым имениям, т. е. запрещалось безземельное приобретение крепостных безземельными дворянами. Но и законодательство Николая I не прикрепляло отдельных крестьян ни к поземельным участкам, ни даже к целым селениям, от которых отрывать их помещик не мог бы по своему усмотрению. Если из свода законов исключить узаконения этого императора о крепостных людях, то не останется заметной юридической связи крепостного состояния с землей; отношения крепостных людей к земле тогда определялись бы исключительно тремя постановлениями, основанными на узаконениях прежних царствований и также нашедшими себе место в своде; одно из них давало помещику право переводить своих крестьян во двор или дворовых людей на пашню, другое — переселять крестьян порознь или целыми селениями с одних земель на другие, а третье — продавать и закладывать крепостных людей поодиночке и без земли.

Итак, мысль связать крепостное право с землей является в законодательстве довольно поздно, уже в последнюю пору существования этого права. Одна статья свода законов<sup>6</sup>, основанная на законодательстве императора Александра I, вскрывает побуждение, внушившее эту мысль: сохраняя старинное право отпускать крепостных людей на волю без земли порознь и отдельно от селений, помещики могли освобождать целые селения

не иначе, как с известным земельным наделом. Это ограничение вытекало не из сущности крепостного права как юридического установления, а из стороннего источника, из финансовой политики государства, стремившейся обеспечить быт крепостных людей как податных плательщиков и исправное отправление ими государственных повинностей. Значит, по отношению к массе крепостных крестьян земля входила в состав крепостного права не как юридический элемент, а как экономическая необходимость: требуя, чтобы в пользовании крепостных крестьян находилось достаточное для их хозяйственного обеспечения количество земли, закон не прикреплял крестьян к земле и не предполагал такого прикрепления как юридического основания крепостного права, а стремился оградить интересы казны и общественного порядка, исходя из того соображения, что без достаточного земельного надела невозможно прочное обеспечение быта крепостных крестьян и исправное отправление ими государственных повинностей.

Все это приводит к тому выводу, что крепостное право как право в той окончательной форме, какую дало ему законодательство незадолго до его отмены, имело личный, а не поземельный характер. Крепостной был крепок землевладельцу не потому, что был прикреплен к его земле; напротив, он всегда мог быть оторван от земли именно потому, что был крепок только землевладельцу, и прикреплялся к земле лишь настолько, насколько этого требовали интересы, вышедшие из другого источника и сторонним ингредиентом примешивавшиеся к крепостному праву. Этот вывод имеет немаловажное методологическое значение: он указывает, как лучше поставить вопрос о происхождении крепостного права, чтобы удобнее разрешить его. Припомним, как ставили его исследователи, неразрывно соединявшие мысль о крепостном праве с представлением о крепостном крестьянине. Они рассуждали так: некогда крестьяне были вольные люди и пользовались правом перехода от одного землевладельца к другому, но потом правительство отняло у них это право, прикрепил их к земле, и вследствие того они попали в неволю к землевладельцам. Все внимание исследователя сосредоточивалось на побуждениях, заставивших правительство прикрепить крестьян к земле, и на том, как это прикрепление изменило

отношение крестьян к землевладельцам; поземельное прикрепление составляло центр тяжести в вопросе. Но такая постановка вопроса рождала двойное затруднение: во-первых, благодаря ей разъяснилось не происхождение крепостного права, а действие на него того стороннего ингредиента; который вовсе не составлял его сущности, во-вторых, оставалось неясным, каким образом крепостное право, построенное на поземельном прикреплении, потом утратило юридическую связь с землей, сошло со своего основания. Г-н Энгельман, собственно, держится той же схемы, только пополняя ее. Русские исследователи не определяют точно юридического характера той неволи, в какую попали крестьяне вследствие поземельного прикрепления, не указывают, была ли накинута на крестьян форма порабощения, сложившаяся прежде, или это был новый вид личной зависимости, незнакомый древнерусскому праву. Г-н Энгельман склоняется к первому решению, приравнивая крепостных крестьян со времени Уложения к древнерусским холопам. Но, договаривая недомолвку русских исследователей, он только прибавляет новое затруднение к прежним: как можно утверждать, что крепостные крестьяне приравнивались к прежним холопам, когда не только первые, став крепостными, не перестали платить государственные подати, но и вторые, прежде не платившие податей, начали платить их и перестали быть прежними холопами? Итак, крепостное *право* надобно строго отличать не от холопства, как делает г-н Энгельман, а от *состояния* крепостных крестьян, которое слагалось не из одних крепостных отношений. Крепостное право возникло прежде, чем крестьяне стали крепостными, и выражалось именно в различных видах холопства. Ставя вопрос о происхождении крепостного права, надобно брать за исходную точку крепостное состояние, как оно было формулировано законом в последний момент своего существования. Это состояние представляет сложный институт, слагавшийся из крепостных отношений, которые привязывали крепостного к владельцу, и из отношений государственных, поддерживавших политическую связь крепостных с свободным населением государства. Совокупность крепостных отношений, основанных на *крепости*, известном частном акте владения или приобретения, составляла крепостное право; отношения государственные, общая

подсудность, подати, рекрутская и другие повинности, как и поземельное устройство крепостных для обеспечения исправного отправления ими этих повинностей, — все это особый порядок отношений, который надобно отличить от крепостных, хотя не следует уединять от них, потому что те и другие отношения развивались в тесном взаимодействии. Легко заметить, что при историческом взаимодействии между обоими порядками отношений не только не было юридического сродства, но господствовал скрытый антагонизм по самому свойству интересов, которые ограждались ими: крепостные отношения отдавали крепостных людей, по выражению закона, «в частную власть и обладание» и делали их слугами частного интереса, а отношения государственные соединяли их в одно общество с прочими подданными русской верховной власти. Крепостное право на крестьян и дворовых людей, как оно поставлено в своде законов, имеет прямую юридическую связь с древнерусским крепостным правом на холопов. Итак, вопрос о происхождении крепостного права есть вопрос о том, что такое было крепостное холопское право в древней Руси, как это право привито было к крестьянству и как переродилось вследствие этой пересадки на новую, чуждую ему почву. Значит, центром тяжести в вопросе должно служить не поземельное прикрепление крестьян, а развитие и изменение личной крепости, процесс юридический, а не политико-экономический: ставя вопрос о происхождении крепостного права, надобно разъяснить не то, как государство создало крепостное право посредством поземельного прикрепления крестьян, а то, как оно допустило распространение на крестьян прежде существовавшего крепостного холопского права вопреки поземельному прикреплению крестьян, если только последнее было когда-либо им установлено. Мы увидим, что такая постановка вопроса не только дает иную схему исторического явления, каким было крепостное право, но и помогает найти иной ряд исторических условий, его вызвавших.

## II

Древнерусское право много работало над холопством, и на пространстве веков этот институт испытал значительные перемены как в своей юридической сущ-

ности, так и в своих экономических и бытовых формах. Непризнание этого было важной ошибкой со стороны такого ученого, как Беляев, так внимательно относившегося к тексту юридического памятника, а тексты говорят прямо против него. В одной из своих статей он доказывал, что законодательство времени обоих московских Судебников продолжало разрабатывать те же начала полного рабства и неполного порабощения, которые были высказаны в Русской Правде<sup>7</sup>. *Обельное* холопство Русской Правды соответствовало *полному* холопству Судебников; точно так же *кабальные* холопы XV и XVI вв. были те же *закупы* Русской Правды, полусвободные люди, вступавшие во временную, условную зависимость, но при этом не терявшие прав личности и не переставшие быть членами русского общества. Но Русская Правда не причисляет закупа к холопам, даже прямо отличает его от них. Способ установления личной зависимости закупа не подходит ни под один из источников холопства, признаваемых Правдой; виды личной зависимости, подобные закупничеству, прямо отмечены в ней, как отношения, не устанавливающие холопства. Древнерусское право строго отличало холопство от простой личной зависимости. Главное основание различия заключалось в отношениях лица к государству: холопство лишало человека личных и гражданских прав и освобождало от государственных обязанностей, т. е. прекращало непосредственные отношения лица к государству; простая личная зависимость не влекла за собою таких последствий. Не говоря о политическом способе обращения в рабство по судебному приговору за известное преступление, можно сказать, что Русская Правда знает только два гражданских источника холопства: продажу и безусловное вступление в личное услужение (по тиунству и по ключу «без ряду»). Два другие способа обращения в холопство, отмеченные Правдой, собственно нельзя считать особыми источниками: продажа в рабство несостоятельного по своей вине должника по воле кредиторов была только осложненным видом первого из указанных гражданских источников, а брачный союз с холопом или рабой без уговора, обеспечивавшего свободу лица, вступавшего в такой брак, был осложненным видом добровольной отдачи себя в безусловное личное услужение. Личная зависимость закупа созда-



валась заемным обязательством, которое состояло в обязательной работе закупа на хозяина-заимодавца до уплаты долга. Перечисляя источники холопства, Правда прямо говорит, что они устанавливают холопство *обельное*, т. е. полное, но личная зависимость, не устанавливающая холопства обельного, в ней не признается и холопством. Таким образом, держась текста статей Русской Правды о холопах, можно указать две особенности, отличающие этот памятник от позднейшего московского законодательства о холопстве: Правда не знала холопства неполного, условного, на которое обращено было преимущественное внимание позднейшего законодательства; Правда не знала холопства по заемному обязательству, которое было первоначальным и коренным основанием позднейшего кабального, т. е. неполного, холопства. Можно возбуждать вопрос о точности, с какою Правда воспроизводила юридические отношения, действовавшие в ее время; но, держась прямого смысла ее статей, нельзя доказать ни того, что она различала холопство полное и неполное, ни того, что долговая зависимость закупа разрывала его непосредственные отношения к государству.

Можно сказать и больше того: сохранившиеся памятники позволяют с некоторою точностью определить, когда завязалось на Руси и как развивалось кабальное холопство. В актах удельного времени, княжеских и частных, до конца XV в. нет и намека на этот институт, как не встречаем и термина, которым он обозначался впоследствии: в этих актах упоминаются люди *полные, приказные, купленные, челядь дерноватая*, т. е. холопы полные, но нет кабальных. Если не ошибаемся, о людях кабальных впервые говорят две княжеские грамоты: духовная удельного князя Андрея Меньшого, брата великого князя Ивана III, составленная около 1481 г., и духовная известного развенчанного Иванова внука Дмитрия, писанная около 1509 г. Но уцелели явственные признаки, по которым можно догадываться, что кабальная зависимость как новый вид холопства тогда только еще зарождалась. В Судебнике 1497 г. нет и намека на кабальное холопство, он знает только холопство полное. Не встречаем его следов и в актах частных лиц того времени. Под руками пишущего эти строки набралось значительное количество духовных грамот, изданных и

неизданных, относящихся к длинному промежутку времени с 1459 г. до конца XVI в.<sup>8</sup> Завещатели все служилые люди московские высших и низших чинов или их вдовы; между ними со второй четверти XVI в. является много потомков русских удельных князей: Сицкие, Ромодановские, Ростовские, Пронские и др. Все они рабовладельцы и почти все в своих духовных очень точно описывают личный и юридический состав своей челяди, т. е. перечисляют холопов поименно и обозначают, по какому холопству эти люди крепки им. Следуя по этим духовным за юридическими видами холопства, замечаем любопытное явление: до 1526 г. в грамотах отмечаются холопы полные, в иных еще и старинные, т. е. те же полные, но ни в одной нет помину о холопах кабальных, хотя число известных нам духовных, писанных с 1459 по 1525 г., простирается до двух десятков. Напротив, с 1526 г. редкая духовная не упоминает рядом с полными людьми и о кабальных; иные говорят об одних кабальных, не упоминая о полных, и, чем дальше, тем кабальная дворня становится все многочисленнее. Что еще замечательнее, в одном и том же рабовладельческом доме указанного хронологического рубежа по духовным незаметно присутствия кабальных людей, а после они являются в составе челяди. Служилый человек Арбузов в духовной 1524 г. перечисляет поименно 14 голов холопов и холопок, одних отпуская на волю, других отказывая своим детям. Внук этого самого Арбузова в духовной 1556 г. поименовывает уже троих своих людей, «серебряников кабальных», прибавляя: «Те мои люди на слободу и кабалы бы им выдати безденежно». В одной из духовных находим указание, бросающее некоторый свет и на юридическое состояние, из которого развивалось кабальное холопство. Потомок старинного московского боярского рода Белеутов в духовной 1472 г. перечисляет с дюжину семейств холопов полных и старинных, которых отказывает своим наследникам или отпускает на волю<sup>9</sup>. Окончив этот перечень, завещатель отдельно упоминает о некоем Войдане, который находился в зависимости особого рода от Белеутова: этот Войдан с семьей, пишет завещатель, «отслужат свой урок моей жене и моим детям десять лет да пойдут прочь, рубль заслужат, а рубль дадут моей жене и моим детям, а не отслужат своего урока, ино дадут оба

рубля». Сколько можно понять это распоряжение, Войдан занял у Белеутова два рубля, уговорившись за один рубль служить урочные лета хозяину и в случае его смерти его наследникам, а по истечении срока отойти на волю, заплатив другой рубль. Это, очевидно, не полное или старинное холопство, а временная и условная зависимость, основанная на долговом обязательстве; завещание не дает права даже считать ее холопством. По своей юридической физиономии Войдан — закуп Русской Правды. В удельное время такие закупы назывались *закладнями* или *закладниками*. Из договорных грамот Новгорода Великого с князьями XIII и XIV вв. узнаем, что князья и их бояре принимали к себе закладней из обывателей новгородских волостей. Не видно, каковы были условия этого заклада; видно только, что закладывались новгородские смерды и купцы, т. е. крестьяне и торговые городские люди. Но ничто не заставляет предполагать, чтобы эти закладни считались холопами тех, за кого закладывались, и в терминах, которыми грамоты обозначают их зависимость, нет никакого намека на это. Эти люди только выходили из состава тех городских и сельских обществ Новгородской земли, к которым принадлежали, порывали политическую связь с Новгородом Великим как государем и подчинялись князю, «позоровали к нему», по своеобразному выражению грамот, т. е. меняли одну политическую зависимость на другую, не выступая из прежних своих общественных состояний, не переставая быть смердами и купцами. Вот почему Новгород ставил в своих договорах условие, обязывавшее князей отступаться от таких закладней, возвращать их в те общества, из которых они выходили: купца — в его городскую сотню, смерда — в его сельский погост. По духовным и договорным грамотам московских князей видно, что такие закладни были и в их собственных уделах. Те из этих людей, которые закладывались лично за князя, а не за его бояр, вступали в двойную зависимость от него: они подчинялись ему как государю наравне с закладнями бояр этого князя и подчинялись ему как хозяину по частному обязательству на том же праве, на каком боярские закладни подчинялись своим боярам. Такая двойная зависимость, политическая и гражданская, если не по названию, то на деле ставила княжеских закладней в положение

холопов, только не полных, а условных, так как частная личная зависимость по древнерусскому праву только тогда получала характер холопства, когда хозяин зависимого человека становился для него вместе и государем, заменял для него верховную власть. Может быть, этим и объясняется, почему кабальные холопы являются по актам прежде всего не у частных лиц, а у владетельных князей, какими были упомянутые выше удельный брат Ивана III Андрей и Иванов внук Димитрий. Если это соображение основательно, то становится объяснимо юридическое происхождение кабального холопства и в домах частных лиц. То явление, что о кабальных холопах упоминают известные нам духовные частных лиц, писанные именно не раньше 1526 г., разумеется, не более как случайность: могут найтись акты с указанием на таких холопов у частных лиц, составленные несколькими годами раньше. Но в связи с молчанием Судебника 1497 г. о кабальных холопах это явление внушает догадку, что кабальная или условная зависимость не раньше конца XV в. получила характер холопства и с таким характером еще не успела достигнуть заметного развития в частных гражданских отношениях. Надобно принимать, что именно во второй половине XV в. множество удельных князей утратило значение владетельных государей и перешло в положение служилых людей московского государя. Становясь частными лицами для своих удельных обществ, эти князья оставались государями для людей, находившихся в частной личной и условной зависимости от них, и, таким образом, внесли в гражданские отношения новую юридическую мысль, что и у частных лиц слуги, привязанные к хозяевам кабалой, личным и временным обязательством, принадлежат им на том же праве, как и холопы полные, только принадлежат лично и временно.

Но если юридическое происхождение кабального холопства можно связывать с переворотом, происшедшим в политическом складе Руси, то историческому его развитию, распространению его по дворам, никогда не бывшим владетельными, содействовал перелом, совершившийся в народном хозяйстве. Трудно объяснить, что именно произошло тогда в народном хозяйстве, но можно заметить, что произошло нечто такое, вследствие чего чрезвычайно увеличилось количество свободных людей.

которые не хотели продаваться в полное холопство, но не могли поддержать своего хозяйства без помощи чужого капитала. Иначе нельзя объяснить того незаметного прежде явления, что в то время, когда закон еще нисколько не стеснял права свободного лица располагать по усмотрению своею личностью, множество свободных людей, не отказываясь от свободы навсегда и безусловно, входило в долговые обязательства, устанавливавшие неволю временную и условную. Этой экономической перемене соответствовала юридическая физиономия, с какою впервые является кабальный холоп в памятниках нашего права XVI в.: это должник, уплачивающий по договору рост с занятого капитала личной обязательной работой. Ни срок, ни другие условия этой работы, по-видимому, не определялись однообразно и точно. Можно только заметить, что обязательство не прекращалось ни смертью кредитора, ни даже смертью «заимщика». Со второй четверти XVI в. рабовладельцы в духовных своих грамотах обыкновенно передают наследникам вместе с полными холопами и кабальных своих людей, иногда только ограничивая срок их дальнейшей службы. Князь Никита Ростовский в духовной 1548 г. отказал своей жене четыре семьи кабальных людей с условием держать их в службе пять лет со смерти завещателя, а после отпустить на свободу по княжой душе «безденежно». Даже отпуская кабальных людей на волю, завещатели XVI в. дают понять, что делают это не в силу закона, а по душе, по личной милости, прощая долг: юридическая возможность посмертного взыскания долга с кабального всегда предполагалась сама собою. Мордвинов в духовной 1526 г., самом раннем из известных нам завещаний, сохранивших след кабального холопства у частных лиц, отпускает на волю с семьей человека, который был ему крепок по кабале в 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> руб., прибавляя: «А кабалу ему выдати, а денег на нем не правити». В других духовных встречаем распоряжение отпустить на волю вместе с полными и полоненными людьми и кабальных, а «кабалы и памяти изодрать и денег и хлеба по ним не брать». Такое необязательное освобождение кабальных, простиравшееся и на полных холопов, называлось в духовных *простью*. «А людям моим прость, — пишет вдова князя И. Б. Горбатого Суздальского в духовной 1551 г., — полным и

докладным и приданым и кабальным, — все божи и царевы государевы люди». Если долговое обязательство кабального не уничтожалось смертью заимодавца, то, с другой стороны, пока был жив последний, оно не прекращалось и смертью должника, переходило на его семью, с которой он отдался в кабалу или которой обзавелся во время холопства, однако положение осиротелой семьи холопа по смерти заимодавца, по-видимому, в кабалах не определялось, но, если холоп при жизни или по смерти господина получал волю, закабаленная им семья во всяком случае становилась свободна, что не было обязательно для господина при освобождении полных холопов. О недавнем возникновении кабального холопства вместе с этой неопределенностью условий говорит еще и то, что до половины XVI в. оно не успело усвоить ни терминологии, ни юридических форм холопства. Князь Ногтев в духовной 1534 г. пишет: «А что мои люди по кабалам серебряники и по полным грамотам... холопы, и те все люди... на слободу». Завещатель приказывает своим душеприказчикам дать холопам полным и докладным отпускные, а людям кабальным только возвратить кабалы: не привыкнув еще видеть в кабальном настоящего холопа, не считали необходимым при освобождении давать ему отпускную. Но принцип кабального холопства был уже готов в начале XVI в., и лучшую формулу его находим в жалованной грамоте великого князя Василия 1514 г. жителям Смоленска: «А кто человека держит в деньгах, и он того своего человека судит сам», т. е. для должника, живущего в доме заимодавца, последний заменяет государя, верховную власть.

Так в нашем праве XVI в. стали рядом два вида крепостного состояния: холопство полное и кабальное. То и другое слагалось из различных юридических элементов. Источником полного холопства была продажа лица, и из этого источника вытекали два последствия: 1) безусловная и бессрочная зависимость купленного от купившего, 2) потомственность и наследственность этой зависимости, т. е. переход ее от купленного на его потомство и передача права на холопа покупщиком своим наследникам. Потомственность, соединенная с наследственностью, носила на языке древнерусского холопства техническое название *старинь*: сын полного холопа,

родившийся в холопстве и по холопству отца холопивший его «государю» или наследнику этого государя, назывался полным *старинным* холопом. Источником кабального холопства был заем с заменой роста личным услужением должника, и из этого источника вытекали два последствия: 1) условная зависимость должника от займодавца, условия которой определялись добровольным уговором обеих сторон, 2) юридическая неразрывность семьи кабального холопа, который, выходя на волю при жизни или по смерти своего государя, во всяком случае выводил из неволи и жену с детьми, которых он закабалил вместе с собою или которых нажил во время холопства. Крепость, которой утверждалось кабальное холопство, в отличие от простой заемной или закладной кабалы называлась в XVI в. *кабалой за рост служить* или *служилой*: последнее название осталось за ней и в XVII в. Холопство полное и кабальное должно считать основными, первичными видами крепостного состояния в древней Руси. Из различных сочетаний юридических элементов, входивших в состав того и другого холопства, развились новые, производные виды, и это развитие отличалось такою юридической строгостью и последовательностью, какой не найдем в других процессах нашей юридической жизни и которая несколько напоминает римское право: пусть читатель удержит улыбку, которую может вызвать это замечание.

Прежде всего из холопства полного под действием кабального выделилось холопство *докладное*. Если не ошибаемся, доселе не найдено ни одной *полной* грамоты, как называлась крепость, которой утверждалось полное холопство; только в одной крепостной книге XVI в. сохранилось 7 записей, представляющих сокращенное изложение полных грамот 1489—1526 гг.<sup>10</sup> Во всех записях повторяется одинаковая формула: известное лицо покупало холопа «собе и своим детям в полницу». Но по 101-й статье XX главы Уложения можно догадываться, что в иных *полных* грамотах писали не только детей, но и внучат, даже правнучат покупателя. Из той же статьи видно, что в XVII в. этот перечень поколений имел юридическое значение: если холоп, укрепленный *полной* грамотой, в которой обозначены только дети его государя, доживал до его внука, последний терял на него право, не мог искать на нем холопства по одной такой *полной*

своего деда, не имея других крепостей на него. Но трудно решить, действовало ли это правило в XVI в. В этом легком смягчении полного холопства можно уже видеть действие принципа, лежавшего в основании холопства кабального: указанная формула полной грамоты сообщала некоторую условность неволе, которая укреплялась ею. К полным холопам причислялись и люди, отдававшиеся в холопство не для всякой работы, какую укажет господин, а специально для службы приказчиками по его хозяйству. Они потому назывались *приказными* людьми, то были тиуны, посельские, ключники. Русская Правда отличает тиунство и ключничество от продажи как особый источник обельного холопства; самая служба в этих дворовых должностях делала свободного человека холопом, если не была обусловлена «рядом», особым уговором, ограждавшим свободу слуги. Судебник 1497 г. знает холопство по тиунству и по ключу, но только сельскому: служба городским ключником не считалась холопской. Судебник не говорит и о ряде; это можно объяснить тем, что в XV и XVI вв., по крайней мере сельские ключники обыкновенно покупались наравне с простыми полными холопами, и эта служба была уже не особым источником, а только привилегированным видом холопства. Это холопство укреплялось особой формальностью *доклада*: покупавший ключника представлял его наместнику, свидетельствуя, что это вольный человек, берет у него, покупщика, столько-то рублей и в тех деньгах дается ему на ключ в его село, «а по ключу дается и в холопи»; наместник проверял это показание, опрашивая покупаемого, и в случае утвердительного ответа скреплял сделку, прикладывая свою печать к грамоте, ее излагавшей. Эта грамота называлась *докладной*, а холопство, ею укреплявшееся, получило специальное название *докладного*. Обычным источником такого холопства, как и полного, была продажа. До нас дошли одна подлинная докладная 1553 г. и три краткие докладные записи 1509—1536 гг., уцелевшие в упомянутой выше крепостной книге; во всех этих сделках сельские ключники продавали себя на ключ. Но при одинаковом источнике докладное холопство отличалось некоторыми существенными юридическими особенностями, которые выделяли его из холопства полного в особый вид крепостной зависимости. Выделение это произошло, по-видимому, в про-



межутке обоих Судебников: первый из них еще признает холопство по тиунству и по сельскому ключу «с докладом и без доклада», т. е. без особой докладной процедуры, как заключались сделки и на полное холопство; второй Судебник не признает холопством сельского ключничества, не укрепленного докладной грамотой, и само право давать грамоты полные и докладные усвоет только некоторым наместникам высшего ранга. По самому существу своему докладное холопство было зависимостью условною: сельский ключник отдавался не на всякую работу, а только на службу в известной должности по хозяйственному управлению. К этому основному условию прикрепились и другие ограничения господского права на докладного холопа. Во-первых, это право было только пожизненное, прекращалось смертью господина и не передавалось наследникам, потому докладные писались только на имя покупателей, без детей и дальнейших потомков. В законах 1597 и 1609 гг. эта пожизненность является уже давно утвердившимся, признанным правилом, но трудно объяснить ее происхождение. Кажется, это ограничение права на докладного холопа основалось на одном обычае, возникшем еще в удельное время. У князей удельных бывали и некупленные ключники, юридическое состояние которых отличалось тою особенностью, что по смерти князя, которому они служили, они и не отпускались на волю, и не передавались наследникам; это значит, что их зависимость непременно прекращалась самой смертью князя, а не его милостивым посмертным распоряжением, зависевшим от его воли. Следовательно, они не считались полными холопами, но так как хозяин, которому они служили «с рядом», по вольному уговору, владетельный князь, был для них и государем, каким он был и для всех вольных людей в своем княжестве, то это соединение частного личного услужения с государственным подданством делало свободного ключника условным и временным холопом князя. Таким образом, пожизненность докладного холопства имела одинаковое историческое происхождение с холопством кабальным: в удельное время заемная кабала не делала холопом, даже если соединялась с личным услужением должника кредитору; но, когда кредитором становился удельный князь, соединявший с правами заимодавца авторитет верховной власти,

тогда личная служба за долг создавала зависимость, ставшую первообразом кабального холопства. Вероятно, обычной удельных князей принимать некупленных ключников в службу по своей смерти, обобщаясь, стал потом обязательной юридической нормой и для купленного ключничества в частных хозяйствах. Во-вторых, не давая детям господина наследственного права на отцова холопа, докладное холопство не создавало и детям холопа полной потомственной зависимости от отцова господина, не давало ему права распоряжаться ими отдельно от отца и не всегда давало право передавать их по наследству, как детей полного холопа. Из текста того же закона 1597 г. прямо следует, что дети докладного холопа, родившиеся во время его холопства, обязаны были служить отцову господину, но по смерти его становились свободны вместе с отцом; это была старина потомственная без наследственности. В этом легко заметить прямое действие того принципа кабального холопства, по которому семья холопа при выходе последнего на волю нераздельно следовала за своим главой. Но юридическое родство докладного холопства с полным, созданное их общим источником, продажей, оставило по себе след и после обособления одного от другого. По памятникам законодательства и по крепостным актам XVI и XVII вв. видим, что были старинные докладные люди, т. е. потомки докладных холопов-ключников, которых господа передавали своим детям в приданое и по завещанию наравне с полными холопами. Разгадку этого находим в приписке к одной из докладных записей в упомянутой крепостной книге XVI в. В 1509 г. Собака Скобельцын купил себе на ключ некоего Ивашка. В приписке, продиктованной внуком Собаки, перечислены потомки этого Ивашка, оставшиеся в холопстве у Скобельцыных. Сын Ивашка Безпута служил сыну Собаки, Константину, у него в холопстве и умер, а сын Безпуты, Томилка, прибавляет приписка, служит у Константина. В той же книге записана данная этого Константина, писанная 1596 г.: благословляя детей своих старинными своими докладными людьми и полоняниками, Скобельцын поместил в их списке и старинного докладного Томилку Безпутного. Итак, родившиеся в холопстве дети докладного холопа, который умер, прежде чем успел выйти на волю, т. е. при жизни своего господина, не получали свободы

по праву и после его смерти, становились старинными потомственными и наследственными холопами, подобно полным. Эта особенность докладного холопства, будучи остатком его юридического родства с полным, однако, не противоречила и усвоенному им у кабального холопства принципу неразрывности семьи холопа при его освобождении: вследствие преждевременной смерти отца дети докладного холопа по *праву* не могли получить свободы и, как потомки купленного холопа, попадали в вечную неволю, из которой их могла вывести только *милость* господина. Так из полного холопства под действием начал кабального или одинаковых исторических условий образования того и другого развился смягченный вид купленного холопства с *укороченной потомственной и случайной полной стариной*: право господина на купленного ключника, личное и пожизненное, превращалось в наследственную власть первого над потомством второго в случае, если купленный умирал раньше купившего.

В свою очередь докладное холопство содействовало дальнейшему развитию кабального, сообщило ему некоторые свои черты и тем придало ему большую определенность. По свойству своего источника кабальное холопство слагалось из займа и личной службы. Докладное холопство помогло этим прежде слитым элементам разложиться и образовать два особые вида кабального холопства. В Судебнике 1550 г. и в ближайших к нему по времени дополнительных указах кабальное холопство является еще вполне с характером заемно-служилого на довольно неопределенных условиях. Такой характер долго сохраняет оно и в дошедших до нас служилых кабалах. Самая ранняя из изданных кабал относится, если не ошибаемся, к 1596 г.<sup>11</sup> Между неизданными нам попалась одна 1597 г. Все эти кабалы очень однообразны: вольный человек, один или с женой, иногда и с детьми, занимал у известного лица несколько рублей всегда ровно на год, обязуясь «за рост у государя своего служити во дворе по вся дни, а полягут деньги по сроце, и мне за рост у государя своего потому же служити по вся дни»; иногда холоп с семьей прибавлял условие: «А кой нас заимщиков в лицах, на том деньги и служба». Это значит, что холоп формально обязывался служить до уплаты долга и на случай неуплаты его при своей

жизни переносил обязательство на жену и детей своих. Некоторыми из этих черт служилые кабалы напоминают обычную форму простых заемных кабал или долговых расписок того времени.

Трудно объяснить происхождение такой формы служилых кабал. Вероятно, она давалась первоначально только на год, после чего должники, уплатив долги, могли выходить на волю, но они обыкновенно оказывались несостоятельными. В 1560 г. казначеи, докладывая царю о том, что господа ищут по служилым кабалам заемных денег или службы за рост, но холопам нечем платить, а иные даже уходят от господ без расплаты, унося господское добро, прибавляя, что последних по суду выдают истцам «головой до искупа», а другие *сами* просят к истцам в холопы полные и докладные взамен уплаты. Отсюда можно понять, что делали истцы с выданными до искупа: они превращали их в своих полных или докладных холопов или продавали другим. Царь указал несостоятельных кабальных выдавать до искупа, запретив им продаваться в полные и докладные, т. е. указал оставлять их в кабальном холопстве до расплаты или отработки, не переводя в более тяжкую неволю. Может быть, по этому указу в служилую кабалу и было внесено новое условие, обязывавшее кабального продолжать кабальную службу своему господину и в том случае, если «деньги полягут по сроце». Но тогда господа, удерживая при себе кабальных, стали продавать или закладывать их жен и детей, разрывая кабальные семьи. Намек на это можно видеть у Флетчера, бывшего в Москве в 1588 г.: он говорит, будто закон позволял кредитору продать жену и детей выданного головой должника навсегда или на известное число лет. В свою очередь и холопы старались перезаложиться другим, покрывая старый долг новым займом: из закона 1597 г. видно, что иные кабальные, уходя от своих господ, просили принять у них деньги в уплату по кабалам. Этот закон и пытался пресечь возникавшие отсюда беспорядки, применяясь к господствовавшим отношениям и понятиям. По духовным грамотам XVI в. видно, что кабальная зависимость чаще всего прекращалась по воле господина с его смертью: «отходя сего света вольного», он не только прощал долги своих добрым слугам, но и «наделял» их по силе, прося душеприказчиков дать его «людцам, му-

жичкам и женочкам, почему пригоже дати, а не оскорбити», чтобы люди, покидая господский двор, не заплакали, по прекрасному выражению некоторых завещательниц. Так нравственный мотив приходил на помощь неопределенному или нерешительному праву, внося в кабальное холопство элемент докладного. Чтобы прекратить разрыв кабальных семей, тяжбы и побегу, закон 25 апреля постановил, что в случае спора, если кабальный уйдет от господина без его согласия, с такими кабальными следует поступать *как с докладными*, выдавать их в службу господам до смерти последних, а денег по кабалам не брать с холопов, хотя бы они просили о том; точно так же и дети кабального, закабаленные вместе с отцом или родившиеся в холопстве, *подобно докладным людям*, служат отцову господину до его смерти, а жене его и детям после него не служат и денег им по отцовой кабале не платят. Закон не предписывал, чтобы кабальная служба всегда непременно продолжалась только до господской смерти; он только давал норму для разрешения спорных случаев и запрещал продажу и заклад кабальных детей. По любовному уговору сторон кабальный мог по смерти господина служить его семье, по воле господина мог выйти на волю раньше его смерти. Пушкин в духовной, писанной в сентябре того же, 1597 г., считал себя вправе написать: «Людей моих кабальных во дворе и в деревнях всех отпустить на свободу, oprичь тех, которых я приказывал жене моей по ее живот».

Таким образом, закон сам отметил историческую связь юридических явлений, постановив, что в спорных случаях по служилым кабалам «быть в холопстве, как и по докладным», т. е. приняв докладное холопство за образец для кабального в отношении срока службы. Это сообщало служилой кабале значение крепости, устанавливавшей личную связь кабального с господином. Отсюда со строгой юридической логикой развился ряд последствий, существенно изменивших характер кабального холопства. Во-первых, если кабальная неволя прекращалась смертью господина без уплаты долга, значит, служба за рост превращалась в службу за самый долг с погашением его, т. е. холопство по займу превращалось в личное услужение по найму с выдачей наемной платы вперед. Так, одно из последствий прежнего источника кабального холопства, личная служба за рост, незаметно

само превратилось в источник холопства: прежде крепилась долговая ссуда, соединенная с личной службой должника, теперь возникла мысль, что *может крепить личная служба во дворе сама по себе*, независимо от ссуды<sup>12</sup>. По-видимому, эта мысль была примененной к кабале реставрацией старинного принципа, по которому служба тиунном или ключником без уговора делала слугу холопом. Во-вторых, служилая кабала могла быть даваема только одному господину, а не двоим вместе, например отцу с сыном, т. е. *служилая кабала крепилась каждого холопа только одному лицу*. Совместные кабалы были строго запрещены законом 1606 г., и этот запрет подтвердило Уложение 1649 г. Но практика с трудом усвояла себе это правило: совместные кабалы, утвержденные законным порядком, встречаются до 1648 г. В-третьих, кабальный холоп, крепкий одному лицу, *не мог быть передаваем другому без отпускнуой*, т. е. без уничтожения старой кабалы, что делало его свободным. Мы не знаем, было ли это правило прямо выражено в законодательстве раньше Уложения, которое одной статьей строго запретило отдавать кабальных людей в приданое, по духовным и другим грамотам, а другой — запретило отцам брать на своих кабальных новые кабалы на имя своих детей, не дав им предварительно отпускных, т. е. не обусловив передачи холопа его добровольным согласием<sup>13</sup>. В-четвертых, как скоро личная дворовая служба без займа стала считаться особым источником холопства, *добровольное услужение без крепости стало создавать крепостную кабальную неволю*. Средством для этого было установление давности состояния *вольных холопей* или *добровольного холопства*. Вольным назывался холоп, служивший не по старине и без крепости. Пока личная служба без займа не считалась источником кабального холопства, добровольная служба, разумеется, не могла признаваться холопством и вести к нему: по закону 1555 г., добровольный слуга, сколько бы ни служил, мог уйти, когда хотел, и хозяин не имел даже права искать на нем сноса. Но апрельский закон 1597 г., косвенно превратив заем с условием службы за рост в наемную плату за кабальную службу, тотчас применил эту перемену к добровольной службе, постановив, что на слугу, прожившего без крепости не меньше полугода, господин может взять служилую кабалу против его воли. Однако

новый способ кабального укрепления, без займа, был принят законодательством не без колебаний. Царь Василий Шуйский в 1607 г. вернулся было ко взгляду закона 1555 г., но в 1609 г. передумал, впрочем, не принял окончательного решения, обещав поговорить о том с боярами и приказав пока впредь до издания закона удерживать на прежней службе только тех вольных слуг, отказывавшихся дать на себя кабалы, которые прослужили не менее пяти лет. В том же году боярским приговором восстановлен был закон 1597 г. о шестимесячном сроке давности для превращения бескабальной службы в кабальную, а Уложение сократило и этот срок наполовину<sup>14</sup>; но в Уложение попал и закон 1555 г. Довольно трудно объяснить, как улаживались отношения при совместном действии этих двух законов, дававшим бескабальному холопу возможность и право до исхода третьего месяца службы и после до привода в приказ к принудительной записке в кабалу уйти от господина, безнаказанно похитив у него, что было можно или нужно. Но по расспросным сказкам кабальных о своей прежней жизни, которые приписывались к кабалам при их записке в приказные холопыи книги, видно, что множество холопов служило бескабально по нескольку лет, иногда по 10 и более, и при этом незаметно, чтобы они злоупотребляли своим положением. Наконец, сейчас изложенное последствие помогло удержать в кабальном праве элемент *старинны*, противоречивший природе служилой кабалы. Старинным, собственно, назывался холоп *природный*, родившийся в холопстве. Создаваемое происхождением, старинное холопство обыкновенно также утверждалось крепостями, которые потому назывались *старинными*: это юридические акты, которыми не создавалось, а только доказывалось холопство лица, родившегося в холопстве и не укрепленного особой личной крепостью на его имя. Таковы были, например, духовные, рядные (сговорные о приданом) и другие передаточные записи. Передавать из рук в руки можно было только холопов полных и докладных или их потомков; следовательно, если на холопа, обозначенного в передаточном акте, не было полной или докладной, а самый акт не подвергся спору, считалось доказанным, что это холоп старинный. В таком смысле надобно понимать выражение Судебников: «по духовной холоп». Первоначально

к детям кабального, родившимся в холопстве, кажется, со всею строгостью прилагали условия старинного холопства, передавали их по наследству с отцом или без отца, если он умирал в неволе: в актах конца XVI в. еще встречаем указания на «старинных кабальных людей», которые по смерти господина шли в раздел между его детьми наравне со старинными полными холопами. На то же указывают и терминология и обычаи кабального холопства. Юридические термины, как известно, долговечнее отношений, их родивших. В XVII в. люди, вступившие в кабальное холопство, разделялись на *вольных* и *старинных*: вольными называли себя те, которые родились на воле; старинными звали себя родившиеся в холопстве, всегда обозначая, чьи они старинные, у кого во дворе родились, хотя бы они уже давно освободились от первых господ и вступали на службу к другим «с воли». В XVII в. эта разница в званиях не имела уже никакого юридического значения, но можно догадываться, что некогда такое значение существовало. Далее по кабалам XVII в. можно видеть, что множество старинных холопов по смерти отцовых господ оставалось на службе у их детей, не давая на себя кабал, т. е. служа добровольно, несмотря на неоднократные и настойчивые законодательные запрещения держать холопа без крепости. Сила этой привычки показывает, что практика, ее воспитавшая, некогда признавалась вполне законной. Но когда служилая кабала стала личным обязательством без займа, должны были встретиться различные интересы, столкновение которых разрешилось установкой более тесного значения кабальной старины. В интересе порядка закон 1597 г. объявил службу детей кабального, родившихся в холопстве, обязательной только до смерти отца господина. Но сын кабального, родившийся в холопстве, не давал на себя кабалы, и в его интересе было настаивать, чтобы его служба, как бескабальная, считалась добровольной. Наиболее прямое выражение этого взгляда находим в одной кабале 1646 г., при утверждении которой 20-летний сын кабального заявил, что он родился во дворе у господина, которому исстари служит его отец, «а служил у него о сию пору в добровольной», хотя служба при таких условиях считалась тогда по закону обязательной. Против такого взгляда был интерес господ, нашедший себе выражение в мысли о законном



сроке давности добровольной службы<sup>15</sup>. Законодательство попеременно отражало в себе эти интересы, определяя кабальную старину в связи с добровольной службой. Царь Василий, отменив в 1607 г. давность, в 1608 г. признал старинную службу без крепости вообще необязательной. В 1609 г., принимая во внимание и господский интерес, он в более подробном развитии постановленного им общего правила допустил одно исключение из него, постановив, согласно с законом 1597 г., что родившиеся в холопстве дети кабального крепки отцову господину и без крепости, «по старине»; при этом царь признал в принципе и давность, которая, несколько месяцев спустя, и была восстановлена согласно с тем же законом. Наконец, Уложение или более раннее узаконение, в него вошедшее, нашло комбинацию, установившую формальное согласие между всеми этими интересами: приняв очень короткий срок давности, оно постановило, что дети кабального, прожившие «многие годы безкабально» во дворе отцова господина, где родились, обязаны давать ему на себя кабалы. Этим Уложение признало, что рождение в кабальном холопстве само по себе не делает холопом, но им делает давность житья в господском дворе; а так как сын кабального, свободный в минуту рождения, обыкновенно становился многолетним жильцом господского двора, прежде чем мог жить на воле, то юридическим основанием кабальной старины, по Уложению, была давность добровольного бескабального холопства, создаваемая естественной необходимостью и только закрепляемая кабалой. Так переломилась докладная старина, отразившись в кабальном холопстве: здесь она уже никогда не переходила в полную, но и старина укороченная, потомственная без наследственности, получила другое юридическое основание, держалась не на потомственности, а на давности бескабальной службы, имела чисто личный характер. Служба по такой старине обозначалась в кабалах XVII в. лаконической формулой: *служить по старинному кабальному холопству отца своего*, т. е. по старинному холопству, унаследованному от кабального отца. Согласно с личным характером кабальной старины, сын кабального звал себя старинным человеком только того господина, во дворе которого родился; давая ему кабалу на себя, он говорил, что бьет челом государю своему во двор

по старине, переходя от него по новой кабале к его сыну, называл себя старинным послуживцем не его, а отца его.

Эти последствия закона 1597 г. произвели важную перемену во владении кабальными людьми и их семьями: прежде оно передавалось наследникам по праву, хотя часто бывало пожизненным по воле господ; потом оно стало пожизненным по праву, хотя часто переходило к наследникам по воле холопов. Прибавив к сказанному статью Уложения, по которой служилые кабалы могли давать на себя люди не моложе 15 лет, тогдашнего термина зрелости, можно так выразить основные черты кабального холопства в его законченном юридическом складе: это было простое личное обязательство взрослого вольного человека служить господину, прекращавшееся юридически смертью последнего, не переносимое ни с той, ни с другой стороны на другие лица и только разделяемое с отцом родившимися в холопстве детьми холопа, но не в силу потомственности холопства, а в силу давности бескабальной службы и притом с обязанностью закрепить эту давность особой кабалой. Освобождение служилой кабалы от долговой примеси изменило и ее прежнюю форму заемного обязательства. Эта форма господствовала до самого Уложения и несколько времени после его издания, становясь все более условной, фиктивной. До Уложения кабалы писались в 2, 3 и 4 руб. на каждую холопью голову; Уложение приняло однообразную норму — 3 руб., чтобы в платеже пошлин согласить безденежные холопы крепости, за которые еще по первому Судебнику взимали с головы по 3 алтына, с теми денежными обязательствами, по которым платили пошлины с рубля по алтыну. Но заем только писался в кабале, чтобы не нарушать привычной формы крепости: в некоторых новгородских кабалах 1650 г. холопы откровенно признаются, что они заняли деньги у государей своих «с одное пословицы», т. е. как принято писать в кабалах, а не на самом деле. Точно так же Уложение прямо высказало основное условие кабального холопства, что «всяких чинов людем холопи крепки по кабалам по смерть бояр своих». Но из многих сотен известных нам служилых кабал с фиктивным или действительным займом, писанных до 1649 г. и после, только в двух, составленных в 1647 и 1674 гг., встречаем прямое

заявление холопов, что они дают на себя служилую кабалу своему государю «по его живот» или обязуются служить ему за рост «по его век». Отсюда служилые кабалы и служившие по ним холопы получили название *вечных*, т. е. пожизненных, данных или отдавшихся господам по их век; это название уже знакомо Уложению и Котошихину. Самая поздняя нам известная кабала с займом относится к 1677 г. С 1680 г. встречаем служилые кабалы, составленные по новой, более простой форме: вольный человек, не говоря о займе, писал, что он бил челом такому-то в служилое холопство и служилую кабалу дает на себя ему волею своею: «И служити мне у государя своего во дворе в холопстве по его живот»<sup>16</sup>. Впрочем, служилые крепости без займа, как сейчас увидим, появились гораздо раньше 1680 г., еще до Уложения, только они в то время не назывались служилыми кабалами.

Когда служилая кабала утратила характер заемно-служилого обязательства, для таких обязательств выработался особый род крепостей, получивших название *жилых*, или *житейских*, *записей*. Все известные доселе жилые записи относятся к XVII или к самому началу XVIII в., и трудно решить, употреблялись ли они в XVI в. Можно только сказать, что до закона 1597 г. в них не было юридической надобности. Этими записями скреплялись обязательства, условия которых не соответствовали формам и обычаям служилой кабалы, а до конца XVI в. сама эта кабала не выработала точно определенных законом или обычаем форм и условий. Так, из закона 1608 г. узнаем, что в начале XVII в. были в ходу записи, по которым вольные люди обязывались служить господам «до своего живота». Древнерусскому кабальному праву была противна идея холопства по смерти холопа: юридическими условиями, которые могли прекращать холопскую зависимость, оно признавало смерть или волю господина; когда не было ни того, ни другого условия, обязательство холопа и по смерти его оставалось на детях, закабаленных им вместе с собою или родившихся в холопстве; условия политические, измена господина и плен холопа, действовали в исключительных случаях. Закон 1608 г. запрещает такие пожизненные записи, предписывая записи срочные, на определенное количество лет<sup>17</sup>. Незадолго до Уложения, когда служи-

лые кабалы еще сохраняли прежнюю заемную форму, житейские записи являются предшественницами позднейших «вечных» служилых кабал без займа; в новгородской кабальной книге 1647 г. помещена житейская запись, в которой «послуживец» подьячего, после его смерти оставшийся жить во дворе его вдовы, без займа бьет челом последней «во двор служить до ея смерти». Со времени Уложения, которое признало служилую кабалу действительной только до смерти господина, а кабальный заем фиктивным, и жилою записью согласно ее первоначальному отношению к кабале стали закреплять обязательства, устанавливавшие личную зависимость на условиях, которые не соответствовали изменившемуся значению кабалы. Главное различие заключалось в самом источнике зависимости по той и другой крепости.

Зависимость по кабале вытекала из простого уговора о личной службе без оговоренного прямо действительного вещного основания, т. е. вознаграждения за службу, которое, как последствие службы, разумелось само собою и определялось волей господина. В записи, напротив, вещное основание всегда на первом плане, а служба или работа является его последствием; таким основанием служили денежный нефиктивный заем, ссуда хлебом и скотом, наемная плата с содержанием или одно содержание, прокорм с одеждой; в иных записях особенно точно определялось, какую одежду обязан хозяин давать своему работнику. Это различие очень явственно обозначено Уложением; повторяя закон царя Ивана об исках по кабалам за рост *служити*, оно, поправляя устарелую терминологию, называет уже эти крепости *записями за рост служити*<sup>18</sup>. С указанным главным различием связаны были и другие особенности записи. Кабалу мог давать на себя только взрослый человек и притом «своею волею», за исключением известных случаев давности бескабальной службы; в неволю по записи отдавались и несовершеннолетние по воле родителей, дядей или старших братьев. Кабала писалась на имя одного господина; записи могли быть совместные, на имя отца с детьми, мужа с женой, двух братьев. Кабала крепила холопа по смерти господина; владение по записи также могло продолжаться по уговору до смерти владельца, могло быть и срочным, «на урочные лета», и бессрочным с обязатель-

ством для крепостного служить не только хозяину, но и его жене и детям. Все эти особенности, отличавшие кабалу от записи, можно назвать юридическими в тесном смысле, относящимися к области гражданского права. Законодательство присоединило к ним и особенности политические, которыми определялись общественные состояния лиц, имевших право как принимать, так и вступать в крепостную зависимость по кабале и по записи. В XVI в. люди всех состояний, даже холопы, могли держать у себя кабальных слуг, но уже Судебник 1550 г. стеснил право вступать в кабалу, запретив это служилым государевым людям и их сыновьям, не получившим отставки. В XVII в. законодательство, сделав это запрещение безусловным, распространило его и на тяглых людей, городских и сельских. Разумеется, не вступали в кабалу духовные лица, но по кабалам XVII в. видно, что сыновья и дочери священников и других церковнослужителей часто вступали в холопство. Ограничен был и круг лиц, имевших право владеть кабальными холопами: этого права лишены были священники, диаконы и причетники церковные (но протопопы и протодиаконы по Уложению сохранили его), тяглые посадские люди и крестьяне, монастырские служки и холопы служилых людей. Владение по жилой записи имело более широкий круг действия, оставалось доступно не только тем, кто сохранил право кабального владения, но и тем, кто потерял это право. Точно так же за тяглыми людьми удержано по Уложению право отдавать в услужение нетяглым людям по жилым записям живших при них детей, братьев и племянников, а на практике, как видно по жилым записям конца XVII в., в такое услужение вступали и сами тяглые люди. От неодинаковых сочетаний столь разнообразных условий жилой зависимости происходило различие ее видов, выражавшееся в разнообразии самих записей. Всего удобнее обозначить эти виды по разрядам записей, а записи распределить по их основному признаку, способу вознаграждения за работу, применяясь к их собственной терминологии. 1) *Записи за рост служити*. Они, кажется, были очень редки: со времени Уложения самая мысль о службе за рост как источнике зависимости уже исчезла. Запоздалым образчиком такой крепости является акт 1694 г., которым вольный человек, занявший на 2 месяца 50 руб. у князя Болховского, обя-

зался жить у него и работать до срока и в случае неплаты долга в срок продолжать жить у князя, его жены и детей «до расплаты». Это, очевидно, — прикрытое бессрочное обязательство «за рост служити по вся дни», условиями своими всего ближе подходящее к тому значению, какое имела служилая кабала до закона 1597 г.: оно и названо «заемной кабалой». 2) *Заемные заживные*, которыми заемщики обязывались работать на хозяев до их смерти или урочные лета «в зажив», погашая долг работой. Эта была господствующая форма жилой записи, соответствовавшая служилой кабале, созданной или утвержденной законом 1597 г.: такие записи иногда и назывались «заимными жилыми кабалами». К ним можно причислить и *записи за скупные деньги*. Это обязательства, по которым несостоятельные должники, выкупленные с правежа, служили своим новым кредиторам, иногда и их женам и детям; по словам Котошихина, эта служба была вечная, т. е. бессрочная, прекращавшаяся смертью господина или продолжавшаяся при его жене и детях, его переживших, «по их век». 3) *Жилые ссудные*, называвшиеся так в отличие от заемных потому, что основанием зависимости по ним служил не денежный заем, а ссуда вещами, скотом, хлебом, платьем. Они имели тесную юридическую связь с ссудными крестьянскими записями, и потому о них речь еще впереди. 4) *Наемные отживные*, отличавшиеся от заемных тем, что работник получал плату не вперед в виде займа, а «на отживе, как годы отживал» обыкновенно с условием, чтобы хозяин, отпуская его по истечении срока, одел и обул его по силе; потому эти записи давались всегда на урочные лета. 5) *Житейские и данные вечные без займа*. Котошихин говорит: «Кто холоп кому бьет челом во двор, дают на того холопа *вечные* служилые кабалы и *данные* и на урочные годы *записи*». В записных холопских книгах незадолго до Уложения встречаем житейские записи вольных людей с обязательством служить господам до их смерти и данные на детей с тем же условием, те и другие без займа, подобно позднейшим служилым кабалам, от которых первые отличались лишь тем, что давались и посадским торговым людям, не имевшим права владеть холопами по служилым кабалам, а вторые еще и тем, что давались на недорослей по воле родителей, а не взрослыми добровольно. По этим записям люди не

зарабатывали долга и не нанимались на службу за условленную плату, а шли в работу «за прокорм», как выразилось Уложение<sup>19</sup>. 6) *Закладные*. Олеарий, воспроизводя московские отношения первой половины XVII в., пишет, что несостоятельные должники могли за долги закладывать кредиторам своих детей, зачитывая по 10 талеров в год за работу сына и по 4 талера за работу дочери. Сибирские служилые люди, жалуясь в 1635 г. на дороговизну, писали, что рожь берут они в долг под кабалы по 4 руб. четверть и «в тех кабалах закладывают жен и детей»<sup>20</sup>. Нам известна только одна закладная 1679 г. на жену за 21 руб. на 12 лет, и та дана на Вилюе некрещеным якутом, а для некрещеных инородцев закон допускал большие отступления в крепостном праве. Зато закладные на детей во второй половине XVII в. были очень обычным явлением; они давались на 5 лет или более даже на детей тяглых людей вопреки Уложению, которое запретило давать на них записи более чем на 5 лет; незадолго до издания Уложения бывали даже крепости с характером закладных, по которым дети обязывались за долги отцов служить до смерти кредиторов. Но ни тем, ни другим канцелярский крепостной язык не давал в XVII в. названия закладных: первые назывались просто записями или жилыми записями, вторые — данными. Разнообразие условий, выразившееся в перечисленных видах жилой записи, было следствием юридической природы жилого холопства. Все эти условия можно свести к двум отличительным свойствам жилой зависимости: 1) она устанавливалась вполне свободным уговором, не стесняемым в своих условиях точными законными нормами; 2) сравнительно с кабалой она имела еще более личный характер, без всякой примеси наследственности владения и потомственности службы. Оберегая в кабале характер личного обязательства, закон, однако, обставлял ее условиями, стеснявшими лицо, благодаря которым кабальная зависимость иногда падала и на детей холопа не по воле отца, а по закону, «по старине». В жилом холопстве при его вещном основании незаметно и следа старины: зависимость могла распространиться с отца на детей и дальнейшие поколения, могла падать на детей и без отца, могла продолжаться после хозяина, при его жене и детях, но во всех случаях по воле отца, а не по закону. Может быть, поэтому ни

в Уложении, ни в самих записях жилая зависимость не называется холопством, а господин носит в записях звание *хозяина*, а не *государя*. Но это было настоящее крепостное холопство по праву. Уложение точно отличает жилую запись вместе со служилой кабалой от простой наемной записи, как крепость в полном смысле от обязательства, которое не делало крепостным. Котошихин прямо называет жилого слугу холопом<sup>21</sup>. Власть хозяина по жилой записи одинакова с государственной по кабале: слуга обязуется жить у хозяина «в послушании и покорении и всякая работа работать», дает ему право «смирять его, слугу, всяким смирением за вину и от всякого дурна унимать», даже отказывается от права жаловаться за это государю-царю и «собину копить», т. е. приобретать собственность на службе<sup>22</sup>.

Юридические элементы, входившие в состав изученных видов холопства, можно перечислить в таком порядке: продажа лица, заем, наем, прокорм, безусловная зависимость, старина потомственная и наследственная (полная), старина потомственная без наследственности (докладная) и старина по давности (кабальная), юридическая неразрывность семьи холопа, служба бессрочная, по смерти господина или на урочные лета по личному уговору или по воле родителей. Разбирая сочетания, в каких эти элементы составляли каждый вид, можно изобразить древнерусское крепостное холопство в такой схеме: *полное* слагалось из продажи лица, безусловной зависимости и полной старины, *докладное* — из продажи лица, службы по уговору до смерти господина, юридической неразрывности семьи и старины докладной, иногда и полной, *кабальное* XVI в. — из займа, службы по уговору на год, обыкновенно продолжавшейся до смерти господина или бессрочно, нераздельности семьи холопа и старины докладной или полной, *кабальное* XVII в. — из займа или найма, службы по уговору до смерти господина, юридической неразрывности семьи холопа и старины кабальной, *жилое* — из займа, найма или прокорма, из службы по личному уговору или по воле родителей до смерти хозяина или на урочные лета.

Крепостное право на крестьян было новым сочетанием тех же элементов, приноровленным к экономическому и государственному положению сельского населения.



### III

Из двух первичных видов древнерусского холопства наиболее тесную историческую связь с крепостным правом на крестьян имело холопство кабальное. Потому мы коснулись полного холопства лишь в той мере, сколько это нужно, чтобы объяснить происхождение и разветвление кабальной неволи, как и ее воздействие на полное холопство. Сводя изложенные соображения, в истории кабального холопства можно различить такие моменты. До конца XV в. в нашем праве существовали два вида личной зависимости: *холопство* и *закладничество*. Условия последнего в удельное время предстоит еще исследовать, но несомненно, что в число их входил заем с обязательством условленного личного услужения за рост и с правом выкупа по воле должника. Условностью службы и правом выкупа закладник отличался от холопа, крепостного человека; то и другое сообщало закладничеству характер обоюдно свободного соглашения займодавца с заемщиком, не делая последнего подданным, холопом первого, потому что существенными признаками подданства или холопства были безусловность и непрекращаемость службы по воле слуги. С конца XV в. развивается мысль, что и условная служба делает холопом, как скоро слуга временно или навсегда лишается права или возможности прекратить ее. Эта мысль, отразившись на полном холопстве, выделила из него холопство *докладное*. В удельное время вольные люди рядились к вотчинникам в сельские ключники на неопределенный срок — до их смерти, не делаясь их холопами. Другие продавались в полные холопы с условием служить в той же должности, только бессрочно, как служили рядовые холопы. Под влиянием указанной мысли оба вида ключничества сблизились друг с другом, обменявшись условиями и образовав докладное холопство: ключничество купленное сообщало вольному характер холопства, занимая у него срочность службы. С другой стороны, та же мысль, прививая начала полного холопства к долговому закладничеству, выработала из последнего холопство *кабальное*. Это совершалось помощью того же права, которым закладничество отличалось от холопства, — права закладника устанавливать договором условия своей зависимости. Этим путем прежде всего

вошло в служилую кабалу условие, по которому закладник, занимая деньги на год, отказывался на это время от права выкупа. Потом годовых холопов, которые не могли расплатиться после срока, господа стали превращать в холопов купленных, безусловных, прилагая к ним тот принцип закладного права, по которому просроченный заклад превращался в продажу. Законодательство, ограничивая это притязание, сперва в 1560 г. удержало за несостоятельными кабальными закладниками право выкупа, потом в 1597 г. признало просроченный кабальный заем равносильным продаже в холопство, но условное, т. е. докладное: кабальный холоп терял право выкупа без согласия господина; зато и господин лишался права взыскания долга без согласия холопа, а смерть первого погашала самый долг последнего. Так бессрочная вольная служба за рост с правом уплаты долга по уговору превратилась в обязательную службу за самый долг до смерти займодавца по закону. Значит, древнее закладничество преобразилось в кабальное холопство посредством сочетания условной службы вольного должника с непрекращаемостью купленного холопства по воле холопа. В этом сочетании один элемент, условность службы, допускал большое разнообразие условий, благодаря чему и кабальное холопство в XVII в. разветвилось: от служилого холопства без займа обособилось заемно-наемное холопство жилое, которое в свою очередь разделилось по различию условий на многие виды. В этом развитии кабальной неволи надобно отметить две черты, повторившиеся в развитии крестьянской крепости. Во-первых, условия неволи устанавливаются частным соглашением на основании действующего права и только регулируются законодательством. Во-вторых, по мере закрепления неволи упрощается ее источник: заем по уговору заменяется уговором без займа.

Объясняя происхождение крепостного права на крестьян, необходимо наперед сказать, в чем состоит вопрос. В XVI в. крестьяне в Московском государстве были вольными хлебопашцами; их отношения к землевладельцам определялись свободным договором. Исполнив условия контракта, крестьянин в назначенный законом срок мог уйти от землевладельца, мог даже выйти из крестьянства, записаться в посад, продаться в холопство. В конце XVII в. отношения владельческих крестьян определялись

уже не одним договором, а еще *крепостью* особого рода, без их согласия утверждавшей принадлежность их своим господам. Значение такой крепости по преимуществу получили писцовые и другие правительственные поземельные книги: за кем записан был крестьянин в этих книгах, тому он и был крепок. Самый договор его с землевладельцем становился для него крепостью: рядясь в крестьяне к землевладельцу, вольный человек этим самым отдавался навсегда в его власть и владение с женой и потомством. Напротив, землевладелец мог всегда разорвать свою связь с крепким ему крестьянином, мог продать, заложить и променять его вместе с его участком или без него.

Такими общими чертами можно обозначить перемену, происшедшую в юридическом положении крестьян в течение полутора столетия со времени *Судебника* 1550 г. Различно объясняли этот переворот. Прежде других сложилось мнение, что виной его был закон царя Федора Ивановича, прикрепивший всех крестьян к земле. Закон этот пропал или еще не отыскан в архивах, но о нем догадываются по указу 24 ноября 1597 г., который всех крестьян, покинувших своих господ не ранее 5 лет до 1 сентября этого года, объявил беглыми, подлежащими возврату на покинутые места по искам владельцев. Единственным оправданием такой меры мог быть закон, изданный прежде и именно не позднее 1592 г. и отменивший крестьянское право перехода в Юрьев день осенний. Погодин, поддержанный К. Аксаковым, лет 30 тому назад высказал другой взгляд на дело: правительство царя Федора не прикрепляло крестьян к земле; крепостное право установилось постепенно как-то само собою, не юридически, помимо права, ходом самой жизни. Г-н Энгельман предложил третье решение вопроса, довольно своеобразное. Особого закона, который бы прямо и ясно отменял юрьевские переходы, никогда не издавало московское правительство; крестьяне были прикреплены к земле самым этим указом 1597 г., но не прямо, а косвенно, мимоходом (*beiläufig und indirect*): без всякого предварительного запрещения правительство вопреки праву признало незаконными все крестьянские переходы, совершившиеся в последние пять лет на точном основании неотмененного закона, вдруг взглянуло на владельческих крестьян, как на обязанных, давно уже

прикрепленных к земле, и дозволило покинувших законным порядком прежние участки возвращать на них, как беглецов. Итак, говоря проще, московское правительство обмануло целый класс своего народа, тихонько подкараулило и украдо его свободу. Автор считает свою мысль настолько серьезной, что всякое сомнение в ней заранее объявляет не только невозможным, но и прямо непозволительным<sup>23</sup>. Смелость непогрешимости внушает ему преимущественно то соображение, будто «точь-в-точь» таким же образом было введено крепостное право в Малороссии при Екатерине II. Но в законе 3 мая 1783 г. очень мало сходного с указом 24 ноября 1597 г., как его толкует г-н Энгельман. Во-первых, закон Екатерины был подготовлен рядом предварительных мер. Во-вторых, правительство Екатерины никого не обманывало; указ 3 мая, прикрепляя малороссийских крестьян к местам, где их застала только что законченная четвертая ревизия, не имел обратного действия, не предписывал возвращать даже тех, которые ушли после ревизии до издания указа: «Каждому из поселян остаться в своем месте и звании, где он по нынешней ревизии написан, кроме отлучившихся до состояния сего нашего указа». Толкование г-на Энгельмана похоже на ученый *tour de force*, к которому он был вынужден не поддающимся решению вопросом.

Защитники двух других мнений, более внимательные к тексту указа 1597 г., однако, заставляют его говорить то, чего он не хочет сказать. Сторонникам поземельного прикрепления крестьян по закону 1592 г. Погодин справедливо возражал, что назначенный в указе 1597 г. пятилетний срок для исков о крестьянах, бежавших до этого указа, еще не дает достаточного основания предполагать такой закон. Но и сам Погодин был неправ, утверждая, что указ 1597 г. установил на будущее время пятилетнюю давность для исков о беглых крестьянах. Смысл указа очень прост и ясен: по искам о крестьянах, бежавших от владельцев не ранее 5 лет до 1 сентября 1597 г., велено давать суд и по суду беглецов возвращать к прежним владельцам, но если крестьянин бежал *лет за 6 или больше до 1 сентября 1597 г.* и *владелец тогда же, т. е. до 1 сентября 1592 г., не вчинил о беглеце иска, такой владелец терял право искать беглеца судом.* Больше ничего не говорит указ. Значит, иски о крестья-

нах, бежавших не ранее 1 сентября 1592 г., можно было вчинать спустя 5, 6, 7 и более лет после побега; не допускались только до суда не начатые в указанный срок иски о бежавших лет за 6, 7 и более до 1 сентября 1597 г. Таков смысл *указа*, т. е. закона или приговора государя с думой. Но, вероятно, дьяк-докладчик доводил потом до сведения законодателей, что о крестьянах, бежавших до 1 сентября 1592 г., накопилось много челобитий, поданных *после* этого срока, из коих по одним уже начат суд, а другие еще не засужены по разным причинам, мешавшим приказу дать им немедленное движение, например по чрезвычайной запоздалости иска, затруднявшей его разрешение. Вот почему не в самом законе, а в *памяти*, т. е. в приказном циркуляре, его излагавшем к исполнению с пояснениями и дополнениями, встречаем любопытную прибавку, предписывавшую дела беглых, засуженные, но еще не решенные, «вершить по суду и по сыску»: эта оговорка могла относиться только к такого рода искам, не предусмотренным в тексте приговора, потому что дела о беглых, начатые до 1 сентября 1592 г. и еще остававшиеся невершенными в ноябре 1597 г., если только были такие залежавшиеся в приказе дела, должны были вершиться по точному смыслу приговора, не требуя пояснительной прибавки. Итак, закон 1597 г. не устанавливал пятилетней давности для исков о беглых. То, что установил закон, можно назвать давностью, но только временной и обратной: она простиралась лишь назад, не устанавливая постоянного срока на будущее время. След такой давности находим задолго до указа 1597 г. В 1559 г. Кириллов монастырь ходатайствовал за себя и других землевладельцев Белозерского уезда, чтобы царь не велел брать у них крестьян, вышедших к ним из черных волостей «не в срок без отказу», и возвращать на покинутые *пустые* места. Просьба была уважена. Под пустыми местами разумелись крестьянские участки, *давно* покинутые и запустевшие. Такую обратную давность законодательство устанавливало, как увидим, и после издания *Уложения*, т. е. после отмены давности срочной. Мысль Погодина была внушена ему законом 1 февраля 1606 г., который установил пятилетнюю давность, глухо сославшись на какой-то «старый приговор». Может быть, и виновники указа 1597 г. имели такую мысль, но она осталась не выраженной в указе.

Законодатели 1606 г. могли знать эту мысль и договорить ее. Во всяком случае указ 1606 г. был новым законом, дополнением, а не повторением указа 1597 г. По этой внутренней, скрытой для нас связи обоих законов правительственные люди XVII в. могли и в приговоре 1597 г. видеть закон о пятилетней давности, как и думали авторы писцового наказа 1646 г. Но позднейшему исследователю, связанному текстами и утратившему нить живых законодательных преданий, не дано тех экзегетических вольностей, какими пользовались законодатели — законоведы древних времен. Сперанский со своим удивительным умением чутко угадывать и метко схватывать исторические явления по намекам памятников даже при недостаточном изучении последних давно указал настоящий смысл указа 1597 г.: целью его было прекратить затруднения и беспорядки, возникавшие в судопроизводстве вследствие множества и запоздалости исков о беглых крестьянах. Подобным побуждением вызван был за несколько месяцев до ноябрьского указа и известный закон о холопах. Этой целью, может быть, объясняется и выбор 1592 г. как термина для исков. Указ 1607 г., устанавливая 15-летнюю давность для исков о беглых, прямо принимает за основание для решения таких дел писцовые книги 1592/93 г. (7101 сентябрьского). Надобно думать, что в этом году закончено было составление писцовых книг если не по всем уездам государства, то по большей их части, хотя по уцелевшим остаткам поземельных описей XVI в. трудно проверить такое предположение, а на поименных перечнях крестьянских дворов в писцовых книгах более всего основывались тогда при судебном решении дел о беглых крестьянах. Наконец, и в скудных остатках судебной практики со времени указа 1597 г. до закона 1606 г. незаметно действия пятилетней давности. У Вяжицкого монастыря в 1591 г. бежал крестьянин. Монастырь только в 1599 г. собрался бить о нем челом. Ответчица, в имени которой был найден беглец, «не ходя на суд», выдала его. По указу 1597 г. не следовало бы и принимать челобитья от монастыря, потому что крестьянин бежал более чем за 5 лет до 1 сентября 1597 г. Но если бы действовала пятилетняя давность, ответчице не было расчета без суда выдавать беглеца, который принадлежал ей по закону: монастырь пропустил срок<sup>24</sup>.

Из разбора указа 1597 г. открывается любопытный двойной факт: в конце XVI в. у владельческих крестьян не было отнято законом право перехода, и, однако ж, возбуждалось множество дел о беглых крестьянах, т. е. было много крестьян, потерявших это право и неправильно им пользовавшихся. Этот факт ставит нас при самой колыбели крепостного права на крестьян.

Сохранилось достаточно памятников, по которым можно воспроизвести главные черты юридического положения крестьян в Московском государстве XV и XVI вв. Прежде всего крестьянство было временным вольным состоянием, а не постоянным обязательным званием без права выхода из него: хлебопашец становился крестьянином, тяглом, с той минуты, как «наставлял соху» на тяглом участке и переставал быть им, как скоро бросал такой участок, переходил в другое, нетяглое состояние. Далее, на всем пространстве государства не было крестьян-собственников, сидевших на *своей* земле: *своеземцы* в областях бывших вольных городов в XVI в. постепенно зачислялись в служилые люди или смешивались с черными государственными крестьянами. Чужую землю, черную, дворцовую, поместную или вотчинную, крестьяне снимали на короткие сроки, обыкновенно на год, ежегодно возобновляя контракты с прежним землевладельцем, пока не переходили к новому. Когда крестьянин беднел, опадал животами, он объявлял, что ему не под силу пахать и оплачивать прежний участок, и переходил в беспашенные бобыли, либо выпрашивал себе льготный участок, в том и другом случае заключая новый уговор с землевладельцем или сельским обществом, если земля была государственная. Наконец, очень редкие крестьяне садились на участке со своим инвентарем, по крайней мере без подмоги от землевладельца или сельского общества. Эту подмогу крестьянин получал в различных видах: садясь на «жилой» участок, он входил в готовый двор с озимой рожью, посеянной и покинутой его предшественником, получал ссуду деньгами, скотом, земледельческими орудиями, чаще всего хлебом *на семена и емена* (на прокорм до жатвы); если участок был пустой, который предстояло разработать и обстроить, съемщику, сверх ссуды, давалось на известное число лет, «смотря по пустоте», льгота от казенных по-

дате́й или господских платежей и повинностей, нередко от тех и других вместе. Уходя от землевладельца, крестьянин обязан был за все это вознаградить его, возвратить ссуду, заплатить пожилое за пользование двором по узаконенной таксе. В XV в. дозволялось крестьянам, ушедшим без расплаты, выплачивать долги покинутым владельцам в течение двух лет без процентов. Ссуда, давалась ли деньгами, или вещами, носила общее название *серебра*, а крестьяне, ее получавшие, назывались *серебряниками*. Итак, право выхода из состояния, чужеземелье, краткосрочность аренды и отсутствие или недостаток своего инвентаря и даже своего дома — вот главные черты, которыми определялось юридическое положение крестьянства в те века.

Из них серебро имело роковое по своим последствиям значение для крестьянства. Страшное развитие этой формы долгового обязательства открывается из неизданной вотчинной книги Кириллова Белозерского монастыря, составленной во второй половине XVI в. Это перечень монастырских сел и деревень с обозначением вытей обрабатываемой крестьянами земли и оброка, получаемого с них монастырем. Всей арендуемой у монастыря земли показано в книге немного более 1½ тыс. вытей, которые были неодинаковы по размерам пашни. Круглым числом сеяли на выть по 5 четвертей с небольшим озимой ржи и почти по 12 четвертей разного ярового хлеба, более всего овса. Крестьянские дворы не везде обозначены, но круглым числом их приходилось немного менее двух на каждую выть, так что их можно считать около 3 тыс. Одни крестьяне имели свои семена, другие брали их у монастыря: первые пахали 464 выти, вторые — 1,075, т. е. 70% снятой у монастыря пашни находилось в пользовании людей, без помощи вотчинника не имевших чем засеять свои участки. Развитие поместного владения в те века, несомненно, содействовало распространению серебряничества. Множество пустовавшей казенной земли перешло в частное владение. Новые владельцы льготами и ссудой усиленно вытягивали из городского и сельского населения пропасть бездомного и голого люда, сажая его на пашню. Уже в XV в. такое положение владельческих крестьян как неоплатных должников возбуждало набожное сострадание добрых владельцев: в духовных грамотах, ради спасения



души отпуская на волю своих холопов, они массами прощали все серебро или половину его своим крестьянам. В памятниках тех веков, с некоторой точностью обозначающих экономическое положение владельческого крестьянина, он обыкновенно является серебряником и чуть не в каждой владельческой духовной наравне с холопом служит предметом предсмертной благотворительности. Еще не встречая в законодательстве ни малейших следов крепостного состояния крестьян, можно почувствовать, что судьба крестьянской вольности уже решена помимо государственного законодательного учреждения, которому оставалось в надлежащее время оформить и зарегистрировать это решение, повелительно продиктованное историческим законом.

Серебро было двоякое: *ростовое* и *издельное*. Первое было обыкновенным займом с уплатой процентов; второе составляло долг, с которого рост оплачивался работой крестьянина, *изделием*. В этом же смысле различались «деньги в селах в *росте* и в *пашне*». Серебро ростовое брали и у своих землевладельцев, и на стороне; издельное давали только своим крестьянам: это была арендная ссуда в собственном смысле. Так, барщина имела долговое происхождение, была накладной повинностью за беспроцентную ссуду, составлявшую прибавку к оброку за снятую землю. Пока в праве не выработалась идея кабального холопства, серебро издельное ничем юридически не отличалось от ростового, было таким же имущественным обязательством, не простиравшимся на личную свободу должника, пока последний не объявлял себя несостоятельным. Но, как скоро сложилась мысль, что работа за беспроцентный долг ставит должника в личную зависимость от заимодавца, эта мысль повлекла издельного крестьянина в сторону кабального холопа. Тогда в отношения крестьян и землевладельцев вмешалось государство, чтобы не потерять своих тяглов. Захваченное двумя интересами, частным и государственным, которые оба опирались на действующее право, но тянули в разные стороны, издельное крестьянство прошло по диагонали между холопством и тяглой свободой и выработалось в особый вид крепостного состояния, не получивший благодаря своему смешанному составу тех резких юридических очертаний, какими отличались все виды древнерусского холопства. Этот процесс

начался постепенным падением крестьянского права выхода.

Говоря о положении крестьян при Борисе Годунове, современный наблюдатель Шиль замечает, что еще при прежних государях московских землевладельцы привыкли смотреть на своих крестьян, как на *крепостных*. Такой взгляд сложился посредством приложения начал древнерусского долгового права к положению владельческих крестьян. Долг становился источником крепостной зависимости, когда должник не только обязывался служить или работать за рост, но и терял право уплатить самый капитал, т. е. прекратить зависимость по своей воле: это последнее начало было прямо выражено в апрельском указе 1597 г., предписавшем не принимать от кабальных холопов челобитий об уплате долга по служилым кабалам. Этим отличалось кабальное и жилое холопство от зависимости несостоятельного должника, по судебному приговору выданного кредитору головою *до искупа*: по первоначальному значению этого термина такой должник сохранял право уплатить долг и прекратить свою зависимость, не дожидаясь, пока заработает занятую сумму по установленному законом или обычаем годовому зачету. Потому же и закупа *Русской Правды* нельзя считать холопом: по одной статье *Правды* он мог отлучиться от хозяина, чтобы поискать денег для расплаты с ним, не нуждаясь в его согласии на это. В XVI в. отношения издельных крестьян к землевладельцам складывались так, что делали возможной чистую расплату со стороны первых только в очень редких случаях. Из приходо-расходной книги Корнилиева-Комельского монастыря 1576—1586 гг. видно, что *пожилое* за пользование двором платилось крестьянином не из года в год, а при уходе от землевладельца за все прожитые годы, и отдавалось ему назад, когда он возвращался к прежнему владельцу. Таким образом, оно составляло постоянно нарастающий долг. Этот налог был немаловажен по своим размерам: по *Судебнику* 1550 г. крестьянин платил за 4 года 124 деньги в местах лесных, а в полевых, где не было строевого леса, — 224 деньги. По рыночному значению тогдашних московских денег первая сумма равнялась приблизительно нынешним 40 руб., а вторая — 70 руб. По указу 21 ноября 1601 г. велено было взимать всюду высшую полевую норму пожилого. Точно так же

обыкновенно только при выходе возвращалась и ссуда; иногда, сверх того, уходящий крестьянин должен был по контракту заплатить еще неустойку. По порядным записям можно заметить постепенное увеличение и подмоги, и неустойки с конца XVI в., вероятно, вследствие подъема рыночных цен: первая с полтины возвышается до 5 руб. и при царе Михаиле иногда доходит до 20 руб., вторая с 1 руб. поднимается также до 5 руб., и эта сумма в первой половине XVII в. становится под названием *крестьянского заряда* наиболее обычной нормой неустойки для крестьян, садившихся на участок с небольшой ссудой и льготой или вовсе без ссуды. При значительной ссуде неустойка иногда составлялась из ее удвоения с прибавкой стоимости льготы и возвышалась до 30, даже до 50 руб., что при царе Михаиле равнялось нынешним 420 и 700 руб. Чтобы понять, как трудно было большинству крестьян во второй половине XVI в. рассчитаться с землевладельцами, можно взять случай с легкими сравнительно условиями: крестьянин, взявший при поселении ссуду в 3 руб. и проживший у землевладельца 10 лет, должен был при уходе заплатить эти 3 руб. и за двор по низшей полевой таксе пожилого — 1 руб. 55 коп., что в сложности равнялось приблизительно 300 руб. на наши деньги. Этим объясняется явление, которое становится заметно во второй половине XVI в.: крестьянское право выхода замирает само собою, без всякой законодательной отмены его, прямой или косвенной. Этим правом продолжали пользоваться те немногие крестьяне, поселение которых не соединялось ни с какими затратами для землевладельцев и которым потому легко было рассчитаться с ними, заплатив только за дворы, в которых они жили. Для остальных крестьян вольный переход выродился в четыре формы: побег, своз, сход с участка без ухода от владельца и сдачу участка другому крестьянину. Первая форма возвращала задолжавшему крестьянину свободу, но была незаконна; две другие допускались законом, но не возвращали крестьянину свободы; последняя допускалась законом и возвращала свободу, но была затруднительна сама по себе и возможна в редких случаях. Это экономическое перерождение права всего выразительнее засвидетельствовано указом 28 ноября 1601 г.: указ начинается объявлением, что царь позволил во всем своем государ-

стве «крестьянам давать *выход*», но далее речь идет не о выходе крестьян, а о вывозе их одними землевладельцами у других; под крестьянским правом выхода от землевладельцев к началу XVII в. привыкли уже разуметь только землевладельческое право вывоза крестьян. На всем этом и основалось притязание землевладельцев на задолжавших крестьян, как на своих крепостных.

Законодательство, не отвергая этого притязания, устанавливало только его границы, регулируя его основания. Переход крестьян с одного участка на другой без ухода от землевладельца был домашним делом последнего с первыми, не затрагивавшим ничего стороннего частного интереса, но он чувствительно затрагивал интерес казны. Сколько можно взглянуть в поземельные отношения владельческих крестьян по немногим вотчинным книгам конца XVI и начала XVII в., среди них господствовала чрезвычайная подвижность. Крестьяне редко подолгу засиживались на одних участках, в одних дворах. Но они не бегали, а оставались у прежних владельцев и только по соглашению с ними или переходили на тяглые участки меньшего размера, или садились на пустошь, на которой не лежало казенного тягла, или становились беспашенными бобылями, обязанными платить только бобыльский оброк вотчиннику. Последний от этого не терял жильца и работника, но казна лишалась тяглеца или части его прежнего тягла. Все эти операции, совершавшиеся в начале XVII в., прямо говорят об отсутствии поземельного прикрепления крестьян; косвенно указывает на то же законодательная мера, против них направленная. Это был целый переворот в податной системе. В XVI в. поземельная подать распределялась по пространству пахотной земли, в царствование Михаила — по количеству тяглых дворов; в писцовых книгах этого царствования окладной единицей служит не прежняя *выть*, известное количество десятин пашни, а живущая *четь*, состоявшая из известного числа тяглых крестьянских и бобыльских дворов независимо от пространства пашни. Предстоит еще расследовать, когда введена была эта важная реформа; можно только догадываться, что мысль ее или первый опыт относится к правлению Бориса Годунова. В нашей литературе большое недоумение возбудило неясное известие вышеупомя-

нутого Шияля, что Борис пожаловал крестьян, которых дворяне привыкли считать своими крепостными, и каждому дворянину-землевладельцу дал положение (Ordnung), сколько обязаны ежегодно платить ему и работать на него его поденные. Это известие едва ли не было внушено предпринятой на новых началах поземельной описью, которая должна была переложить подати с земли на дворы и с которой обязаны были сообразоваться землевладельцы в распределении оброков и изделий между крестьянами. По крайней мере в одном акте 1593 г. правительство сделало намек на задуманную им большую поземельную опись, которая должна была изменить основания не только податного обложения, но и землевладельческих поземельных доходов<sup>25</sup>. Как бы то ни было подворное обложение избавляло казну от потерь, какие она терпела от перехода крестьян с больших участков на меньшие, с тяглых жилых жеребьев — на нетяглые пустошные и из пашенных тяглецов — в беспашенные бобыли: от всех этих операций количество значившихся в имении подворных казенных тягол теперь не уменьшалось.

Правительство издавна принимало меры против крестьян, покидавших свои участки не в срок и без расчета с землевладельцами: их возвращали на старые места доживать до срока или, не трогая с новых мест, заставляли доделывать условленные работы на покинутых землевладельцев за взятое у них серебро, а в уплате серебра представлять поруку. В конце XVI в. очень строго отличали законный выход крестьянина от незаконного или выход «с отказом» от выхода «побегом». Однако отношение законодательства к беглым долго не поддерживало притязаний землевладельцев на личность задолжавшего крестьянина как крепостного. Во-первых, оно предписывало преследовать беглого не иначе, как по иску землевладельца; притом самые иски были подчинены сроку давности, по истечении которого беглый не подлежал преследованию. С начала XVII в. действовал пятилетний срок, законом 1607 г. был установлен 15-летний срок, какому подлежали всякие иски по обязательствам. В первые годы царствования Михаила был восстановлен прежний пятилетний срок, о чем узнаем из одной отступной записи, сохранившейся среди неизданных актов Троицкого Сергиева монастыря. У Колтов-

ского в 1612 и 1615 гг. бежали крестьяне в деревни Троицкого монастыря; некоторые из них по своевременному иску владельца были ему выданы; от других и в том числе от крестьянки, бежавшей в 1615 г., он отступился в 1621 г., потому что «из урочных лет они вышли». В 1615 г. Троицкому монастырю дана была временная привилегия возвращать своих беглецов за 11 лет, с 1 сентября 1604 г. по 1 сентября 1615 г., потом установлена была для исков о беглых этого монастыря девятилетняя давность, в 1637 г. распространенная на дворян и детей боярских некоторых южных уездов, пока, наконец, в 1642 г. для всех землевладельцев не был назначен десятилетний срок. Такое отношение законодательства к беглым сообщало договорам крестьян с землевладельцами характер совершенно частных гражданских сделок без всякой полицейской примеси. Указ 9 марта 1607 г. впервые внес полицейский элемент в вопрос о беглых крестьянах. Это едва ли не самый важный закон в истории установления крепостного права на крестьян<sup>26</sup>. Он первый прямо выразил начала, которые легли в основание этого права. Он, во-первых, признал личное, а не по-земельное прикрепление владельческих крестьян, т. е. признал возникшее в XVI в. притязание, считавшее крестьян по ссудным записям крепкими не земле, а лично землевладельцам; указ гласит, что крестьянам, которые за 15 лет до указа «в книгах 101 (1592—1593) года положены, быть за теми за кем писаны». Далее, в число доказательств крепостной зависимости указ внес крепость особого рода, непохожую на прежние, *писцовую книгу*. Холопы укреплялись актами частного характера, полными, кабалами, записями и т. д. Значение специальной и преимущественной крепости для крестьян получил теперь официальный документ общегосударственного характера: крестьяне, вышедшие после переписи 101 г., выдавались прежним владельцам, за которыми они записаны в книгах того года. Наконец, указ превратил крестьянские побег из гражданских правонарушений, преследуемых по частному почину потерпевших, в вопрос государственного порядка: независимо от исков землевладельцев розыск и возврат беглых возложен указом на областную администрацию под страхом тяжелой ответственности за неисполнение этой новой обязанности. Соответственно этому новому взгляду на побег как на-

рушение не только частного интереса, но и общественного порядка и за прием беглого, прежде безнаказанный, указ назначил, сверх вознаграждения потерпевшему владельцу, значительный штраф в пользу казны — по 10 руб. (около 120 руб. на наши деньги) за каждый двор или одинокого крестьянина, а подговоривший к побегу, сверх денежной пени, подвергался еще торговой казни (кнутом).

Действие начал, признанных законом 1607 г., прежде всего отразилось на праве своза крестьян землевладельцами. Это право было юридическим последствием и одной из форм крестьянского права выхода: крестьянин, не имевший средств расплатиться с своим землевладельцем, мог войти в соглашение с другим, который выкупал его и свозил на свою землю. Во второй половине XVI в. эта форма крестьянского выхода заметно приобретала господство: большинство крестьян, которые меняли землевладельцев, уже не переходило, а перевозилось. Но успехи кабального права стали затруднять и свозы. Закон запрещал вывозить крестьян «сильно не по сроку, без отказу и безпошлинно». Отказ состоял в том, что отказчик по соглашению с чужим крестьянином заявлял его владельцу в ноябре около Юрьева дня о своем желании свезти его к себе и просил принять у него «выход» или узаконенные пошлины за того крестьянина, а также серебро или ссуду, взятую им у прежнего владельца; последний не мог не принять правильно сделанного отказа. Но когда под влиянием начал кабального холопства стал утверждаться взгляд на крестьянскую ссуду, как на долговое обязательство, непрекращаемое без согласия ссудодателя, землевладельцы начали считать себя вправе не принимать и правильно сделанного отказа. Притом некоторые виды ссуды, особенно многолетняя льгота, нелегко поддавались точной и бесспорной оценке. Крестьянину, пришедшему с голыми руками, землевладелец помогал в льготные годы обзавестись, и, едва он начинал приносить доход своему владельцу, являлся сосед с отказом, чтобы взять этого крестьянина к себе с его инвентарем и воспользоваться плодами чужих затрат и усилий. Узаконенной таксы для безобидной оценки этих затрат и усилий не было и быть не могло. Этим объясняются раздающиеся во второй половине XVI в. жалобы отказчиков на то, что землевла-

дельцы не выпускают отказываемых крестьян, куют их в железа или, согласившись на вывоз, приняв отказ, грабят животы вывозимых крестьян и насчитывают на них слишком много пожилого. Значит, землевладельцы простирали притязание на самую личность задолжавшего крестьянина, а отказываясь от личности, считали себя вправе удерживать его имущество как вознаграждение за понесенные убытки. К концу XVI в. среди споров, драк и насилий, ежегодно повторявшихся в ноябре и наполнявших суды кляузными тяжбами, по-видимому, восторжествовал тот взгляд, что владельческих крестьян нельзя вывозить без согласия их владельцев. Этому взгляду давал некоторую опору настойчиво повторявшийся во второй половине XVI в. запрет землевладельцам, получившим от правительства податные льготы для успешнейшего заселения пустых земель, перезывать на эти пустоши тяглых крестьян, хотя этот запрет имел в виду не столько владельческих, сколько черных казенных крестьян. На том же взгляде стали и ноябрьские указы 1601 и 1602 гг. Эти указы выделяют крупных землевладельцев, людей высших чинов и церковные учреждения, запрещая крестьянский «выход», т. е. вывоз, как на их земли, так и с их земель; это запрещение распространено и на дворцовых и черных крестьян. Свозить крестьян дозволено только друг у друга людям низших чинов, мелким землевладельцам, масса которых состояла из провинциального дворянства; притом и это дозволение указ 1601 г. ограничил одним условием: каждый отказчик мог отказать у одного владельца не более двух крестьян зараз. Легко рассмотреть мотивы этих указов. В условиях вызова указы обозначают уплату пожилого, но ничего не говорят о ссуде, следовательно, они имели в виду преимущественно крестьян, расчет которых с землевладельцами был сравнительно прост, не осложнялся значительными ссудами и льготами, а такие чаще встречались у мелких, чем у крупных землевладельцев, притом мелкие и наиболее нуждались в крестьянах. Указы определяют, кому у кого дается *право* вывозить крестьян без согласия владельцев, но непременно с согласия вывозимых; при этом оба указа признаются, что они вызваны именно теми беспорядками и насилиями, которые происходили от нежелания владельцев выпускать отказываемых. Но это право было дано временно только



на те сентябрьские годы, в начале которых были изданы оба указа. Значит, вывоз как право отказчика, возникшее из соглашения его с крестьянином, допускался как временная уступка старым привычкам и частным интересам, а в принципе было уже признано постоянным правилом, что вывозить крестьян можно только с дозволения владельцев. В законе 1607 г. ничего не сказано о вывозе, и в междоусобице вопрос некоторое время оставался нерешенным. В наказе, данном от имени Владислава в конце 1610 г. Левшину, посланному управлять Чухломой и черными волостями в ее уезде, московское правительство предписывало крестьян за государя в казенные волости ни из-за кого не вывозить *до указа*. Но люди, руководившие русским обществом в смутное время, уже склонялись к решению, подсказанному законодательством прежних лет, и за это им нельзя отказать в известном политическом такте, — в большинстве крупные землевладельцы, которым было выгодно право вывоза, они были решительно против него, когда вывоз из права, ограждавшего крестьянскую личность, превратился в борьбу землевладельцев за крестьянина, в средство биржевой игры его личностью. Известно, что договор Салтыкова с Сигизмундом 4 февраля 1610 г. и договор московских бояр 17 августа того же года поставили в число условий избрания Владислава на московский престол запрещение крестьянского выхода, под которым в то время, как мы видели, разумелся, собственно, вывоз без согласия владельца. Согласно с этим условием в грамотах 1611 г. на вотчины, пожалованные известному искателю приключений и автору любопытных записок о Московии Маржерету, читаем строгое предписание крестьянам из-за вотчинника за бояр и других чинов людей не выходить и никому их не вывозить, а вышедших и вывезенных сыскивать и возвращать к прежнему владельцу<sup>27</sup>. В царствование Михаила вывоз был окончательно отменен, и закон 9 марта 1642 г. отнесся к нему даже строже, чем к крестьянским побегам: для исков о вывозных крестьянах, т. е. вывезенных «насильством», без согласия владельца, назначена 15-летняя давность, тогда как иски о беглых подчинены были давности 10-летней.

Право вывоза было формой, в которую вырождалось крестьянское право выхода, по мере того как переставало

действовать в первоначальном чистом виде. В свою очередь и право вывоза, по мере того, как его стесняло законодательство, перерождалось в право передачи или право сделок на крестьян без земли. Личная крепость задолжавшего издельного крестьянина, признанная законом 1607 г., не была вполне кабальная: она основывалась не на праве, а на экономическом факте, т. е. не на том, что крестьянин не имел права уйти от владельца, расплатившись с ним, а на том, что он не имел собственных средств расплатиться с ним, чтобы уйти от него. Отмена права вывоза уничтожила только одно из последствий права выхода — вывоз без согласия владельца; но вывоз по соглашению с последним, не сопровождавшийся иском о вывозном крестьянине, не был отменен, а это и была сделка на крестьянина без земли. Такая сделка отличалась от прежнего вывоза только иным сочетанием прежних отношений, происшедшим от перестановки участвовавших в операции сторон: сделка крестьянина с отказчиком на отчет своего владельца превратилась в сделку владельца с отказчиком на счет своего крестьянина. Безземельные операции с крестьянами появляются в актах, вскоре после того как законодательство начало стеснять вывоз, и принимают довольно разнообразные формы. Несколько таких операций встречаем в актах Троицкого Сергиева монастыря. В 1632 г. поместный есаул Бельский отдал монастырю вотчинного своего крестьянина с семьей, потому что «того крестьянина взяла бедность и была жена его в закладе у стародубца Гринева», у которого выкупили ее монастырскими деньгами. В 1628 г. тот же монастырь, вчинивши иск против землевладельца Языкова и его крестьян «в безвестной смерти» попа из монастырского приселка, по сделке с Языковым взял у него за того священника двух его крестьян с семействами. За станичным мурзой в Алатырском уезде жили в крестьянах русские люди; в 1627 г. он поступился ими «не из неволи» с семьями и животами Троицкому Алатырскому монастырю, который вывез их в свою вотчину. Во второй половине XVII в. были в обычае разнообразные сделки на беглых крестьян: их продавали, дарили, меняли, закладывали. Одну такую сделку, притом на крестьян поместных, распоряжение которыми было более стеснено, встречаем уже в 1620 г. Писарев, искавший на Троицком монастыре двух крестьян, бежавших

из его поместья, по мировой сделке уступил их монастырю с семьями и животами «вовсеки» за 50 руб., т. е. продал их. К безземельным сделкам на крестьян относилось и условие, по которому при выкупе проданной, заложенной или отказанной в монастырь вотчины покупщику, залогодержателю и монастырю предоставлялось выводить из той вотчины крестьян, поселенных в ней после отчуждения. Это условие довольно обычно в купчих, закладных и вкладных грамотах первой половины XVII в. и всего нагляднее доказывает как успехи личного укрепления крестьян за владельцами, так и отсутствие их поземельного прикрепления. Самый ранний нам известный случай относится к 1611 г.: вдова Власьева по духовной мужа отказала в Троицкий монастырь вотчину, предоставив ему право в случае выкупа вотчины родственниками вывести из нее крестьян, им посаженных, со всем их имуществом в свои вотчины. Наконец, довольно рано является и простейший, односторонний способ безземельного распоряжения крестьянами без участия другого владельца — отпуск на волю. По форме он близко подходил к своему первоначальному юридическому источнику — вольному крестьянскому выходу, так что иногда его трудно отличить от последнего. В 1622 г. Ларионов продал Маматову пустошь с дворишком, хлебом, животиной и «всякой деревенской посудой»; но об единственном крестьянине, жившем в той пустоши, в акте поставлено покупщику условие: «А до крестьянина ему и до его хлеба до ржи (в земле) дела нет, его отпустить со всем». По акту нельзя разобрать, получил ли крестьянин отпуск по милости своего владельца, или по собственному праву как вольный арендатор, рядившийся на землю Ларионова и не обязанный оставаться на ней по переходе ее к Маматову<sup>28</sup>.

Со стороны законодательства незаметно ни малейшего противодействия безземельному распоряжению крестьянами, этой третичной и наиболее извращенной форме крестьянского выхода, незаметно даже такого противодействия, какое было оказано вторичной форме, вывозу. Потому не было оговорено законом согласие крестьянина при его передаче одним землевладельцем другому, как оно было оговорено в законах о вывозе. Но законодательство рано предусмотрело и спешило предупредить одно политическое неудобство, которым

одинаково грозили обе формы. Переходя из рук в руки без земли, задолжавший крестьянин тем легче мог выйти из тяглого состояния, что второй *Судебник* давал ему право продаться с пашни в полное холопство. Но один из первых указов, ограничивавших право вывоза, ставил в 1602 г. непременным его условием, чтобы вывозимые крестьяне и у нового владельца оставались крестьянами. Согласно с этим, закон 1 февраля 1606 г. предписывал беглым крестьян, отдавшихся в холопство, возвращать прежним владельцам в крестьянство; исключение сделано только для крестьян бедных, не имевших чем прокормиться в голодные 1602—1604 гг. Этим законом отменена была упомянутая статья *Судебника*. Но до *Уложения* новое требование закона, по-видимому, еще не было достаточно уяснено и нарушения его даже утверждались властями. В крепостной новгородской книге записан такой случай: вольный человек пошел в дом к крестьянину, женившись на его дочери; это значило, что он согласился стать крестьянином того владельца, за которым жил его тесть, но, «не похотя жить в крестьянстве», он с женой бежал к другому владельцу, в 1645 г. был выдан из бегов прежнему и в 1647 г. дал ему на себя служилую кабалу, которую утвердил губной староста<sup>29</sup>. *Уложение* грозит уже наказанием землевладельцам за прием своих крестьян во двор в кабальное холопство и резко обособляет крестьян даже от тяглого городского населения, запрещая им под страхом кнута приобретать в городах тяглые дворы и торговые заведения. Этим *Уложение* замыкало крестьянское сословие с одной стороны: всякий вольный человек, на котором не лежало ни тягла, ни службы, мог вступить в крестьянство, но раз попавший в это звание уже не мог перейти в другое. Землевладелец мог освободить своего крестьянина, крестьянское общество могло выслать своего члена; отпущенный или высланный тогда становился *вольным*, т. е. нетяглым человеком без звания, без определенного положения в обществе. Но если он хотел пристроиться, приобрести определенное положение, он должен был вернуться в прежнее звание, порядившись за кого-нибудь в крестьяне или бобыли. Этим крестьянство отличалось от холопства: отпущенный на волю холоп мог не только вступить в холопство к другому господину, но и принять городское или крестьянское тягло. После *Уложения* эта

замкнутость крестьянства была выражена точнее и решительнее: по указу 23 мая 1681 г., если вольноотпущенные холопы или крестьяне били кому челом в холопство, велено на первых давать служилые кабалы, а на вторых — ссудные записи, т. е. принимать их в крестьяне, а не в холопы, а указом 7 августа 1685 г. запрещено было принимать крестьян в посады даже с отпускными от их владельцев. Такая безвыходность крестьянского звания во второй половине XVII в. называлась *вечностью крестьянской* в отличие от *крестьянства*, под которым разумели собственно зависимость, привязывавшую крестьянина к известному землевладельцу или крестьянскому обществу.

Это двойное прикрепление к званию и к лицу владельца подало повод думать, что владельческие крестьяне вместе с казенными были прикреплены к земле и что это общее прикрепление, установленное особым законом в конце XVI в., было завершено *Уложением* 1649 г. Этого мнения нельзя доказать. В законодательстве можно заметить стремление прикрепить к земле казенных крестьян, дворцовых и черных. Следы этого стремления заметны гораздо раньше предполагаемого общего прикрепления крестьян, еще в удельные века; источником этих попыток было естественное желание удельных правительств обеспечить себе тягловцев среди общей бродячести населения. С половины XVII в. в числе частных мер, направленных к удержанию крестьян на дворцовых и черных землях, действовало узаконение, неоднократно повторявшееся в жалованных грамотах: землевладельцам, получавшим право для заселения пустых земель давать поселенцам льготу от податей на известное число лет, ставилось условие «называти на льготу крестьян от отцов детей и от братьей братью и от дядь племянников и от сусед захребетников, а не с тяглых черных мест, а с тяглых черных мест крестьян не называти», как читаем в грамоте Нагому 1575 г. Но общего решительного закона не было, и потому переходы крестьян с черных и дворцовых земель продолжались почти до самого *Уложения*. Из нерешительных попыток сложилась по крайней мере неясная идея поземельного прикрепления, выразившаяся в *Уложении*: оно предписывает беглых дворцовых и черных крестьян вывозить по писцовым книгам «на старые их

жеребьи». Но владельческих крестьян никогда и не пытались прикреплять к земле, ни в XVI, ни в XVII вв., и именно потому, что они не были прикреплены к земле, они стали крепостными. *Уложение* даже как будто не понимает прикрепления владельческих крестьян к земле, хочет знать лишь то, за кем они по книгам записаны, а не то, к какому обществу или к каким участкам приписаны. Потому оно предписывает просто возвращать беглых владельческих крестьян их владельцам по книгам, не упоминая об их старых жеребьях, и допускает много случаев, когда крестьянин мог быть оторван от насиженного участка: его передавали от одного владельца другому за женитьбу на беглой или за чужого крестьянина, убитого им либо его владельцем, иногда даже другим крестьянином того же владельца, переводили из отчуждаемого поместья или вотчины на другую землю отчуждавшего, отпускали на волю без земли. Практика до *Уложения* и после вводила и другие случаи, которым также не мешал закон: вывозы, разнообразные сделки без земли были бы невозможны при поземельном прикреплении. Все эти случаи нельзя считать исключениями, потому что не существовало самого правила. Законодательству приходилось оберегать три интереса, имевшие политическую важность, — владельческий, крестьянский и казенный; первый состоял в упрочении личной крепости крестьян, второй — в поддержке их хозяйственной и податной состоятельности, третий — в прикреплении их к государственному тяглу вообще, а не к тому или другому тяглому участку. Но все эти интересы, тесно связанные друг с другом и одинаково важные для законодателя, не всегда были дружны между собою и влекли его в разные стороны. Законодательство долго колебалось между этими влечениями. Его колебания обнаруживались всего яснее в узаконениях о сдаче участков и о давности по искам о беглых. Из всех производных форм крестьянского выхода сдача участков всего ближе подходила к своему юридическому первообразу: крестьянин, желавший покинуть участок, но не могший исполнить принятых на себя обязательств, сажал на свое место другого, соглашавшегося нести эти обязательства. Землевладельцы не мешали таким замещениям, не причинявшим им потерь и часто преудержавшим их: обессилевший животоми крестьянин,

потерявшая главного работника семья переходили в малоодоходные для владельца бобыли, но подысканные ими «жилыцы» снимали с них участки и восстанавливали их доходность. Зато казна ничего не выигрывала от этих сдач и нередко много теряла. Из поземельных актов видно, что в XVI и первой половине XVII в. дворцовые и черные крестьяне, тяготясь податями и повинностями, лежавшими на их участках, продавали их другим крестьянам, т. е. продавали, собственно, не землю, которая была казенная, а хозяйственные постройки, приспособления и инвентарь, сами же иногда рядились пахать только что проданные свои участки, но с условием в предстоящую перепись не записываться: это значило, что из тяглых крестьян они переходили в нетяглые съемщики или захребетники. Благодаря такой операции при подворном обложении продавец переставал платить казне, а покупатель платил не больше прежнего. При переписи 1646 г. таких продавцов, переходивших в нетяглые состояния, велено было возвращать в тягло. Но безусловно запретить сдачу и всех сдатчиков водворять на прежние места значило бы отнять у бедневших казенных крестьян возможность поправиться переходом на владельческие земли с подмогой и разорить тех, которые успели устроиться на новых местах. Потому еще в 1661 г., как видно из одного наказа, косвенно разрешалась сдача тяглых дворов и участков с условием податной исправности заместителей: возвращать на прежние места предписывалось лишь покидавших свои жеребьи впусте, не трогая тех, которые продали или сдали в тягло свои участки, если преемники исправно тянули тягло и, разумеется, если сдатчики не выходили из тяглого состояния. В интересе мелких землевладельцев была отменена в 1646 г. давность для исков о беглых крестьянах. Но многие беглые устраивались в городах и становились хорошими посадскими тяглецами, прежде чем покинутые владельцы успевали вчинить о них иски. Во время переписи 1678 г. они были внесены в книги уже по новым местам жительства. Рядом указов с 1655 г. таких беглецов запрещалось возвращать по искам владельцев в прежнее состояние, потому что владельцы «не били о них челом многое время». Любопытно, что такая неопределенная обратная давность была распространена и на беглых холопов — знак, что мысль

закона 9 марта 1607 г. не исчезла и после. О действии этих указов можно судить по составленному в 1694 г. списку беглых крестьян, записанных в псковский посад; таких беглецов, поселившихся в Пскове с 1646 по 1686 г., оказалось 476<sup>30</sup>.

Итак, законодательство не устанавливало крепостного права на владельческих крестьян ни прямо, ни косвенно; оно не только не прикрепляло их к земле, но не отменяло и права выхода, т. е. не прикрепляло крестьян прямо и безусловно к самим владельцам. Однако право выхода уже очень редко действовало в первоначальном, чистом виде: уже в XVI в. оно начало принимать разнообразные формы, более или менее его искажавшие. Законодательство знало только эти формы: оно следило за их развитием и против каждой из них ставило поправку, предупреждавшую государственный вред, каким она грозила. Крестьяне бросали тяглые участки, не уходя от владельцев; правительство изменило систему тяглого обложения, чтобы помешать сокращению тяглой пашни. Усилились побег и иски о беглых: усиливая меры против беглых и их приема, оно законами о давности старалось ослабить иски и споры. Право вывоза вызывало беспорядки и запутанные тяжбы: вывоз был стеснен условием согласия со стороны владельца. Тогда вывоз превратился в безземельные сделки на крестьян: установление вечности крестьянской предупредило вывод крестьян из тягла посредством этих сделок. Владельцы и крестьянские общества допускали вывод крестьян со сдачей участков: сдача была ограничена условием податной исправности заместителей и обязательством сдачиков оставаться в тяглом состоянии. Так, не внося в крестьянские отношения неожиданных переворотов, предоставляя этим отношениям развиваться согласно с действовавшим привычным правом, законодательство только устанавливало границы, которых они не должны были переступать в своем развитии. Для изучения этого развития надобно обратиться к частным актам. Самые важные из них — *порядные*, или *ссудные*, *записи*. Нам известно до 200 таких записей, изданных и неизданных; ряд их начинается с половины XVI в. и идет до начала XVIII в.; половину этого запаса составляют новгородские записи 1646—1650 гг. Следует наперед оговориться, что этого очень мало, чтобы проследить все моменты



и местные видоизменения крепостного крестьянского права.

Право выхода было важно для крестьянина более всего потому, что обеспечивало ему право рядиться, договором определять свои отношения к владельцу или обществу, у которого он снимал землю. Порядные записи дают возможность видеть, в каких случаях имел место договор и на каких условиях. Очень редки порядные, написанные при переходе крестьянина от одного владельца к другому. Но любопытно, что такие случаи бывали еще в первой половине XVII в.: из 6 таких порядных 2 относятся к 1576 и 1585 гг., 1 — к 1634 г. и 3 — к 1648 г. Характерны две записи последнего года. В одной является крестьянин из-за Невы, который «от немецкаго разоренья» бросил свой участок, бродил по наймам и, наконец, порядился за нового владельца. Другая описывает превратности, испытанные крестьянином: из вольных людей он порядился к Осинину, по смерти которого его силой вывез к себе со всеми животами Загоскин; от него он вернулся, но уже без животов, на старый свой жеребий по прежней порядной с Осининым и, наконец, порядился к Сукину<sup>31</sup>. Все эти случаи наглядно подтверждают, что право выхода оставалось неотмененным еще в XVII в., но что оно замирало уже в XVI в. Гораздо чаще встречаются новые договоры с прежними владельцами или при переходе на новые участки, или при изменении условий пользования прежними. Такие договоры идут с половины XVI в. до самого *Уложения*. Иногда они заключались целыми обществами; так, в 1599 г. пятеро крестьян Вяжицкого монастыря порядились на его пустошь с обязательством поставить пять дворов и распахать пашню, т. е. основать новое сельское общество. Даже с беглыми при возврате из бегов владельцы заключили новые договоры. Выше была упомянута порядная 1599 г. с крестьянином, выданным из 8-летнего побега: беглец получил даже ссуду и льготу при поселении у старого владельца. Впрочем, это единственный прямой договор с беглым, нам известный; позднее такие договоры заменяются поручными, в которых владельцы рядились не с самими крестьянами, а с их поручителями, принимавшими на себя ответственность за исполнение беглецом условий договора. Притом и такие ряды скоро исчезают: самый поздний

нам известный, сохранившийся в актах Троицкого Сергиева монастыря, писан в 1623 г. Любопытно, что с конца XVI в. и договоры с новыми крестьянами начали скреплять поручкой других крестьян того же владельца или сторонних людей. Такие поручные идут с 1580-х годов. В первой половине XVII в. поручка была, по-видимому, обычным средством закрепления крестьянских договоров: в 1627 г. одна вдова, отдавая в Троицкий монастырь вотчину мужа, пишет во вкладной, что муж ее ту вотчину устроил и крестьян посадил, «и ссуда им всякая давана и поручные на них записи, что им жити в крестьянех, поиманы».

Во всем этом пока еще нет прямых следов крепостного права. Однако действие договора, видимо, стесняется, и отношения договаривающихся сторон становятся более натянутыми. На то же указывает и отсутствие порядных с вывозными крестьянами: если это не случайный пробел в материале, из этого можно заключить, что договоры отказчиков с вывозными крестьянами рано стали заменяться сделками владельцев на крестьян, а это было уже прямым предвестием приближавшейся личной крепости. В условиях порядных находим подтверждение этой догадки. Огромное большинство порядных принадлежит вольным людям, впервые вступавшим в крестьянство. Но условия их договоров не были исключительными, по которым нельзя было бы судить об отношениях всего крестьянства; перемена, происходившая в положении последнего, разумеется, отражалась каким-либо новым условием и в порядных вольных людей. Прежде всего заслуживает внимания неопределенность срока, на который заключался договор. Эта бессрочность объясняется судьбою права обеих сторон прекращать договор. В XVI в. это право было обоюдное: как владелец ежегодно мог отказать крестьянину от участка, так и крестьянин ежегодно мог уйти от владельца, расплатившись с ним. До последней четверти XVI в. по порядным незаметно никаких ограничений крестьянского права выхода. Эти ограничения являются неразлучными спутниками подмоги в ее различных видах. Порядные без всякой подмоги ничем не стесняют крестьянина в праве уйти от владельца. Но с конца XVI в. такие простые контракты становятся все реже. Вместе с тем все усиливаются предосторожности владельцев: договор

обязывает крестьянина в случае ухода возвратить подмогу или заплатить неустойку за подмогу и льготные лета, иногда неустойку сверх подмоги. Но сперва и уход оплачивался только при неисполнении обязательств, принятых крестьянином. Не ранее второго десятилетия XVII в. в числе обязательств крестьянина является условие не уходить или «на сторону не рядиться». Однако до конца третьего десятилетия того века порядные признают за крестьянином право нарушить и это обязательство: заплатив «за убытки и волокиту», причиненные этим нарушением, крестьянин правомерно разрывал все свои связи с владельцем. Еще яснее обозначаются такие отношения в другой форме выхода, заменявшей уплату неустойки, — в праве посадить вместо себя другого «жильца», передав ему свои обязательства по участку. Это условие довольно часто является в порядных и поручных с конца XVI в. до самого Уложения. Словом, следя за порядными в продолжение 80 лет с половины XVI в., и не вспомнишь, что на половине этого хронологического пути стоит сказание о прикреплении крестьян к земле. Зато те же порядные дают понять, что еще до этого легендарного пункта в отношениях между крестьянами и владельцами начался скрытый переворот, затягивавший эти отношения в крепкий узел. Сохранилась одна порядная 1628 г., в которой вольный человек обязуется «за государем своим жить в крестьянех *по свой живот безвыходно*»<sup>32</sup>. В одной ссудной 1630 г. крестьяне, обязуясь в случае ухода заплатить монастырю за подмогу и льготу, прибавляют: «И вперед мы Тихвина монастыря крестьяне». Значит, они сами навсегда отказывались от права выхода и неустойку превращали в пеню за побег, не возвращавшую им этого права и не уничтожавшую договора. Скоро это обязательство стало общим заключительным условием ссудных записей, принимая очень разнообразные формы выражения; наиболее стереотипная и сжатая из них гласила: «А крестьянство и впредь в крестьянство». Это условие впервые сообщало ссудной записи значение настоящей крепости, утверждавшей личную зависимость без права зависимого лица прекратить ее. Такое значение выражалось формулой, в какую облекали это условие иные ссудные, прибавляя к обязательству крестьянина уплатить неустойку за уход такое условие: «А вперед таки я госу-

дарю своему по сей записи крепок безвыходно». Почти теми же словами выразалось это обязательство в жилых холопских записях. Вместе с этим условием в ссудных записях является и новый термин: крестьянин стал звать своего владельца *государем*, как называли холопы своего господина. Если не ошибаемся, не раньше 1630-х годов появляется в актах и для владельческих крестьян название *крепостных*. В этом смысле владельческое крестьянство еще до *Уложения* обозначалось как особый вид крепостного состояния, параллельный холопству. На соборе 1642 г. некоторые дворяне предлагали населить взятый у турок Азов, кликнув клич, кто пожелает пойти, «окроме крепостных людей, холопей и крестьян».

Итак, важное условие, сообщившее отношениям крестьян к владельцам крепостной характер, не было навязано им законодательством. Оно явилось юридическим подтверждением мысли, последовательно развившейся из кабального права посредством приложения условий служилой кабалы к издельному крестьянству. Этих условий было два: служба или работа за рост и непрерываемость службы по воле холопа. Работа за рост, изделье было давним условием крестьянской ссуды, но только с конца XVI в. ему стали придавать значение, какое имела кабальная служба за рост. Во второй четверти XVII в., если не раньше, явилось и другое условие как последствие первого — непрерываемость обязательной работы и личной зависимости по воле крепостного. Вместе с этим в крестьянской крепости произошел совершенно такой же перелом, какой мы видели в крепости кабальной. Как неволя кабального холопа, первоначально вытекавшая из займа по уговору, стала потом утверждаться на уговоре без займа, так и крестьянин, укреплявшийся прежде порядной записью с подмогой, теперь становился крепостным по записи и без подмоги. В XVI в., когда начала служилой кабалы стали прививаться к порядной записи, кабальное холопство еще не успело разделиться на служилое без займа и заемное жилое. В первой половине XVII в., когда эта прививка закончилась, разделение кабального холопства совершилось. Порядная запись, усвоив основные условия кабального холопства, их последствия развивала по готовым схемам его позднейшего вида — холопства жилого. Это холопство отличалось от служилого большей свободой

в установлении границ зависимости и разнообразием ее условий. В холопстве кабальном все это было точно определено законом или обычаем и не обозначалось в кабале, благодаря чему последняя усвоила простую и однообразную форму. Обязательство крестьянина жить весь свой век за государем сближало ссудную запись с теми жилыми, в которых слуга неопределенно обязывался служить своему хозяину, его жене и детям; в ссудных второй половины XVII в. иногда прямо обозначалось и это обязательство: «а крестьянство мое и впредь ему государю моему и жене его и детям в крестьянство». Зато нет ни одной ссудной с кабальным термином — жить за владельцем «по его живот», как нет ни одной, в которой крестьянин по смерти владельца возобновлял бы договор с его женой или детьми. Далее, жилые записи обыкновенно довольно подробно обозначали, что хозяин давал слуге и каких услуг за это мог от него требовать. Этими услугами, собственно, и определялось пространство власти хозяина. Таково же содержание и ссудных записей. Господскую власть над личностью крестьянина они определяют как совокупность прав хозяйственного распоряжения крестьянином, т. е. его трудом. Зависимость крестьянина выражалась в платежах и изделиях на владельца. Подробности тех и других не относятся к нашему вопросу; но важны некоторые их особенности. Обыкновенно платежи, подати и оброки соединяются в порядных с изделиями. Исключение составляли бобыли, которые не брали тяглых участков и обязывались либо за изделие платить известный оброк, либо за оброк исполнять известные работы, да те редкие крестьяне, которые садились на тяглые участки без ссуды и были свободны от изделия. Последних случаев в новгородских крепостных книгах не более 6 на 103 порядные записи. Далее, назначение изделия и оброка предоставлялось владельцу. Во многих порядных повторяется обязательство крестьянина «всякое помещицкое дело делать, чем меня помещик пожалует, изоброчит, с соседы вместе по своему участку». В других записях крестьяне обязуются владельцу «всякую страду страдать и оброк платить, чем он изоброчит». Так порядные оправдывают замечание Котошихина, что владельцы «свои подати кладут на крестьян своих сами». Исключений очень мало: из 103 порядных в новгородских книгах

только в двух выговорен крестьянином определенный оброк взамен изделия и только в шести точно обозначено, сколько дней в неделю обязан работать крепостной. Притом все эти шесть порядных принадлежат крестьянам одной половины Шелонской пятины и объясняются местным обычаем. Наконец, в порядных XVII в. нет следов прикрепления крестьян к земле по закону. Иные крестьяне обязывались жить на своих участках безвыходно. Но это было их добровольное условие: они сами прикрепляли себя к земле. Другие, напротив, уговаривались жить в известной деревне владельца или «где инде полюбится», либо «где государь пожалует, мне повелит в своих деревнях или в пустошах поставиться двором». До *Уложения*, как и после, крестьянские договоры предоставляли владельцам право переводить крестьян с одних участков на другие. В одной порядной, писанной после *Уложения*, крестьянин обязуется жить везде, «где он, государь, ни прикажет, в вотчине или в поместье, где он изволит поселить». В число обычных условий ссудной записи не вошло право владельца отчуждать своих крестьян. Между тем это право со времени издания *Уложения* все расширялось: начали поступаться крестьянами не только за крестьян, но и за беглых холопов и поступаться не только вотчинными, но и поместными крестьянами. Известна только одна ссудная 1690 г., в которой крестьянин пишет: «Вольно ему, государю моему, меня продать и заложить и самому владеть». Этот пробел можно объяснить тем, что в ссудной записи обозначили только права непосредственного хозяйственного распоряжения крепостным лицом, умалчивая о правах производных, вытекавших из этого распоряжения, например о праве владельца судить своих крестьян и разрешать им браки. Право отчуждения крестьян выработалось по образцу жилого холопства и из одинакового источника, из не стесняемого законом права вольного человека при вступлении в крепость определять ее условия. То же право встречаем и в некоторых жилых записях. Мы видели, что в крестьянской крепости оно выродилось из прежнего права выхода, прошедши чрез посредствующий момент вывоза: договор вывозного крестьянина с новым владельцем превратился в сделку самих владельцев, в которой согласие крестьянина постепенно перешло из права в юридическое предположе-

ние. Такое же превращение совершалось и в холопстве жилком и служилом. Таких холопов с их согласия часто передавали из рук в руки, но закон требовал, чтобы передаче предшествовала выдача отпускной, с которой холоп вступал в договор с новым владельцем. Приноровляя это требование к передаче, стали давать отпускным записям значение передаточных крепостей. В 1647 г. была утверждена отпускная, которую Веригин дал своему дяде на работницу, «и ему тою работницею владеть по сей отпускной». Этим объясняется, почему в первой, как и в последней четверти XVII в., не делали юридического различия между отчуждением крестьян с землей и без земли. Связь, прикреплявшая крестьянина к владельцу, была двойная — ссудная издельная и поземельная оброчная. Первая, как связь кабальная, не допускала передачи крестьянина из рук в руки; вторая делала возможной такую передачу его, как арендатора, вместе с землей и контрактом. Из этой двойной связи при содействии не отмененного законом, но уже фиктивного права перехода и развился двойкий способ действия в одинаковых случаях: при выкупе родовой вотчины крестьян, поселенных покупщиком, либо переводили в другое имение последнего, не отрывая от владельца, либо оставляли за выкупщиком, не отрывая от земли. При частных переходах имений из рук в руки крестьяне обыкновенно оставались на прежних участках, меняя владельцев, но это не было правилом, требованием закона и поэтому иногда оговаривалось в порядных. В 1668 г. вольный человек порядился в крестьяне за Ермалаева в одну его деревню; в договор вставлено условие: «По сей ссудной записи жить крестьянину Мишке в деревне Чернышихе *и впредь за кем та деревня будет*».

Все эти черты показывают, какой простор давал закон влиянию кабального права на крестьянскую среду. Широта этого простора еще резче обозначается слабостью ограничений, стеснявших власть землевладельца над личностью и трудом крестьянина. Одни из этих ограничений вытекали из того же договора, на котором основывалась ограничиваемая власть. Ни одна порядная не дает владельцу часто повторяемого в жилых записях права «смирять всяким смирением», т. е. подвергать крестьянина телесным наказаниям. Далее, в известных случаях за крепостными удерживалось право возобнов-

ления договора с владельцем. Впрочем, этим правом пользовались только два разряда крепостных, находившихся в исключительном положении. К одному из них принадлежали крестьяне, которые, вступая в крестьянство, не прямо становились хозяевами особых дворов, а «принимались в дом» к другим крестьянам, обыкновенно в зятья; отдаваясь от хозяев на особые участки, они заключали новые договоры со своими владельцами. Другой разряд составляли бобыли-«непашники», которые не брали тяглых участков и не платили податей, хотя иногда получали от владельцев за оброк нетяглую пашню. Таких бобылей особенно много жило при церквях, за монастырями и архиерейскими кафедрами. Рядясь в бобыльство, они выговаривали себе право садиться на тяглые участки по своей воле и с новым договором. В 1647 г. вольный человек бил челом «во двор» к князю Елецкому без крепости и получил от него нетяглый участок пашни. В апреле 1649 г. этот добровольный слуга дал князю порядную в бобыли под условием с осеннего Николина дня того же года сесть на тяглый участок в крестьяне, а до тех пор жить в бобылях «во дворе добровольно». Но это условие было скорее обещанием, чем обязательством: дворовый бобыль выговорил себе право нарушить это обещание и даже уйти из двора, только с платой владельцу ежегодного оброка «с своего бобыльства», а принимаясь за тяглую пашню, взять участок по своей силе, «на который я измогу», т. е. по новому уговору с владельцем. Третье ограничение состояло в том, что некоторые крестьяне, рядясь без помощи, удерживали за собою право выхода со сдачей участка. Но в новгородских крепостных книгах за четыре года записано только два таких случая, из коих один был в июне 1649 г., после издания Уложения<sup>33</sup>. Наконец, важное условие, стеснявшее власть владельца над трудом крестьянина, было наложено законодательством и состояло в ответственности владельца за податную состоятельность своих крестьян перед казной. Это условие со строгой логической последовательностью вытекало из сочетания значения крестьянской подати с личной крестьянской крепостью. Крестьянин платил подать за право земледельческого труда; как скоро труд его был отдан в распоряжение владельца, на последнего переходила и ответственность за податную исправность



крестьянина, обязанность заботиться о поддержании доходности его труда для казны. Самая давность для исков о беглых устанавливалась не без участия мысли о такой ответственности: владелец, долго не искавший своего беглеца, терял возможность поддерживать его тягловую состоятельность и потому терял свои права на него, особенно если беглый без его помощи успевал устроиться и стать исправным тяглом на новом месте. Первый проблеск этой мысли встречаем в том же законе 1606 г., из которого впервые узнаем об установлении давности: он лишал владельцев права искать бедных крестьян, бежавших от них в голодные годы, вследствие того что владельцы «прокормить их не умели». *Уложение* признает уже установившимся порядком правило «имати за крестьян государевы всякие поборы с вотчинников и помещиков». Следы этого порядка становятся заметны, вскоре после того как в ссудных записях явилось условие о вечной крепости крестьянина владельцу. В 1639 и 1641 гг. у рязанца Тишенинова бежали два крестьянина. В челобитной, прося дать ему суд с беглецами, помещик прибавлял: «Я за тех крестьян своих плачу тебе, государю, всякие твои государевы подати и городовые поделки делаю». Самый сбор крестьянских податей еще до *Уложения* был возложен на владельцев: в 1646 г. Страхов, передавая зятю своего крестьянина, обязывался в записи «тягла государева не спрашивать на том крестьянине».

Ответственность за податную исправность крестьян ставила владельца в прямое соприкосновение с их хозяйственным положением. Так, крепостное право на крестьянский труд, развиваясь из принципа долгового холопства, встретилось с элементом, не входившим в юридический состав последнего. В обычные условия служилой кабалы и жилой записи не входили отношения господина к имуществу холопа. Юридическая связь их друг с другом была чисто личная: холоп нанимался на службу, обязывался служить господину «по вся дни», за что господин содержал холопа. Крестьянин нанимал землю, работал на себя, уделяя только часть своего труда владельцу за средства для труда, у него заимствованные. Потому для отношений владельца к имуществу крепостного крестьянина долговое холопство не давало готовых схем: крестьянская крепость

должна была выработать для них свои особые нормы, которые составили очень сложный юридический узел. Его довольно трудно распутать по памятникам законодательства: последнее и здесь держалось так же, как в вопросе о праве на личность и труд крестьянина, выжидало, какие отношения выработает практика, чтобы потом утвердить их с надлежащими поправками. Но с помощью порядных записей можно разобрать по крайней мере главные нити, из которых сплелся этот узел. И здесь отношения направлялись той же ссудой, которая поставила издельное крестьянство под действие начал долгового холопства, но здесь она имела иное значение. Крестьянская ссуда во многом не была похожа на холопий заем. Холоп занимал деньги, крестьянин брал в ссуду сельскохозяйственный инвентарь, *крестьянский завод*, или также деньги, но непременно на этот завод. Заем холопа, служа источником его обязательной службы, не был хозяйственным средством для последней; крестьянская ссуда выдавалась именно для того, чтобы дать крестьянину средства тянуть его крестьянское тягло. Холопий долг зарабатывался службой; крестьянская ссуда или возвращалась владельцу, или оставалась на крестьянине бессрочным долгом. Из 103 крестьянских и бобыльских договоров в новгородских крепостных книгах 86 заключены со ссудой, не считая в том числе порядных с одной льготой без ссуды. В 20 случаях крестьянин обязывался возвратит ссуду или по прошествии льготных лет, или когда наживет ее, и только в одной порядной часть ссуды взята «без отдачи». В порядной 1628 г. крестьянин, взяв полный инвентарь, обязался платить эту ссуду «исподоволу». Из этого можно заключить, что ссуда часто возвращалась и еще чаще оставалась в пользовании крестьянина неопределенное время до востребования, но ни в одной порядной не находим условия, чтобы она погашалась издельем. Впрочем, и возврат ссуды не очищал крестьянского имущества от владельческих притязаний. Огромное большинство крестьянских хозяйств создавалось с помощью ссуды; многие вольные люди приходили рядиться к владельцам без всего, только «душею да телом, в готовый двор ко всему крестьянскому заводу», по выражению порядных. Пользование крестьянским двором и другими хозяйственными статьями, которые

не оплачивались ни оброком, ни изделием, ложилось на крестьянское имущество непрерывно растущим начетом. Из всего этого вместе с ответственностью владельца за своих крестьян перед казной сложился взгляд на крестьянское имущество, как на совместное дело владельца и крестьянина и предмет их совместного владения, в котором оба участника имеют свои законные доли и по этим долям несут свои особые обязанности. Этот взгляд сообщил *крестьянским животам* характер своеобразного и сложного юридического института. Всего труднее провести в нем границы прав обоих совладельцев. Крестьянские договоры оказывают некоторую помощь в этом затруднении. Все условия ссудных записей построены на мысли, что животы крестьянина составляют его собственность: без этой мысли не имели бы смысла условия о возврате ссуды и уплате неустойки, *крестьянского заряда*, за неисполнение обязательств. Далее, по ссудным записям видим, что животы крестьян переходили по наследству к их женам и дочерям. Многие вольные люди, рядясь в крестьянство, не заводили новых хозяйств, а садились на участки умерших крестьян, «в их дворы и хоромы и в их животы», женясь на их дочерях или вдовах. Эти животы имели значение ссуды, которую давал им владелец; женитьба на наследнице была непременным условием их получения, но и жених не мог получить их, не порядившись в крестьяне к владельцу, на земле которого жил отец или прежний муж его невесты. Точно так же и при жизни крестьяне пользовались известным простором в распоряжении своими животами. Подростки из вольных людей и крестьянских детей принимались в дома крестьян к их дочерям и внучкам «в годы и в животы» — это значит, что вольный парень давал на себя землевладельцу ссудную запись, уговорившись наперед с его крестьянином стать зятем последнего и жить у него в доме известное число лет, после чего тесть обязывался выделить ему условленную часть своих животов. Образчиком такого двойного договора может служить одна порядная 1648 г. Бывший холоп порядился в бобыли к Муравьеву, на крестьянке которого женился, обязавшись жить у тестя 8 лет и слушаться его во всем, с условием, отжив урочные лета, взять у тестя треть всего — скота, хором, хлеба и участка, пашенной и огородной земли. Он мог уйти

от тестя, не дожив до срока, но тогда лишался права на долю животов и превращался из сожителя, товарища, в простого наемника, которому тесть обязан был заплатить по рублю за каждый прожитой у него год. Однако, покинув тестя, он оставался крепостным Муравьева, «а бобыльство бобыльством». Такой приемыш, отжив урочные годы, мог отделиться от тестя с зажитой частью его животов и сесть на особый участок по новому уговору с владельцем. Иные рядились и без урочных лет, прямо на известную долю животов тестя, только с обязательством жить и работать с ним вместе. Но иногда вольные люди рядились к владельческим крестьянам в срочную или бессрочную работу за долг или за наемную плату на обычных условиях жилой записи, не роднясь с хозяевами; так как они не получали условленной доли в хозяйских животах, то не давали на себя и порядных записей владельцам своих хозяев, не становились их крепостными. Нам известны две такие жилые записи — 1648 и 1681 гг.<sup>34</sup> Значит, крестьяне свободно располагали своим имуществом, но с одним условием: наследники или участники их животов обязаны были стать крепостными их господ, если не были ими.

Законодательство не касалось прямо отношения владельцев к имуществу крестьян. Внимание *Уложения* занято более всего крестьянскими побегам и столкновениями владельцев из-за беглых, но при помощи порядных можно несколько уяснить его взгляд на юридическое значение крестьянских животов. *Уложение* представляет эти животы неразрывной принадлежностью крестьянина: его выдавали из бегов, по суду переводили от одного владельца к другому непременно «со всеми животы и с хлебом стоячим и с молоченым». Но *Уложение* допускает случаи, когда животы отрывались от крестьянина. Если принявший беглого крестьянина по иску его владельца сознавался в приеме, но показывал под присягой, что принял его без животов, животы беглеца не выдавались вместе с ним его владельцу. Далее, беглая крестьянская дочь, вышедшая в бегах за крестьянина чужого владельца, выдавалась своему вместе с мужем, но животы последнего оставались у его прежнего владельца<sup>35</sup>. Закон считал крестьянские животы юридически привязанными к месту, где с них шло тягло. Из этого открывается правило, которым он руко-

водился в разрешении споров о беглых: *лицо выдавать по крепости, животы — по тяглу*. Уложение считало справедливым отнять у владельца крестьянина, которого он допустил жениться на беглой, но не находило правомерным отнять у него и животы этого крестьянина, следовательно, признавало за владельцем известное право на них рядом с правом крестьянским, которое беглый или женившийся на беглой терял за свою вину. Мерой владельческого права Уложение признавало именно ссуду: если владелец беглого, требуя его выдачи с животами, в иске своем не обозначал их стоимости, суд по Уложению ценил их в 5 руб., а это был тогда наиболее обычный, нормальный размер крестьянской ссуды. Тою же мерой определяли свою долю и сами владельцы: передавая крестьян другим владельцам или отпуская их на волю, они оставляли при них животы, иногда выделяя из них только свою ссуду. Братья Протопоповы, отдав в 1647 г. Веригину за долг крестьянина с женой и детьми, предоставили ему право вывезти уступленную семью в свою вотчину или в поместье со всем, кроме животов, «что мы ему давали в подмогу». Крестьянское тягло считалось по праву неразрывно связанным с крестьянскими животами. В XVII в. не понимали тягло крестьянина без инвентаря: такой крестьянин сходил с тягла, и владелец, не восстановивший его тягловой способности, подвергал вопросу свои права на него. Судебная практика XVII в. строго проводила взгляд на крестьянские животы, как на собственность крестьянина. Котошихин уверяет, что у землевладельцев, разорявших крестьян поборами великими, не по их силе, отнимали поместья и вотчины, а перебор взыскивали с разорителей и возвращали крестьянам, «а впредь тому человеку поместья и вотчины не будут даны до веку». Итак, крестьянские животы состояли из двух частей с различными собственниками: одна, соответствовавшая ссуде, принадлежала землевладельцу и подлежала возврату по его требованию; другая была собственностью крестьянина, но с ограниченным правом распоряжения. Ограничение состояло, во-первых, в том, что крестьянин не мог передавать своих животов лицу, которое не было крепко его владельцу, во-вторых, в том, что все хозяйственные действия крестьянина подлежали надзору владельца, как ответственного опекуна его труда и животов.

Так вырабатывались путем ссудных договоров в поставленных законом пределах два порядка отношений, входивших в юридический состав крепостного права на крестьян: власть землевладельца над личностью крестьянина и власть над его имуществом. Основанием первой было вытекавшее из ссуды и не прекращаемое по воле крестьянина право распоряжения его трудом, ограниченное крестьянской вечностью и владельческой ответственностью за податную способность крестьян; вторая состояла в вытекавшем из того же источника праве собственности на часть животов крестьянина, соединенном с обязанностью поддерживать его инвентарь, и в обусловленном податной ответственностью надзоре за крестьянским хозяйством. В связи с этими двумя порядками и под их влиянием складывался третий — власть землевладельцев над потомством его крестьянина.

В 1623 г. Троицкому Сергиеву монастырю по суду выдан был из бегов его *старинный* крестьянин, сбжавший с отцовского двора и участка. Он выдан был «по старине», как значится в поручной записи о нем, а не по крепости. Отсюда можно заключить, что, садясь на участок отца, он не дал на себя особой порядной записи, а просто принял на себя по наследству вместе с участком и животами отца обязательства его договора. Звание *старинного*, какое акт 1623 г. усвоит беглецу, показывает, что в начале XVII в. землевладельцы смотрели на родившихся у них в крестьянстве детей крестьян, как на родившихся в их дворах детей кабальных холопов, считали их крепкими без крепости, по происхождению. Еще любопытнее то, что на старинных беглых крестьян, по-видимому, не простиралась давность побега. Упомянутый крестьянин бежал до 1612 г., а такой давностью в то время не пользовался и Троицкий монастырь. Точно так же в 1614 г. указано было возвращать на покинутые участки беглых старинных крестьян Иосифова Волоколамского монастыря без всякого намека в грамоте на срок давности. В писцовых книгах времени царя Михаила встречаем нередко замечания об иных крестьянах, что они вывезены или отданы «по старине». Но земельные отношения крестьян мешали строгому применению к их сыновьям кабальной старины. Крестьянские участки не были наследственны: подобно поместьям,

они переходили от отца обыкновенно к одному из сыновей не по праву, а по хозяйственному удобству. Остальные сыновья или при жизни отца, или после него рядились на отдельные участки обыкновенно с новой ссудой. В том и другом случае они считались вольными людьми, которые могли рядиться не только к своему, но и к чужому владельцу, могли даже ни к кому не рядиться и выйти из крестьянств. До самого *Уложения* идут порядные крестьянских сыновей с отцовыми или чужими владельцами. Еще в апреле 1649 г. встречаем договор крестьянского сына, который, оставшись малолетним по смерти отца, долго бродил по наймам и, наконец, рядился в поместье, где жил отец, на отцовский участок, «в готовые хоромы и к готовой ржи сеяной»<sup>36</sup>. Согласно с этим семейные люди, рядясь в крестьяне, давали крепости обыкновенно только на себя, иногда со взрослыми сыновьями, не упоминая о малолетках, то были личные обязательства, не простиравшиеся на потомство. Мысли, что крестьянские дети остаются вольными людьми, пока не сядут на тягло, держалось и законодательство до 1640-х годов: указы о приборе вольных людей на пустоши предписывали сажать на пустые участки нетяглых детей, братьев и племянников тяглых крестьян «по уговору, на которой доле кто похочет сести». Так мысль о кабальной старине вытеснялась в крестьянской среде мыслью о старине *тягловой*: сын тяглеца укреплялся не там, где родился, а там, где рядился в тягло и обжился, «застарел» в нем. Мысль эта была крепко укоренена в умах первой половины XVII в. В 1641 г. Троицкий монастырь искал двух крестьян, перешедших в посад Владимира. Посад отвечал встречным иском, доказывая, что один из этих крестьян до перехода в монастырскую вотчину был посадским человеком — владимирцем. По суду этот крестьянин выдан был монастырю, потому что он за Троицким монастырем «застарел и в Володимире на посаде в тягле не живал и податей никаких не плачивал». Еще выразительнее случай с тем же монастырем в 1640 г. Архаров искал в нем своих давних беглецов, кабальных людей, дети которых, родившиеся в бегах, поженились на монастырских крестьянках, взяли ссуду и рядились за монастырь в крестьяне. По государеву указу этих холопских детей велено выдать Архарову, но с уплатой ссуды, данной монастырем. Не имея чем

заплатить, Архаров отказался от присужденных ему людей в пользу монастыря, объяснив свой отказ любопытным соображением: «А они в троицких вотчинах *застарелися*». Казне представляли важные выгоды обе старины, и кабальная, и тягловая: первая прекращала бродячесть нетяглых крестьянских детей; вторая, обеспечивая казне доходность новых тяглецов, побуждала владельцев заботиться о поземельном устройстве крестьянских подростков, обзаводя их инвентарем на отдельных тяглых участках, прежде чем они успевали устроиться на чужих землях. В писцовом наказе 1646 г. правительство задумало соединить эти выгоды. Предпринята была общая перепись тяглых людей, городских и сельских. Писцам указано было записать всех тяглых людей поименно с живущими при них нетяглыми сыновьями и родственниками на тех местах, за теми владельцами или обществами, где их застанут, а беглых записывать на покинутых местах, на основании действовавшего тогда срока давности, лишь в том случае, если они бежали не далее 10 лет до переписи; убежавших раньше записывали там, где их заставала перепись. Удовлетворяя неоднократным ходатайствам служилых людей об отмене срока давности, правительство обещало, что впредь тяглые люди с детьми и родственниками будут крепки по переписным книгам «и без урочных лет», т. е. землевладельцы и общества получали право бессрочно возвращать беглых, записанных за ними в этих книгах. Статьи *Уложения* о беглых крестьянах основаны на этом наказе 1646 г. Новый закон прежде всего распространял на крестьянских детей вечность крестьянскую, которой подлежали их отцы, т. е. устанавливал наследственность крестьянского состояния. Этим прекращались очень частые переходы крестьянских детей в холопство, продолжавшиеся до *Уложения*. Далее, закон, по-видимому, признавал давнюю мысль владельцев о приложении к крестьянским детям принципа старины, укреплял последних за первыми, как укреплялись за господами родившиеся в холопстве дети кабальных холопов. Но, с тех пор как обнаружилось это владельческое притязание, в крестьянские договоры вошло новое обязательство о вечной, т. е. пожизненной, зависимости крестьянина, не прекращавшейся смертью владельца, за которого он рядился. Поэтому старина крестьянских детей должна



была стать не кабальной, а полной, наследственной и потомственной, подобно старине докладных холопов, отцы которых умирали, не успев выйти на волю. Однако законодательство не отказалось и от мысли о тягловой старине: отменив срочную давность для исков о беглых, оно и после *Уложения* допускало давность бессрочную. Благодаря такой двойственности взгляда законодательства юридическое положение крестьянских детей после *Уложения* составляет один из самых темных вопросов в истории крепостного права. Приведенного в известность материала недостаточно для разрешения этого вопроса. Действию наказа 1646 г. надобно приписать появление в 1647 г. самого выразительного признака крепостной зависимости крестьянских детей — отпуски их на волю с отпускной: в новгородской книге записана отпускная, данная Муравьевым в декабре того года родившемуся у него в крестьянстве старинному крестьянскому сыну. Но здесь же находим указание и на то, что накануне издания *Уложения* вечность крестьянская еще не распространялась на крестьянских детей: отпущенник Муравьева тотчас вступил в кабальное холопство к Веревкину. Но, перестав считать крестьянских детей, еще не севших на тягло, вольными людьми, закон не разъяснил, обязаны ли они садиться на тягло по требованию владельца, т. е. потеряли ли право рядиться с ним, садясь на особые тяглые участки. Следовало бы думать, что потеряли, потому что укреплялись за владельцем не личным договором, а государственным актом, писцовою книгой. Так и понимал дело в 1660 г. тюменский воевода: восставая против взгляда на крестьянских подростков, как на вольных людей, он сыскивал и верстал в тягло тех из этих «подрослей», сыновей казенных крестьян, которые, находясь при неспособных к работе стариках-отцах или оставшись малолетними сиротами, не брали участков, когда поспевали в тягло. Но принудительное верстание возбуждало трудный вопрос о ссуде: сажая подростка на тяглый участок, в большей части случаев его необходимо было обзавести инвентарем. Притом владелец должен был содержать остававшихся без животов малолетних сирот, чтобы сохранить на них право: отказ от этого равнялся их отпуску на волю. Таким условным характером писцового прикрепления крестьянских детей объясняются договоры

последних с своими и даже чужими владельцами после издания *Уложения*. Встречаем несколько таких договоров в новгородских крепостных книгах 1649 и 1650 гг. Рядились большею частью дети крестьян или бобылей, остававшиеся малолетними сиротами и кормившиеся по миру или по наймам; иные в порядных зовутся «вольными». Выше упомянуто о договоре одного такого сироты на отцовский участок в апреле 1649 г. В сентябре порядился в крестьяне за Турова бобыльский сын, отец которого жил за отцом этого Турова. В марте 1650 г. уроженец дворцового села, оставшийся малолетком после отца и живший на родине или уходивший на сторону работать, порядился в то же село, уже ставшее вотчиной новгородского митрополита. Один документ несколько разъясняет, какими интересами вызывалось и как устанавливалось принудительное верстание крестьянских детей в тягло. Уже в самом конце XVII в. маломочные крестьяне одной деревни Иверского монастыря жаловались на то, что у них в деревне есть крестьянские дети бестяглые, люди семьянистые, которые в тягло поспели, а тягла не берут, и их, одиноких работников, «в пашне избегают». Челобитчики просили, чтобы монастырские власти указали им, крестьянам той деревни, «промежь себя поровняться», т. е. просили предоставить деревенскому обществу самому произвести передел участков, сложив часть пашни и платежей с малосильных тяглецов на семьянистых и бестяглых подростков<sup>37</sup>. Монастырь не принуждал последних к тяглу, а они как будто считали себя вправе брать или не брать тяглые участки, но старые тяглецы во имя справедливого распределения крестьянских тягостей требовали участия в тягле крестьянских детей, считая их, как считал и тюменский воевода, такими же вечными тяглецами, какими были сами. Значит, принудительное верстание крестьянских детей вышло не прямо из их писцового прикрепления, а из условия, его сопровождавшего, распространения на этих детей крестьянской вечности их отцов. Такое же колебание законодательства заметно и в другом последствии наказа 1646 г. По смыслу этого наказа и статей *Уложения*, перепись укрепила не только наличных, но и будущих детей крестьян. По одной статье *Уложения* беглые крестьяне выдавались истцам с женами и детьми, при них жившими, хотя

бы последние и не были записаны в писцовых книгах, но сыновья, успевшие отделиться от отца, оставались у ответчика. Исключение, очевидно, допущено во внимание к интересу приемщика, который устроил подростка в тягло.

Так, наказ 1646 г. не вносил ничего нового в юридическое содержание крепостного права: он только пытался подложить политическое основание под юридическое последствие, вытекшее из приложения начал кабального холопства к детям крепостных крестьян. Признавая укрепление этих детей по праву старины, он косвенно обусловил это право обязанностью владельцев устраивать в тягло своих старинных крестьянских сыновей. Такую крепость, составленную посредством сочетания старины кабальной с тягловой, можно назвать старинной *писцовой*. Согласно со своим двойственным составом она привела к двум последствиям. Во-первых, под ее влиянием в крестьянских договорах является новое условие о потомстве. Во второй половине XVII в. вольные люди обыкновенно рядились в крестьянство с женами и детьми, даже будущими, если были холостыми. В порядной 1687 г. вольный человек, рядясь за князя Черкасского, обязывался жить за ним «с женою и с детьми, а по мне и внучатом моим по смерть свою»<sup>38</sup>. С другой стороны, писцовая старина облегчила дробление крестьянских семей и вывод крестьянских детей из крестьянства. Она отделила крепостное право на личность крестьянского сына от права распоряжения его трудом: крестьянский сын, не получивший «суды, не переставая быть крепостным, мог оставаться бестяглым, живя за тяглом отца, дяди или брата. Это разделение спутало установившиеся крепостные различия. Прежде различали крепостных людей тяглых, или крестьян, и нетяглых, или холопов. Теперь явился новый крепостной класс — *нетяглых крестьянских детей*. Из этой путаницы к концу XVII в. развились два обычая: владельцы начали не только верстать в тягло крестьянских подростков, но и отчуждать их как крепостных крестьян отдельно от отцов, дробя крестьянские семьи, а как людей нетяглых — переводить их в дворовые холопы. *Уложение* запрещало брать служилые кабалы на крестьянских детей; владельцы переводили их во двор без кабал. Закон молчаливо признал тот и другой обычай; только указом

1690 г. было предписано, чтобы крестьянские дети, взятые во двор владельца, по смерти его выходили на волю подобно кабальным холопам. Это движение крепостного крестьянства в сторону холопства встретилось с противоположным движением холопства в сторону крестьянства: с того времени как крестьянство под влиянием холопства стало превращаться в крепостное состояние, под его воздействием в холопстве начал складываться класс *задворных людей*, усвоивший себе юридические и экономические особенности крепостного крестьянства. Этот любопытный двойной процесс, завершившийся первой ревизией, относится уже к истории не зарождения, а перерождения крепостного права и требует особого исследования.

Разбирая юридический состав крепостного права на крестьян, как оно сложилось к концу XVII в., легко различить в нем основные элементы долгового холопства — заем, работу за рост и старину. Но эти элементы, осложнившись условиями крестьянского состояния, прежде и более всего государственным тяглом, получили особый юридический характер, и благодаря этому осложнению прямые и резкие очертания долговой холопшей крепости в крестьянстве превратились в изогнутые и иногда неясные линии. Займу с погашением соответствовала ссуда с возвратом или без отдачи; служба за рост «по вся дни», срочная или по смерти господина, превратилась в пожизненное и наследственное владельческое тягло, состоявшее из оброка за нанятую землю, соединенного с издельем за ссуду по уговору или владельческому уставу, притом тягловые отношения осложнились отношениями имущественными, вытекавшими из поземельной ссуды и тягловой ответственности владельца за крестьянина; наконец, кабальная старина под влиянием тягла переродилась в старину писцовую, т. е. в наследственную власть владельца над потомством записанного за ним крестьянина, обусловленную обязанностью его хозяйственного обзаведения. Таким образом, крепостная зависимость крестьянина имела двойное основание, поземельную ссуду под условием изделья, соединенную с наймом земли под условием оброка, и из этого источника вытекали два последствия: 1) наследственная власть владельца над личностью и трудом крестьянина и его потомства без права вывода крестьянина из кре-

стьянства и под условием податной ответственности за него, 2) наследственная власть над имуществом крестьянина, слагавшаяся из права собственности на ссудную часть его и из права надзора за крестьянским хозяйством и ограниченная юридической неразрывностью крестьянского тягла с крестьянскими животами. Ограничиваясь юридическими моментами развития крепостного права на крестьян, историческое его происхождение можно обозначить таким рядом явлений:

1) Исстари крестьяне на владельческих землях вели свое хозяйство с подмогой от владельцев и за это несли особые повинности сверх поземельного оброка, но эти повинности были простыми долговыми обязательствами, не уничтожавшими личной свободы крестьян, которая выражалась в праве выхода.

2) С половины XVI в. вместе с развитием частного землевладения усилилась и задолженность крестьян своим владельцам и ссуда стала почти общим условием поземельных крестьянских договоров. Вследствие того право выхода уже к концу XVI в. начало падать само собою, вырождаясь в формы, или запрещенные законом, или только усиливавшие долговую зависимость крестьян от владельцев.

3) К тому же времени возникновение и развитие кабального холопства породило среди землевладельцев мысль, что крестьянское изделие за подмогу создает такую же личную крепостную зависимость крестьянина от владельца, в какую ставит кабального холопа служба за рост. Под влиянием этой мысли приблизительно со второй четверти XVII в. в крестьянские договоры стали вносить условие, по которому крестьянин, нанимая землю с подмогой владельца, закреплял свои поземельные и долговые обязательства отказом навсегда от права прекращать основанную на этих обязательствах зависимость. Это условие сообщило крестьянскому поземельному договору значение личной крепости.

4) Признавая все эти последствия кабального права, законодательство ограничивало их известными условиями, которые все сводились к требованию, чтобы тяглый крестьянин, став крепостным, не переставал быть тяглым и способным к тяглу. Благодаря этим условиям крестьянская крепость, развивавшаяся из кабальной, не сделалась холопьею, отличаясь от нее, во-первых, тем,

что она давала владельцу право только на часть крестьянского труда и имущества, во-вторых, тем, что все владельческие права на крестьянина были обусловлены государственными обязанностями.

5) Около половины XVII в., утвердив наследственность крестьянского состояния, законодательство признало и наследственную власть владельцев над потомством их крестьян, развившуюся раньше из приложения кабальной старины к крестьянским детям, чем было завершено образование крепостного права на крестьян. Но и эту власть закон поставил, хотя и не прямо и не решительно, не на кабальном, а на политико-экономическом основании, обусловив ее обязанностью тяглого хозяйственного устройства крестьянских сыновей.

Итак, крепостное право в России было создано не государством, а только с участием государства; последнему принадлежали не основания права, а его границы.

---

---

## ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ И ОТМЕНА ХОЛОПСТВА В РОССИИ

### 1. Первая ревизия

Подушная подать, по-видимому, не могла иметь прямой связи с юридическими процессами нашей истории, особенно с теми гражданскими отношениями, в круг которых входило древнерусское холопство. Это была очень важная перемена в государственном хозяйстве, сопровождавшаяся не менее важными последствиями и для хозяйства народного, но с первого взгляда трудно заметить, какие последствия могли выйти из нее для гражданского права и, в частности, для холопства. Между тем подушная подать не только оказала действие в этом направлении, но и сама могла быть введена только благодаря издавна подготовлявшимся переменам в порядке гражданских отношений, с которыми тесно связано было древнерусское холопство.

Вскоре после победы под Полтавой dokonчено было Петром завоевание Эстляндии и Лифляндии. В 1714 г. довершено было покорение Финляндии, а победа над шведским флотом при Гангуте и занятие Аландских островов в том же году избавляли новую столицу России от опасности шведского нападения. Вместе с этим наступал конец страшного напряжения военных сил, в каком уже 14 лет держала Россию война со Швецией. Мир был еще далеко, но борьба уже переносилась с боевого поля в дипломатические кабинеты. В 1718 г. на Аландских островах начались мирные переговоры шведских уполномоченных с русскими. Петр начинал думать о постановке новорожденной и испытавшей такое тяжкое

боевое крещение регулярной армии на мирную ногу, а с этим неразрывно связывался вопрос о правильном устройстве ее размещения и содержания. Эту армию, комплектуемую рекрутскими наборами из разных классов населения, нельзя было распустить по домам, как распускалось в прежнее время дворянское конное ополчение для мирных занятий по своим поместным и вотчинным деревням. Регулярные полки необходимо было и по окончании военных действий держать под ружьем на постоянных казенных квартирах и на казенном содержании. Мысль об устройстве этого содержания уже давно тяготила Петра. По смете, составленной в 1710 г., на содержание полевой армии, гарнизонов и флота, на артиллерию и другие военные расходы шло немного более 3 млн. руб., тогда как на остальные нужды казна тратила только 800 тыс. с небольшим; войско поглощало около 78% всего бюджета расходов. Между тем, сметив государственные доходы за 1707—1709 гг., нашли, что средняя ежегодная сумма доходов не превышала 3 134 тыс.: ежегодный дефицит простирался до 700 тыс. Значит, обыкновенными доходами казна покрывала только четыре пятых того, что расходовала; разницу она должна была восполнять экстраординарными средствами.

Необходимость прибегать к таким средствам в мирное время Петр задумал устранить очень своеобразным планом расквартирования и содержания полков. В то время как его уполномоченные на Аландском конгрессе выработывали условия мира со Швецией, был издан указ 26 ноября 1718 г., изложенный с тем торопливым лаконизмом, каким отличался законодательный язык Петра<sup>1</sup>. Первые два пункта этого указа гласили: 1) «взять сказки у всех (дать на год сроку), чтоб правдивыя принесли, сколько у кого в которой деревне душ мужеска пола, объявя им то, что, кто что утаит, то отдано будет тому, кто объявит о том; 2) росписать, на сколько душ солдат рядовой с долею на него роты и полкового штаба, положя средний оклад». По смыслу указа этот средний оклад должен быть выведен посредством деления стоимости содержания солдата на число наличных податных душ, какое придется на него по требуемым сказкам. Вычисленный таким способом подушный оклад заменял собою все обыкновенные



казенные подати и работы, падавшие до того времени на тяглое население. При каждом полку полагалось два комиссара, земский и полковой: первый, избираемый дворянами приписанного к полку уезда, должен был собирать с крестьян того уезда подушные деньги на содержание полка, а второй — принимать эти деньги у первого. Далее указ обещал, что будут посланы особые «росписчики», которые распишут полки по душам и проверят на местах самые сказки, которые будут даны им для этой душевой раскладки; крестьян, не заявленных в сказках, указ обещал отдавать с землей и со всем имуществом тем раскладчикам, которые их откроют. В свою очередь и раскладчики ставились под надзор полковых офицеров, которые обязаны были доносить на них, если и они станут скрывать пропущенных в сказках крестьян, не занося их в росписи душ по полкам; донесший об этом офицер получал утаенных крестьян вместе со всем движимым и недвижимым имуществом раскладчика. Наконец, как раскладчикам, так и самим офицерам указ грозил смертною казнью за неисполнение возложенной на них обязанности.

Этот указ, подтвержденный и разъясненный в 1719 г. рядом других, задал тяжелую и ответственную работу губернским начальствам и сельским управлениям, как и самим землевладельцам. Составление сказок о душах по селам и деревням возложено было на помещиков и вотчинников, а где их не было — на приказчиков с сельскими старостами и выборными людьми. За утайку душ указы грозили приказчикам и старостам с выборными людьми смертною казнью без всякой пощады с бесповоротною отдачей утаенных душ обещанным раскладчикам и другим «доносителям», если утайка откроется в имениях частных владельцев, церковных или светских. Если сказки, в которых откроется утайка, составлены самими землевладельцами, у них взамен смертной казни велено было отбирать двойное количество крепостных против утаенного числа душ. Губернаторам было предписано назначить чиновников, которые собирали бы сказки и по ним составляли ведомости о числе душ. В течение 1719 г. сказки и ведомости велено было из всех губерний выслать в Петербург к бригадиру Зотову, который по ним составлял росписи душ по уездам и

сличал их с переписными книгами 1678 г. Губернаторам за неисправность указы также грозили «жестоким государевым гневом и разорением». Несмотря на все угрозы, до декабря 1719 г. присланы были Зотову сказки лишь из немногих мест, и те оказались в большинстве неисправными. Тогда сенат разослал по губерниям гвардейских солдат с предписанием собрать неисправных чиновников в канцелярии, заковать в железа, не исключая и виновных в неисправности губернаторов, и держать их на цепях, не выпуская никуда, пока не приготовят и не пошлют в Петербург всех сказок и ведомостей. Неизвестно, как исполнено было это суровое предписание, но сказки продолжали высылать из губерний еще в начале 1721 г. Притом возникло новое затруднение, которым замедлялось дело. Указ 26 ноября 1718 г. говорил только о переписи крестьян. Потом велено было заносить в сказки и дворовых, которые жили в деревнях. Несмотря на то, многие писали только крестьян. Поэтому в начале 1720 г. затребованы были дополнительные сказки. Наконец, обнаружена была «многая утайка»: из указа 15 марта 1721 г. узнаем, что к тому времени было приведено в известность более 20 тыс. утаенных душ. Чтоб ускорить присылку дополнительных сказок из губерний, Сенат в начале 1721 г. пригрозил неисправным провинциальным воеводам вызовом в Петербург к розыску с конфискацией их поместий и вотчин, а для устранения утайки указом 11 мая того же года велено было губернаторам и воеводам проверить поданные сказки о дворцовых и церковных людях и подлежащих переписи разночинцах и с этою целью самим объехать города, села и деревни, где жили люди этих званий, а в случае болезни послать туда надежных чиновников. Проверка должна была непременно кончиться к 1 сентября того же года. Св. Синод хотел оказать правительству содействие в этом деле и вместе с печатными экземплярами сенатского указа 11 мая разослал по епархиям инструкции, в которых особенно строго предписывал приходскому духовенству помогать губернаторам и воеводам в проверке подушной переписи, сообщая им об утаенных или пропущенных в сказках прихожанах. Указ св. Синода гласил, что священники и причетники, которые будут покрывать замеченную ими утайку душ, «лишатся санов своих и мест и имени и

по беспощадном на теле наказании порабощены будут каторжной работе, хотя б кто и в старости немалой был»<sup>2</sup>.

Наконец, после многих законодательных хлопот и административных волнений, соединенных с угрозами, пытками и конфискациями, которые служили обычною смазкой для колес тогдашней правительственной машины, ревизские сказки были стянуты из губерний в канцелярию бригадира Зотова и к началу 1722 г. сосчитаны: оказалось 5 млн. ревизских душ. Тогда только стало возможно приступить к душевой раскладке полков. Впрочем, предварительный опыт этой раскладки был сделан еще в 1721 г. Генерал-майору Волкову поручено было расположить два армейских полка, драгунский и пехотный, в Новгородской провинции С.-Петербургской губернии. Инструкция, данная Волкову 27 января того года, оказалась практичною и с некоторыми поправками и дополнениями принята была в руководство при расположении полков в других провинциях, предпринятом в следующем году. Коротенькими указами 10 января и 5 февраля 1722 г. Петр в очень немногих строчках изложил Сенату общие соображения о том, как произвести «раскладку войска на землю» и кого послать для этого. Полки конные и пешие предписано было размещать, «смотря по ситуации мест»; полки, которым по росписи достанутся отдаленные провинции, велено было селить в ближайших новозавоеванных областях: Ингрии, Карелии, Лифляндии и Эстляндии, в которых не было произведено подушной переписи. По соображению штатного состава армейских частей с ситуацией мест и с собранными в канцелярии Зотова данными о населенности губерний, военная коллегия составила предварительную общую роспись полков по местностям. Для расквартирования полков в 10 губерний, где произведена была подушная перепись, командированы были 5 генералов, 4 полковника и 1 бригадир. Каждому из них назначено было по несколько провинций, на которые делились тогда губернии и которые подразделялись на уезды. Получив от Сената инструкцию для раскладки, в военной коллегии список полков, которые предстояло разложить по ревизским душам в известных провинциях, а из канцелярии Зотова подробную ведомость о количестве этих душ, посланный,

приехав в свой округ, должен был созвать местное дворянство, объявить ему правила раскладки и пригласить его к содействию раскладчикам. Полки размещались поротно: на каждую роту отводился сельский округ с таким количеством ревизского населения, чтобы на каждого пешего солдата приходилось по  $35\frac{1}{2}$  души, а на конного —  $50\frac{1}{4}$  души мужского пола<sup>3</sup>. Инструкция предписывала раскладчику настаивать на расселении полков особыми слободами, чтобы не расставлять их по крестьянским дворам и тем не вызывать ссор крестьян с постояльцами. С этою целью раскладчики должны были уговаривать дворян построить особые избы, по одной для каждого урядника и по одной для двух солдат. Каждая слобода должна была вместить в себе не менее капральства и находиться в таком расстоянии от другой, чтобы рота конная была размещена на протяжении не далее 10 верст, а пешая — не далее 5, конный полк — на протяжении 100, пехотный — на протяжении 50 верст. Если дворяне не соглашались на постройку полковых слобод, солдат разводили по крестьянским дворам, применяясь по возможности к правилам слободского расселения. В середине ротного округа предписывалось дворянству построить ротный двор с двумя избами для обер-офицеров роты и с одной для низших служителей, а в центре расположения полка двор для полкового штаба с 8 избами, гошпиталем и сараем. Расположив роту, раскладчик передавал первому ротному офицеру список деревень, по которым она размещена, с обозначением числа дворов и ревизских душ в каждой; другой такой же список он передавал помещикам тех деревень. Точно так же он составлял список селений, по которым размещался целый полк, и передавал его полковому командиру. Для содержания размещенных таким образом полков дворянство должно было сомкнуться в уездные корпорации, ответственными агентами которых становились *земские комиссары*. Ежегодно в декабре уездное дворянство должно было собираться для выбора нового комиссара и для проверки действий прежнего с правом судить и штрафовать последнего за незаконные действия; только в случае вины, подвергавшей земского комиссара «смерти или публичному наказанию», дворянство должно было *отсылать* виновного в губернский надворный суд<sup>4</sup>. Но, прежде

чем приступить к раскладке полков на души, раскладчики должны были проверить ревизские сказки о числе душ в своих округах. Эта проверка была вторичною ревизией, которая вызвала не меньше затруднений, чем первая. В поданных сказках обнаружилась огромная утайка и прописка душ, и первоначально сосчитанная цифрой — 5 млн. стало невозможно руководствоваться при разверстке душ по полкам. Правительство обращалось к землевладельцам, приказчикам и старостам с угрозами и ласками, назначало последовательно несколько последних сроков для заявления утаенных и пропущенных в сказках душ, и все эти сроки прпускались, после каждого из них оказывалось много душ, оставшихся незаявленными. В 1723 г. бригадир Фамендин, проверяя сказки в ясачных волостях Казанского уезда, населенных преимущественно инородцами, на 1019 человек, записанных в сказки, насчитал 1995 утаенных душ, живших в одних дворах с записавшимися. Притом частью по неясности указов и инструкций, а еще более по неумению понимать их сами ревизоры путались в сортировке душ, не знали, кого зачислить в подушный оклад, кого переписывать только для сведения, не кладя в подушный сбор, и кого совсем не писать. Со своими недоумениями они обращались к правительству, и по этим запросам Петру с Сенатом пришлось написать длинный ряд разъяснений и дополнительных инструкций. Вследствие всего этого ревизоры, разосланные по губерниям в начале 1722 г., еще продолжали работу в течение всего 1723 г., и к концу этого года полки не только не были разведены, но не были и расписаны по местам своего подушного расположения. Притом не имелось точных сведений о наличном составе армии, и указом 20 мая 1723 г. только к августу велено было военной коллегии собрать по всем корпусам справки об этом. Точно так же земских комиссаров, инструкция которым была составлена еще в начале 1719 г., велено было дворянству каждого уезда выбрать на 1724 г. заранее, в октябре 1723 г., но указ, изданный в конце этого месяца, только еще ожидал этих выборов. Несмотря на это, именными указами предписано было проверку сказок «всеконачно» кончить в 1723 г. и самим ревизорам к новому году вернуться в столицу, «понеже по указу его величества с предбудущаго 1724 г. подуш-

ный сбор зачнется». Ревизоры, однако, к новому году не вернулись и заранее донесли Сенату, что к 1724 г. своего дела они не кончат; указом 14 января 1724 г. им назначен был крайний срок в марте<sup>5</sup>. Несмотря на то, не только в марте, но еще и в мае Сенат продолжал рассылать разъяснения и дополнительные инструкции ревизорам, не успевшим покончить своих работ в губерниях. Пришлось отказаться от надежды начать правильный подушный сбор с 1724 г., и Сенат указом 19 мая отложил его до 1725 г.<sup>6</sup>

Впрочем, дело подвинулось уже настолько, что можно было составить план распределения полков по ревизским душам и определить подушный оклад. В подвергшихся ревизии провинциях 10 губерний считалось в мае 1724 г. 5 409 930 душ, подлежащих раскладке на полки, без городских обывателей, положенных в тягло, которых насчитано было 172 385 душ. Из этого числа на 4 941 444 души расписано было 73 армейских и 53 гарнизонных полка. Сверх того, на остатки от подушного сбора с Сибирской губернии, назначенного на содержание 4 гарнизонных и 5 армейских полков, отнесено было содержание гвардейских полков, Преображенского и Семеновского, расквартированных в Петербургской губернии. Долго не удавалось установить подушный оклад. В 1721 г., при пробном расположении двух полков в Новгородской провинции, положено было считать по 95 коп. с ревизской души. В 1722 г., когда возникла надежда, что ревизских душ наберется больше, чем предполагалось сначала, оклад был убавлен: указом 11 января о раскладке полков на 5 млн. душ велено было считать «по 8 гривен с персоны». Но и этот расчет оказался неточным, и в декабре 1723 г. Петр еще не знал, сколько придется на душу. Наконец, в 1724 г., когда душ насчитано было гораздо больше, назначен был окончательный оклад по 74 коп. с души. Этот оклад падал одинаково как на владельческих крепостных людей и крестьян, работающих на своих владельцев или плативших им оброк, так и на городских тяглых обывателей, однодворцев и государственных крестьян разных наименований, которые были свободны от таких работ и оброков. Чтобы уравнять в тягостях всех податных плательщиков, предположено было обложить души, не принадлежавшие ни дворцу, ни частным владельцам, дополнительным сбо-

ром, применяясь к тому, «как помещики получать будут с своих крестьян, или иным каким манером, как удобнее и без конфузии людям». В 1723 г. этот сбор вычислен был в 40 коп. с души и не был изменен, когда общий подушный оклад понизился до 74 коп., только городские тяглые обыватели и после этого понижения должны были платить подушных и дополнительных 120 коп. Впрочем, и 74-копеечный оклад собирался только в первый пробный 1724 г.: по указу преемницы Петра с 1725 г. велено было убавить и этот оклад на 4 коп.<sup>7</sup>

Присутствуя в Сенате 1 мая 1724 г., Петр указал порядок размещения полков: предположено было разводить их большими концентрическими кругами, начать с Московской губернии, продолжить губерниями с нею смежными и окончить губерниями, которые граничили с последними. В августе предписано было полкам двинуться на доставшиеся им по росписи «вечные квартиры»: полки, которые стояли в 500 верстах или немного дальше от этих квартир, должны были идти в полном составе; полки, удаленные от назначенных им мест постоянного расположения на более значительное расстояние, высылали туда своих полковников с указанным числом офицеров и рядовых, оставаясь до времени на прежних квартирах. Вместе с тем полки, называвшиеся до тех пор большею частью по именам своих полковников, должны были получить новые названия — по провинциям, в которых размещались. Петру не суждено было видеть окончание предпринятого им трудного дела: ревизоры с полковыми офицерами, проверявшие ревизские сказки и располагавшие полки по душам, не успели вернуться к 28 января 1725 г., когда преобразователь закрыл глаза; полки разводились по вечным квартирам в продолжение всего 1725 г., а следственные дела об утайке и прописке душ не были очищены и в этом году<sup>8</sup>.

На современный взгляд может показаться странным придуманный Петром способ содержания армии. При расположенном к карикатуре воображении может возникнуть и возникал вопрос: зачем народ, только что окончивший победоносно многолетнюю войну и ценой страшных жертв и усилий оттягавший у давнего врага восточный берег Балтийского моря, — зачем было подвергать его нашествию собственных его победоносных рекрутов с самым детальным указанием, какие капраль-

ства и роты на какие именно души садились; можно недоумевать, каким образом понятие, сильно отзывавшееся психологией, — ревизская *душа* стала окладной единицею военно-податного обложения. По 74-копеечному подушному окладу было назначено на каждый драгунский полк по 60 268  $\frac{1}{8}$  души, на каждый пехотный — по 21 863  $\frac{7}{8}$  души, и не только назначено, но и точно расписано, какие села и деревни и с какими именно душами должны были содержать известный полк и известную роту полка, так что всякая душа, справившись по книгам земского комиссара, могла рассчитать, какую долю драгуна или пехотинца она кормила и одевала. Мы привыкли к более замаскированному действию военно-государственной машины. Встречая на улице марширующий батальон, мы не умеем сказать, кто из наших сограждан заплатил за его мундиры и ружья и где теперь маршируют батальоны, мундиры и ружья, которые оплачены нами. Но здесь разница только в системе расчета сборов и распределения расходов, в приемах военно-финансовой бухгалтерии: вместо того чтобы стягивать в общий водоем, называемый министерством финансов, бесчисленные питательные капли и отсюда бесчисленными трубочками распределять собранный запас по армейским частям, требующим питания, Петр хотел поместить каждую часть прямо там, откуда шли назначенные питать ее капли, определив точными правилами размеры ее аппетита. Но странно было не самое расположение полков по душам, а способ вычисления подушного оклада и то отношение, в какое постояльцы поставлены были к хозяевам, их содержавшим. Высчитать стоимость штатного состава полков, потом сосчитать наличное количество тяглых мужских душ «от старого до самого последнего младенца», наконец, приняв обе найденные величины за неизменные, разделить первую на вторую и полученное частное признать одинаковым для всех подушным окладом, не принимая во внимание неодинаковой доходности труда разных мест, возрастов и промыслов, — произвести такой расчет мог математик, привыкший обращаться с послушными отвлеченными цифрами, а не финансист, имеющий дело с реальными хозяйственными силами. Прежде всего самое основание расчета лишено было всякой устойчивости. С одной стороны, наличное коли-



чество душ ежеминутно изменялось, и потому ревизские цифры, по которым рассчитывалась подушная подать, были величины чисто фиктивные. С другой стороны, такое же фиктивное значение имела и самая окладная единица, ревизская душа: в народном хозяйстве нет душ, а есть только капиталы да рабочие руки; действительными плательщиками были, разумеется, только работники, а не все ревизские души. Таким образом, ревизское число душ не соответствовало наличному, а наличное число податных душ не соответствовало числу действительных плательщиков. Это двойное несоответствие ревизского счета платежной действительности должно было вносить постоянное колебание в действительную разверстку подати: по мере того как одни работники выбывали, а другие подрастали, отдельным плательщикам приходилось платить то за большее, то за меньшее число ревизских душ. Математически рассчитанный, однообразный налог, целью которого, по мысли законодателя, было «уравнение подданных в казенных платежах», на деле оказывался чрезвычайно неравномерным. Можно было устранить это неудобство, сообщив ревизской душе значение не платежной силы, какую она не могла быть сама по себе, а только счетной единицы. Такое значение и было дано ей последующим законодательством; по указу 3 мая 1783 г. «подати с мещан и крестьян по числу душ полагаются единственно для удобства в общем государственном счете», но такой счет не должен стеснять плательщиков «в способах, ими полагаемых к удобнейшему и соразмерному платежу податей»<sup>9</sup>. Петр в своих многочисленных указах о первой ревизии не разъяснил порядка разверстки нового налога, и подушная подать была понята в самом буквальном смысле: ее не только рассчитывали в податных росписях, но и раскладывали при самом сборе прямо по ревизским душам, а не по работникам<sup>10</sup>. Вскоре по смерти Преобразователя в народе становятся слышны жалобы на такой необычный способ раскладки. В подметном письме 1728 г. «вышние господа», между прочим, обвинялись и в том, что они «учинили подушный оклад и тем разорение народу чинят». На допросе с пыткой дьячок, составивший письмо, в объяснение этого пункта ссылался на крестьянские толки, подслушанные им на рынке: «Подушным де окладом народу

отягчение, и у скудных крестьян хотя 3 и 4 сына маленькие, и с тех подушные деньги велят платить, а у которого крестьянина у богатого сын один, и с того одного подушная берет, и тем в народе неравенство, и они убогие от того холодны и голодны и деться им негде». Впрочем, сохранилось и официальное указание на тот же способ раскладки налога, действовавший в первые годы по введению подушной подати. Указом 9 января 1727 г. Верховному тайному совету предложено было обсудить ряд мер для приведения внутренних дел в лучший порядок. В одном из пунктов указа, касающихся подушного сбора, встречаем такое предложение: «А почему впредь с крестьян и каким образом удобнее и сходнее с пользою народною — с душ так, как ныне, или по примеру других государств с одних работников, кроме старых и малолетних, или тот платеж с дворового числа, или с тягол, или с земли положить, о том надлежит немедленно рассуждать и положить»<sup>11</sup>. Подушная подать была тяжела и сама по себе, независимо от способа ее раскладки. Чрезвычайно трудно по сохранившимся неполным данным высчитать ее отношение к прежним подворным налогам, которые она заменила: основания того и другого обложения так несходны, что нельзя сделать никакого точного вывода. Манштейн, по-видимому, передал общее мнение людей, помнивших первую ревизию, заметив в записках, что подать, введенная Петром, была вдвое больше прежней<sup>12</sup>. Сопоставляя оба обложения в тех редких случаях, когда данные позволяют хотя приблизительно определить взаимное отношение подворных налогов к подушной подати, приходишь к мысли, что известие Манштейна едва ли можно заподозрить в преувеличении.

Еще страннее было отношение, в какое полки поставлены были к обывателям, их содержавшим. Полки не просто были размещены по душам: правительство хотело сделать их орудием администрации и, сверх их строевых занятий, возложило на них множество полицейских обязанностей. Инструкциями, данными в 1724 г. полковникам и земским комиссарам, были точно определены порядок сбора подушных денег, повинности обывателей в пользу расквартированных среди них войск и обязанности полковых начальств по наблюдению порядка и благочиния в уездах, в которых размещены их

полки<sup>13</sup>. Полковник с офицерами обязан был преследовать воров и разбойников в своем уезде, удерживать крестьян своего округа от побегов и ловить бежавших, наблюдать за беглыми, приходившими в округ со стороны, искоренять корчемство и контрабанду, помогать лесным надсмотрщикам в преследовании незаконных лесных порубок, с чиновниками, командированными от городских управителей в уезд по каким-либо делам, посылать своих людей, которые бы не позволяли этим чиновникам разорять уездных обывателей, и т. п. По мысли инструкций, полковое начальство должно было сельское население уезда «от всяких налогов и обид охранять». На деле это начальство, даже помимо своей воли, само ложилось тяжелым налогом и обидой на местное население, и не только на крестьян, но и на самих землевладельцев. Офицерам и солдатам запрещено было вмешиваться в хозяйственные распоряжения помещиков и в крестьянские работы, но пастьба полковых лошадей и домашнего скота офицеров и солдат на общих выгонах, где пасли свой скот помещики и крестьяне, право требовать в известных случаях людей для полковых работ и подвод для полковых посылок и, наконец, право общего надзора за порядком и безопасностью в полковом округе — все это должно было создавать постоянные помехи нормальному течению помещичьего и крестьянского хозяйства со стороны полкового начальства. Крестьянин не мог уйти на работу в другой уезд даже с отпускным письмом своего помещика или приходского священника, не явившись на полковой двор, где отпускное письмо свидетельствовалось и записывалось в книгу земским комиссаром, который от себя выдавал крестьянину пропускной билет, скрепленный подписью и печатью полковника, взимая за то известную пошлину. Столкновения между постояльцами и хозяевами были тем неизбежнее, что солдаты были поставлены в непосредственное соприкосновение с крестьянским населением, были, так сказать, втиснуты в него, а не размещены особыми поселками. Ревизорам, поверявшим сказки и распределявшим полки по душам, как мы видели, предписано было склонять помещиков к постройке для полков особых помещений, полковых слобод. Дело с этими слободами вследствие плохо обдуманного плана вызвало новую суматоху. В плакате

1724 г. встречаем признание, что большинство помещиков не пожелало строить для полков особых квартир, предпочитая размещение солдат по крестьянским дворам. Плакат превратил предложение в обязательное предписание, повелев строить слободы по месту душевого расположения полков; только для полков, расквартированных не там, где находились содержавшие их души, каковы были полки гвардейские и гарнизонные, слободы велено строить по месту расквартирования, а не душевого расположения. Постройку предписано было начать в октябре 1724 г. и кончить непременно к 1726 г. Это предписание создало новую «великую тягость» для ревизских душ. Полки должны были сами строить свои избы, но доставка леса и других строительных материалов положена была на тяглых обывателей. Заготовку материалов начали торопливо, вдруг по всем местам, отрывая крестьян от их домашних работ; землю под слободы пришлось покупать, и для этого обложили души единовременным сбором, что причинило замешательство и замедление в очередных подушных платежах. Эти затруднения заставили правительство тотчас по смерти преобразователя издать указ, который предписывал к 1726 г. построить из заготовленного материала только дворы для полковых штабов, а постройку слобод рассрочить на 4 года, причем в тех уездах, где помещики предпочтут размещать солдат по крестьянским дворам, велено было их «строением не принуждать». Манштейн пишет, что штабные дворы были построены, но слободы для солдат, уже по местам начатые, нигде не были кончены, и солдаты разместились по обывательским дворам<sup>14</sup>. Указ 9 января 1727 г., упомянутый выше, отметил и последствие такого размещения, признавшись, что бедные российские крестьяне разоряются и бегают не только от хлебного недорода и подушной подати, но и «от несогласия у офицеров с земскими управителями и у солдат с мужиками».

Так полки введены были в систему местных учреждений как новый и очень влиятельный орган управления. Полковники могли по соглашению с воеводами и губернаторами отдавать под суд выбранных дворянами земских комиссаров за неисправность, обязаны были даже наблюдать за действиями самих воевод и губернаторов по исполнению присланных из центральных

учреждений указов, донося в те учреждения о неисполнении или медленном исполнении указов. Но всего тяжелее давало себя чувствовать местному населению полковое начальство при сборе подушной подати. По первоначальному плану этот сбор должны были производить земские комиссары без участия полковых командиров. Но потом Петром овладело раздумье, и 18 октября 1723 г. он продиктовал коротенький указ: «К будущему году чтоб жалованье настало от комиссаров по полкам; но для новости сего дела, дабы комиссары какой конфузии не сделали, того для с оными комиссары первый год собирать штаб и обер-офицерам, дабы доброй анштальт внести, а потом на другой год чинить по определению»<sup>15</sup>. В переводе на простой язык это значило, что с будущего, 1724 г. полки должны были получать содержание по новому порядку, от земских комиссаров из подушного сбора; но, чтобы эти комиссары по новости дела не напутали при сборе, они в первый год должны были брать с собой полковых офицеров, которые могли надлежащим образом заправить дело так, чтобы потом комиссары умели собирать подать и без их содействия, по установлению. Военные команды с полковыми офицерами во главе, от которых Петр ждал доброго анштальта при введении подушной подати, были разорительнее самой подати. Первоначально предположенный только на 1724 г. такой способ сбора был повторен и в следующем году, а указ 1725 г. «для установления порядков» продолжил его и на 1726 г. В следующем году его отменили, поручив наблюдать за правильностью и исправностью сбора губернаторам и воеводам; в начале царствования Анны его восстановили, но на короткое время. Долго после плательщики не могли забыть этого порядка сбора. Подать вносилась по третям; три раза в год земские комиссары с полковыми командами объезжали села и деревни, производя взыскания и экзекуции, и содержались на счет обывателей. Каждый объезд продолжался два месяца: шесть месяцев в году села и деревни жили в паническом страхе, под гнетом или в ожидании вооруженных сборщиков. В мнении Меншикова и других сановников, представленном Верховному тайному совету в 1726 г., было заявлено, что «мужику бедным страшен один въезд и проезд офицеров и солдат, комиссаров и

прочих командиров; крестьянских пожитков в платеже податей не достает, и крестьяне не только скот и пожитки продают, но и детей закладывают, а иные и врознь бегут; командиры, часто переменяемые, такого разорения не чувствуют; никто из них ни о чем больше не думает, как только о том, чтоб взять у крестьянина последнее в подать и этим выслужиться». На те же недостатки установленного Петром порядка сбора указывал Сенат еще раньше, в 1725 г.: «платежом подушных денег земские комиссары и офицеры так притесняют, что крестьяне не только пожитки и скот распродавать принуждены, но многие и в земле посеянный хлеб за безценок отдают, и от того необходимо принуждены бегать за чужие границы». Едва полки начали размещаться по вечным квартирам в назначенных им уездах, стала обнаруживаться огромная убыль в значившихся по ревизским книгам душах, происходившая от усиления смертности и побегов. Вскоре по смерти Петра генерал-прокурор Ягужинский докладывал императрице, что в Казанской губернии один пехотный полк не досчитывался с лишком 13 тыс. душ, т. е. более половины назначенных на его содержание плательщиков<sup>16</sup>.

Введение полков в систему уездных учреждений усложнило еще более и без того сложное местное управление, созданное Петром. В упомянутом выше коллективном мнении князя Меншикова с товарищами 1726 г. было указано на это неудобство нового расквартирования армии: «Теперь над крестьянами десять или и больше командиров находится вместо того, что прежде был один, а именно из воинских начав от солдата до штаба и до генералитета, а из гражданских от фискалов, комиссаров, вальдмейстеров и прочих до воевод, из которых иные не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися, называться могут». Поставив полки в неестественное отношение к местному населению, новый порядок сбора подати создавал неестественное отношение и между главными классами местного населения, дворянами и их крепостными крестьянами. Давно, еще в XVI в., если не раньше, из уездных служилых вотчинников и помещиков, городских дворян и детей боярских сформировались местные сословные общества, своеобразно организованные. Ходя в походы террито-

риальными отрядами, уездными ротами и батальонами, они имели свои съезды, выбирали коллегии предводителей, присяжных *окладчиков*, связывались *соседскою* (не круговою) порукой своих членов друг за друга в отправлении военнотрудовых обязанностей и во многих отношениях были очень полезным вспомогательным средством местного управления. Развиваясь и укрепляясь, эти уездные дворянские корпорации с течением времени приобрели и некоторое политическое значение, которое становится заметно в XVII в.: дворянские окладчики являются депутатами на земских соборах и ходатаями перед центральным правительством по делам выбравшего их уездного дворянского мира. При Петре с образованием регулярной армии дворянские окладчики исчезают, но корпоративная жизнь сословия поддерживается самим правительством: дворяне выбирали из своей среды советников к уездным воеводам, а потом, с учреждением губерний, — к губернаторам; со введением подушной подати установлены были ежегодные дворянские съезды для проверки действий прежних земских комиссаров и для выбора новых с их запасными заместителями. Но странный вид должны были представлять эти ежегодные дворянские съезды на полковых дворах расквартированных по уездам полков. В дворянских имениях жили недоросли, не успевшие на службу, отставные старики и калеки, негодные к службе, и служащие дворяне, отпущенные домой на побывку, если не считать нетчиков, незаконно уклонявшихся от службы; прочие дворяне уезда были рассеяны по канцеляриям и полкам, далеко от своих поместий и вотчин. Таким образом, полицейское значение, какое получили полки в местном управлении, создавало служившим в полках дворянам-землевладельцам вдвойне фальшивое отношение к сельскому населению: они волей-неволей ложились тяжким притеснительным бременем на чужих крестьян и были лишены возможности оказывать своевременную защиту от притеснений своим. В правительственном кругу сознавали неправильность такого положения и придумывали средства для ее устранения. В царствование преемницы преобразователя генерал-прокурор Ягужинский, князь Меншиков и другие сановники в официальных записках предлагали поочередно и в возможно большом количестве отпускать

домой на побывку состоявших на военной службе дворян-землевладельцев, чтобы они могли осмотреть и привести в порядок свои деревни; Ягужинский даже находил нужным одного из младших братьев в дворянской семье совсем оставлять дома для ведения хозяйства, потому что только при этом условии «крестьяне будут в призрении и государственные сборы порядочны».

В 1725 г. дело ревизии и расквартирования полков находилось в таком положении. Разосланные по губерниям ревизоры оканчивали проверку ревизию сказок, а полки размещались по назначенным им постоянным квартирам. Ревизия насчитала немного более 5  $\frac{3}{4}$  млн. душ<sup>17</sup>. Из этого числа 172 385 городских душ платили по 120 коп. (206 862 руб.), остальные 5 622 543 души обложены были по указу 8 февраля 1725 г. семигривенною податью (3 935 780 руб. 10 коп.); из этого числа однодворцы и государственные крестьяне, которых считалось 1 282 895 душ, платили дополнительный налог по 40 коп. с души (513 158 руб.). Итак, подушные сборы давали казне 4 655 800 руб. Почти та же сумма (4 655 327 руб.) была выведена в указе 22 мая 1724 г., когда было положено брать с души по 74 коп., но душ считалось несколько меньше, чем в 1725 г. Вся эта сумма, составлявшая около половины государственного дохода того времени, шла на содержание сухопутной армии с артиллерией; флот содержался на таможенные кабацкие сборы. По приблизительному расчету, содержание пехотного солдата с причитавшейся на него «долей роты и полкового штаба», выражаясь словами указа 26 ноября 1718 г., обходилось в 28 тогдашних рублей, равнявшихся приблизительно 250 нынешним, а содержание кавалериста — в 40 руб. (около 360 нынешних). Государственные люди сознавали, что подушный налог очень тяжел: по заявлению Сената, в 1725 г. недоимки показали, что плательщики «никаким образом того платежа понести не могут»; в 1724 г. не собрано было около миллиона, в 1725 г. даже около половины всей окладной суммы. Сенат предлагал выключить из оклада умерших, дряхлых, беглых, младенцев, понизить самый оклад, уменьшить расходы на армию, сократить число войска. Общий семигривенный оклад равнялся нынешним 6 руб. 30 коп., оклад однодвор-



цев и государственных крестьян (110 коп.) — нынешним 9 руб. 90 коп., а оклад городских обывателей — 10 руб. 80 коп. Уже в 1725 г. успели обнаружиться и другие недостатки подушного сбора, совокупность которых показывала, что преобразователю в последние годы его жизни стало изменять отличавшее его мастерство в разработке практических подробностей преобразовательных предприятий.

Все недостатки подушного сбора, на которые тогда жаловались, касались его экономических последствий и административно-полицейского устройства: жаловались на то, что подать сама по себе обременительна, а порядок ее взимания, связанный с расквартированием полков, еще обременительнее. Но ни тогда, ни после не было слышно жалоб на юридический переворот, какой произвела первая ревизия в составе общества и в частных гражданских отношениях: она коренным образом изменяла положение многочисленного класса холопов — полных, кабальных и жилых. Этот класс отличался от других состояний тем, что люди, к нему принадлежавшие, находясь в личной крепостной зависимости, вечной или временной, не несли на себе никаких государственных тягостей и, освобождаясь от личной зависимости, вступали в класс *вольных*, или *гулящих*, людей, продолжая пользоваться свободой от государственных податей и повинностей. По своему хозяйственному положению и по условиям крепостной службы этот класс разделялся на людей *дворовых*, *деловых* и *задворных*: одни жили во дворах своих господ, состоя в домашнем услужении; другие исправляли сельские работы на господ, живя в их сельских усадьбах и на их содержании; третьи, исправляя сельские работы на господ, получали от них земельные участки в пользование и жили особыми дворами, имея каждый свое особое хозяйство. Указы Петра о ревизии постепенно подбирали один за другим разные разряды холопов, предписывая заносить их в ревизские сказки и класть в подушный сбор. В первом указе — 26 ноября 1718 г. дано было неопределенное предписание заносить в сказки все души мужского пола, сколько их окажется в деревнях у землевладельцев, не различая крестьян и холопов. По указу 22 января 1719 г. велено было класть в подушный сбор наравне с крестьянами всех сельских деловых и задворных

людей, «которые имеют свою пашню», а деловых людей, которые своей пашни не имели, а только пахали на своих помещиков, предписано было заносить в сказки особою статьей «для ведома»: законодатель как будто еще колебался, не решив, класть ли их в подушный сбор. Но указом 5 января следующего года он для предупреждения утайки предписал помещикам заносить в сказки всех своих подданных без различия, «какого они звания ни ссть». Однако Сенат, излагая в своем указе это предписание, распространял его только на тех дворовых и прочих помещичьих подданных, «которые живут в деревнях», не различая пашенных людей и слуг домовых. Указом 23 августа 1721 г. велено было писать в сказки людей кабальных и «служивших на время по записям», т. е. слуг жилых, хотя бы они уже получили волю от своих господ, но при этом Сенат предписывал не требовать «до указа» сказок о людях, служивших господам своим в их московских домах. В 1722 г. также несколько раз Сенат подтверждал писать в подушный сбор только слуг, живущих в деревнях, пашенных и непашенных, а тех, которые служили в городских домах у светских господ и духовных властей, в душевую разверстку по полкам не класть, а только писать для ведома. Наконец, резолюцией 19 января 1723 г. на доклад одного из ревизоров Петр предписал заносить в сказки и класть в подушный сбор наравне с крестьянами всех слуг, не различая пашенных и непашенных, сельских и городских дворовых<sup>18</sup>. Так государственное тягло было распространено на всех холопов. Это равнялось законодательной отмене древнерусского холопства, ибо существенным юридическим отличием его от крепостного крестьянства была свобода от государственного тягла. Изложенные указы Петра вносили в положение холопов двоякую перемену, касавшуюся как государственного, так и гражданского права: они, во-первых, упраздняли целый класс в составе русского общества и, во-вторых, превращали временных холопов, кабальных и жилых, в вечных и потомственных крепостных тех господ, за которыми их записывали в ревизские сказки. Между тем такой важной перемены как будто никто не заметил в XVIII в., хотя холопы составляли довольно многочисленный класс: неизвестно, сколько насчитала их первая ревизия, но, по синодским ведомостям, в конце

царствования Анны дворовых людей значилось 318 824 души мужского пола и 323 413 женского пола<sup>19</sup>. Это значит, что юридическая перемена, произведенная первою ревизией, была подготовлена настолько, что никому не показалась новостью. Эта подготовка началась давно, но долго совершалась в области экономических, а не юридических отношений.

## III. Церковь и холопство

В истории русского права трудно найти другой институт, который достигал бы такой юридической выработки и вместе служил бы в продолжение многих веков таким могущественным рычагом народного хозяйства, как холопство. Эту юридическую выработку и такое экономическое значение оно получило благодаря своей гибкости, которая делала его способным принимать самые тонкие и разнообразные юридические определения и вместе с тем применяться к изменчивым условиям народного хозяйства. В опыте о происхождении крепостного права в России пишущий эти строки пытался описать разнообразные юридические виды, на какие разветвилось холопство с начала XVI в. Читатель мог видеть, как этим своим разветвлением оно задержало свободный рост многочисленного класса владельческих крестьян, привив к нему некоторые из своих юридических особенностей. История института усложнилась еще тем, что рядом с *юридическими* видами холопства развивались виды *экономические*, посредством которых холоп становился орудием удовлетворения самых разнообразных потребностей народного хозяйства. Этот экономический процесс, ранее начавшийся, завершился фактом, не менее важным, но противоположным тому, к какому привел процесс юридический. Кабальное холопство, развивавшееся из долгового обязательства посредством усвоения закладничества некоторых начал полного холопства, захватывая по мере своего юридического разветвления все более широкий круг гражданских отношений, коснулось и ссудных обязательств владельческого крестьянства и, привив к ним холопий принцип, отказ обязанного ссудой лица от права преградить зависимость возвратом ссуды, помогло превра-

тить эти обязательства в крепостную зависимость. Напротив, экономические условия страны заставили рабовладельцев направить рабочие силы холопства на такие операции народного труда, которыми главным образом поддерживалось государственное хозяйство, из которых оно извлекало самые надежные свои средства. Это сблизило холопов в экономическом отношении с податным населением государства, всего более — с крестьянством, а сходство экономического положения поставило холопство в одинаковые с крестьянством отношения к государству. Прежде холоп не имел непосредственной связи с государством, привязывался к нему посредством своего господина, не нес на себе государственных обязанностей, был отчужден от государства своим господином; теперь, принявшись за крестьянские занятия, холопство должно было принять на себя и государственные повинности, лежавшие на крестьянах, что положило конец его юридическому существованию. Поэтому последние моменты обоих процессов, юридического и экономического, можно представить в такой схеме: первый процесс вовлек *частные* отношения владельческого крестьянства в сферу холопства крепостного рабовладельческого права, а процесс экономический, наоборот, втянул холопство в круг *государственных* отношений крестьянства. Этим последним фактом и завершилась продолжительная подготовка юридического слияния холопов с владельческими крестьянами, закрепленного указами о первой ревизии. Достоинно внимания значение двух высших классов древнерусского общества в обоих этих процессах. В процессе юридическом роль первоначальных руководителей принадлежала светским землевладельцам, в экономическом — землевладельцам церковным; если первые много содействовали отчуждению крестьян от государства посредством распространения на них холопских отношений, то делом последних была первоначальная подготовка холопства к прямому служению государству посредством участия в крестьянских повинностях. Первых следов этой подготовки надобно искать в древнейших памятниках русского права.

В конце VI в. византийский император Маврикий, наблюдая быт задунайских славян, заметил, что они не обрекают пленных на вечное рабство, как делают дру-

гие народы, но что по истечении известного срока пленник у них получает право выкупаться на волю и воротиться на родину или остаться среди славян и жить вольным человеком. У той ветви славян, которая вскоре после Маврикия отлила на Днепр, незаметно этого обычая. В договорах Руси с греками X в. встречаем условие, по которому жители одной из договаривающихся стран, попавшие пленными в другую, выкупались по установленной холопией таксе, или текущей «челядинной цене», и возвращались в отечество. Но это условие не доказывает того, что на Руси X в. действовал обычай, замеченный Мавриkiem у славян VI в.: это — условие международного договора, вероятно и внушенное греками, законодательство которых признавало за купленным пленником право выкупаться на волю, заплатив купившему его господину условную по взаимному соглашению цену. Арабский писатель X в. Ибн-Даста замечает о руссах, что они хорошо обращаются с рабами; но это черта русских нравов, а не русского права того времени. В древнейших памятниках русского права холопство является очень суровым институтом с резко очерченными границами. Холоп, ударивший свободного человека, еще при Ярославе I мог быть убит безнаказанно потерпевшим; даже во времена Двинской уставной грамоты, в конце XIV в., закон не решался подвергать взысканию господина, от побоев которого умирал холоп. *Русская Правда* не различает видов холопства: она знает одно холопство *обельное*, т. е. полное, вечное, потомственное и наследственное: как зависимость холопа переходила от него в его потомство, так и право на холопа передавалось господином своим наследникам. Успели выработаться довольно разнообразные источники холопства. Их было два ряда: холопами делались или по закону, или по договору, который в иных случаях заменялся молчаливым согласием вступавшего в холопство. Принудительное холопство по закону создавалось четырьмя случаями: 1) пленом, 2) известными преступлениями, за которые закон навсегда лишал преступника свободы, 3) несостоятельностью купца-должника по его вине, если кредиторы не согласились ждать уплаты долга, наконец, 4) происхождением от холопа. Добровольное холопство по договору создавалось тремя способами: 1) продажей

в холопство, 2) женитьбой на холопке без уговора с ее господином, ограждающего свободу лица, вступающего в такой брак, 3) вступлением в частную дворовую службу приказчиком или ключником без такого же уговора слуги с хозяином. Питаясь такими разнообразными источниками, рабовладение уже к XI в. разлилось по Русской земле широким потоком и стало могущественною силой в народном хозяйстве. Челядь стала одною из главных статей, если не главной, русского торгового вывоза; русские купцы обильно снабжали ею волжские и черноморские рынки; в Царьграде около половины XI в. всякий хорошо знал торговую площадь, на которой приезжие руссы торговали челядью. При таком экономическом значении рабовладение рано стало важною политическою силой. В *Русской Правде* встречаем специальный термин, означавший человека привилегированного класса в отличие от *смерда*, простолюдина — это *огнищанин*. В нашей исторической литературе потрачено было много усилий, чтобы объяснить этот термин. Все затруднение состояло в неизвестности древнего значения слова *огнище*: одни толкователи разумели под ним выжженный лес, другие — очаг, третьи — княжеский двор. Между тем из одного памятника русской письменности XI в. узнаем, что на литературно-юридическом языке Руси того времени это слово имело специальное значение *раба*<sup>20</sup>. Итак, огнищанин — рабовладелец. Во времена Русской Правды привилегированное значение огнищанина в составе русского общества уже становилось анахронизмом; в большей части русских областей такое значение создавалось тогда не экономическим, а политическим условием, не рабовладением, а службой при дворе князя; человеком высшего класса, господином считался *княж муж*, занимавший известное положение в военно-правительственной иерархии княжеских слуг. Очевидно, привилегированное значение огнищанина создано в то время, когда служба князю еще не давала слуге такого положения в обществе, когда господином, баринном считался тот, кто имел своих слуг, вел свое хозяйство посредством челяди. Этим объясняется, почему огнищане долее сохраняли свое привилегированное положение в тех областях Русской земли, где не было постоянных князей, своей особой княжеской династии,

и где потому служба при дворе князя оказывала менее влияния на склад местного общества. Так, в Новгороде до конца XII в. огнищане остаются на вершине местной общественной лестницы, когда в других областях их место заступили уже княжие мужи, служилые бояре.

Довольно трудно решить, какое влияние оказали на русское рабовладение тесные торговые связи Руси с Византией и особенно русская торговля рабами. Договоры Руси с греками X в. представляют очень искусное сочетание византийского и русского права, приуроченное к потребностям и юридическим понятиям обеих договаривавшихся сторон. Эти договоры предусматривают и разрешают некоторые столкновения, которые могли возникать между Русью и греками из-за челяди. Таким образом, русское рабовладение приходило в непосредственное соприкосновение с греко-римским правом. В старинных русских памятниках встречаем указания на то, что действительные юридические границы древнего русского холопства были шире тех, какие обозначены в *Русской Правде*. Последняя говорит только о том случае продажи в холопство за долги, когда кредиторы не захотят отсрочить уплаты долга купцу, ставшему несостоятельным по собственной вине. Но в одном поучении, несомненно, русского и очень древнего происхождения, близкого ко времени Русской Правды, если ей не современного, в слове на первую неделю великого поста, которое надписано именем св. Кирилла, проповедник, обличая немилостивых заимодавцев, замечает: «Вижу бо многи бьюща дружину свою (братию свою, православных соотечественников) из незаконных накладов, дондеже продаются поганым»<sup>21</sup>. Значит, всякий неисправный должник, даже тот, которого «незаконные наклады», т. е. лихвенные проценты, лишали возможности расплатиться с заимодавцем, мог быть продан в рабство и притом за границу, некрещеным соседям Руси. И в *Русской Правде* можно найти косвенное указание на действие этого общего закона, по крайней мере можно считать его последствием то постановление, по которому *закуп*, наемный работник-должник, пытавшийся бежать от своего хозяина-заимодавца, не расквитавшись с ним, обращался в его полного холопа: закон признавал его

неоплатным должником. Был ли этот общий закон самобытным и исконным установлением русского права, возник ли он самобытно, но в более поздние времена под влиянием привилегированного положения, занятого богатыми рабовладельцами-огнищанами, или, наконец, он имеет какую-либо связь, прямую или посредственную, с известными древнеримскими законами о порабощении неоплатных должников, перешедшими и в византийское законодательство с некоторыми изменениями, — на все эти вопросы трудно дать решительный ответ. То же замечание применимо и к некоторым статьям *Русской Правды* о холопстве, представляющим большее или меньшее сходство с постановлениями византийского законодательства. Впрочем, рассматривая влияние христианской церкви на русское рабовладение, встречаем в последнем одну особенность, о которой с большою вероятностью можно думать, что она создавалась под влиянием византийского рабовладельческого права и притом еще до водворения христианства на Руси.

Церковь произвела в положении русского холопства такой решительный перелом, которого одного было бы достаточно, чтобы причислить ее к главным силам, создавшим древнерусское общество. Она, во-первых, установила случаи *обязательного дарового отпуска* холопов на волю. Таких случаев было три: 1) раба, прижившая детей с своим господином, обязательно освобождалась после его смерти вместе с прижитыми от него детьми; 2) свободный человек, совершивший насилие над чужою рабой, этим самым делал ее свободной; 3) холоп или раба, которым причинено увечье по вине их господина, выходили на волю.

Участие духовенства в установлении первого случая обличается тем, что в *Русской Правде* он отнесен к числу постановлений семейного права, которое со времени введения христианства на Руси регулировалось преимущественно духовенством. Этот случай представляет своеобразный опыт применения норм и понятий римского и церковного права к туземным русским семейным нравам. В римском праве с тонкою казуистическою логикой определена была зависимость положения детей от юридического состояния родителей и, в частности, от состояния матери в момент зачатия или рожде-



ния дитяти, если это состояние изменялось в промежутках обоих моментов. Это определение основывалось на возможности или невозможности законного союза вступавших в связь лиц разных юридических состояний, на которые делилось население Римского государства. Здесь действовало правило: если родители принадлежали к различным состояниям, между которыми закон допускал правильные брачные союзы, то дети наследовали состояние отца, в противном случае — состояние матери. Так, не допускался законный брак свободного лица с несвободным, потому дети свободного и рабы становились рабами, дети свободной и раба — свободными. С другой стороны, положение детей от законного брака определялось юридическим состоянием родителей в минуту зачатия; напротив, дети от незаконного брака вступали в состояние, определявшееся положением родителей в минуту их рождения. Римская гражданка, сделавшаяся рабой во время беременности, рождала римского гражданина, если беременность была плодом законного союза, или холопа, если связь была незаконной. Напротив, раба, ставшая беременной от римского гражданина и отпущенная на волю до разрешения от бремени, рождала свободного. Все эти постановления имели большую цену в римском обществе, охраняя такие важные интересы, как право римского гражданства, право собственности на раба и пространство отеческой власти. Для нашего вопроса особенно важна в них одна черта: связь свободных лиц с несвободными, влияя на положение детей, не изменяла состояния несвободных родителей. Незаконно зачатый сын римской гражданки являлся на свет рабом того господина, чьей невольницей становилась его мать в промежуток между его зачатием и рождением, но раба, родившая от свободного, вследствие этого не становилась свободной. Те из этих постановлений, которые сохранили силу и после закона 212 г., распространившего право римского гражданства на все свободное население Римской империи, были усвоены и законодательством византийских императоров с некоторыми поправками в пользу свободы<sup>22</sup>. Согласно с отмеченною чертой этих постановлений в *Эклоге*, византийском кодексе VIII в., находим статью, повторенную и в *Прохиране*, кодексе IX в., по которой свободный человек, вступивший

в связь с чужою рабой, должен был заплатить за то ее господину 36 золотых (солидов), если был человек зажиточный, или подвергался телесному наказанию и платил, сколько мог, если был человек небогатый, но юридическое положение самой рабы оставалось прежним<sup>23</sup>. Христианская церковь, признавая эти постановления, оставалась равнодушна к языческим институтам, ими охраняемым, и старалась поставить под их защиту более близкие ей интересы. Так, ее влияние можно подозревать в статье, встречаемой в упомянутых византийских кодексах, которая, охраняя чистоту семейных отношений насчет права собственности на несвободное лицо, конфисковала рабу, ставшую наложницей своего женатого господина: местный управитель обязан был продать такую соперницу домохозяйки за пределы области в пользу казны<sup>24</sup>. Посредством брачного же союза, т. е. при вероятной помощи того же церковного влияния, в греко-римском праве если не возник, то утвердился новый способ отпуска на волю, незнакомый древнеримскому праву и противный его духу. По одной статье *Прохирона*, брак свободного человека с чужою рабой, которую господин ее выдавал за свободную или которой он намеренно не помешал выйти за свободного, считался правильным как союз свободных лиц: закон признавал такую рабу свободной по акту *молчаливого освобождения*<sup>25</sup>. По другой статье, свободный человек, купивший пленницу и вступивший с нею в союз как с женой, этим самым делал ее свободной: закон возвращал ей утраченную пленом свободу без вознаграждения покупателя в силу юридического предположения, что выкупивший ее господин актом союза с ней молчаливо прощал ей стоимость выкупа<sup>26</sup>. В византийском обществе римское право оставляло мало простора преобразовательным стремлениям церкви. Гораздо свободнее действовала она там, где не встречала такого стеснения. Греко-римское право сурово преследовало брачную и внебрачную связь свободного лица с несвободным. По закону императора Клавдия римская гражданка, вышедшая замуж за чужого раба без позволения его господина, сама становилась рабой последнего, а закон императора Константина Великого даже осуждал на смерть женщину, вышедшую замуж за собственного раба. По статье *Прохирона* бездетную вдову,

вступившую в связь со своим рабом, подвергали телесному наказанию и остригали, а раба, сверх того, продавали в пользу казны; если же вдова имела законных детей, к последним тотчас переходило все ее имущество вместе с суммой, вырученной от продажи раба. Эта статья повторена и в извлеченной из *Прохирона* уголовной части компиляции, которая была составлена для южных или, может быть, для русоких славян и известна была в древнерусской юридической письменности под названием *Книг Законных*, но здесь вслед за изложенным постановлением *Прохирона* составитель поместил оригинальную статью, по которой вступление вдовы в законный брак со своим рабом не подвергало ни ее самой, ни раба никакому наказанию, а только сопровождалось для нее обычными последствиями, какие по *Прохиرونу* влек за собою брак вдовы со свободным человеком<sup>27</sup>. Это был довольно смелый протест воспитанного на греко-римском праве духовенства против греко-римского общественного строя во имя христианского равенства людей. Хотя переводы *Эклоги* и *Прохирона* с их статьей о связи женатого господина со своею рабой помещались в древнерусских Кормчих и эта статья нашла себе место в другой славянской компиляции, известной под названием *Закона Судного людем* и довольно распространенной в древнерусской письменности, однако в древней Руси незаметно действия постановления, предписывавшего продавать рабу на сторону за связь со своим женатым господином. Легкие отношения женатых и холостых рабовладельцев к своим невольницам, господствовавшие в языческой Руси, продолжались и по принятии христианства. Если по летописным известиям о Святославовом сыне Владимире можно судить об отношениях частного общегития на Руси X в., *робичичи*, дети свободного от невольницы, в языческое время не отличались юридически от детей, рожденных свободною матерью, хотя разборчивые невесты, подобно Рогнеде, могли предпочитать свободнорожденных женихов. У духовенства в первое время христианской жизни Руси не было средств действовать прямо против неопытных отношений к невольницам, глубоко укоренившихся в нравах страны. Оно подступило к ним осторожно, со стороны и с большим умением. Щадя местные привычки и не покидая прине-

сенных из Византии понятий о значении общественных состояний в брачных отношениях, оно не настаивало на конфискации рабы за связь с женатым хозяином и не требовало согласно со статьей *Прохирона* о наложницах<sup>28</sup>, чтобы неженатый закреплял свою связь с рабой женитьбой на ней. Оно не разрывало связи насильственно и оставляло рабу при господине до его смерти, но, применяя к ней греко-римскую презумпцию молчаливого освобождения, оно требовало, чтобы по смерти господина раба выходила на волю, право на которую она приобретала своею связью с ним, а применяя к плодам этой связи римское правило, по которому юридическое состояние незаконнозачатых детей определялось юридическим состоянием их матери в минуту их рождения, а не зачатия, оно настояло на признании и за прижитыми от господина детьми права следовать за вышедшею на волю матерью. Последовательно развивая ту же презумпцию, русское духовенство прилагало ее и к случаям насилия, совершенного свободным человеком над чужою рабой, независимо от того, сопровождалась ли такая насильственная связь известным последствием, или нет: потерпевшая тотчас становилась свободной, т. е. обидчик обязан был выкупить ее на волю. Но *Русская Правда* не договорила всего, сказав, что «робьи дети» свободного человека, не участвуя в наследстве, выходят на волю вместе с матерью. Духовенство пошло еще далее в своем человеколюбивом и нравовоспитательном стремлении и позаботилось о материальном обеспечении таких детей по смерти их отца. В византийском законодательстве было очень точно определено, какую часть отцовского состояния и в каких случаях могли получить незаконные дети с своею матерью по завещанию и по закону: по *завещанию* при законных детях они могли получить не более *одной унции*, т. е.  $\frac{1}{12}$  отцовского состояния, при отсутствии законных детей и близких родственников завещателя, родителей или братьев, даже все состояние, при таких родственниках — не более половины его; по *закону* при законных детях — не более  $\frac{1}{24}$ , при отсутствии их и близких родственников, а также и законной жены —  $\frac{1}{6}$ , в противном случае —  $\frac{1}{24}$ . Руководствуясь этими постановлениями, русское духовенство установило «урочную прелюбодейную часть», кото-

рая обязательно выдавалась «рабочичищам», т. е. детям рабы, из имущества прижившего их господина их матери<sup>29</sup>.

Оба изложенных случая обязательного отпуска не-свободных людей на волю представляют тот интерес, что вскрывают процесс прививки руками духовенства греко-римских юридических понятий к русскому обществу. В другом отношении характерен третий случай. По византийским законам смерть раба от побоев господина без намерения убить его оставалась безнаказанною. Из Двинской уставной грамоты 1397 г. знаем, что так же относилось к этому случаю и древнерусское право. Но холопа, вынужденного прибегнуть под защиту церкви жестокостью господина, последний по византийским законам обязан был продать. Русское духовенство поступило решительнее и нашло себе опору в более отдаленном источнике права. В упомянутом выше *Законе Судном*, компиляции, составленной для болгар вскоре по обращении их в христианство, рядом с извлечениями из *Эклоги* помещались и статьи, заимствованные из Моисеева законодательства. В числе этих статей встречаем взятое из книги *Исход* постановление, которое обязывало господина, выколовшего глаз или выбившего зуб своему холопу или рабе, освободить их. В древнерусских юридических памятниках не находим подобного постановления, но судебная практика уже во второй половине XI в. знала правило, что увечье холопа по вине господина дает первому право на свободу. В известном сказании мниха Иакова о св. князьях Борисе и Глебе читаем рассказ о тяжбе, решенной судом около времени перенесения их мощей в новую церковь, в 1072 г. В городе Дорогобуже госпожа заставила рабу работать в праздник Николая чудотворца. Святые князья, явившись рабе, наказали ее за это болезнью: она пролежала месяц в расслаблении и после не могла работать, потому что у нее отнялась рука. Госпожа прогнала ее, а вместо нее поработила ее сына, родившегося, когда мать была еще вольной. Мать принесла жалобу в суд, который приговорил освободить обоих без возврата денег, заплаченных за рабу, «занеже по неволи делавши, казнь прияла есть», т. е. потому, что раба потерпела увечье вследствие невольной работы, а не по своей вине<sup>30</sup>. Из этого видно, что духовенство

на Руси не держалось педантически византийского законодательства, но, когда находило возможным, шло дальше его в установлении согласных с христианством общественных отношений, ища опоры в других признанных церковью источниках права.

Другое нововведение, которым русское рабовладение было обязано духовенству, состояло в установлении *принудительного выкупа* холопов на волю. Эта перемена вводилась в тесной связи с первой и, по-видимому, удалась даже раньше ее, как более простая и доступная юридическому сознанию Руси того времени. В известных вопросах Кирика, памятнике XII в., есть место, бросающее тусклый свет на борьбу, выдержанную русским духовенством с местными обычаями и понятиями в деле преобразования туземного рабовладельческого права. Кирик жаловался новгородскому епископу Нифонту, что многие открыто живут с наложницами, а другие тайно грешат с своими холопками, и спрашивал: что лучше? — И то, и другое худо, — отвечал владыка. — Не отпускать ли таких холопов на волю? — спрашивал далее Кирик. — Здесь нет такого обычая, — отвечал епископ, лучше заставить такого господина продать рабу, что и другим послужит уроком<sup>31</sup>. Итак, около половины XII в. среди духовенства, возмущенного легкостью отношений русских господ к своим холопкам, была в ходу мысль о принудительном освобождении невольниц-наложниц еще при жизни их господ, но местный обычай был против этого. Епископ Нифонт не надеялся на успех дарового освобождения и предлагал принудительную продажу как предостережение для распущенных господ. Эта мера могла найти оправдание в византийском законодательстве, которое давало церкви право требовать прибегнувшего под ее защиту холопа, если господин истязал его не в меру или морил голодом, или склонял к *постыдному поступку*<sup>32</sup>. И мысль Нифонта не имела успеха. Из *Русской Правды*, составление которой закончилось немного позднее смерти этого епископа, узнаем, что практика приняла среднюю меру: раба с детьми, прижитыми от ее господина, отпускалась на волю по смерти его, получая «урочную прелюбодейную часть» из его имущества. Духовенство могло достигнуть этого в XII в. теми же церковными средствами, какими митрополит Иоанн II в XI в. указы-

вал отучать русских от обычая, купив некрещенных холопов и крестив их, продавать язычникам: он советовал духовенству действовать на таких работорговцев «наученьем и наказаньем многим», даже церковным отлучением непослушных<sup>33</sup>. Но неудавшаяся мысль Нифонта, несомненно, свидетельствует, что общее юридическое правило, которое он пытался применить к известному отношению, уже действовало: если взамен меры, предложенной Кириком и несогласной с господствовавшими обычаями, он находил возможным принуждать невоздержных господ продавать своих невольных наложниц в другие руки, то можно думать, что к половине XII в. принудительная продажа рабов успела войти в ряд обычных явлений русской юридической жизни. Греко-римское право знало два случая принудительного отчуждения холопов с вознаграждением владельцев. Император Антонин предписал начальникам провинций принуждать господ продавать своих рабов, прибегавших в храмы или к статуям государей с жалобами на жестокое обращение с ними, если по следствию жалобы оказывались справедливыми<sup>34</sup>. Византийское законодательство требовало, чтобы принудительная продажа рабов, прибегавших под защиту церкви с такими жалобами, производилась разборчиво, с соблюдением предосторожностей, которые бы обеспечивали продаваемым более мягкое обращение со стороны новых владельцев. На Руси принудительная продажа холопов за жестокое обращение с ними не привилась, рано заменившись даровым отпуском раба в случае увечья по вине господина. По-видимому, больший успех имел другой случай такого отчуждения — выкуп холопом самого себя на волю. Греко-римское право признавало особое несвободное состояние временного и условного характера, которое можно назвать рабством по плену. Свободный человек, взятый в плен неприятелем, считался рабом и в своем отечестве. Тогда все права, которыми он пользовался на родине, приостанавливались до его возвращения. Но, если его выкупал из плена соотечественник, он становился в личную зависимость от последнего с правом прекратить ее, заплатив условленную между ними сумму. Если он не был в состоянии заплатить ее, он оставался у выкупившего как бы наемным работником, и тогда судебным порядком определялось,

по сколько зачитывать ему в счет выкупной суммы каждый год работы. Далее, были рабы, составлявшие общую собственность нескольких владельцев. Если один из них хотел отпустить такого раба на волю, остальные совладельцы обязаны были продать свои доли в рабе освободителю или его наследнику. Освободитель мог и освобождаемого написать своим наследником, и тогда раб сам выкупал себя у прочих совладельцев<sup>35</sup>. Одно обстоятельство должно было помочь успешному применению к русскому рабовладельческому праву выраженного в этих византийских узаконениях права холопа в известных случаях самому выкупать свою свободу. Завоевание непокорных туземных племен русскими князьями в IX и X вв. и княжеские усобицы XI и XII вв. вели к тому, что в этот продолжительный период времени русский невольничий рынок наводнялся холопами из туземных пленников. К этим пленным туземным рабам, которых победители после похода продавали своим соотечественникам, вполне шло византийское постановление о выкупленном пленнике. Пользуясь этим, духовенство, по-видимому, успело дать довольно широкое действие принудительному выкупу самими холопами своей свободы. Следы этого успеха, правда недостаточно ясные, сохранились в одном русском памятнике очень древнего происхождения, содержащем наставление духовнику о принятии кающихся<sup>36</sup>. Этот памятник настойчивее всего вооружается против одного зла, распространенного в русском обществе, — против взимания *изгойства*. Юридическое и нравственное значение этого термина в древнерусском обществе создано также при участии духовенства посредством проводимого последним влияния византийского рабовладельческого права на русское. *Изгоем* в древней Руси назывался, между прочим и даже преимущественно, холоп, выкупившийся на волю. В византийском законодательстве на случай выкупа отпускаемого на волю общего раба у совладельцев была установлена такса, по которой цены рабов определялись их возрастом и качеством работы, к какой они были способны. Путем торговых сношений с Византией русские рано познакомились с этой таксою, и она с изменениями вводилась в их договоры с греками, служа руководством при обоюдостороннем выкупе пленников<sup>37</sup>. В договоре Игоря, между прочим,



было поставлено условие, что русских пленников, попавших в неволю к грекам, Русь выкупает, платя по десяти золотых за каждого; если же владелец русского пленника приобрел его куплей, ему платили по его показанию под присягой, за сколько он сам купил его. Вооружаясь против барышничества рабами, духовенство настойчиво проводило и на русском невольничьем рынке правило, что при продаже холопа не следует брать больше того, что за него заплачено. Оно немолчно твердило, что барышничать челядью, «прасолить живыми душами» — великий, непростительный грех, пагуба для души прасола. Прибавка к покупной цене при выкупе раба на волю, т. е. при переходе его в состояние изгоя, и называлась *изгойством*. Наставление духовнику различает 4 случая такого прасольства. Один из них, когда хозяин продавал холопа дороже, чем купил, не возбуждает недоумений; здесь не было места изгойству, потому что холоп оставался холопом, только менял господина, не становясь изгоем. Труднее объяснить два другие случая. Наставление вооружается против тех, кто брал изгойство «на искупающихся от работы», т. е. из рабства; потом оно предписывает, чтобы тот, кто «выкупается на свободу», давал за себя столько же, сколько было заплачено за него. Некоторые признаки первого случая, отмеченные памятником, дают возможность отличать его от второго, который при первом взгляде кажется его повторением. Владельцев, которые брали изгойство с «искупающихся от работы», наставление порицает за то, что они не довольствуются «ценою уреченной» и, чтобы добиться большего, губят не только свои души, но и души свидетелей, помогающих их злобе, и даже вовлекают судей в свои злые дела мздою и дарами. Значит, чтобы взять с выкупавшегося больше цены уреченной, владельцу надобно было с ним судиться, выставять лжесвидетелей и подкупать судей. Под «ценою уреченной» можно разуметь только цену, за которую выкупавшийся *угovorился* некогда продать в рабство, следовательно, речь идет о холопе, который сам продался своему господину, быв прежде свободным. Отсюда следует, что свободные люди, продававшиеся в холопство, сохраняли право выкупаться, возвратив господину полученную ими при продаже сумму. Это было в духе византийского законодатель-

ства, которое, стесняя право свободных людей располагать своею личностью, вместе с тем поддерживало право их выкупа в случае потери ими свободы. Если можно так понимать объясняемое место наставления, то под «выкупающимися на свободу» этот памятник разумел холопов, которые родились несвободными; они не имели права выкупа, а могли выкупаться только с согласия господина, чем и отличались от холопов свободнорожденных. Право выкупа совершенно изменяло юридический характер продажи свободного человека в рабство: она превращалась в долговое обязательство, которым создавалось временнообязанное состояние, прекращаемое по воле должника уплатой долга. Этим положено было начало широко развившимся впоследствии сделкам о срочной или бессрочной зависимости, обусловленной личным залогом и образовавшей в удельное время состояние *закладней*, а в XVII в. *жилое холопство*. Следы таких сделок можно найти уже в поздних частях *Русской Правды*. Перечислив главные источники полного холопства, она обозначает три источника срочной зависимости, которой не признает холопством: это отдача детей родителями в работу и вступление свободного человека в услужение за один прокорм или за прокорм с *придатком*, платой, выдаваемой вперед в виде ссуды<sup>38</sup>. Все эти виды зависимости *Правда* характеризует одною чертой, им общей; дослужив до условленного срока, слуга свободно отходил от хозяина, ничего не платя ему, но он мог уйти и до срока, возвратив ссуду или заплатив по условию за прокорм. Любопытно, что ни в *Русской Правде*, ни в других памятниках русского права тех веков, когда благодаря внутренним усобицам и внешним бедствиям плен служил обильным источником рабства, лишавшим свободы множество туземцев, не находим прямых указаний на условия именно этого вида холопства, несомненно помогшего духовенству ввести в русское рабовладение право выкупа из холопства в известных случаях, т. е. принцип условной зависимости. Это молчание памятников права можно объяснить разве тем, что положение пленного холопства на Руси тогда определялось не столько правом, сколько изменчивыми политическими отношениями, внутренними и внешними. Эти отношения окладывались так, что и независимо от

законодательных постановлений русский пленник, попавший в холопство к соотечественнику, не терял возможности выйти на волю. В летописях иногда попадаются заметки, что во внутренней усобице победители набрали много полона и взяли за него большой окуп. В мирных договорах ссорившихся князей XIV и XV вв. обыкновенно помещалось условие о взаимном возврате пленных. В иных договорах это условие принимало характерные формы. По грамоте 1433 г. князь Можайский Иван обязывался воротить князю галицкому Юрию полон, захваченный в его княжестве во время усобицы: «А кто будет того полону, — сказано далее в акте от лица Юрия, — запродан за рубеж или инде где, и тебе тот полон выкупити весь да отдати мне». В договоре того же года князь рязанский Иван обязуется собрать и возвратить Юрию всех захваченных рязанскою ратью галицких пленников, даже тех, которые уже были проданы его ратниками в другие руки. В 1408 г. Эдигей вывел из Московского княжества огромный полон, часть которого попала в Рязанскую землю. В том же договоре с Юрием рязанский князь обязуется тех из этих пленников, которые были куплены рязанцами и оставались в неволе, освободить, взяв с них окуп<sup>39</sup>. Победители спешили взять с захваченных пленных окуп и отпустить их, продавая дома или на сторону только тех, кто не мог выкупиться: спешить этим их побуждало то, что по договорам после усобиц пленные, оставшиеся непроданными у бояр и других служилых людей, их захвативших, просто отбирались для возвращения на родину, тогда как проданные выкупались либо самим князем, либо тем, чья рать их пленила. Таким образом, княжеские правительства считали выкуп не столько правом пленных, сколько своею обязанностью или, точнее, своею выгодой, побуждавшей их заботиться о возврате отнятых у них боевых слуг или податных плательщиков. Та же выгода побуждала их выкупать в Орде не только своих, но и чужих пленников; селя их в своих пустевших уделах, князья не обращали их в холопство, а зачисляли в служилое или тяглое население, смотря по их состоянию до плена.

Четвертый порицаемый способ барышничества челядью изложен в наставлении очень неясно и вместе с тем возбуждает наиболее интереса. Сказав, что с хо-

лопа, выкупающегося на волю, не следует брать больше того, что за него заплачено, памятник продолжает: «Если же потом, став свободным, он приживет детей, то те, кто будет взыскивать с них изгойство, явятся продавцами неповинной крови, и эта кровь взыщется с них перед богом на страшном суде». Кто мог искать изгойства на детях вольноотпущенного, родившихся, после освобождения своего отца? Чтобы понять это темное место, надобно сопоставить некоторые, едва заметные явления древнерусского права. В нравах русского холопства позднейшего времени можно заметить черты, как будто указывающие на то, что отпуск холопа на волю не разрывал всех его связей с домом, в котором он служил. Определяя свое общественное положение при поступлении на службу к новому господину, вольноотпущенный в крепостных актах XVII в. обыкновенно называл себя *послужильцем* старого хозяина; сын холопа, вышедший на волю вместе с отцом, очень часто оставался в том же доме на добровольной службе. В крепостных актах можно встретить следы крепкой нравственной привязанности, приковывавшей холопа к господскому дому, когда порывалась связь юридическая: бывали, например, случаи, когда кабальная дворня, по закону став свободной по смерти господина, обращалась к местному начальству с коллективною челобитной, в которой просители писали, что служили они своему господину по крепостям многие годы, а теперь, когда судом Божиим его в животе не стало и остался у него сын, они, помня к себе отца его милость, хотят впредь служить со своими женами и детьми его сыну и просят дать ему на них крепости. Такие связи, не имевшие юридической обязательности, разумеется, нельзя сравнивать с теми строгими обязанностями, какие по закону или по воле патрона ложились на вольноотпущенного в греко-римском обществе. Но одна черта отношений патрона к отпущеннику по греко-римскому праву, несомненно, оказала действие и на русское рабовладельческое право. У византийских, как и у римских рабовладельцев, было в обычае условное отпущение рабов на волю: продавая, например, своего раба, господин обязывал покупателя освободить его в известный срок или, передавая раба по зазещанию, лишал наследника права дальнейшей передачи, т. е. обязывал его освободить раба при своей

жизни или по смерти. Часто освобождение обуславливалось уплатой денежного выкупа или какой-либо особенной предварительной услугой со стороны освобождаемого. Эти предварительные услуги вместе с общими обязательствами, какие закон и воля патрона возлагали на отпущенника по освобождению, часто делали переход раба от зависимости к свободе очень нечувствительным. Этот обычай проник и в русское рабовладение. В завещаниях, передавая своих холопов женам или детям, завещатели ставили им условие тех холопов никому не передавать, отпустить их на свободу после своей смерти или пострижения, даже назначали определенные сроки освобождения, также предоставляли самим холопам на выбор оставаться в услужении у наследников или выйти на волю, заплатив им назначенный «окуп». Из распоряжений об условном освобождении холопов особенно любопытны те, которые касаются *будущих* детей освобождаемого лица. В 1657 г. Волутин дал отпускную старинному своему холопу на условии продолжать службу до смерти или пострижения его, Волутина, и его жены, а потом выйти совсем на волю с женой, сыном и детьми, «что у него впредь будет детей», также с «нажитком», который он наживет у него на дворе до того времени. Еще характернее отпускная, данная Путиловым старинному крепостному Тихону в 1624 г. Господин давал в отпускной Тихону позволение жениться на рабе Тушина с условием, что сам Тихон останется по-прежнему холопом, но жена его будет вольной с минуты замужества, а дети, которых пошлет им бог, как сыновья, так и дочери, будут разделены на две половины, из которых одна, по матери, пойдет на волю, а другая по отцу, останется в холопстве, и когда бог сошлет по Тихонову душу, жена его с половиной семьи может идти на все четыре стороны, а другая половина останется во дворе Путилова<sup>40</sup>. Если бы Тихон умер, оставив малолетних детей, которых нельзя оторвать от матери, Путилов мог предложить ей выкупить тех из них, которые приходились на его долю. Этот выкуп был бы очень похож на осуждаемое в наставлении духовнику изгойство с детей, прижитых вольноотпущенными после освобождения. Итак, из сложного и тщательно выработанного греко-римского института вольноотпущенничества русское рабовладение заимствовало только право условного осво-

бождения, которое при своеобразном местном его применении родило обычай обуславливать отпуск холопов по выкупу обязательством выкупать и детей, которые рождаются после освобождения родителей. Холопы, выкупавшиеся на волю, по княжескому законодательству XI и XII вв. становились церковными людьми, которых ведали и судили во всех делах церковные учреждения. Духовенству не было интереса ни вводить, ни поддерживать обычай, который при своей внутренней несправедливости стеснял сферу его власти и влияния, поддерживая зависимость вольноотпущенных от их прежних господ. Потому надобно думать, что это местное видоизменение греко-римского вольноотпущенничества образовалось еще до принятия Русью христианства под влиянием тесных торговых сношений с Византией.

Изложенные перемены в русском рабовладельческом праве существенно изменили юридический характер русского холопства. До этих перемен оно отличалось цельностью, однообразием и безусловностью; к нему вполне приложимы были слова *Прохирона* о рабстве греко-римском: «Рабство неделимо; состояние рабов не допускает никаких различий: о рабе нельзя сказать, что он раб более или менее»<sup>41</sup>. Теперь в русское холопство внесены были различия и условность: из полного холопства стали выделяться виды зависимости ограниченной. Главными средствами, которыми духовенство вводило эти перемены, были исповедь и духовное завещание: первая подготавливала к реформе рабовладельческие умы и совести, второе из внушенных духовником предсмертных проявлений милосердия и сострадания к поработанному ближнему создавало нравственный обычай, становившийся потом юридическою нормою, обязательным правилом. Энергия и постоянство действия в этом направлении облегчались тем, что духовенство пришло на Русь из Византии, когда там законодательство о рабстве и юриспруденция давно уже склонились в сторону свободы, колебля и разрушая жестокую рабовладельческую логику римского права. Законоведы старались истолковать в пользу рабов все сомнительные казусы в их отношениях к господам. Константин Багрянородный издал закон, по которому треть имущества, оставшегося без завещания и прямых наследников, посвящалась богу; в состав этой трети отчислялись все оставшиеся после

умершего рабы, которые при этом получали свободу. Мотивируя этот закон, император прямо признал наследственность рабства установлением богопротивным и бессовестным: «Допустить, что и самая смерть господина не разбивает тяготеющих на рабе оков, значило бы оскорбить святость божию, мудрость государя, самую совесть человека»<sup>42</sup>. Духовенство на Руси не добилось всего, к чему стремилось. Оно старалось уничтожить продажу людей в рабство: древнерусские эпитимейники назначали значительные эпитимии господам за продажу челяди, родителям за продажу детей в рабство. Даже не все добытое удавалось удержать. Мы видели, как продажа свободного человека в полное холопство превратилась в личный долговой заклад с правом выкупа. В Русскую Правду не позднее XII в. внесено было постановление, которое исключало из числа источников холопства как отдачу детей родителями в работу, так и службу свободного за прокорм. Но летопись рассказывает, что в Новгороде во время голода 1230 г. отцы и матери отдавали купцам своих детей «одерень из хлеба», т. е. в полное холопство за прокорм. Значит, уже в первой половине XIII в. совершались сделки на свободных людей с употреблением *дерна*, служившего символическим знаком того, что лицо или вещь передавались в собственность приобретателя, по древнерусскому юридическому выражению, «в прок без выкупа». Это возвращение к старине, впрочем, не вытеснило закладных сделок с условною зависимостью. В памятниках XIV в. оба вида зависимости иногда являются рядом и различаются очень явственно: в договоре с Дмитрием Донским 1368 г. тверской князь Михаил дал обязательство отпустить на волю тех обывателей Торжка, которые продались ему «одернь пословицею» (по добровольному соглашению), как и тех, на ком он «серебро дал пословицею». Таким образом, тяготение к холопству восстановило старую, привычную юридическую норму, не уничтожив новой. Со времени этого раздвоения полное холопство, во времена Русской Правды называвшееся *обельным*, получило в отличие от условной зависимости закладней название *дерноватого*. В XIV в. оно обыкновенно укреплялось письменными крепостями, *грамотами дерноватыми*, которые в XV в. стали зваться *полными*<sup>43</sup>.

Несмотря на противодействие юридического обычая, разложение первобытного русского холопства уже в XII и XIII вв. сделало заметные успехи. Несвободные люди стали делиться на разряды по степени зависимости и общественного значения. О русских холопах уже можно было сказать, что один — более холоп, другой — менее. В составе челяди образовался привилегированный класс, состоявший из разных тиунов или приказчиков по управлению княжескими и боярскими хозяйствами. Одна из статей Русской Правды допускает боярского тиуна свидетелем в суде при недостатке свидетелей из свободных людей. Смоленский договор с немцами 1229 г. знал таких княжеских и боярских холопов, которых можно было причислить к «добрым людям», пользовавшимся известным почетом в обществе. Тот же договор назначает пеню за удар, нанесенный холопу, — знак, что с разложением древнего холопства росло и юридическое значение личности холопа. Вместе с тем и его имущественное положение является более обеспеченным по закону. Первоначально холоп не мог иметь ничего своего: все, что он приобретал, принадлежало его господину. Но русские рабовладельцы, подобно римским, исстари доверяли часть своего имущества в распоряжение или пользование своим холопам: это — *отарица* Русской Правды, *пекулий* римского права, *бонда* польского. Такое доверенное имущество давало холопу возможность вести свое особое хозяйство и вступать в обязательства с посторонними лицами. Эти обязательства холопов признавались юридическими сделками; только ответчиками по ним были не сами холопы, а их господа. Еще в X в. арабские писатели заметили, что русские купцы имели обычай поручать своим рабам ведение торговых дел. Русская Правда подтверждает это известие одною своею статьей, которая говорит, что, если холоп с согласия или по поручению своего господина будет торговать и задолжает, этот долг обязан заплатить его господин. В греко-римском праве связь раба с его пекулием укреплялась с юридическим значением первого. Юристы империи вообще стояли за это укрепление, рассматривая пекулий как особое хозяйство раба, отличное от господского. Императорское законодательство подчинилось этому взгляду, и их соединенными усилиями был подготовлен декрет императора Льва Мудрого, в кото-



ром он решительно восстает против взгляда рабовладельцев на пекулий рабов как на свою собственность и в пример им уступает рабам дворцовых вотчин полное распоряжение их имуществами. Русское право не заходило так далеко, но и в нем холопья отарица сделала некоторые юридические приобретения. В упомянутом смоленском договоре 1229 г. одна статья говорит, что если немец даст взаймы холопу княжескому (по некоторым спискам, и боярскому) или иному доброму человеку, а должник умрет, не расплатившись, то долг обязан уплатить тот, к кому перейдет по наследству имущество должника. В другом смоленском трактате с немцами, составленном на основании договора 1229 г. несколько лет спустя, то же условие применено ко всякому немцу, который забирал в долг товар у смольянина и умирал, не расплатившись<sup>44</sup>. Из этого, по-видимому, можно заключить, что по крайней мере имущество привилегированных холопов переходило по наследству одинаковым порядком с имуществом свободных людей.

Изложенные перемены в русском рабовладельческом праве сделали возможным — и также при деятельном участии церковных учреждений — образование класса, который имел решительное влияние на судьбу холопства, — того класса, который, вышедши из холопства, сначала стал между ним и крестьянством, а потом, сливаясь с последним, увлек за собою и первое и тем положил конец существованию самого холопства. Довольно сложную и темную историю этого класса можно разделить на два периода, из которых первый обозначен временем *холопов-страдников*, а второй — временем *задворных людей*.

### III. Холопы-страдники

Перемены, происшедшие в русском рабовладельческом праве со времени принятия христианства, открыли доступ в русское юридическое сознание дзум понятиям, прежде немислимым: теперь стало возможно настоять на признании того, что не всякая личная зависимость есть холопство, хотя бы она соединилась с обязательною работою на хозяина, и что с лицами, связанными даже холопскою зависимою, можно вступать в юридиче-

ские соглашения. Оба эти понятия нашли себе со временем широкое применение в русском землевладении и оказали значительное действие как на склад землевладельческого хозяйства, так и на юридические отношения несвободного земледельческого населения. Церковь, так много содействовавшая успеху этих понятий, дала и первые примеры их применения в своих вотчинах.

Можно, кажется, с приблизительною точностью определить эпоху возникновения на Руси частной земельной собственности вне княжеского рода, владевшего Русскою землей. Следов этой собственности не замечали до половины X в. арабские писатели, описывавшие состояние Восточной Европы: Русь, как называли они руководящие классы русско-славянского общества, по их словам, не имела ни сел, ни пашен, а занималась войной и торговлей. Но в торговый договор, заключенный киевским князем Владимиром с волжскими болгарами в 1006 г., сколько можно судить о его содержании по изложению Татищева, внесено было условие, по которому болгарские купцы получали право торговать на Руси только с купцами же по городам, но не могли ездить по селам и вступать в прямые торговые сношения с *огневщиной и смердиной*, ничего ни продавать им, ни покупать у них<sup>45</sup>. Смердина — классы свободных русских крестьян, *смердов*; огневщина — дворовая челядь. Итак, уже к началу XI в. в составе несвободного населения Руси появилась челядь, жившая по селам рядом со свободным земледельческим населением. Эти села, заселенные огневщиной, были вотчины огнищан, привилегированных частных владельцев. Можно даже заметить, что в XI и XII вв. челядь составляла самое многочисленное, если не единственное, рабочее население частных земельных имуществ, как боярских, так и княжеских. Все известия русских памятников тех веков об этих имуществях отмечают одну существенную черту их сельскохозяйственного инвентаря: все это «села с челядью»<sup>46</sup>. Переход к сельскохозяйственной утилизации холопьяго труда, прежде употреблявшегося только на домашние или торговые услуги, был, без сомнения, большим шагом вперед для русского народного хозяйства. Но этому экономическому успеху можно придавать и важное юридическое значение: он должен был оказать значительное действие

и на развитие самого права земельной собственности. Известно, что везде люди долго не могли усвоить себе мысли о земле как предмете частного владения; им даже скорее давалась мысль о возможности владеть человеком, как вещью. На Руси рабовладение было, по-видимому, не только экономическим условием, но и первоначальным юридическим проводником идеи частного землевладения: сельский холоп давал землевладельцу возможность не только эксплуатировать землю, но и признавать ее своею. Эта *земля* моя, потому что мои *люди*, ее обрабатывающие, мною к ней привязанные, — таков был диалектический процесс усвоения мысли о частной земельной собственности первыми русскими землевладельцами. Такая юридическая диалектика была естественна в то время, когда господствующим способом приобретения земельной собственности на Руси служило занятие никому не принадлежащих пустынных пространств. Хлебопашество холопыими руками, по-видимому, не было первичным способом эксплуатации частной земельной собственности на Руси: холопу-землевладельцу предшествовал холоп-пастух. Обширные степные пространства, входившие в пределы Русской земли X—XII вв., содействовали развитию значительного скотоводства княжеского и боярского, следы которого заметны в летописи XII в. О рабах, пасущих господские стада и травящих «нивы сиротины», пашни бедных крестьян, с негодованием говорит одно из древнейших русских поучений на св. четырехдесятницу. Самый термин *огнище*, которому древний славянский переводчик слов Григория Богослова придал производное значение челяди, собственно означал *пастбище*, точнее стоянку пастухов на пастбище. Соединение в одном термине столь разнородных понятий указывает на тесную бытовую связь, некогда существовавшую между обозначаемыми ими предметами: орудием хозяйственной эксплуатации владельческих пастбищ на Руси XI в., для которой был если не сделан, то списан и переделан перевод этих слов, служили рабы-пастухи. *Огневицина* — древнейшее русское название сельской челяди, которое вместе с *ознищанином*, термином, ему родственным этимологически, успело уже обветшать ко времени составления *Русской Правды*. Когда в составе этой челяди появились холопы пахотные, им усвоено было название *страдников* или

*страдальников: страда* — в широком смысле всякий чер-  
ный труд — рано получила у нас тесное значение сель-  
ской полевой работы.

Везде, а в России особенно, перевод холопа из дворо-  
вой службы на пашню был для него шагом к некоторой  
самостоятельности. Свойство новых занятий и выгоды  
самого господина побуждали последнего давать пахот-  
ному холопу больше простора для действий сравнитель-  
но с холопом дворовым. Земледельческая работа не  
занимала холопа круглый год изо дня в день, как дво-  
ровая служба; отсюда возникало у господина желание  
заставить холопа в свободное от господской страды  
время работать на себя и тем добывать самому себе  
содержание, не требуя его от хозяина. Обилие пусто-  
рожных земель, одна из самых характерных особенно-  
стей древнерусских вотчин, указывало удобное и выгодное  
для вотчинника средство занять досуг, остававшийся  
у холопа от работы на барской пашне или гумне: это  
средство — отвести страднику земельный участок в поль-  
зование и дать ему обзавестись своим хозяйством. Так,  
переводом холопа из городского двора в сельскую  
усадьбу подготавливалось новое его переселение из общей  
усадебной казармы, где помещалась обрабатывавшая  
господское поле челядь, в отдельный двор с особым зе-  
мельным участком и земледельческим инвентарем. Но  
этот перелом в земледельческом хозяйстве совершился  
нескоро: для него нужны были продолжительный опыт,  
выработанные хозяйственные отношения и испытанные  
приемы. Случилось так, что почин во всем этом принад-  
лежал церковному землевладению, находившемуся в  
особенных условиях. Церковь едва ли не с первых пор  
своего существования на Руси стала приобретать зе-  
мельные имущества, значит, церковное землевладение  
у нас возникло почти в одно время со светским. Перво-  
начально церковные землевладельцы черпали рабочие  
силы для ведения сельского хозяйства из одного источ-  
ника со светским землевладением. Главный запас этих  
сил доставляло холопство. В первую пору частного зем-  
левладения на Руси, когда русское рабовладельческое  
право еще не было тронуту церковно-византийским  
влиянием, это был даже, по-видимому, единственный  
запас: в состав сельской страдной челяди вступали и  
немногочисленные рабочие, переходившие в частные

вотчины из обществ *смердов*, государственных крестьян, из которых состояло все свободное сельское население Руси в начале XI в.; едва ли уже в то время существовали вольные хлебопашцы, съемщики владельческой земли. Из того же запаса снабжалось рабочими и раннее церковное землевладение, но здесь установились иные юридические отношения между обеими сторонами, непохожие на те, какие господствовали в светских вотчинах, а сообразно с тем завелся и особый хозяйственный порядок. Положение, занятое церковью в новопросвещенном русском обществе, и перемены, внесенные ею в русское рабовладельческое право, поставили ее особенно близко к несвободному населению Руси и ввели в ее ведомство много дел о холопстве. Она наблюдала за освобождением холопов по духовным завещаниям, как и за наделом детей рабы урочною частью из имущества прижившего их господина; под ее опеку и юрисдикцию поступали все холопы, выкупавшиеся или иными способами выходившие на волю, наконец, ей самой отказывали холопов по душе. Все эти лица входили в состав общества «церковных людей»; холопы первых двух разрядов, вступая в это общество вследствие освобождения, не возвращались в холопство; последние переставали быть холопами вследствие того, что становились церковными людьми. Духовные лица могли быть рабовладельцами, но у церкви не было холопов: холоп был крепк лицу, а церковные люди зависели от церковных учреждений. Холоп, вступая в общество церковных людей, становился *изгоем*, зависимым от церкви вольноотпущенным. Зависимость церковных людей состояла в том, что их судила церковная власть по всем делам, заменяя для них власть государственную, которая лишь выговаривала себе, и то не всегда, суд по некоторым важнейшим уголовным преступлениям или даже только участие в церковном суде по таким преступлениям. Это была благотворительная, «богадельная» зависимость по поручению государства, которое подчиняло опеке и суду церкви всех бесприютных людей, лишившихся или не находивших себе места в государственном порядке, каковы были все изгои. Но, принимая от государства таких людей под свою опеку, церковь закрепляла государственное поручение частным гражданским соглашением с опекаемыми: одних она назначала на домовую

службу при церковных властях или учреждениях, других сажала на оброк, селя их на церковных землях или приобретая их вместе с землей. Те и другие существенно отличались от холопов: они служили церкви по уговору и удерживали за собою право прекратить свою службу; они сохраняли также право собственности на свое имущество и жили своими хозяйствами; оброчники, селившиеся на городской или сельской церковной земле, имели свои дворы, а сельские, сверх того, получали в пользование земельные участки. Словом, переходя в ведомство церкви, бывшие холопы по гражданским сделкам становились к церковным учреждениям в отношении временнообязанных закладней, в ту условную зависимость, которая и была введена в русское право при содействии церкви. Смоленский князь Ростислав, учреждая епископскую кафедру в своем стольном городе, в числе источников ее содержания пожертвовал ей и два села «со изгой»: очевидно, это были села княжеских холопов, получавших новое звание с переходом в церковное владение. Вероятно, из таких же холопов, пожертвованных церкви или выкупленных ею, состояли и две слободы епископских изгоев в Новгороде, упоминаемые в одной поздней статье Русской Правды. Но некоторые признаки напоминали холопское происхождение этих церковных слуг: подобно холопам, они не подлежали государственным повинностям; всего более сближала их с холопами наследственность их службы не по закону или обязательству отцов, а по доброй воле детей. Поэтому, неточно пользуясь юридическою терминологией, их иногда называли холопами; даже Русская Правда в одной статье говорит о холопах «чернеческих», т. е. монастырских, если только не разумеет здесь холопов отдельных монахов, которых последние не освободили при своем пострижении. Инок Печерского монастыря Поликарп в послании, писанном в первой половине XIII в., рассказывает об иноке того же монастыря Григории, жившем во второй половине XI в. Из этих рассказов можно видеть, как делались монастырскими слугами и на каких условиях служили монастырю люди, отрывавшиеся от общества или угрожаемые изгнанием из него. Поликарп рассказывает о ворах, безуспешно пытавшихся обокрасть Григория. Одни, пойманные и отпущенные старцем, были привлечены

к ответственности за покушение городским судьей; выкупленные у него Григорием, они раскаялись, пришли в монастырь и добровольно «вдашася на работу братии». Другие воры, успевшие бежать с места преступления, потом сами пришли к старцу с раскаянием, и Григорий «осуди их в работу Печерскому монастырю, и скончаша живот свой и с чады своими, работающе в Печерском монастыре». Особенно любопытен третий случай. Воры, пойманные братией, молили Григория отпустить их. Старец соглашался на это с условием, чтобы они променяли свое преступное занятие на честный труд. Те с клятвой обещали это. Тогда Григорий сказал им: работайте на святую братию и уделяйте от трудов своих на ее нужды. Воры исполнили свое обещание и до конца жизни оставались при Печерском монастыре, снимая у него огород, «их же, мню, исчадия до ныне суть», — прибавляет Поликарп, желая сказать, что потомки тех воров и до его времени в течение более чем ста лет продолжали служить монастырю, подобно своим предкам<sup>47</sup>. Уловить юридический характер этого словесного договора старца с ворами на самом месте преступления тем труднее, что Григорий не был облечен ни судебною, ни хозяйственно-административною властью, а из первого случая видно, что уже и в тогдашней судебной практике отказ потерпевшей стороны от иска не снимал с преступника ответственности за преступление. В рассказанных Поликарпом случаях юридическое обязательство поглощено нравственным обетом, который, однако, ведет к установлению очень прочных отношений не только хозяйственных, но и юридических, ко вступлению раскаявшихся преступников в новое общественное положение, пожизненное и даже наследственное, и к пожизненному, если не наследственному, пользованию монастырскою землею с уплатой владельцу известной доли дохода, т. е. на условии оброка.

Таким образом, церковное землевладельческое хозяйство строилось на двух основаниях, одинаково непривычных для светских землевладельцев: на условной зависимости рабочих от землевладельца по уговору, соединенной с обязательною работою зависимого лица на владельца, но не переходившей в холопство, и на замене наемной платы и дворового содержания работника усадьбным и полевым наделом. Благодаря такому хозяй-

ственному порядку из бывших холопов и других рабочих, переходивших в ведомство церкви, образовался новый класс в составе сельского земледельческого населения — класс временно- или бессрочнообязанных оброчников на частной владельческой земле с земельными наделами. Возникновение этого класса в вотчинах церковных землевладельцев было вызвано не только хозяйственными выгодами последних, но и юридической необходимостью. Ни право, ни нравственное учение церкви не позволяли ее учреждениям становиться к своим чернорабочим слугам в отношении господ к холопам. Но, чтобы с наибольшею выгодой эксплуатировать приобретаемые ею земли и производительнее занять накопившийся в ее ведомстве рабочий люд, она помогала его хозяйственному обзаведению и отдавала ему в пользование свои земли, обязывая его за то платить ей либо работой на церковной пашне, либо долей дохода с уступленных участков. В том и другом случае хлебопашец-хозяин, собственным расчетом побуждаемый лучше обрабатывать свой участок, оказывался для землевладельца доходнее и удобнее бездомного и живущего на господских харчах сельского батрака-холопа, лично не заинтересованного в своей работе. Для светских землевладельцев не существовало юридической необходимости, которую были связаны церковные, но они разделяли хозяйственные расчеты, которые побуждали церковных землевладельцев заводить новый порядок эксплуатации своих вотчин. Впрочем, переход к новому хозяйственному порядку в вотчинах светских владельцев, по-видимому, начался не прямо переводом сельского дворового холопа на особый участок, а раздачей участков свободным поселенцам-крестьянам на условиях зависимости, близкой к холопству. По крайней мере *Русская Правда*, хорошо знавшая таких крестьян, еще ничего не говорит о холопах, наделенных земельными участками. Сомнительный намек на таких холопов можно найти в грамоте Ростислава об учреждении смоленской епископии. На содержание новой кафедры князь назначил, между прочим, *прощеников* «с медом, и с кунами, и с вирюю, и с продажами», т. е. с оброком медовым и денежным и со всеми судебными пенями. Прощеники — это люди, доставшиеся князю в холопство за преступления или за долги, может быть, приобретенные и какими-либо дру-



гимии способами и им *прощенные*, отпущенные на волю без выкупа. Медовый и денежный оброк они платили, вероятно, за пользование бортными лесами и полевыми участками на княжеской земле, на которой они были поселены еще до освобождения и на которой остались, получив свободу, подобно тому, как в Византии сельские рабы иногда получали личную свободу с обязательством оставаться на пашне в положении прикрепленных к земле крестьян. Не видно только, когда смоленские прощеники были наделены земельными участками — до освобождения или после. Как бы то ни было, Русская Правда, не зная или игнорируя пахотных холопов, обращает заботливое внимание на владельческих крестьян. Они известны ей под двояким названием — *наймитов* и *ролейных закупов*. Довольно трудно решить, имело ли первое название какую-либо историческую связь с однозначным византийским термином *μισθωτός*, означавшим в середине века вольного крестьянина на владельческой земле. Нет ничего невероятного в том, что «наймит» Русской Правды есть буквальный перевод этого греческого термина: в Правде немало слов подобного происхождения. По крайней мере русское слово неточно выражает юридическое положение русского крестьянина на владельческой земле, как его изображает сама Правда. Это был не простой наемный рабочий, что значил наймит во времена Поликарпа, как и обоих Судебников: за свою работу он получал земельный участок и земледельческие орудия для его обработки, кроме того, при поселении он брал у владельца ссуду, чтобы обзавестись своим хозяйством. Поэтому второе название, заимствованное прямо из народного языка, шло к нему гораздо более: ролейный закуп — пахотный закладень, съемщик земли со ссудой, уплату которой он обеспечивал личным залогом, обязательной работой на владельца-кредитора. Позднее слово *закуп* означало самый заклад: отдать в закуп значило заложить. Рабовладельческое право оставило на закупе резкие следы попытки превратить его в холопа: он не допускался полноправным свидетелем на суде; владелец сам наказывал его за некоторые проступки; за воровство и побег от владельца он превращался в его полного холопа. Но Русская Правда заметно становится на сторону закупа и старается защитить его свободу от рабо-

владельческих посягательств: согласно с византийским законодательством и, может быть, под его влиянием она запрещала продавать и закладывать закупа и признавала за ним право собственности на свою отарицу, как и право судебной защиты от обид со стороны владельца, притом закуп всегда мог прекратить свою зависимость и уйти от хозяина, расплатившись с ним. В удельное время и именно в верхневолжской Руси закуп сделал новое юридическое приобретение: даже за уход с владельческой земли без уплаты осуды крестьянин не обращался в холопство. Очевидно, состояние закупа стало возможно только после перемен, введенных духовенством в русское рабовладельческое право и выделивших из полного холопства закладничество как особый вид условной зависимости.

По уцелевшим в памятниках указаниям нельзя решить, когда светские землевладельцы сделали второй шаг к новому хозяйственному порядку в своих вотчинах, начали наделять дворовую челядь земельными участками под условием барщины или оброка. Можно только сказать, что в XV в., с которого в сохранившейся юридической письменности идут достаточно ясные и точные указания на поземельные отношения в России, пахотные холопы-страдники уже являются в составе сельского населения старинным и значительным классом, хозяйственный и юридический быт которого успел прочно установиться. К этому времени холопство распалось на несколько хозяйственных разрядов, точный перечень которых затрудняется спутанностью терминологии. *Страдные* люди, пахотные холопы, составляли низший разряд деловых людей, как называлась чернорабочая челядь, городская и сельская; высший разряд состоял из собственно дворовой прислуги, к которой причислялись конюхи, разные ремесленники и мастерицы. Все деловые люди под именем меньших *холопов*, или *черных* людей, отличались от привилегированной челяди, холопов *больших*, или *слуг*, которые в свою очередь распались на два класса — на людей *служивых* и *приказных*: первые были боевые спутники господина в походах, вторые служили по хозяйственному управлению или составляли ближайшую к господам комнатную прислугу, каковы были приказчики, повара, дьяки, няни, постельницы и т. п. Собственно дворовые холопы, высшие и

низшие, в отличие от деловых пахотных, или *деревенских* людей назывались еще людьми *дворными* или просто *людьми*. В конце XV и в начале XVI в. даже у землевладельцев далеко не крупных и очень скромного ранга встречаем многочисленных дворни: Игн. Талызин, владелец одного села, двух деревень и трех селищ, в своей духовной 1506 г. перечисляет 85 голов холопов и холопок полных, из коих 19 отпускает на волю. Очень часто во владельческом селе не было ни одного крестьянского двора: все оно состояло из барской усадьбы, т. е. из главного, или *большого*, двора, где жил владелец с частью своей дворни, из *дворцов*, где помещались привилегированные слуги, и из деловых дворов, которыми обставлялся справа и слева большой двор. Деловые страдные люди и большая часть сельских дворовых холопов жили своими хозяйствами; в XV и XVI вв. это вызывалось хозяйственными удобствами землевладельцев, которым служба не позволяла жить постоянно в своих вотчинах, заставляя их переносить домовый завод на городские подворья. Сельские дворовые, не имеющие своих хозяйств, помещались на барском дворе; в некоторых имениях им отводился особый двор, который называется в поземельных описях того времени *челядинным*. Для хозяйственного обзаведения холопов господина снабжали их скотом: купчие, вкладные и духовные XV и XVI вв., перечисляя хозяйственный состав вотчины, часто упоминают о боярском жалованье служивым и страдным людям, о лошадях, коровах и всякой животине, которая при отпуске холопов по духовной обыкновенно отдавалась им в собственность как «благословение» завещателя.

Людским и страдным дворам отводились огороды и пашни с сенокосами. Пашня людская и служняя, хлеб людской в вотчинных описях XVI в. всегда отличались от боярской пашни и боярского хлеба. Это холопье землевладение многими чертами походило на крестьянское, и притом позднейшего времени, когда крепостное холопье право распространено было и на крестьян. Впервые, земли отводились холопам не отдельными подворными участками, а общими полосами, как отводились они позднее обществам крепостных крестьян: это предполагает разверстку жеребьев между отдельными холопскими дворами самими холопами. Вкладная грамота

Зубаревой 1571 г., описывая пожертвованную Троицкому Сергиеву монастырю вотчину, половину сельца Талызина, отмечает в той половине рядом с дворами боярским и челяденным три двора людских и три деловых, а «пашня с-одного», прибавляет вкладная; с барских лугов в той вотчине ставилось сена 300 копен «опричь служних и крестьянских покосов». Во-вторых, холопы страдные, недворовые, несли с своих участков одинаковые с крестьянами вотчинные платежи и повинности, барщину и оброк, точно так же вместе с крестьянами платили пошлины с судных дел, подлежавших вотчинной юрисдикции, и с разных сделок, совершаемых в пределах вотчины. Великий князь рязанский Иван в договоре с братом Федором 1496 г. упоминает о находившемся в уделе последнего селе Переславичах, в котором жили принадлежавшие Ивану холопы Шипиловы; великий князь в грамоте оговаривает свое право собственности на это село «с данью и судом и со всеми пошлинами». Из духовной верейского князя Михаила, писанной около 1487 г., и из летописи XV в. также узнаем, что у князей и частных владельцев были целые села и деревни, населенные одними деловыми людьми и называвшиеся *деловыми* или *делярными*. В тех из них, где была барская запашка, сельские деловые холопы, как и крестьяне, за пользование своими участками иногда отбывали только барщину; гораздо обычнее было для тех и других соединение барщинной работы с денежным или хлебным оброком; наконец, в селах и деревнях, где не было господской пашни, страдные люди платили владельцу только дань или оброк. Об «оброчниках купленных», т. е. холопах, посаженных на оброк, упоминает уже духовная князя Ивана Калиты, писанная около 1328 г. На оброк отдавались страдным холопам не только земельные участки, но и скот, и эта оброчная животины отличалась от благоприобретенной и ссудной, которую холопы получали от господ на хозяйственное обзаведение. В духовной Тушина, составленной в 1563 г., встречаем такое распоряжение завещателя: «Что у моих деловых людей животины, того у них не брать, а что у людей деловых оброчной животины, продать». В-третьих, страдные люди по своим участкам как бы прикреплялись к владельческим селениям, в которых жили, составляли их постоянную хозяйственную принадлеж-

ность и не отрывались от этих селений при их переходе к новым владельцам, как отрывались дворовые люди. Довольно выразительный случай такого отношения страдников к земле представляют сохранившиеся в сборнике грамот Троицкого Сергиева монастыря акты об отчуждении вотчины братьев Зворыжиных села Бужанинина. В 1543 г. братья разделили село между собою пополам; старшему досталась половина большого барского двора с 8 дворами деловых людей, младшему — другая половина с 10 деловыми дворами. В следующем году старший продал свою половину Троицкому Сергиеву монастырю, а младший — боярину И. С. Воронцову. Троицкий монастырь обязал старшего брата очистить проданную им половину села к Ильину дню и вывести своих людей с большого барского двора, но деловые люди со своими дворами перешли к новому владельцу. В XVII в., когда и крестьяне стали в крепостные отношения к землевладельцам, вотчины отчуждались обыкновенно с крестьянами и деловыми людьми, где были таковые<sup>48</sup>.

Все перечисленные разряды холопов имели только хозяйственное значение, однако оно было источником некоторых актов чисто юридического характера. Оброк страдного человека, как и все его поземельные отношения к господину, устанавливался не обоюдно свободным их уговором, а односторонним господским распоряжением. Но *свое* хозяйство, дозволенное холопу, и возможность, отбыв раз назначенные поземельные повинности, располагать остальным трудом по своему усмотрению сообщали положению страдника некоторую определенность отношений и самостоятельность действий и освобождали его от ежеминутных колебаний господского произвола. На все, что приобретал такой холоп-хозяин трудом на себя, а не на господина, обе стороны привыкали смотреть как на холопье добро, отличное от господского. Этот взгляд сообщал холопу значение лица в юридическом смысле слова: с ним, как с хозяином и собственником, считалось возможным вступать в сделки не только сторонним лицам, но и его господину. В актах XVI в. довольно часто встречаются следы формальных письменных обязательств холопов-хозяев со своими господами. Протоиерей московского Благовещенского собора и государев духовник Василий был довольно

крупный землевладелец и держал на своем городском дворе и по селам много холопов дворовых и страдных. В духовной 1532 г. он упоминает об одном своем человеке, за которого он заплатил значительный долг — в 30 руб. (около 2 тыс. руб. на наши деньги) и взял с него в том запись; завещатель предписывает наследникам не взыскивать денег с того человека и возвратить ему запись. Всего чаще, разумеется, вызывались такие сделки поземельными отношениями господ к деловым страдным холопам, которые, подобно большинству крестьян, снимавших владельческие земли, вели свои хозяйства с помощью господской ссуды хлебом, скотом и деньгами. Зажиточные и расчетливые землевладельцы держали в своих вотчинах значительные оборотные капиталы, находившиеся на руках и на ответственности ключников, которые по мере надобности выдавали из них ссуды страдным людям и крестьянам. Богач и большой боярин князь И. Ю. Патрикеев в духовной 1498 г. насчитывает 165<sup>1</sup>/<sub>2</sub> руб. (не менее 16 тыс. руб. на наши деньги) такого ссудного серебра, розданного в шести ключничествах только сельским его холопам, не считая денег, розданных крестьянам его многочисленных сел и деревень. Ссуды хлебные и денежные обыкновенно выдавались сельским холопам под заемные кабалы и, по видимому, на одинаковых условиях с крестьянами: по крайней мере в землевладельческих актах половины XVI в., когда еще незаметно следов крепостных отношений крестьян к землевладельцам, заемные кабалы крестьянские и холопьи обыкновенно упоминаются рядом, как однородные обязательства, без малейших указаний на их юридическое различие. Так, князь А. И. Стародубский в духовной, составленной в 1557 г., пишет: «Да взяти мне в Льялове и в Стародубе на своих крестьянех и на своих людех прямых своих денег и хлеба по кабалам, и по тем кабалам деньги и хлеб имати княгине моей»<sup>49</sup>.

Из тех же поземельных отношений холопов к господам образовались два своеобразных землевладельческих класса или, лучше сказать, состояния, значительных не столько по своей численности, сколько по своему юридическому характеру. Одно из них можно назвать состоянием холопов-землевладельцев на праве собственности, другое — состоянием вольноотпущенных землевладель-

цев на праве пожизненного пользования. Привилегированные служилые холопы, походные спутники господ, выходя на волю по завещанию, очень нередко получали в награду за свою службу части господских вотчин в полную собственность. Вступая в холопство к новым господам, они или их дети становились холопами-вотчинниками. Иногда такое состояние создавалось еще проще: господин в завещании жаловал верного слугу вотчиной, не выпуская его на волю. Характерный случай такого пожалования встречаем в известной данной И. Г. Нагого 1598 г., в которой он за прямую службу и терпение дарит своему человеку Сидорову старинную свою вотчину, сельцо с 6 деревнями и 4 починками, предоставляя ему право это имение продать, заложить или в монастырь по душе дать. При этом Нагой не отпустил Сидорова на волю, а обязал его по смерти господина, жены и детей его не покинуть и их устроить по духовной грамоте, сыновей его грамоте научить, беречь и поконить, «пока бог подымет их на свои ноги и станут сами собой владеть». Судя по значительному количеству жалованных холопов-собственников, встречающихся в актах XVI в., можно думать, что правительство тогда еще допускало такие вотчинные пожалования; но уже и в то время начинали сомневаться если не в юридической их правильности, то в политическом удобстве. Княгиня Авд. Пронская, умирая бездетной, завещала в 1565 г. свою довольно крупную вотчину частью своим родственникам, частью церквям и монастырям, но несколько деревень и починков она отказала в собственность трем своим слугам, которых вместе с другими холопами она при этом отпустила на волю. Завещание в пользу родни и небогатых монастырей и церквей не возбуждало недоумений в завещательнице, но земельное пожалование слугам, как и распоряжение в пользу богатых монастырей, которым правительство уже начинало запрещать прием земельных вкладов по душе, княгиня сочла нужным оговорить условием, если «государь царь пожалует, не велит взять той вотчинки, а нас не сотворит безпаятных, а возьмет — его царская воля»<sup>50</sup>.

Холопы-собственники выходили из привилегированного служилого слоя холопства, который и по военному ремеслу и частью по самому происхождению стоял близко к тогдашнему провинциальному дворянству: до

Уложения многие мелкие дворяне вступали в служилые холопы к знатым и богатым землевладельцам, а служилые холопы последних, выходя на волю, зачислялись в ряды уездного дворянства и получали от государства поместья. Вольноотпущенные землевладельцы на праве пожизненного пользования выходили не только из этого привилегированного слоя, но и из низшего разряда холопов, из деловых страдных людей, которые по своим занятиям и происхождению близко подходили к крестьянству. Это состояние — мало заметное и еще меньше замеченное явление в истории нашего права. Упомянутый боярин князь Патрикеев, распределяя в завещании свою вотчину и многочисленную челядь между наследниками, женой и двумя сыновьями, поименовывает 23 человека холопов, одиноких или семейных, которых он отпускает на волю; из них трое освобождаются с женами, детьми и с землею. Духовная не дает понять, какого рода были эти холопы, какую землю и на каком праве получали они по завещанию вместе со свободой и в какие отношения становились по смерти завещателя к его наследникам. В духовных XVI в. такими вольноотпущенными с землею являются обыкновенно деловые люди и их будущее поземельное положение определяется обращенным к наследникам распоряжением завещателя их с тех земель «не двигнуть». Значит, это были пахотные холопы-страдники, жившие особыми дворами с земельными наделами, которые не отнимались у них при освобождении и с которых наследники освободителя не должны были их удалять. Чебуков по духовной, составленной около половины XVI в., отказал все свое недвижимое имение частью в монастыри Троицкий Сергиев и Калязин, частью своей матери с братом, «а людям деловым, — прибавляет завещатель, — после моего живота земля на 4 части, а дела до них нет никому, а животов и хлебца их не вредить». Выше было замечено, что деловым людям, жившим в одном селении, земля отводилась общемо полосой, которую они сами разверстывали между собою на подворные участки, вероятно, переделываясь сообразно с переменами в наличном составе рабочих сил каждого двора. Когда писалась духовная Чебукова, у него было 4 двора деловых людей; отпуская их на волю, он приказал наследникам не трогать их хлеба и прочего дви-



жимого имущества, а землю, которою они пользовались, разделить на 4 постоянных участка и отдать им во владение. Невероятно, чтобы эти участки отдавались деловым людям в полную собственность: трудно допустить, чтобы завещатели создавали обок со своими усадьбами поселения вольных хлебопашцев-собственников, вырывая из своих вотчин клочки земли и отчуждая их в вечное владение этим хлебопашцам. В актах встречаем скудные указания на юридический характер этих пожалований. В 1560 г. князь Аф. Ногаев-Ромодановский отказал свои вотчины жене и сыну с условием, что по смерти сына, по-видимому не обещавшего жить долго, завещанные ему села и деревни должны перейти одни к его матери, жене завещателя, другие — в Троицко-Сергиев монастырь. Из вотчины, назначенной по смерти сына Троицкому монастырю, две деревни князь отказал двум своим холопам, из коих один получал свободу тотчас по смерти завещателя, а другой — по смерти его сына; владение каждого начиналось с минуты выхода на волю и продолжалось до конца его жизни; по смерти обоих деревни их отходили к монастырю. Завещатель запрещает сыну и монастырю высылать пожалованных людей из этих деревень; монастырю, впрочем, предоставлено было право очистить обе деревни от пожизненных владельцев раньше их смерти, заплатив им назначенный завещателем выкуп. Самое свойство обоих пожалований, состоявших в целых деревнях, а не в простых участках, какими наделялись деловые люди, указывает на принадлежность пожалованных к привилегированному служилому холопству. Тем вероятнее, что на таком же праве получали свои участки во владение по завещанию и рабочие деловые холопы. Впрочем, это предположение поддерживается и более прямым указанием. Писцовая книга Московского уезда, составленная в 1584—1586 гг., описывая земли Стромьинского монастыря в Обьезжем стану, о монастырской пустоши Козиной замечает, что в ней два двора, И. и С. Собакиных, «и живут в них деловые люди, а дано им до их живота»; в пустоши было пашни 15 десятин в трех полях<sup>51</sup>. Упомянутые в писцовой книге Собакины умерли за несколько лет до ее составления, потому замечание писцовой книги всего скорее можно понять так, что Козина с двумя дворами пахотных деловых людей

принадлежала Собакиным, которые по духовным отказали ее в Стромьинский монастырь с условием, чтобы деловые люди, отпущенные ими на волю, оставались в тех дворах до своей смерти, пожизненно владея пашней, которой были наделены при жизни завещателей. Ни в одном акте нет ни малейшего намека на какие-либо обязательства пожалованных, вообще на их отношения к наследникам своих бывших господ. Ясно только, что пожизненное владение вольноотпущенных по распоряжению завещателей имело совершенно личный характер и ни в каком случае не могло быть отчуждаемо владельцами помимо наследников. В духовных нет прямых указаний на границы юридической и нравственной обязательности таких распоряжений для наследников, и ни на каких текстах нельзя основать решительного ответа на вопрос, в какой степени снабжено было это владение юридической крепостью и правом судебной защиты от лица владельцев, или оно держалось исключительно на милости завещателя и на нравственном внимании наследников к его воле. Но против последнего предположения говорят некоторые косвенные указания: таковы назначение выкупа в духовной князя Ромодановского и неразрывность таких пожалований с распоряжениями об отпуске жалуемых на волю, а такие распоряжения завещателей имели вполне обязательную силу для наследников. Эта неразрывность была, по-видимому, юридической особенностью, отличавшей холопье пожизненное владение от владения на праве собственности, для которого отпуск владельца на волю не был необходимым условием. Трудно догадаться, изменялись ли поземельные отношения вольноотпущенных пожизненных владельцев, когда они вступали в холопство к наследникам своего бывшего господина, собственникам участков, которыми они владели по завещанию, но очень вероятно, что это владение прекращалось вступлением их в холопство к посторонним лицам. В истории поземельных отношений вне России нелегко найти форму землевладения, сходную с описанною русскою. Всего более напоминает она прекарий; но в ней совмещались некоторые особенности и римского и средневекового прекария с прибавкой одного условия римского пожалования в случае смерти или средневековой немецкой посмертной передачи (*mortis causa donatio*,

cessio post obitum). Римский прекарий, как определяет его Рот, состоял в передаче вещи в бессрочное и даровое владение, не соединенное ни с каким обязательством ни для собственника, ни для владельца и не создававшее последнему никакого вещного права на предмет владения. Средневековой прекарий, или *прекария*, как называет его Рот в отличие от римского, пользуясь словоупотреблением IX в., состоял в передаче узуфрукта, обыкновенно на время жизни получателя, под условием оброчного платежа с уступленной во владение земли или без этого условия. С римским прекарием русское пожизненное владение вольноотпущенных по завещанию сходилось в безвозмездности владения пожалованною землею и в его личном характере без примеси вещного, а с прекарией средневековой — в обязательственном значении этого владения для собственников, наследников завещателя, и в пожизненной продолжительности его для владельцев; наконец, с римским пожалованием в случае смерти и с немецкою посмертною передачею оно имело общего только одно то условие, что пожалованный или переданный предмет поступал в действительное владение получавшего лишь с минуты смерти его собственника, потому что обоими указанными актами, римским и немецким, передавалось право собственности, а не одного пользования<sup>52</sup>.

Во всяком случае землевладение вольноотпущенных на праве пожизненного пользования было самобытным явлением русского гражданского права, завершившим собою ряд успехов, каких к половине XVI в. достигло древнерусское полное холопство в своем движении по пути к свободе. Эти успехи были экономические и юридические. Для народного хозяйства было важно образование класса сельских холопов-хозяев, наделенных земельными участками, которые без того оставались бы непроизводительными пустырями. Об экономическом значении класса можно судить по некоторым скудным данным, встречаемым в уцелевших остатках писцовых книг XVI в. В Каширском уезде на землях светских землевладельцев, по писцовой книге 1579 г., считалось 972 людских двора на 2828 дворов крестьянских и бобыльских, а в Тульском, по книге 1589 г., — 990 людских дворов на 2229 крестьянских и бобыльских<sup>53</sup>. Следова-

тельно, если определять сравнительную численность разных сельских классов тогдашнюю хозяйственную единицей, двором, на землях светских владельцев сельские холопы-хозяева, в большинстве наделенные участками, составляли в первом из названных уездов 25% сельского земледельческого населения, а во втором — даже 30%. Еще важнее были успехи юридические: имущество сельского холопа-хозяина юридически отделялось от господской собственности; по этому имуществу холоп мог вступать в обязательства от своего лица даже с собственным господином; наконец, за холопом, по крайней мере высшего привилегированного разряда, признавалось право земельной собственности. Все эти успехи обнаружались в области поземельных отношений; так землевладение стало почвой, на которой продолжался процесс эмансипации холопства, начавшийся в области нравственных понятий. Заслуживают внимания обнаружившиеся в этом процессе взаимная связь и последовательность действия условий нравственных, юридических, экономических и, наконец, политических. Нравственные понятия, принесенные христианством, внесли в русское рабовладение новые юридические нормы, которые, коснувшись основной экономической силы страны — землевладения, сделали возможным новое хозяйственное устройство значительной части холопства — такое устройство, которое, закрепив достигнутые холопством успехи, постепенно выводило его из области частного права и ставило в непосредственные отношения к государству, делая его способным нести государственные повинности. Этот последний политический момент обнаружился в судьбе *задворных людей*.

#### IV. Задворные люди

Перечисленные в предшествующей статье звания холопов — служилых, приказных, деловых, страдных — были экономические, а не юридические состояния; они различались только хозяйственным назначением, какое давал господин своим холопам. Юридически все эти люди до второй четверти XVI в. были холопы полные; с того времени к ним присоединяются еще холопы докладные. Довольно неожиданно появление этих послед-

них в низшем разряде сельского холопства: так, уже духовная В. Ф. Сурмина, составленная в 1542 г., говорит о людях деловых «по полным и по докладным». Одним из основных условий докладной неволи была служба сельским ключником, потому люди, служившие по докладным прамотам, должны были бы входить в состав только высшего приказного холопства. Но до конца XVI в. в актах незаметно кабальных холопов на пашне, хотя есть следы, указывающие на то, что они служили не только в городских дворах, но и по селам своих господ. Духовная М. И. Пушкина 1597 г., упоминая о сельских кабальных холопах, прямо отличает их от деловых людей. «Людей моих кабальных, — пишет завещатель, — во дворе и в деревнях всех отпустить на свободу oprичь тех, которых я приказывал жене моей по ея живот, а что у которого человека моего жалованья, лошадей и платья, и то перед ними; да деловых моих людей также отпустить на свободу»<sup>54</sup>. Из того, что завещатель дарит кабальным людям лошадей и платье, никак нельзя заключать, что это были хлебопашцы; скорее можно думать, что речь идет о служилых дворовых людях, которых завещатель отпускал на волю с походными лошадьми и с платьем, какое тогда носили походные слуги светских служилых землевладельцев. Но в XVII в. кабальный холоп на пашне становится обычным явлением. Вместе с тем в поземельных актах этого века исчезают столь часто упоминаемые в памятниках прежнего времени страдные люди; зато в составе несвободного сельского населения является новый класс *задворных людей*.

Происхождение этого класса надобно поставить в тесную историческую связь как с состоянием страдных людей, так и с кабальным холопством. Название его произошло от того, что люди этого класса селились особыми избами *за двором* землевладельца, подобно страдникам; подобно им же, задворные люди всегда наделялись земельными участками, так что по своему хозяйственному устройству они ничем не отличались от страдных людей. Но это было особое юридическое состояние, которое не существовало в прежнем составе сельской челяди. Ни в законодательстве, ни в поземельных актах и книгах XVII в. нет прямых указаний на юридическую связь задворного холопства с кабальным:

закон, определяя юридическое положение кабальных холопов, оставался равнодушен к хозяйственному употреблению, какое делали из них господа; напротив, поземельные акты и книги, точно обозначая хозяйственное положение холопов, редко имели нужду отмечать их юридический характер. Однако с некоторою уверенностью можно предполагать, что задворными людьми первоначально становились кабальные холопы и что этот новый экономический класс образовался из недавно сложившегося юридического вида холопства путем перехода кабальных холопов в хозяйственное положение страдных людей. В актах второй половины XVII в., где только надобно было обозначить юридический характер задворного человека, он в большей части случаев называется кабальным холопом. Притом как в законодательных, так и в поземельных актах этот класс появляется с конца первой четверти XVII в., вскоре после того как завершилось законодательное определение юридических условий служилой кабалы. Наконец, по писцовым книгам XVII в., даже при неполном знакомстве с ними, можно заметить, что класс задворных людей возник в начале этого века и постепенно рос к концу его. В книгах первой половины столетия задворные люди встречаются очень редко и их усадьбы перечисляются в ряд с «людскими дворами», т. е. с дворами прежних деловых полных и докладных холопов: поземельные писцы еще не привыкли выделять их в особое состояние. В книгах 1678 г. задворные люди являются уже значительным по численности классом и их дворы перечисляются особою статьей. Таким образом, этот класс по своему хозяйственному происхождению был преемником старинных страдных людей, а по происхождению юридическому примыкал к кабальному холопству.

Легко понять, что юридический характер задворных людей плохо мирился с их хозяйственным положением. Кабальный человек по условиям служилой кабалы обязывался служить во дворе господина «по вся дни», а задворный человек жил особым двором и обрабатывал свой земельный участок, уделяя господину только часть своего труда или заменяя работу на него оброком. Притом кабальная служба продолжалась до смерти господина, а поземельный договор по самому характеру

поземельных отношений требовал более определенного и менее случайного срока. Надобно предположить особые побуждения, благодаря которым с начала XVII в. кабальные холопы становились в хозяйственные отношения, столь мало соответствовавшие условиям кабальной службы. Некоторый свет на эти побуждения проливают писцовые книги начала XVII в. Изучая их, замечаем важную перемену, происшедшую в составе сельского населения. Выше мы видели, какую значительную часть этого населения на землях светских владельцев составляли в некоторых местах холопы, жившие особыми дворами. После Смутного времени количественное отношение их к другим сельским классам низко падает. В Тульском уезде, по книгам 1629 г., считалось на землях светских вотчинников и помещиков 205 людских дворов на 1204 двора крестьянских и бобыльских, т. е. немного менее 15% сельского землевладельческого населения, тогда как в конце XVI в. их было вдвое более. Еще ниже количественное отношение таких холопов к земледельческому населению по писцовой книге Белевского уезда, составленной в 1630—1632 гг.: в ней показано 149 людских дворов на 1543 двора крестьянских и бобыльских, т. е. людских дворов было немного менее 9% всего количества дворов, принадлежавших рабочему сельскому населению на землях светских владельцев<sup>55</sup>. Разными причинами можно объяснить эту убыль. В Смутное время множество холопов разбежалось, покинув своих господ. Притом вследствие общего разорения у землевладельцев стало меньше средств селить оставшихся у них земледельческих холопов в особых дворах, помогая ссудами их хозяйственному обзаведению. К этому надобно прибавить еще одно условие, начавшее действовать после Смутного времени и содействовавшее общему уменьшению количества челяди в Московском государстве: при новой династии, еще до издания *Уложения*, закрыт был один из главных источников неволи — продажа в полное и докладное холопство свободных лиц из «крещеных людей», как выразилось *Уложением*. Между тем отпуск холопов массами на волю по духовным продолжался, когда полное и докладное холопство уже не пополнялось притоком новых невольников путем продажи в крепость «с воли». В этом холопстве оставались только холопы *старинные*,

т. е. потомки прежних полных и докладных холопов. Все это должно было усилить среди землевладельцев нужду в рабочих крепостных руках для обработки пустопорожных земель, количество которых в Смутное время чрезвычайно увеличилось. Эта нужда, вероятно, и заставила землевладельцев искать новых рук для сельской работы в кабальном холопстве. С другой стороны, и свободных бедняков, которых обстоятельство вынуждало отдаваться в кабалу, положение задворных людей могло привлекать выгодами, каких лишена была дворовая кабальная служба: это были особый двор с земельным участком, свое хозяйство, определенное количество труда на господина. Притом все юридические успехи, достигнутые полными и докладными страдниками, должны были перейти по историческому наследству и к кабальным задворным людям и даже увеличиться новыми приобретениями, обеспечивавшими еще большую личную и имущественную их правоспособность. С признаками такой правоспособности задворные люди являются уже в самом раннем известном законе, который говорит о них. Издавна гражданская ответственность за преступления холопов падала на их господ, которые обязаны были вознаграждать потерпевшую сторону за убытки, причиненные преступником. Закон 14 октября 1624 г. сделал исключение из этого правила для холопов, живших «за двором»: задворные люди сами несли на себе и гражданскую ответственность за свои преступления наравне с уголовной, вознаграждая истцов из своего имущества; в случае смерти преступника до судебного решения его дела имущество его продавалось для уплаты убытков истца<sup>56</sup>. Значит, имущество задворного человека признавалось его, а не господскою собственностью. Этот закон наглядно обозначает юридическое расстояние, на какое задворный холоп обогнал своих юридических и экономических предков, холопов и закупов времен *Русской Правды*; даже закуп, который не считался холопом, в случае преступления превращался из ответчика в страдательную вещь: хозяин мог по желанию или сам заплатить за преступника, который зато становился его полным холопом, или продать его и из вырученной суммы вознаграждать истца, а остаток взять себе.



Выход из затруднений, какие создавались противоречиями между условиями служилой кабалы и задворного холопства, указан был развитием крестьянской крепостной зависимости. Задворное холопство складывалось в то самое время, когда в поземельные договоры крестьян с землевладельцами входило условие, делавшее первых крепостными людьми последних, — условие, по которому крестьянин навсегда отказывался от права прекратить свои договорные обязательства<sup>57</sup>. Может быть, одновременность обоих явлений тем и объясняется, что оба они были вызваны одинаковыми причинами: нужда землевладельцев в крепостных рабочих руках и нужда рабочих людей в ссуде, встретившись, заставили вольных крестьян подчиниться некоторым условиям кабального холопства, а кабальных холопов стать в хозяйственные отношения, в каких стояли крестьяне. Когда служилая кабала, определявшая условия дворовой службы холопа, стала изменяться применительно к положению задворных холопов, связанных с господами поземельными отношениями, крестьянская ссудная запись послужила для нее готовым образцом: ее условиями постепенно вытеснялись обязательства служилой кабалы. У нас под руками очень скудный запас задворных крепостей, которые вообще довольно редки, но и по этому запасу можно видеть, как задворное холопство постепенно усваивало условия крестьянской крепостной зависимости. Договор, которым укреплялся задворный человек, назывался, подобно крестьянской крепости, *ссудною записью*, иногда *ссудною жилою записью*. Задворные люди заключали с господами договоры двоякого рода: одни прямо рядились жить *за двором*, другие прикрывались обязательством жить и работать *во дворе* господина. Образчиком крепости первого рода может служить ссудная одного вольноотпущенного, писанная в 1652 г.<sup>58</sup> Вступавший в новую кабалу взял у госпожи в ссуду 20 четвертей хлеба, лошадь, корову, овец и 15 руб. денег «на дворовое строенье» с обязательством «жить у государыни своей за двором себе избою, потому что, — прибавляет рядившийся, — взял я у государыни своей ссуду, денег и хлеба и животину, и за ту ссуду мне у государыни своей с женою и с детьми служить и всякую работу работать». Здесь вступление в задворное холопство постав-

лено в прямую юридическую связь с получением крестьянской ссуды, какая выдавалась на сельскохозяйственное обустройство. Записи второго рода явились, кажется, позднее. Одна из них дает любопытное и очень редкое указание на то, что даже холопы, становясь пахотными людьми на условиях задворной крепости, писали на себя особые крепости, подобные ссудным записям вольных людей, рядившихся в крестьянство. В ноябре 1686 г. Мостинин отдал своему сыну старинного своего человека Водопьянова с семьей, а через месяц этот старинный холоп дал новому господину ссудную запись на себя в том, что он взял у Мостинина сына на всякий домовый завод 5 руб. и лошадь, обязуясь за себя и за свою семью жить у нового господина и у детей его с тою ссудой «во дворе в деловых людях, где они укажут, и живучи всякую работу на него и на детей его работать по вся дни и *тягло* им всякое платить»; в случае побега господин мог взять беглеца с семьей по-прежнему в деловые люди и взыскать с него свою ссуду. Легко заметить несообразность этого договора: человек, уже принадлежавший к дворовой челяди как холоп старинный, рядился жить во дворе своего господина и в то же время брал ссуду на всякий домовый завод, или вступая в дворовую службу, обязывался платить *тягло*, которого никогда не платили дворовые люди. Очевидно, дворовую службой здесь прикрывалось состояние, отличное от простого дворового холопства. Такими же особенностями отличается и другая запись на дворовую службу 1687 г. Вольноотпущенный Романов взял у дьяка Богданова 10 руб. ссуды на лошадь, корову и на *хоромное строение*, обязавшись за те деньги *жить* у дьяка в *доме* и всякую работу работать. Но особенно характерна ссудная жилая запись 1689 г., составленная совершенно по образцу ссудных крестьянских записей того времени. Вольный человек Карпов взял у помещика в ссуду лошадь, корову, 5 овец, 4 свиньи, 3 козы, гнездо гусей, платье верхнего и исподнего на 3½ руб. (около 60 руб. на наши деньги) и 15 четвертей разного хлеба, обязавшись с семьей жить у господина, его жены и детей «во дворе вечно» и всякую дворовую работу работать. По такой же записи, по-видимому, служила в половине XVII в. одна холопья семья у помещика Айдарова, сколько можно судить об

условиях ее службы по предсмертной отпускной, данной ей господином в 1652 г. Айдаров отпускал «из двора на волю» *дворовую* свою работницу, двух ее женатых сыновей и третьего холостого «со всеми их животы, с хормы, и с хлебом клетным, и с гуменным, и с полевым, и с лошадьми, и с коровы, и со всякою мелкою животиной». Очевидно, дворовая работница с семьей жила в особом дворе, имела гумно, скот и полевой участок, полное земледельческое хозяйство<sup>59</sup>. В изложенных записях на дворовую службу встречаем главные отличительные черты задворного холопства, составлявшие содержание и крестьянской ссудной записи: особый двор и земледельческий инвентарь, сельскохозяйственную ссуду, барщину с тяглыми платежами и бессрочность договора, которая переходила в обоюдостороннюю наследственность или *вечность* крепости, привязывавшей как самого крепостного, так и его потомков не только к первому владельцу, укрепившему за собою их предка, но и к его наследникам. В договорах умалчивалось только о коренном условии, служившем основанием для всех остальных, — о пользовании земельным участком, но это условие, как разумевшееся само собою, не всегда обозначалось и в крестьянских ссудных записях.

Применение условий крестьянской крепости к пахотным кабальным людям вызвало ряд новых явлений в крепостном праве. Прежде всего оно положило начало *слиянию юридических условий холопства с хозяйственными состояниями холопов*. Прежде первые строго отличались от последних: полный холоп оставался полным, служил ли он у своего господина приказчиком, или деловым человеком; хозяйственное положение крепостного при господском дворе не влияло на условия крепости, как и не зависело от этих условий. Но сама крепость обыкновенно была условием всякого хозяйственного положения слуги при древнерусском господском дворе, который не любил слуг вольных; так, нужно было сделаться холопом полным или докладным, чтобы стать деловым человеком. Первоначально и задворное холопство было только хозяйственным состоянием: задворные люди укреплялись обыкновенными служилыми кабалами, по каким были крепки своим господам и другие кабальные холопы, служившие в господских дворах, а не за дворами. Но во второй половине XVII в. усло-

вия задворной крепости неразрывно слились с известным хозяйственным положением задворного человека: если холоп по полной или докладной грамоте мог быть и не быть деловым, то холоп по ссудной записи мог быть только задворным, потому что он и холопом становился лишь вследствие того, что делался по договору задворным. Этим объясняется юридический смысл приведенной выше ссудной записи Водопьянова: вступая в положение задворного человека, он дал на себя новую крепость, хотя и без того уже был старинным холопом господина, которому дал эту крепость; прежние крепости были недостаточны, потому что укрепляли дворовое, а не задворное холопство Водопьянова. Эта же ссудная запись помогает понять, чем отличалась задворная запись от древнего холопства *по тиунству и по ключу сельскому*. Это холопство также возникало из юридического сочетания неволи с известным хозяйственным положением холопа. Но разница заключалась в том, что служба в должности тиуна или сельского ключника была только источником холопства, но не была его условием, постоянным хозяйственным состоянием холопа: принимая должность ключника, человек становился холопом; но, став холопом, он мог и не быть ключником, оставаясь холопом. По связи юридических условий с хозяйственными задворная крепость более напоминает докладную грамоту XVI в., по которой вольный человек давался «на ключ, а по ключу и в холопы». Но из актов видно, что это было фиктивное условие и холопы докладные, как и полные, уже в первой половине XVI в. могли и не быть ключниками. Легко понять, что связь крепостной зависимости с известным хозяйственным положением крепостного была заимствована задворным холопством из крестьянского крепостного договора, который весь состоял из обязательств, обусловленных известными хозяйственными выгодами, каковы были барщина и ссуда, земельный участок и тягло. В свою очередь задворное холопство подействовало на жилое; этому действию можно приписывать заметную в жилых записях второй половины XVII в. наклонность точно определять свойство работ, обязательных для холопа.

Положив начало слиянию юридических условий холопства с хозяйственными, задворное холопство, с дру-

гой стороны, повело к смешению *выработавшихся раньше юридических видов крепостной зависимости*. Оно само было плодом такого смешения. В задворном человеке исчезал всякий определенный юридический образ: в нем совмещались особенности холопства полного и жилого и сглаживались существенные черты кабального человека. Из крепостного, обязанного лично дворовую службой до смерти господина, он превращался в вечнообязанного хлебопашца, прикрепленного с потомством к своему двору и к владельческой семье. Из потомков таких холопов к концу XVII в. образовалось в составе несвободного сельского населения особое звание *старинных задворных* людей. Превращая пожизненное холопство в потомственное, задворная крепость стала новым средством привлечения полного дворового холопства к земледельческому труду. Как скоро поземельные отношения кабальных задворных людей начали устанавливаться на условиях *вечной* крестьянской крепости, ничто не мешало рабовладельцам переводить своих полных дворовых холопов в задворные люди: они не теряли наследственных слуг и приобретали крепостных хлебопашцев. Этим объясняется появление полных холопов в положении задворных людей во второй половине XVII в. Наконец, став между холопством и крестьянством, задворная крепость указала путь к переходу как полных, так и кабальных холопов прямо в крестьяне. Один такой случай относится ко времени самого возникновения задворного холопства, когда последнее еще не успело так приблизиться юридически к крестьянству, как оно приблизилось потом: можно думать, что потом, во второй половине XVII в., такие случаи были нередки. Помещик Жеребятичев еще в 1597 г. выпросил себе у правительства в поместье пустошь, которая потом оказалась вотчиной Троицкого Сергиева монастыря. Много лет спустя сын Жеребятичева Петр продолжал владеть захваченною землей, но в 1628 г., избегая тяжбы с монастырем, вошел с ним в сделку, по которой получил позволение владеть пустошью еще два года. В сделочную запись он вставил такое любопытное условие: «А которых крестьян я, Петр, в тое Троицкую вотчину из своего поместья из дер. Андрейкова перевез *и своих дворовых кабальных и старинных людей, из старины*

призвав, во крестьяне посадил и ссуду им давал, и тех моих поместных крестьян и людей, которых во крестьяне сажал, влаstem из тое Троецкие вотчины велети мне вывезть со всеми их животы крестьянскими, где яз, Петр, похочу»<sup>60</sup>. Этим объясняется юридическое безразличие, с каким землевладельцы во второй половине XVII в. меняли дворовых холопов, полных и кабальных, на крестьян, а крестьян — на задворных людей. Правительство, утверждая эти сделки, само подчинялось такому безразличному отношению к разным видам крепостной зависимости. Поддерживая строгое различие между холопством и крепостным крестьянством в интересе наследственности общественных состояний, оно рядом указов подтверждало, чтобы при вступлении вольноотпущенных в новую крепость на крестьян брали ссудные записи, а на людей, т. е. холопов, — служилые кабалы. Еще в 1685 г. было строго запрещено брать ссудные записи на кабальных людей и их детей, а на крестьян и крестьянских детей — служилые кабалы. Но боярским приговором 30 марта 1688 г. было предписано в Холопьем приказе «записывать по кабалам людей и по ссудным крестьян и людей»<sup>61</sup>. Ссудными записями на людей, как мы видели, были крепости на пахотных задворных холопов; приговор не различает здесь людей полных, кабальных и жилых. По этому указу, как и по частным землевладельческим актам того времени, можно заметить, что смешение юридических видов крепостной зависимости происходило преимущественно, если не исключительно, среди сельского земледельческого холопства. На дворовой службе служилая кабала и жилая запись до первой ревизии строго отличались не только друг от друга, но и от крепости полной и крестьянской. Еще указ 7 сентября 1690 г. предписал давать волю по смерти господ взятым ими во двор крестьянским детям наравне с кабальными людьми: когда вошел в обычай запрещенный Уложением перевод крестьян во двор, закон стал смотреть на таких дворовых, как на уволенных владельцами от крестьянской крепостной зависимости и добровольно без записи вступивших к ним же в дворовую службу и именно в службу кабальную, потому что вступление в дворовое полное холопство лицам православного исповедания было запрещено<sup>62</sup>. Напротив, в кругу поземельных от-

ношений все виды холопства уже к концу XVII в. стали сливаться в одно общее понятие *крепостного человека* с теми юридическими и хозяйственными особенностями, какими отличалось холопство задворное. Последнее, таким образом, сделалось типическою формой, какую принимали отношения всякого холопа при его переходе с господского двора на пашню.

Совмещение особенностей различных старых видов крепостной зависимости и слияние юридических условий неволи с хозяйственными превратили задворное холопство во второй половине XVII в. из хозяйственного состояния некоторых кабальных людей в особый юридический вид крепостной зависимости, мало похожий на кабальное холопство. В законодательстве того времени не находим точных определений об этом новом виде, но с таким значением является задворное холопство в частных актах, т. е. в юридической действительности. Прежде всего это холопство укреплялось не служилою кабалой или полною грамотой, а особою задвornoю осудною записью. Обозначая свойство крепости задворного человека, акты очень редко прилагают к нему название какого-либо прежнего вида холопства, показывая тем, что задворная крепость сама по себе служила достаточным средством укрепления. За гороховским помещиком Дураковым, по писцовым книгам 1646 г., числился задворный человек Якушка с сыновьями, которые по смерти отца много лет жили со своими детьми в его дворе, а потом бежали. Наследники Дуракова до 1699 г. искали беглецов как своих наследственных крепостных людей только на том основании, что они были дети задворного человека — их предка. В 1682 г. вдова Хитрова отпустила на волю своего старинного приданого человека, т. е. полного холопа, Ларьку и его дочерей. Отпущенные вскоре отдали свою отпускную Ржевскому: это значило по закону, что они вступили в кабальное холопство и на них следовало взять служилые кабалы. Но они бежали и от Ржевского на старину, где родились, к сыну Хитровой, за которым Ларька прожил до своей смерти задворным человеком. Незамужние дочери не могли наследовать задворных поземельных обязательств своего отца и по смерти его, казалось бы, должны были стать простыми кабальными холопками, которые по смерти отца господина выходили на волю

по закону, если не давали на себя служилых кабал его наследникам. Несмотря на это, сын Хитрова, принявшего Ларьку в задворные люди, выдавая по смерти своего отца Ларькину дочь замуж за чужого дворового, взял за нее *вывод*, не как за холопку, вступившую к нему в кабалу, а как за «старинную свою задворную и крепостную девку», и в выпускной отписи на замужество укрепил ее за жениховым господином, его женой и детьми<sup>63</sup>.

Из этих актов видно, что задворная неволя превратилась в полное холопство, только поземельное, а не дворовое, с безусловною *старинной*, по которой зависимость наследовалась потомками задворного холопа даже в том случае, когда они не наследовали его задворных поземельных обязанностей, и не прекращалась со смертью первого господина. Задворные ссудные записи показывают, что в это холопство вступали по договору как вольные люди, так и холопы, последние, разумеется, к своим же господам. В том и другом случае задворный человек получал земледельческую крестьянскую ссуду для обработки своего участка. Эта ссуда считалась, по-видимому, необходимым юридическим условием вступления в задворное холопство; по крайней мере в приведенной выше ссудной 1652 г. вольный человек выразился с ударением, что он порядился жить за двором, потому что взял ссуду. Все это сближало задворную крепость с крестьянской, от которой она отличалась только тем, что была свободна от государственного тягла. Таким образом, эта крепость стала переходным состоянием между полным дворовым холопством и крепостным крестьянством: сходясь с первым в юридических последствиях, она отличалась от него хозяйственным положением крепостного; сходясь со вторым в хозяйственных условиях, она отличалась от него юридическим отношением крепостного к государству.

Получив значение особого юридического вида крепостной зависимости, задворное холопство изменило юридический состав сельской пахотной челяди. Барская усадьба в XVII в. сохраняла ту же хозяйственную физиономию, с какою является она в актах XVI в. Чернорабочая челядь носила прежнее общее название деловых людей, из которых одни жили на барском дворе и содержании, обрабатывая барскую пашню, другие



помещались за барским двором в особых избах, имели свои хозяйства и земельные наделы, отбывали барщину и платили оброк. Но эта другая половина деловой челяди, называвшаяся прежде страдными людьми, теперь распалась на два разряда, которые получили новые названия: один разряд составляли задворные люди, другой назывался *деловыми людьми, устроенными на пашне*. Законодательные памятники второй половины XVII в. обыкновенно ставят оба эти класса рядом, как состояния, похожие друг на друга. Но при видимом хозяйственном сходстве между ними было существенное юридическое различие. Закон 1624 г., признавая задворных людей в имущественном отношении лицами, более правоспособными сравнительно с дворовыми холопами, не распространяет этого преимущества на деловых пахотных людей. Такое предпочтение основывалось на двух важных особенностях задворного состояния. Во-первых, задворный человек получал сельскохозяйственную ссуду по особому письменному договору с господином; деловой человек, садясь на участок со ссудной или без нее, продолжал служить по простой холопией крепости, которая укрепляла его независимо от полученных им участка и ссуды. Другою особенностью задворных людей был платеж тягла землевладельцам. Деловые отбывали только барщину: об этом можно заключить по указам 3 и 6 июня 1712 г., которые, определяя обычный размер делового участка, говорят, что помещики дают на семью деловым людям «за месячную» по десятине пашни в каждом поле<sup>64</sup>. Если в прибавку к трехдесятичному пахотному наделу помещик давал деловым людям еще месячину, он не мог брать с них денежного или хлебного оброка. Задворные люди получали полные наделы, равные тяглым крестьянским жеребьям, и с них платили владельцам тягло денежное или хлебное, отбывая, сверх того, барщину, как это делали и крестьяне. Этим объясняется еще одна черта, отличавшая задворных людей от других видов холопства и сближавшая их с крестьянами. За прием беглых крестьян владелец их взыскивал с приемщика по закону *зажилые деньги*, служившие ему вознаграждением за потерянный доход с беглецов и за уплаченные в казну подати с покинутых ими участков. За прием беглых холопов, которые не платили ни казенных пода-

тей, ни оброка владельцам, а только работали на последних, закон не назначал зажилых денег, но задворные люди в этом отношении уравнивались с крестьянами<sup>65</sup>. Из этих особенностей задворного состояния видно, что оно соответствовало тем страдникам XVI в., которые имели наиболее полные земледельческие хозяйства и несли одинаковые с крестьянами поземельные повинности, не только отбывали барщину, но и платили оброк. Но это состояние тем отличалось от страдного, что в него вступали свободные и несвободные лица по договору с землевладельцами, а страдными людьми становились холопы по хозяйственному распоряжению господ. Значит, класс задворных людей выделялся при содействии кабального холопства из безразличной прежде в юридическом отношении деловой челяди: вслед за кабальными холопами в этот класс вступали и прежние страдные люди, холопы полные и докладные, которые по своему хозяйственному положению могли нести задворные повинности. Это выделение было новым юридическим успехом земледельческого холопства. Мы видели, что уже в XVI в. имущество страдного холопа юридически отделялось от господской собственности и по этому имуществу страдник мог вступать в обязательства от своего лица даже с собственным господином, например брать у него ссуду под заемную кабалу. В XVII в. имущество задворного человека прямо было признано его собственностью, а заемная кабала страдника, несколько не смягчавшая строгости полного холопства, превратилась в ссудный договор задворного человека с господином, ставший источником нового вида холопства, который лишь тонкою политической чертой отделялся от крепостного крестьянства.

Но и эта политическая черта, свобода от государственных повинностей, скоро сгладилась: к частному господскому тяглу, которое падало на задворного человека, постепенно присоединилось и тягло государственное. Это было требованием юридической логики: если в частных гражданских обязательствах задворный человек так близко подходил к крепостному крестьянству, то со временем он должен был уравниваться с последним и в государственных обязанностях. Благодаря особенностям хозяйственного устройства Московского государства в XVII в. трудно решить, когда произошло

это уравнение, но те же особенности помогают разъяснить, как оно произошло. Неизвестен прямой закон, который ввел задворных людей в государственное тягло. Но из указа 17 июля 1711 г. знаем, что это произошло еще до первой ревизии: указ говорит о задворных людях, что они *платят всякие подати*<sup>66</sup>. Впрочем, едва ли когда-нибудь и был издан такой прямой закон: задворные люди постепенно были введены в государственное тягло самими землевладельцами вследствие перемен, каким подверглась поземельная подать в XVII в.

В XVI в. эта подать падала на все пространство пахотной земли, так что землевладельцы платили ее и с той земли, которую пахали на себя своими дворовыми рабочими, если не имели льготных грамот, которые «обеляли и выкладывали из сошного письма» барскую пашню. В XVII в. подать падала только на пашню крестьянскую и бобыльскую и не касалась той, которую землевладелец обрабатывал на себя, не отдавая ее тяглым людям. Это выделение из тягла господской запашки было следствием введения новой окладной поземельной единицы. В XVI в. такую единицей служила *выть*, известный участок пашни; в XVII в. ее заменила живущая *четь*, состоявшая из известного числа тяглых крестьянских и бобыльских дворов. Но эта четь служила только счетною единицей для финансового управления; сумма подати, на нее падавшая, разверстывалась между тяглыми дворами соразмерно с отведенными им земельными участками, размер которых определялся рабочими средствами каждого двора. С установлением крестьянской крепости этою разверсткой на владельческих землях руководили сами владельцы, которые собирали с своих крестьян и платили в казну поземельную подать. Большим местом тогдашнего землевладения были «пустовые доли», участки тяглою пашни, остававшиеся без работников чаще всего вследствие крестьянских побегов и хозяйственного изнеможения, когда у иного крестьянина «могуты не ставало» пахать свой жеребий. Чтобы не платить «с пуста», землевладельцы наваливали такие доли на остальных крестьян или подыскивали новых работников. В этом последнем случае их и выручали задворные люди, которым они раздавали пустовые тяглые участки, обязывая их тянуть наравне с крестьянами барское и казен-

ное тягло, тогда как деловые люди получали наделы из нетягловой барской башни. Это не значило, что землевладельцы превращали своих задворных холопов в государственных тяглецов; это было их домашнею хозяйственною сделкой, к которой они прибегали, чтобы не платить за опустевшие участки или чтобы облегчить тягло своим крестьянам. С тех пор как на землевладельцев положена была ответственность за казенные платежи их крестьян, эти платежи стали для первых вычетом из их валового дохода с крестьян, а для последних частью общего поземельного тягла, которое они несли на себе, не разбирая, что из него шло в казну и что оставалось в барской конторе: то было делом самого владельца, которому предоставлено было изыскивать и средства к тому, чтобы его населенная крепостными работниками, *живущая* земля, как говорили в XVII в., была исправна перед казною. В юридическом и хозяйственном отношении поселение задворных людей на тяглой пашне было мерой, подобной той, к какой прибегали землевладельцы еще в начале XVII в. и, вероятно, раньше. В 1605 г. подьячий Семенов взял у Троицкого Сергиева монастыря в аренду на 5 лет пустую деревню, обязавшись давать за нее монастырю оброк, «а государевы всякие подати платити с двух вытей» наравне с монастырскими крестьянами того села, к которому принадлежала деревня, и пахать землю в той деревне не наездом, а поселить в ней своих пахотных холопов, которые будут обрабатывать обе выти, не участвуя только в барщинных работах крестьян на монастырь<sup>67</sup>. Разумеется, ни подьячий, ни его холопы вследствие этого контракта не делались тяглыми крестьянами. Таким образом, задворные люди, оставаясь по закону свободными от прямого государственного тягла, участвовали в нем косвенно через своих владельцев по тяглым участкам, которыми пользовались, и их привыкали считать тяглыми людьми наравне с крестьянами; этот взгляд и был выражен в упомянутом указе 17 июля 1711 г. Это участие было повсеместным явлением и установилось задолго до первой ревизии, раньше даже преобразовательной деятельности Петра. Так можно думать по одному акту 1683 г.<sup>68</sup> Пензенский дворянин Свяязев променял Чиркову свое поместье, в котором, по переписным книгам 1678 г., значи-

лось всего три двора: один помещичий, другой задворного человека, третий бобыльский. Следовало бы ожидать, что Свизеву приходилось платить подати только с одного тяглого бобыльского двора. Однако в меновой его записи читаем, что из того поместья с находившимися в нем дворами бобыля и задворного человека он перешел в другое и «всякие великих государей подати с *тех дворов* будет платить по переписным книгам». Следовательно, Свизев платил подать и с двора своего задворного человека. В окладных книгах поземельная подать рассчитывалась по податным четям, т. е. по количеству крестьянских и бобыльских дворов, пользовавшихся тяглыми участками, а при сборе подати назначенный на податную четверть оклад разверстывался владельцами по размерам тяглых участков между всеми дворами, которые ими пользовались; все это заставляет придавать словам меновой записи лишь то значение, что задворные люди платили подать по разверстке наравне с крестьянами и бобылями, потому что обыкновенно пользовались такими участками, и что при самой переписи их дворы ставились в счет податных четвертей, если переписчики заставляли их на таких участках.

Так задворные люди, оставаясь по закону нетяглыми холопами, на деле стали тяглыми крестьянами. Такое двусмысленное их положение было причиной нерешительного отношения к ним законодательства во второй половине XVII в. Их вносили в податные поземельные описи наравне с крестьянами и бобылями, но не включали прямо в состав тяглого населения. Чрезвычайные налоги на военные нужды то разверстывали и по дворам задворных людей наравне с крестьянскими и бобыльскими, то раскладывали только на крестьян и бобылей, не распространяя сбора на задворных людей<sup>69</sup>. Эта нерешительность служила знаком того, что государственное положение холопства стало уже для правительства вопросом, которому оно не нашло еще решения, и что вопрос этот был возбужден преимущественно положением задворных людей. Еще до начала преобразовательной деятельности Петра в рабовладельческом обществе было распространено опасение, что государство скоро наложит руку на холопью свободу от государственных повинностей, т. е. на господское право

свободного распоряжения холопим трудом. Это опасение обнаружилось по поводу другой части холопства, которая стояла в одинаковом с задворными людьми отношении к государству. В 1681 г. служилым людям высших чинов велено было подать сказки, сколько у кого из них «людей с боем», т. е. боевых служивых холопов; при этом правительство старалось успокоить рабовладельцев, боявшихся, что таких холопов у них «возьмут в службу особо»<sup>70</sup>. Оставалось сделать немного, чтобы оправдать это опасение. К концу XVII в. холопство уже перестало служить исключительно орудием частного интереса и предметом гражданского права. Через своих господ оно принимало двоякое косвенное участие в государственном тягле: одни холопы помогали своим господам как служилым людям нести военную повинность, другие помогали им как землевладельцам платить государственную поземельную подать. Оставалось заменить это косвенное служение государству прямым, чтобы уничтожить холопство как юридическое состояние, отличное от других классов русского общества, между которыми были распределены государственные повинности. Эта замена прямо вытекала как необходимое последствие из заявленного законодательством XVII в. требования, чтобы каждое лицо, способное служить государству, стояло к нему в непосредственном отношении, приняв на себя ту или другую прямую государственную повинность, и чтобы в государстве не оставалось *избылых*, т. е. лиц, свободных от таких повинностей. Это требование проводилось в двух правилах, которые уже в том веке настойчиво прилагались законодательством к другим классам общества: 1) государственные повинности, раз приняты лицом, становятся для него вечно обязательными и обязательно переходят на его потомство; 2) государственное служение лиц, свободных от наследственных повинностей, определяется родом их занятий.

Петру оставалось распространить действие этих правил и на холопство. Его законодательство в этом деле отличалось обычными свойствами всей его преобразовательной деятельности, решительностью в стремлении к цели, поставленной предшественниками, и колебаниями в выборе путей для достижения цели, как скоро реформа касалась области права. В вопросе о холоп-

стве причиной этих колебаний были преимущественно его хозяйственные виды; преобразователь, по-видимому, долго не мог уяснить себе их значения. Сначала, игнорируя эти виды, он задумал подчинить государственному тяглу все холопство, постепенно зачисляя холопов в военную службу. По указам 1 февраля и 31 марта 1700 г. все вольноотпущенные, годные в службу, записывались в солдаты, а холопы могли вступать в военную службу без отпуска и позволения своих господ. Потом, приняв во внимание хозяйственные разряды холопов, Петр отделил для военной службы дворовую челядь, к которой принадлежали походные спутники господ, а на пахотных холопов решил положить крестьянское тягло. Начав войну с Турцией в 1711 г., он указом 1 марта потребовал у господ третьего из их дворовых людей в солдаты, разъяснив указом 17 июля, что набору не подлежат пахотные холопы, «которые деловые люди в переписных книгах (1678 г.) написаны особыми дворами, а не в вотчинниковых дворах, и задворные, которые платят всякие подати, и тех в число не ставить», как и крестьян; если такие люди или крестьяне уже взяты в службу, по просьбам помещиков их велено «отдавать, по-прежнему, на *тягло*»<sup>71</sup>. Таким образом, пахотные холопы, платившие тягло по частному договору или по хозяйственному распоряжению господ, были признаны тяглыми по закону. Согласно с этим стали взыскивать зажилые деньги за прием не только задворных, но и деловых беглых людей. Так как способную к службе дворовую челядь предположено было зачислять в солдаты поголовно, то рекрутские наборы, распространенные на все тяглое население, производились до ревизии по числу дворов крестьян, бобылей, задворных и деловых людей<sup>72</sup>. Этих людей, деловых и задворных, как уже признанных тяглыми по закону, с самого начала ревизии зачисляли в подушный сбор наравне с крестьянами и бобылями. Но из хода переписи мы видели, что некоторое время Петром владелица раздумье, как поступить с дворовыми людьми. Сначала их как вспомогательный запас для комплектования армии не клали в подушный сбор. Но так как владельцы стали показывать в сказках деловых и задворных людей дворовыми, то в начале 1720 г. велено было распространить подушный оклад и на дворовых,

«которые живут в деревнях». Впрочем, злоупотребление едва ли было единственною причиной этой меры: она согласовалась с самою сущностью подушной подати. Эта подать, сменив подворный оклад XVII в., не вносила нового начала в систему государственных повинностей, а только служила более точным и энергическим выражением мысли, заявленной законодательством того века, что каждое лицо должно непосредственно служить государству, неся известные прямые повинности. Потому ревизия должна была сосчитать не земледельческие хозяйства, которые только и принимались в счет при прежних подворных переписях сельского населения, а все рабочие силы, способные нести государственные повинности. Дворовый, работавший в селе, приносил прямой доход владельцу, хотя бы и не имел своей пашни, и потому подлежал подушному сбору. Эта мысль довольно ясно выражена в указе 1 июня 1722 г., предписавшем всякого звания слуг, которые питаются денежною или хлебною дачей от своих владельцев, в подушное расположение не класть, а класть только таких, которые хотя своей пашни не имеют, но пашут на владельцев или даже не пашут и на них, а живут в деревнях<sup>73</sup>. Казна не имела нужды различать пахотных и непахотных, дворовых и задворных сельских слуг: эти различия между ними устанавливались самими владельцами, которые соображали, кого из сельских холопов выгоднее поселить особым двором и кого держать на барском дворе для дворовой пашни и других сельских работ. Казна заботилась только о распределении повинностей между способными нести их крепостными людьми по роду занятий или хозяйственному положению последних. Положив подушную подать на сельскую челядь, Петр оставил городских дворовых для военной службы. Согласно с этим изменен был закон 31 марта 1700 г. о приеме в солдаты вольноопределяющихся холопов: указом 17 марта 1722 г., когда в подушный оклад зачислялись уже все сельские дворовые, велено было написанных в ревизские сказки дворовых в солдаты не принимать<sup>74</sup>. Но и это различие оказалось неустойчивым: закон не запрещал владельцам переводить городских дворовых в свои сельские усадьбы, а сельских холопов — в городские дворы. Поэтому решено было уравнивать всех холопов в обеих повинностях,



воинской и податной. Указом 4 апреля того же года дозволялось принимать в солдаты всех дворовых слуг, желавших вступить в военную службу, даже записанных в подушную перепись, только зачитывая последних владельцам за рекрутов следующего набора и отказывая в приеме пахотным деловым людям, а через 8 месяцев после этого указа резолюцией 19 января 1723 г. подушный сбор был распространен и на городских дворовых<sup>75</sup>. Значит, Петр кончил устройство государственного положения холопства мерою, обратной той, какою начал: он начал постепенным поголовным зачислением холопов в военную службу, не думая вводить их в податное крестьянское тягло, а кончил поголовным введением их в это тягло наравне с крестьянами.

Резолюцией 19 января завершилось законодательное уничтожение холопства как особого юридического состояния. Но крепостная зависимость холопов не была отменена, напротив, стала вспомогательным финансовым средством подобно крестьянской. По мере того как нетяглые крепостные люди вводились в тягло, на их господ падала тягловая ответственность за них, какая еще в XVII в. положена была на землевладельцев за крепостных крестьян. С другой стороны, по указам о первой ревизии и вольные нетяглые люди, попадавшие в тягло, укреплялись за теми, кто брал на себя такую ответственность за них или на кого она возлагалась законом. Так незаметно изменился характер холопией крепости: из обязательств по частной сделке она превратилась в зависимость по государственному поручению. Это сообщило ей значение *особой государственной повинности*, обеспечивавшей казне исправное исполнение всех прочих повинностей и ложившейся на тех тяглых людей, тяглая исправность которых не могла быть обеспечена иным способом. Таким значением объясняется юридический смысл тех ревизских указов, которые обязывали вольных людей записываться в подушный оклад за теми, на чьих землях их заставляла ревизия или кто соглашался принять их на свою ответственность: записанные становились крепостными без всякой крепостной сделки с своими новыми господами, в силу одной ревизской записки, которая заменяла крепость<sup>76</sup>. Согласно с указанным выше законодательным правилом XVII в.

эта новая государственная повинность, подобно прежним, получила строго сословный наследственный характер: она ложилась на холопов пожизненных или кабальных и на срочных или жилых наравне с полными или старинными. Как общее государственное требование, она игнорировала разнообразные условия частных крепостных сделок и делала их излишними. Вот почему со времени первой ревизии исчезают служилые кабалы и жилые записи. В этом отношении ревизия завершила смещение юридических видов древнерусского холопства, начавшееся задолго до нее перенесением в крепость кабальных задворных людей условий крестьянской ссудной записи.

Таким образом, законодательная отмена холопства была не освобождением холопов, а их укреплением на других основаниях, одинаковых с условиями крестьянской крепости. Холопство в XVII в. отличалось от крепостного крестьянства двумя особенностями: холоп не нес на себе прямого государственного тягла, падавшего на крестьян, и укреплялся частным договором или происхождением от лица, укрепившегося таким способом, тогда как зависимость крепостного крестьянина, первоначально возникавшая также из частной сделки, уже в XVII в. была положена законом на всех крестьян, живших на владельческих землях, как специальная государственная повинность и укреплялась не столько ссудными записями, сколько правительственными писцовыми и переписными книгами. Согласно с этими особенностями и отмена холопства как особого юридического вида крепостной зависимости состояла из двух законодательных актов: из распространения на всех холопов крестьянского тягла и из отмены договорной и разнообразной по условиям холопией неволи однообразною потомственной зависимостью по закону. Оба эти акта юридически уравнивали холопов с крепостными крестьянами, оставив только необязательное для владельца хозяйственное различие между ними как крепостными дворовыми и крепостными хлебопашцами<sup>77</sup>. С тех пор холопство в древнерусском смысле этого слова осталось в воспоминаниях, нравах и понятиях, в литературном и канцелярском языке, но исчезло в праве; считать дворовых и крепостных крестьян со времени ревизии холопами — большая историческая и юридическая ошибка.

Оба означенные акта принадлежат законодательству Петра и выразились в длинном ряде узаконений, завершившемся резолюцией 19 января 1723 г., но они издавна готовились разнообразными условиями, под действие которых становилось холопство. Начала эту подготовку церковь, продолжило землевладельческое хозяйство, а закончила крестьянская крепость, которая, возникнув при содействии кабального холопства, заплатила ему за услугу тем, что помогла уничтожению холопства, превратив нетяглового кабального холопа в тяглового задворного хлебопашца, который увлек за собою в государственное тягло и другие разряды холопов.

---

---

## ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН И ЕГО ПРЕДКИ

День памяти Пушкина — день воспоминаний. Я начну с воспоминаний о себе самом.

Я родился немного лет спустя по смерти Пушкина. Но, пока я и мои сверстники, получившие одинаковое со мною воспитание, пока мы были юны, Пушкин не переставал быть нашим современником. Мы не спрашивали, жив ли Пушкин. Мы знали, что он живет и будет жить, и это было для нас так же ясно и просто, как то, что небо синее и будет синеть. Когда нам говорили, что он умер, что его давно уж нет, в этих словах нам чувалось что-то нескладное, похожее на неудачную риторическую фигуру.

В те годы мы читали и перечитывали *Евгения Онегина*. Теперь, после стольких лет и стольких житейских впечатлений, свеявших ощущение молодости, трудно припомнить и еще труднее рассказать, чем был для нас этот роман лет 30 назад. Одно можно сказать с уверенностью, что мы отнеслись к нему, как не относились современники Пушкина и как едва ли относится к нему молодое поколение, несколько лет назад теснившееся при открытии московского памятника Пушкину. При жизни Пушкина *Евгений Онегин* был предметом критики или удивления как крупная литературная новость. Теперь он просто предмет изучения как историко-литературный памятник. Для нас он не был ни тем, ни другим: мы не разбирали его, как разбирали тогда новые повести Тургенева, но мы и не комментировали его как *Слово о полку Игореве* или *Недоросля*. Он не был для нас

только роман в стихах, случайное и мимолетное литературное впечатление; это было событие нашей молодости, наша биографическая черта, перелом развития, как выход из школы или первая любовь. При первом чтении мы беззащитно отдавались обаянию стиха, описаний природы, задушевности лирических отступлений, любовались подробностями, составлявшими декорации драмы, разыгранной в романе, не обращая особенного внимания на самую драму. Потом, перечитывая роман, мы стали вдумываться и в эту драму, в ее несложную фабулу и трагическую развязку, задавать себе вопросы и из ответов на них извлекать житейские правила. Мы горько упрекали *Онегина*, зачем он убил Ленского, хотя не вполне понимали, из-за чего Ленский вызвал Онегина. Каждый из нас давал себе слово не отвергать так холодно любви девушки, которая его так полюбит, как Татьяна любила Онегина, и особенно, если напишет ему такое же хорошее письмо. Читая *Онегина*, мы впервые учились наблюдать и понимать житейские явления, формулировать свои неясные чувства, разбираться в беспорядочных порывах и стремлениях. Это был для нас первый житейский учебник, который мы робкою рукой начинали листовать, доучивая свои школьные учебники; он послужил нам «дрожащим гибельным мостком», по которому мы переходили через кипучий темный поток, отделявший наши школьные уроки от первых житейских опытов. Может быть, такое отношение к роману было педагогическим недосмотром наших воспитателей или нашим эстетическим пороком; может быть, это было только преждевременным и излишним напряжением эстетического чувства, предохранившим нас от многих действительных пороков. Я этого не знаю; я только отмечаю факт, не ценя его, не произнося приговора над своею молодостью. Судите вы и, если угодно, осуждайте за это нас или наших воспитателей. А факт тот, что после 1837 г. воспиталось поколение, которое уже не застало Пушкина в живых и на нравственную физиономию которого его роман более, чем другие его произведения, положил особую немножко сантиментальную складку. Было ли это нашим несчастьем или даром, незаслуженно нам доставшимся, на этот вопрос можно отвечать и так и этак, но в том и другом случае будет виновата случайность нашего рождения. Людям, родившимся годами

10—15 раньше нас, приходилось читать этот роман среди неумолкнувших еще споров о Пушкине. Молодежь, которая принималась за *Онегина* немного позднее нас, читала его под действием иных, нелитературных веяний, которые были принесены новым течением, обнаружившимся в нашем обществе с половины 1850-х годов. Мы попали, так сказать, в литературное затишье, начали читать *Онегина*, когда о Пушкине вспоминали, но уже не спорили, а новые влияния еще не успели донестись до школьных скамеек, на которых мы сидели.

Все это я счел не лишним припомнить и некоторым из присутствующих напомнить по поводу годовщины смерти Пушкина. Ведь мы собрались, чтоб оглянуться на полстолетие, протекшее с того времени, и вспомнить, чем был для нас поэт в это полстолетие. Жизнь поэта — только первая часть его биографии; другую и более важную часть составляет посмертная история его поэзии. Некто из людей, начавших сознавать себя раньше, чем многие и многие из вас начали дышать, и решился занести свою строчку в эту посмертную часть, отважился выступить из редущего уже ряда своих сверстников, чтобы сказать, чем был для него и для них Пушкин со своим романом.

Помню еще, что из действующих лиц романа всего менее задумывались мы в первое время над его героем. Мы не задавали себе вопроса, кто он, хороший или дурной человек, дельный или пустой малый. Он оставался для нас на каком-то туманном возвышении, с которого мы не сводили его в ряды простых людей, чтобы разглядеть, благовоспитанный ли он человек, удобный ли товарищ. Мы едва ли любили его, а наши сверстницы, наверное, не влюблялись в него, как влюбилась Татьяна. Но и мы и они любовались им; он оставался для нас поэтическим образом, в котором нам нравились самые недостатки, как становятся милы отдельные некрасивые черты на милом лице. Еще менее приходило нам в голову доискиваться, откуда и как попал он в русское общество. Этот «чуждак печальный и опасный» проходил в нашем воображении приятным и таинственным незнакомцем, которого мы не догадывались спросить об адресе. Мы не настолько знали тогдашнее общество, чтоб угадать, на кого он похож. Притом мы так мало задумывались над отношением поэтического творчества к действитель-

ности, что нам нелегко было растолковать самый смысл вопроса, что это такое: поэтическая ли греза, переложенная в великолепные стихи, или портрет, срисованный с живого человека. Мы видели, что это несовременная нам быль: вокруг себя мы не замечали и не предполагали ничего подобного. Но мы чувствовали, что это и не сказка, что герои этого романа существовали на Руси где-то и когда-то и даже в очень близкое к нам время.

Не успели миновать наши школьные годы, мы только что затвердили *Онегина*, как на нас легли два новые литературные впечатления, и такие глубокие, каких не оставляли в нас дальнейшие произведения русской литературы. Эти впечатления впервые и направили наши мысли на вопрос, что такое *Онегин*. Мы прочитали *Дворянское гнездо* и *Обломова*. Вы, может быть, с удивлением спросите: что общего между этими пьесами, кроме таланта? Я не помню, что говорила тогда литературная критика об этих произведениях, и не могу угадать, что думали и думают, читая их, молодые люди, здесь присутствующие. Но нам они показались двумя частями одной книги об умирающих. Обе пьесы — похоронные песни: в одной отпевался известный житейский порядок, в другой — общественный тип. С Лизой Калитиной, ушедшей в монастырь, отрекались от мира чувства и отношения известной дворянской среды, жертвой которых была отшельница, а в лице Обломова, кашляя и кряхтя, лез умирать на печку последний наиболее беспомощный питомец и представитель этих же чувств и отношений. В обоих произведениях, совсем не как в *Евгении Онегине*, наше внимание приковали к себе гораздо более главные лица, чем их драматические положения. Мы спрашивали себя, почему эти лица, способные внести много добра в общество, не ужились в нем; нам было прискорбно чувствовать, что это лица исчезающие, что мы уже не встретим их двойников. Мы вспоминали своего старого незнакомца *Онегина*, и нам почему-то казалось, что и он, лицо менее приятное и менее обещавшее, принадлежит к тому же порядку явлений. Это сходство возбуждало в нас недоумение. После уже, слушая, читая и изучая, мы узнали, что наш век — время ускоренной смены разнохарактерных, совсем не похожих друг на друга типов. Тогда, сопоставляя названные произведения с *Евгением Онегиным*, мы начали внимательнее раз-

бирать его. Это не была критика романа. У нас по-прежнему не поднималась на него критическая рука; он не ветшал для нас, не отставал от нас, а шел вровень с нами, или, лучше сказать, время бесследно шло мимо него, как оно идет мимо нестареющих античных статуй. Мы разбирали не роман, а только его героя, и с удивлением заметили, что это вовсе не герой своего времени и сам поэт не думал изобразить его таким. Он был чужой для общества, в котором ему пришлось вращаться, и все у него выходило как-то нескладно, не вовремя и некстати. «Забав и роскоши дитя» и сын промотавшегося отца, 18-летний философ с охлажденным умом и угасшим сердцем, он начал жить, т. е. жечь жизнь, когда следовало учиться; приниматься учиться, когда другие начинали действовать; устал, прежде чем принялся за работу; суетливо бездельничал в столице, лениво бездельничал и в деревне; из чванства не умел влюбиться, когда это было нужно, из чванства же поспешил влюбиться, когда это стало преступно; мимоходом, без цели и даже без злости убил своего приятеля; без цели поездил по России; от делать-ничего вернулся в столицу донашивать истощенные разнообразным бездельем силы. И здесь, наконец, сам поэт, не кончив повести, бросил его на одной из его житейских глупостей, недоумевая, как поступить дальше с таким бестолковым существованием. Добрые люди в деревенской глуши смиренно сидели по местам, досиживая или только еще насиживая свои гнезда; налетел праздный пришлец из столицы, возмутил их покой, сбил их с гнезд и потом с отвращением и досадой на самого себя отвернулся от того, что наделал. Словом, из всех действующих лиц романа самое лишнее — это его герой. Тогда мы начали задумываться над вопросом, который поставил поэт не то от себя, не то от лица Татьяны:

Что ж он, ужели подражанье,  
Ничтожный призраж иль еще  
Москвич в Гарольдовом плаще,  
Чужих причуд истолкованье,  
Слов модных полный лексикон. . .

Мы начали изучать его. Метод изучения был нам подсказан самой Татьяной. Мы старались пробраться украдкой в кабинеты людей того времени, разобрать



книги, которые они читали и которые читали их отцы, с оставленными на полях отметками крестами и вопросительными крючками. Изучая так *Онегина*, мы все более убеждались, что это — очень любопытное явление и прежде всего явление вымирающее. Припомните, что он «наследник всех своих родных», а такой наследник обыкновенно последний в роде. У него есть и черты подражания в манерах, и Гарольдов плащ на плечах, и полный лексикон модных слов на языке, но все это не существенные черты, а накладные прикрасы, белила и румяна, которыми прикрывались и замазывались значки беспотомственной смерти. Далее мы увидели, что это не столько тип, сколько гримаса, не столько характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и фальшивая, созданная целым рядом предшествовавших поз, все таких же неловких и фальшивых. Да, Онегин не был печальною случайностью, нечаянною ошибкой: у него была своя генеалогия, свои предки, которые наследственно из рода в род передавали приобретаемые ими умственные и нравственные вывихи и искривления. Если вы не боитесь скуки, если печальная годовщина, нас собравшая, располагает вас к терпеливым воспоминаниям о нашем прошлом, вы позволите неумелю рукой перелистовать перед вами эту родословную Онегина.

Всего усерднее прошу вас об одном: преемственно сменявшиеся положения, которые я отмечу, не принимайте за моменты нашей жизни, соответствующие известным поколениям. Нет, я разумею более исключительные явления. Это были неестественные позы, нервные, судорожные жесты, вызывавшиеся местными неловкостями общих положений. Эти неловкости чувствовались далеко не всеми, но жесты и мины тех, кто их чувствовал, были всем заметны, бросались всем в глаза, запоминались надолго, становились предметом художественного воспроизведения. Люди, которые испытывали эти неловкости, не были какие-либо особые люди, были как и все, но их физиономии и манеры не были похожи на общепринятые. Это были не герои времени, а только сильно подчеркнутые отдельные нумера, стоявшие в ряду других, общие места, напечатанные курсивом. Так как масса современников, усевшихся более или менее удобно, редко догадывалась о причине этих ненормальностей и считала их капризами отдельных лиц, не

хотевших сидеть, как сидели все, то эти несчастные жертвы неудобных позиций слыли за чудаков, даже иногда «печальных и опасных». Между тем жизнь текла своим чередом; среда, из которой выделялись эти чудаки, сидела прямо и спокойно, как ее усаживала история. Поэтому я не введу вас в недоумение, когда буду говорить об отце, дяде и прадеде Онегина. Онегин — образ, в котором художественно воспроизведена местная неловкость одного из положений русского общества. Это не общий или господствующий тип времени, а типическое исключение. Разумеется, у такого образа могут быть только историко-генетические, а не генеалогические предки.

Явления, которые я отмечу, были все однородного сословного происхождения: предки Онегина все принадлежали к старинному русскому дворянству. Неловкости общих положений, заставлявшие некоторых людей принимать ненормальные позы и необычную жестикуляцию, обыкновенно происходили от недосмотров и увлечений, какие допускались при постановке нового образования, водворявшегося у нас приблизительно с половины XVII в. Это новое образование шло к нам с Запада, как прежнее пришло из Византии. Первым восприемником и проводником этого нового образования стало дворянство, как носителем и проводником старого было духовенство. Поспешность и нетерпеливость, с какими вводилось это образование, и были причинами некоторых неловкостей в преемственно сменявшихся общих положениях сословия. Но, повторяю, это были местные неловкости, и ненормальные явления, ими вызванные, не могут войти в общую историю этого почтенного и много послужившего отечеству сословия.

Прадеда нашего героя надобно искать во второй половине XVII в., около конца Алексеева царствования, в том промежуточном слое дворянских фамилий, который вечно колебался между столичною знатью и провинциальным рядовым дворянством. Отец этого прадеда, какой-нибудь Нелюб-Злобин, сын такой-то, был еще нетронутый служака вполне старого покроя: он из года в год ходил в походы посторожить какую-нибудь границу отечества с пятком вооруженных холопов, по временам получал неважные воеводства, чтоб умеренным кормом пополнить оскудевшие от походов животы, а на

частных деловых его бумагах вместо его подписи ставилась пометка, что отец его духовный, поп Иван, в его, Нелюбово, место руку приложил, затем что он, Нелюб, грамоте не умеет. Его сына ждала менее торная дорога. За бойкость его с 15 лет зачислили в солдатский полк нового, иноземного строя под команду немецких офицеров, за понятливость взяли в подьячие, за любознательность отдали в Спасский монастырь, на Никольской, в Москве, к ученому киевскому старцу «учиться по латиням». С кислую гримасой принимался он за «грамматичное ученье» и то твердил по ходячим в то время словаркам исковерканные и вавилонски перемешанные греческие и польско-латинские вокабулы, написанные русскими литератами: *ликос* — волк, *луппа* — волчица, *спириды* — лапти, *офира* — молебен, *препосит* — боярин, *нектар* — пиво; то в ужасе от мысли, что все это ляхо-латинская ересь, неистово рвал свою грамматику и бежал к туземным благочестивым старцам каяться в соблазне, но, успокоенный батогамы, снова принимался твердить: *онагр* — дикий осел, *претор* — губная изба, *фулцгур* — молния, *скандализи ме* — соблазняют мя. Киевский старец заставлял молодого подьячего читать переводные космографии, внушал ему католические мнения о пресуществлении св. даров и об исхождении св. духа, обучал его польской речи и искусству слагать хитрые вирши. Набожный выученик, успешно пробегая служебный путь, старался сделать благочестивое употребление из усвоенного иноземного искусства и на досуге перелагал в неуклюжие вирши акафист пресвятой богородице или церковные песнопения о страстях Христовых. Но время шло, разгоралась петровская реформа, и чиновного латиниста с его виршами и всею грамматичною мудростью назначили комиссаром для приема и отправки в армию солдатских сапог. Тут-то, разглядывая сапожные швы и подошвы и помня государеву дубинку, он впервые почувствовал себя неловко со своим грузом киевской учености и со вздохом спрашивал: зачем этот киевский нехай, учивший меня строчить вирши, не показал мне, как шьют кожаные солдатские спириды?

Дети этого меланхолического комиссара уже подпадали под действие закона 1714 г. об обязательном обучении дворянства, учились в цифирной школе местного архиерейского дома, женились, отцами семейств явля-

лись на царские смотры дворянских недорослей и по разбору компаниями, покидая жен, отправлялись за море для науки под наблюдением комиссара с инструкцией, в которой за нерадение «рукою самого монарха писан престрашный гнев и безо всякие пощады превеликое бедство». Эти компании рассеивались по всем важным приморским городам Западной Европы: Амстердаму, Венеции, Марсели, Кадиксу и пр. В «заграничных академиях» их обучали математике, «экипажеству» и механике, наукам «филозофским и дохтурским», но особенно «мореходским и сухопутским», навигации, инженерству, артиллерии, «черчению мачтапов», боцманству, артикулу солдатскому, танцевать, на шпагах биться, на лошадях ездить. За границей русские навигаторы бегали с учебной службы, спасаясь в монастыри на Афонской горе, должали, посещали австерии и «редуты», т. е. игорные дома, дрались там и убивали один другого, а к родным в Россию слали письма, жалуясь на нищету и разлуку, на то, что наука определена им самая премудрая и хотя бы пришлось им все дни живота своего на тех науках себя трудить, а все-таки им не выучиться; что они на разные науки ходят, да без дела сидят, потому что языков иноземных не разумеют и «незнамо учиться языка, незнамо — науки». Навигаторы молили родных походатайствовать за них у кабинет-секретаря Макарова или у самого генерал-адмирала Апраксина взять их к Москве и определить хотя бы последними рядовыми солдатами или хотя бы в тех же европейских краях быть, но обучаться какой-нибудь науке сухопутной, только бы не мореходству. В числе этих навигаторов оказался, и даже не один, прямой наследник неудачи нашего сапожного комиссара, его собственный сын или чужой — это все равно. Поступив солдатом в гвардейский Преображенский полк, он учился в военной академии в Петербурге и во время второй беременности жены, в конце царствования преобразователя, был послан в Голландию, забежал перед отъездом к доброй императрице, которая «на всякую нужду» дала ему 5 червонных, около 100 руб. на наши деньги; в Амстердаме учился лучше многих и преимущественно дельным наукам, которые наиболее ценил преобразователь, даже рапортовал местному русскому послу, что отказывается от шпажного и танцевального ученья, «понеже оно к службе его вели-

чества угодно быть не может»; вернувшись в Петербург, успешно сдал экзамен членам адмиралтейской коллегии, определился к делам, служил усердно, чая воздаяния, и тут впервые заметил, что времена переменялись. Великого императора уже не было в живых. Навигацкие науки уступили место иным вкусам. В Петербурге высшее общество дорого платило немцу за то, что «в барабаны бил и на голове стоял», и наш навигатор, попав в общество своих сверстников, очутился между двух огней. Одни, после Петра заболевшие тоской по родной старине, встретили его насмешками и ругательствами за «европейский обычай», привезенный им из Голландии; другие, одержимые вожделением к новизне, преследовали его кличками неуча, деревенского мужика за недостаточный запас европейского обычая, им привезенный, за незнание модного катехизиса, которым вменялось благородному шляхтичу в обязанность то самое шпажное и танцевальное искусство, которое он считал бесполезным; предписывалось намерения свои скрывать, губ рукой не утирать, в сапогах не танцевать, встречному знакомому приятным образом шляпу снимать за три шага, ни ближе, ни дальше, и глядеть на него весело и приятно, с благообразным постоянством. К тому же ближайшие сотрудники Петра скоро перегрызлись. На их места явились неведомые люди из Митавы и Германии, алчные, подозрительные и жестокие. От них пострадал и наш навигатор. Раз на святках он отказался наряжаться и вымазаться сажей. За это его на льду Невы раздели донага, нарядили чертом и в очень прохладном костюме заставили простоять на часах несколько часов; он захворал горячкой и чуть не умер. В другой раз за неосторожное слово про Бирона его послали в Тайную канцелярию к Ушакову, который его пытал, бил кнутом, вывертывал ему лопатки, гладил по спине горячим утюгом, забивал под ногти раскаленные иглы и калеккой отпускал в деревню, где он при малейшем промахе дворовых выходил из себя и, топоча ногами, бесконечно повторял: «Ах вы растрепоганые, растреокайные, непытанные, немученные и ненаказанные!» Впрочем, он был добрый барин, редко наказывал своих крепостных, читал вслух себе самому Квинта Курция *Жизнь Александра Македонского* в подлиннике, занимался астрономией, водил комнатную прислугу в красных ливреях и

напудренных волосах; страдая бессоницей, с гусиным крылом в руке сам изгонял по ночам сатану из своего дома, окуривая ладаном и кропя святою водой нечистые места, где он мог приютиться, пел и читал в церкви на клиросе, дома ежедневно держал монашеское келейное правило, но дружно жил с женой, которая подарила ему 18 человек детей, и, наконец, на 86-м году умер от апоплексического удара. Однако привезенные им из Голландии математические и навигацкие познания остались без употребления. К русской действительности этот ученый русский служака стал как-то криво, нечаянно и больно ушибся головой об ее угол и без особенной пользы, хотя и без вреда, всю остальную жизнь коптил небо, созерцая звезды.

Отцы Онегинных начинали свое воспитание при императрице Елизавете, кончали его при Екатерине II и доживали свой век при Александре I. Их детство протекало под впечатлениями веселой светской жизни, получившей «свое основание» под покровом доброй и умной дочери Петра. То было время отдыха от ужасов бироновщины; тогда начал развиваться в обществе «тонкий вкус во всем и самая нежная любовь, подкрепляемая нежными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получила первое над молодыми людьми свое господствие». Молодые дворяне, хорошо пристроенные в столице, 5—6 лет записанные в гвардейский полк рядовыми, лет 15 производились в офицеры, допускались на французские комедии, дважды в неделю дававшиеся на придворном театре, бывали на детских балах, где в присутствии императрицы танцевало пар по 50 детей, строго выдерживая все attitudes взрослых господ и госпож, участвовали в вельможеских бал-маскарадах, длившихся по 48 часов сряду, приветствовали русских барышень, которые привозили из Лондона невиданные в Петербурге английские контрадансы и за то на много дней становились героинями столичного света. Из сферы веселых лиц и речей они нечувствительно переносились в сферу принятых книг и идей. Закон 1714 г. не прошел бесследно. Правда, теперь уже не требовалась петровская военно-техническая выучка, любимая навигацкая наука преобразователя упала при его дочери, не любившей моря, кадетов шляхетского корпуса на целые недели отрывали от учебных занятий, заставляя их разучивать

и играть новую трагедию Сумарокова. Но обязательное обучение, не давая значительного запаса научных сведений, приучало к процессу выучки, делало ее привычным сословною повинностью, а потом светским приличием и даже возбуждало некоторый аппетит к знанию. Дворянин редко учился с охотой тому, что требовалось по узаконенной программе, но он привыкал учиться чему-нибудь, хотя обыкновенно выучивался не тому, что требовалось по программе. К 6-летнему гвардейцу выписывали сперва из Берлина m-me Ruinau, потом из Парижа m-lle Berger подороже, наконец, m-g Raoult еще дороже, потому что он не только мог преподавать le français, «но и в том, что называется belles lettres, был гораздо сведущ». Отец выписывал для сына из Голландии, приюта французских мыслителей, библиотеку assez bien choisie из лучших французских поэтов и историков, и лет с 12 гвардейский сержант уже осваивался с Расином, Корнелем, Буало и даже с самим Вольтером. В царствование Екатерины он подходил к самым источникам света. По желанию самой императрицы он посещал фернейский скит Вольтера с толпою других молодых офицеров, «жадничавших» видеть философа и слушать его разговоры, не миновал и «ада молодых людей», как тогда звали Париж питомцы петровской школы, бывал на ужинах, где два философа, три dames d'esprit, один еврей, один капеллан с православным секретарем русского посла и с швейцарским капитаном-кальвинистом часа по четыре сыпали bons mots, рассказывая анекдоты, рассуждая о бессмертии души, о предрассудках, о всевозможных вопросах науки, морали и эстетики. По возвращении в Россию, покинув службу в гвардии, он занял административную должность, но не мог привыкнуть к делам, переехал в свою губернию; задумав служить по выборам, был выбран в дворянские заседатели совестного суда, но соскучился, дожидаясь дел, которых в три года поступило ровно три и не было решено ни одного, пробовал заняться сельским хозяйством, но только сбил с толку управляющего и старосту, хотел по крайней мере пожить весело, окружил себя шутами и шутихами, составил себе выездную свиту из арабов, башкир и калмыков, потчевал гостей частыми обедами, балами и псовою охотой с дворовою музыкой и цыганскою пляской и, наконец, устав и заглянув в долговую

книгу, махнул на все рукой и окончательно переселился в деревню доканчивать давно начатую и сложную работу изолирования себя от русской действительности. Здесь он вечно пасмурным брюзгой уединился в своем кабинете:

С печальной думою в очах,  
С французской книжкою в руках

С этой книжкой в руках где-нибудь в глуши Тульской или Пензенской губернии он представлял собою очень странное явление. Усвоенные им манеры, привычки, симпатии, понятия, самый язык — все было чужое, привозное, все влекло его в заграничную даль, а дома у него не было живой органической связи с окружающим, не было никакого житейского дела, которое он считал бы серьезным. Он принадлежал к сословию, которое, держа в своих руках огромное количество главных производительных сил страны, земли и крестьянского труда, было могущественным рычагом народного хозяйства; он входил в состав местной сословной корпорации, которой предоставлено было широкое участие в местном управлении. Но свое сельское хозяйство он отдавал в руки крепостного приказчика или наемного управляющего немца, а о делах местного управления не считал нужным и думать; ведь на то есть выборные предводители и исправники. Так ни сочувствия, ни интересы, ни воспоминания детства, ни даже сознание долга не привязывали его к среде, его окружавшей. С детства, как только он стал себя помнить, он дышал атмосферою, пропитанною развлечением, из которой обаяниями забавы и приличия был выкурен самый запах труда и долга. Всю жизнь помышляя о «европейском обычае», о просвещенном обществе, он старался стать своим между чужими и только становился чужим между своими. В Европе видели в нем переодетого по-европейски татарина, а в глазах своих он казался родившимся в России французом. В этом положении культурного межеумка, исторической ненужности было много трагизма, и мы готовы жалеть о нем, предполагая, что ему самому подчас становилось невыразимо тяжело чувствовать себя в таком положении. Некоторые действительно не выносили его и пускали себе пулю в лоб, но это были редкие люди, которым не удавалось вполне уединить себя от действительности, которые не умели заживо



бальзамировать себя, чтобы защитить свое мертворожденное мирозерцание от разрушительного действия времени и свежего воздуха. Большинству людей этого рода удавалась операция такого бальзамирования довольно легко, без мучительных кризисов, без потуг тоски и даже скуки. Заурядный екатерининский вольнодумец оставался добр и весел, не скучал и не тосковал. Тосковать будет его сын при Александре I в лице Чацкого, а скучать — его внук в лице Печорина при Николае I. Когда наступала пора серьезно подумать об окружающем, они начинали размышлять о нем на чужом языке, переводя туземные русские понятия на иностранные речения, с оговоркой, что хоть это не то же самое, но похоже на то, нечто в том же роде. Когда все русские понятия с такою оговоркой и с большею или меньшею филологическою удачей были переложены на иностранные речения, в голове переводчика получался круг представлений, не соответствовавших ни русским, ни иностранным явлениям. Русский мыслитель не только не достигал понимания родной действительности, но и терял самую способность понимать ее. Ни на что не мог он взглянуть прямо и просто, никакого житейского явления не умел ни назвать его настоящим именем, ни представить его в настоящем виде и не умел представить его, как оно есть, именно потому, что не умел назвать его, как следует. В сумме таких представлений русский житейский порядок являлся такою безотрадною бессмыслицей, набором таких вопиющих нелепостей, что наиболее впечатлительные из людей этого рода, желавшие поработать для своего отечества, проникались «отвращением к нашей русской жизни», их собственное будущее становилось им противно по своей бесцельности, и они предпочитали «бытию переход в ничто». Но это были редкие случаи. Большинство, более рассудительное и менее нервное, умело обходить этот критический момент и от непонимания переходило прямо к равнодушию. Очувшись при помощи своеобразного метода изучения родной земли между двумя житейскими порядками, в каком-то пустом пространстве, где нет истории, русский мыслитель удобно устроился на этой центральной полосе между двумя мирами, пользуясь благами обоих, получая крепостные доходы с одной стороны, умственные и эстетические подаяния — с другой. Поселившись

в этой уютной пустыне, природный сын России, подкинутый Франции, а в действительности человек без отечества, как называли его жившие тогда в России французы, он холодно и просто решал, что порядок в России есть *assez immoral*, потому что в ней *il n'y a presque* аусине *opinion publique*, и думал, что этого вполне достаточно, чтоб игнорировать все, что делалось в России. Так незнание вело к равнодушию, а равнодушие приводило к пренебрежению. Чтоб оправдать это пренебрежение к отечеству, он загримировывался миной мирового бесстрастия, мыслил себя гражданином вселенной, космополитизируя таким образом очень и очень доморощенный продукт, каким он был на самом деле. Так, он создавал себе «своевольное и приятное существование». Вольные мысли, которые он черпал из привозных книг, рассеивали его житейские огорчения, сообщали блеск его уму, украшали его речь, даже порой потрясали его нервы: космополитический индифферентизм не мешал литературной впечатлительности, не подавлял воспитанной чувствительными романсами времен Сумарокова склонности к отвлеченным, беспредметным восторгам. Быть может, никогда культурный русский человек не плакал так легко и охотно даже от хороших слов, как во второй половине прошлого века, — плакал и только. Эстетические восторги и стереотипные философические слезы были только патологическими развлечениями, нервным моционом, но не отражались на воле, не становились нравственными мотивами. Вольномыслящий тульский космополит с увлечением читал и перечитывал страницы о правах человека рядом с русскою крепостною девичьей и, оставаясь гуманистом в душе, шел в конюшню расправляться с досадившим ему холопом. Культурно-психологический курьез, он ждет руки художника, но как передаточный пункт идей и преданий, как посредник «двух веков», готовых поссориться, он занимает видное место и в истории нашего общества.

Дети людей этого рода воспитывались в их преданиях, но не под их влиянием. Они наследовали многие из идей, убеждений, взглядов, привычек своих отцов, но не наследовали их вкусов, чувств и отношений к окружающему и не наследовали потому, что выросли и начали действовать под другими впечатлениями. К тому времени, когда они начали учиться, в воспитании знатного

русского юношества произошел решительный перелом. Со времени французской революции в Россию наехало множество французских эмигрантов, кавалеров, графов, маркизов, аббатов, роялистов и католиков, даже иезуитов, которые, принявшись за воспитание молодых русских дворян, начали вытеснять гувернеров философского чекана, демократов, республиканцев и атеистов, дотоле господствовавших в знатных русских домах. Новые педагоги принесли с собою свою особую атмосферу, новые чувства и интересы. Они поворотили мысль воспитываемого ими юношества к предметам, которыми пренебрегали их вольнодумные предшественники, к вопросам веры и нравственности; еще важнее было то, что они не ограничивались украшением и развитием ума своих питомцев, но влияли и на их волю, пробуждали позыв к делу, к согласованию поступков с понятиями. Они не только поддержали, но и усилили в питомцах интерес к политическим вопросам, восставая против демократических понятий, какие распространяли педагоги старого, дореволюционного привоза. Несомненно, при их участии в молодом поколении праздные эстетические влечения и отвлеченные идеи отцов стали сменяться нравственными побуждениями и практическими идеалами с политической окраской, обрастать живою плотью. Наполеон довершил дело, начатое французскими эмигрантами. Политические события указали направление и цель пробужденным стремлениям. Дети людей екатеринина века, защищая отечество на австрийских, прусских и, наконец, родных полях, должны были с оружием в руках стать против той самой Франции, которая для отцов многих из них была «отечеством сердца и воображения». Эта борьба приподняла их дух. Перед их глазами пронеслись великие события, которые решали судьбы народов и в которых они сами участвовали. Воротившись из похода домой, они чувствовали, что ушли от своих стариков «на сто лет вперед». Толкуя об отечестве вокруг бивачных костров на полях Прейсиш-Эйлау, Бородина, Лейпцига и под стенами Парижа, они сделали два важных открытия. Они с прискорбием узнали, что Россия — единственная страна, в которой образованнейший и руководящий класс пренебрегает родным языком и всем, что касается родины. Потом еще с большою скорбью они убедились, что в русском народе

таятся могучие силы, лишенные простора и деятельности, скрыты умственные и нравственные сокровища, нуждающиеся в разработке, без чего все это вянет, портится и может скоро пропасть, не принеши никакого плода в нравственном мире. С этой минуты они круто и прямо повернулись лицом к русской действительности, к которой отцы старались поставить их спиной, как стояли сами. Отцы не знали ее и игнорировали; дети продолжали не знать ее, но перестали игнорировать.

Но с минуты этого поворота люди, его сделавшие, разошлись и пошли различными путями. Одни пошли прямо вперед с нервной отвагой. Мысль «о зле существующего порядка и о возможности его изменения» стала исходною точкой всех их дум и размышлений. Но они смотрели на окружающее сквозь призму патриотической скорби, сменившей космополитическое равнодушие отцов, а в этой призме явления отражались под значительным углом преломления. Это мешало разглядеть достижимые цели, взвесить наличные средства, предусмотреть последствия. Они надеялись одним порывистым натиском сдвинуть с места скалу, которая стояла на дороге и которую они называли существующим порядком, разбежались и ударились об нее. Последствием удара было собственное крушение.

Другие пошли стороной, осторожно вглядываясь вдаль и озираясь вокруг. Они также питали много надежд и иллюзий, желали деятельности и готовились к ней, запасаясь идеями и иноземными образцами, которые можно было бы применить в отечестве. Но еще до 1812 г. они стали замечать, что преобразовательное движение, смело начатое правительством, тормозится чем-то таким, что не зависит ни от Сперанского, ни от Аракчеева, ни от чьей личной воли. Вглядываясь ближе, они увидели, что это была та же скала, или «грубая толща», как называл Сперанский русскую действительность, которая никак не хотела сдвинуться с места, как ее ни толкали. Они так же знали и понимали ее, как и другие, но они живее других почувствовали ее размеры и устойчивость, чувствовали и то, что они ничего с ней не могут сделать, что для этого нужны не та подготовка, не такие знания и навыки, какими обладали они и их отцы, что надобно переучиваться и перевоспитываться. Это было то же крушение, только не силы, плохо рассчитавшей свое

действие, а веры, поддерживавшей деятельность. Причиной крушения было открытие, что не во всем можно извернуться чужим умом и опытом, что если глупо вновь изобретать машину, уже изобретенную, то еще глупее жителю севера заимствовать костюм южанина, что нужно примениться к среде, а для этого необходимо изучать ее и потом уже преобразовывать, если она в чем окажется неудобной. Этим открытием разрушалось целое мирозерцание, воспитанное рядом поколений, привыкших сибиритски смотреть на Западную Европу как на русскую мастерскую, обязательную поставщицу машин, мод, увеселений, вкусов, приличий, знаний, идей, нужных России, и даже ответов на политические вопросы, в ней возникающие. Тогда люди, сделавшие это открытие, впали в уныние или нравственное оцепенение и опустили руки. После, оправившись от столбняка, одни из них стали кое-как прилаживаться к русской действительности и даже явились дельцами в царствование Николая, другие произнесли над ней отлучение от цивилизованного мира за то, что она не давалась их пониманию без изучения, третьи просто принялись изучать ее в подробностях.

Совершенно особенным образом подействовала патриотическая скорбь одних и уныние других на их младших братьев, которые по молодости лет не принимали участия в военных делах 1812—1814 гг. и не были вовлечены в движение, кончившееся катастрофой 14 декабря. Они проходили школу тогдашнего столичного света с его показным умом, заученными приличиями, заменявшими нравственные правила, и с любезными словами, прикрывавшими пустоту общежития, как описала его в 1812 г. г-жа Сталь. Эта школа давала много пищи злословию, вырабатывала «насмешку с желчью пополам», но не приучала ни к умственному труду, ни к практической деятельности, напротив, отучала от того и другого, всего же более располагала к скуке. На наклонности, воспитанные такую школой, ложились чувства старших братьев, патриотическая скорбь одних, уныние других. Но то были накладная скорбь, наносное уныние; то и другое чувство в младших рядах поколения не было непосредственным житейским впечатлением, получалось из вторых рук. Из смешения столь разнородных влияний и составилось сложное настроение, которое тогда стали звать

*разочарованием*. Поэзия часто рисовала его байроновскими чертами, и сами разочарованные любили кутаться в Гарольдов плащ. Но в состав этого настроения входило гораздо более туземных ингредиентов. Здесь были и запас схваченных на лету идей с приправой мысли об их ненужности, и унаследованное от вольнодумных отцов брюзжанье с примесью скуки жизнью, преждевременно и бестолково отведенной, и презрение к большому свету с неумением обойтись без него, и стыд безделья с непривычкой к труду и недостатком подготовки к делу, и скорбь о родине, и досада на себя, и лень, и уныние — весь умственный и нравственный скарб, унаследованный от отцов и дедов и прикрытый слоем острых или гнетущих чувств, внушенных старшими братьями. Это была полная нравственная растерянность, выражавшаяся в одном правиле: ничего сделать нельзя и не нужно делать. Поэтическим олицетворением этой растерянности и явился *Евгений Онегин*. Так я понимаю его, — правильно ли, судите сами. Прибавлю только, что Пушкин один из первых подметил эту новую разновидность русских чудаков. В 1822 г., когда он начал писать свой роман, было много и решившихся на все, и нерешительных патриотов, но разочарованные еще не бросались в глаза, как после 1825 г.

Такова родословная Онегина. Его предки — люди из дворянства, служившего проводником светского образования и органом управления. Это исключительные люди, которых слишком быстрая смена направлений образования и не всегда удачная его постановка ставила в неправильное положение. Сперва потребовалось школьное латинское образование, но под церковным руководством с целью оградить правосмыслие. Но многим получившим такое образование приходилось действовать там, где требовалась уже военно-техническая выучка, которой усиленно и подвергалась дворянская молодежь в царствование Петра I. Многим, получившим и такую выучку, пришлось действовать в обществе, в котором служебные успехи много зависели от степени светской выправки и литературного образования служащего лица. Но эта выправка и это образование скоро получили такое ненормальное развитие, которое прививало идеи и вкусы, непригодные для государственной и земской деятельности дворянства, расширенной реформами Екатерины II.

Тогда и образование высшего дворянства стало получать политическое направление и становилось ближе к русской действительности, к положению управляемого общества. Но такое образование при содействии унаследованных преданий и наклонностей и новых влияний сделало одних нетерпеливыми новаторами, хотевшими все перестроить разом, других — нерешительными пессимистами, не знавшими, что делать, а третьих повергло в настроение, лишившее их способности и охоты делать что-либо. Эти последние — наши Онегины. С этими людьми, мелькавшими в русском обществе в 1820-х и 1830-х годах, такое настроение и умерло.

Но я слишком долго задержал ваше внимание на личных и исторических воспоминаниях. О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует.

---

---

## ОТЗЫВ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ В. И. СЕМЕВСКОГО «КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС В РОССИИ В XVIII И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.»

Введение начинается определением задачи труда. Автор посвящает его *общему* обзору истории крестьянского вопроса в России в известных хронологических границах, но тотчас узнаем, что предмет книги — история вопроса не о крестьянах вообще, только о крестьянах крепостных и даже не история общего вопроса о крепостном праве, а история специального вопроса о его уничтожении<sup>1</sup>. Читая дальше, узнаем, что автор имел в виду даже не всех крепостных людей: он выделил из истории вопроса об уничтожении крепостного права ограниченное крепостное состояние — посессионных крестьян, потому что они резко отличались от крепостных в полном смысле слова, и вопрос о них вообще не рассматривался ни в печати, ни в записках по крестьянскому делу. Отсюда следовало ожидать, что и вопрос об уничтожении крепостного права в полном смысле слова автор изложит не во всем его объеме, а лишь насколько он рассматривался в печати и в записках по крестьянскому делу, хотя в начале введения была обещана характеристика отношений к вопросу законодательства, литературы, общества и народа. Впрочем, автор вслед за тем опять несколько расширяет свою программу, вводя в нее вопрос не только об уничтожении, но и об ограничении крепостного права.

Так, во введении не находим отчетливой *постановки* ни крестьянского вопроса, ни *собственной задачи* автора. Такой же *неустойчивостью* границ страдает и самое исследование. Если крестьянский вопрос —



только вопрос об освобождении крепостных крестьян, то не вполне понятно, для чего в исследовании подробно излагаются многие статьи и записки по крестьянскому делу, не требующие отмены крепостного права, а только высказывающие соображения о лучшей постановке крепостной неволи, чтобы она приносила наименее вреда государству и крепостным людям. Если же под крестьянским вопросом разуметь, как и следует, всю совокупность затруднений, какие создавались крепостным правом, то в историю крестьянского вопроса следовало бы, по-видимому, внести разбор всех мнений, мер и проектов, помощью которых правительство и владельцы крепостных душ пытались устранить эти затруднения и возможно лучше устроить быт крепостного населения. В этом отношении очень любопытны положения помещиков об управлении их имениями, наказы управителям, вотчинные наставления и т. п. Между тем автор сам заявляет в одном месте книги, что подробный разбор таких наставлений не входит в его задачу, хотя мимоходом и касается двух-трех таких документов<sup>2</sup>. Благодаря тому в истории крестьянского вопроса, в развитии крепостных затруднений и средств их устранения читатель не находит того, что могло бы служить существенным дополнением и лучшей проверкой разнообразных литературных планов устройства крепостного населения, именно не находит указаний на связь изображения мнений и проектов с практикой крепостного владения и управления; [книга представляет собой] очерк мер и приемов, с помощью которых на деле разрешались различные затруднения, рождавшиеся из крепостного права. Этот пробел мешает читателю составить ясное и цельное представление о ходе дела, о том, как разрешался или запутывался вопрос: поток мнений и взглядов на положение крепостного населения течет в пустом пространстве, как-то отрешенно от крепостной почвы; видно только течение, но не видно русла, ни дна, ни берегов; видим, как разрешался вопрос в умах, но не видим, как он разрешался в отношениях.

От неопределенности задачи существенно пострадал и план сочинения, порядок изложения материала. История вопроса излагается по царствованиям, а в обзоре каждого царствования данные расположены, насколько

это возможно, в хронологическом порядке их появления. Такой план в значительной степени затрудняет изучение сочинения. Автор не вполне сдержал свое обещание дать характеристику отношений законодательства, литературы, общества и народа к крепостному праву. Об отношениях общества узнаем, насколько они отразились в литературе по крестьянскому вопросу, печатной и рукописной, а отношения народа до царствования Николая оставлены автором в тени. Крепостной вопрос обсуждался в различных сферах: в правительственной среде, в дворянстве, в литературе. Каждая сфера решала его по-своему, смотрела на него со своей точки зрения: для правительства это был преимущественно вопрос финансовый и полицейский, для дворянства — вопрос юридический и хозяйственный, для литературы — предмет сентиментальных сетований и моралистических обличений. Держась своего плана, автор в обзоре известного царствования сначала излагает правительственные мнения и меры, потом проекты отдельных лиц из среды общества, преимущественно сельских хозяев-практиков из дворянства, далее — суждения, появлявшиеся в журналистике и отдельных печатных сочинениях, затем опять мнения и меры правительственной среды и так далее в прежнем порядке. Так как каждая сфера давала вопросу свою особую окраску, то такое чередование предметов производит впечатление калейдоскопического вращения, в котором трудно рассмотреть историческое движение крепостного вопроса. Вопрос этот был очень сложным узлом, сплетавшимся из многих частных вопросов, политических, юридических и экономических: об ответственности владельца перед государством за крепостные души, о границах его права на личность и труд крепостного, о поземельном обеспечении крепостных крестьян, о добровольном законодательном регулировании взаимных отношений обеих сторон и т. д. Каждый из этих вопросов вызывался соответствующими затруднениями в крепостном владении и каждый имел свою историю. Записки, мнения, проекты по крестьянскому вопросу большею частью касаются всех этих частных вопросов. Если бы автор точно обозначил границы задачи, он мог бы раздельно изложить в избранных рамках вопроса ход разработки его составных элементов и дать

читателю отчетливое представление о движении вопроса, об относительной важности различных затруднений, входивших в его состав, и о сравнительной успешности разрешения его составных частей. Не сделав такого определения задачи, автор принужден был излагать мнения и проекты целиком в их концепции. Благодаря тому его книга вышла не столько историей крестьянского вопроса, сколько хронологическим перечнем мнений и проектов по крестьянскому вопросу. Так, в помещичьей среде рано возникает и не раз всплывает в потоке мнений идея добровольного соглашения помещиков с крестьянами как удобнейшего средства для безобидного определения отношений обеих сторон. Эта идея, как известно, оказала сильное действие и на законодательство по крестьянскому делу. Из разных мест книги г-на Семевского читатель узнает, когда, где и в каком виде появилась эта идея, но как она возникла, какими соображениями и интересами была внушена. об этом трудно составить себе ясное представление по рассеянным в двух томах заметкам автора.

Рядом с недостатком группировки материала из того же источника идет и другой недостаток исследования — отсутствие исторической перспективы. Мнения, проекты, планы различного происхождения и разных эпох рассматриваются автором под одинаковым углом и получают довольно однообразное освещение. Этот угол зрения выражается в способе оценки мнений: разбирая мнения, автор произносит о нем приговор, сочувственный или несочувственный, смотря по<sup>3</sup> тому, насколько оно либерально или консервативно. Это, очевидно, политическая оценка. Но по свойству задачи следовало бы ожидать преимущественно исторической оценки, которая должна состоять в определении того, насколько то или другое мнение действовало на законодательство, уясняя вопрос и, таким образом, приближало его к решению. Иной проект, превосходный сам по себе, мог не иметь никакого влияния ни на законодательство, ни на общественное мнение по крестьянскому вопросу; автор сам признается, что мнение некоторых приверженцев крепостного права<sup>4</sup>. . . В обоих томах отведено очень много места изложению журнальных статей, отдельных сочинений, даже мест из сочинений, где речь касалась положения крепостных, но, какое влияние имели эти

статьи и сочинения на разрешение крепостного вопроса, не видно.

Из другого источника вышел недостаток исторической критики в книге. Во множестве разнообразных мнений и проектов по крестьянскому вопросу часто повторяются одинаковые взгляды и мысли, касавшиеся как происхождения крепостного права, так и свойства юридических отношений, входивших в его состав. Это было, очевидно, наиболее распространенные в обществе, ходячие идеи, установившиеся взгляды, которые не могли не оказать могущественного действия на движение крестьянского вопроса. Существенной задачей сочинения по истории этого вопроса было показать происхождение и распространение таких идей и взглядов и их значение в законодательной и литературной разработке вопроса. К числу таких взглядов принадлежит мысль, высказанная Карамзиным в записке «О древней и новой России», что крестьяне крепостные, потомки холопов, составляют наравне с обрабатываемой ими землей законную собственность дворян и потому не могут получить даже и личной свободы без вознаграждения помещиков<sup>5</sup>. Автор не подвергает таких взглядов историческому разбору. Он вообще не касается вопроса о том, изменялось ли крепостное право в разные моменты исследуемого им времени или оставалось неподвижным в раз установившемся юридическом составе, так что в его истории вопроса о крепостном праве в наиболее густой тени остается самое это право. Слабость исторической критики в исследовании происходит от недостатка исторического взгляда на исследуемый предмет.

Несмотря на эти недостатки, я<sup>6</sup> считаю труд г-на Семевского очень ценным вкладом в нашу историческую литературу. Прежде всего это первая и довольно смелая попытка составить полный и цельный обзор истории вопроса о крепостном праве в России за 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> века до его отмены. Если в книге неточно разграничены главные моменты в движении вопроса, то собран обильный запас данных для дальнейшей обработки его истории.

Автор с редким трудолюбием собрал материал по своему предмету, и с этой стороны его скорее можно упрекнуть в излишестве собранного, чем в пропусках.

В собранном запасе особенно ценны многочисленные неизданные записки и проекты по крестьянскому вопросу, извлеченные автором из архивов Вольного экономического общества, министерства [гос. имуществ], Гос. совета и других учреждений. Эти документы проливают новый свет на ход законодательной разработки вопроса, особенно в два последние царствования, предшествовавшие отмене крепостного права. По изучению законодательства о крепостном праве в XVIII и первой половине XIX в. и после издания книги г-на Семевского остается еще много дела, но дальнейшему исследованию едва ли будет нужна пополнять подбор литературного материала, сделанный автором рассматриваемого сочинения. Собирая этот материал, автор руководился задачей изучить по возможности все условия, подготовлявшие законодательную отмену крепостного права. Хоть ему не удалось разрешить окончательно эту задачу, но движение общественного мнения, подготовлявшее этот акт, насколько оно выражалось в литературе, изображено в его труде с полнотой, выпукло, последовательно, как доселе никогда не изображалось. Некоторые<sup>7</sup> эпизоды из истории вопроса, не лишённые значения в его ходе, но доселе остававшиеся малоизученными, например деятельность Вольного экономического общества в первое время его существования по крестьянскому вопросу, впервые изложены в рассматриваемой книге обстоятельно и по источникам, большей частью неизданным.

Руководствуясь этим суждением, факультет допустил магистра Семевского до публичной защиты его диссертации. В настоящее время, выслушав эту защиту и признав ее удовлетворительной, факультет постановил удостоить магистра Семевского степени доктора русской истории<sup>7</sup>.

---

---

**ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Д. ГОЛОХВАСТОВА  
«ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА  
«КОРМЛЕНИЕ»»**

(Письмо к издателю)

Я очень жалею, что не могу согласиться с мнением г-на Голохвастова. Он решительно утверждает, что г-н Иловайский впал в ошибку, точнее, повторил ошибку других историков, например покойного Соловьева, понимая древнерусский административный термин *кормление* в современном смысле *питания*, эксплуатации в свою личную пользу как награду служилым людям за службу. Я, впрочем, не припомню, кто из русских историков до г-на Голохвастова не впадал в эту ошибку. *Кормлениями*, как вам очень хорошо известно, назывались в древней Руси судебно-административные должности, соединенные с доходом в пользу должностных лиц, который получался ими прямо с управляемых, подобно тому как теперь профессора в университетах получают гонорар со студентов, а не из государственного казначейства, из которого те же профессора вместе с другими чиновниками получают свое окладное жалованье. Этот доход носил общее название *корма*, соответствующее нынешнему канцелярскому термину *содержание*; отсюда и доходная должность получила название *кормления*. Так понимали это слово, если я не ошибаюсь, все ученые исследователи русской истории, так доселе считал себя обязанным понимать это слово и их скромный ученик — ваш корреспондент. Теперь г-н Голохвастов пишет, что «это неверно».

Почему же неверно? Потому, пишет автор заметки, что *кормление* на старинном языке значит *правление*, а не *питание*. Это слово, по мнению г-на Голохвастова,

«несомненно, одного корня» с словами *кормá*, *кормíло*, *кормчий*, *Кормчая книга*. Поясняя и доказывая эту мысль, автор, между прочим, уверяет, что «передняя часть корабля, которая дает *направление* всему судну, называется *кормá* или *кормíло*». Боюсь, нет ли в этих словах обмолвки: хотя я очень плохо знаю дело мореплавания, но мне помнится, как будто *кормою* чаще называется задняя часть корабля, что́, впрочем, не мешает ей давать направление всему судну; передней же части, т. е. той, которою корабль идет вперед, рассекая встречные волны, усвоается обыкновенно название *носа*. Сомневаюсь также, чтобы один и тот же предмет назывался *кормою* и *кормилом*: эти слова не синонимы, ибо *кормило* значит руль и едва ли когда-нибудь означало переднюю или заднюю часть корабля; в противном случае трудно будет понять часто повторяемое выражение *кормило правления*. Впрочем, эти замечания не относятся к предмету настоящего письма, и я жалею, что мне пришлось сделать их даже мимоходом.

Положим, что *кормление*, несомненно, одного корня с *кормой*, *кормилом* и другими словами, приводимыми автором, в которых, «очевидно, нет ничего общего с понятием о *питании*» и которые «все прямо указывают на понятие об *управлении*». Что же из этого? Ведь еще несомненнее, что одного корня с тем же *кормлением* и такие слова, как *корм*, *кормить*, *кормилица*, которые также не со вчерашнего дня вошли в наш лексикон и в которых, очевидно, нет ничего общего с понятием об *управлении*, ибо они все прямо указывают только на понятие о *питании*. Как же быть с этим? Придется признать, что в том «одном» корне, от которого автор производит все означенные слова, совмещались два различных значения, два представления — одно об *управлении*, другое о *питании*. В таком случае *кормление*, оставаясь производением одного корня с *кормилом*, не потеряет возможности и на старинном языке сохранить современный нам смысл *питания*. Но знатоки могут найти и более простое решение этой этимологической загадки. Я не лингвист и не отваживаюсь углубляться в неведомые мне тайны языковедения. Но что́ мудреного, если окажется, что здесь мы имеем дело с *двумя* различными по значению, но созвучными кор-

ниями, которые дали от себя два ряда производных форм, также сходных в звуковом отношении, но различных по значению, из коих одни выражают понятие о питании, а другие — понятие об управлении. В церковнославянском языке некоторые из этих производных словообразований того и другого корня даже совершенно сходны в звуковом отношении: *крьма* — корма и *кръма* — пища, *кръмити* — править и *кръмити* — кормить<sup>1</sup>. Такие разнозначные, но созвучные словообразования разных корней вовсе не редкость в любом языке: *мýка* и *мукá*, лат. *fides* — верность и *fides* — струна, франц. *pécher* — грешить и *pécher* — рыбу ловить. Знатоки, конечно, сумеют указать тонкие, незаметные для профанов особенности корней, производящих такие созвучные словообразования; впрочем, и простой, не вооруженный лингвистическим микроскопом глаз легко заметит, что сейчас приведенные французские слова произошли от двух различных латинских глаголов *peccare* и *piscari*.

Боюсь, лингвисты сострадательно улыбнутся, видя, как мы с автором трудимся над корнесловием. Но нельзя ли решить вопрос более простым способом, без этих непривычных для нас обоих лингвистических хлопот? Ведь мы трактуем не об *этимологическом* происхождении, а об *историческом* значении слова *кормление*. Лингвисты вольны производить это слово от каких им угодно корней, во всяком случае они сделают это несравненно искуснее, чем такие внезапные экстемпоральные языковеды, как мы с автором. Для объяснения исторического значения слова у нас есть под руками более надежное и привычное для нас орудие, чем мудреный корнесловный словарь, это орудие — исторический документ. Сам автор указывает, как следует пользоваться этим орудием в данном случае; он совершенно справедливо замечает, что в нашем современном языке есть много слов, которые существовали и пять-шесть веков назад, они имели тогда совершенно другой смысл, и для примера приводит несколько таких слов. Так, *вор* теперь значит виновный в краже, а в старину, говорит г-н Голохвастов, «*вор* значило преступник», т. е. преступник вообще. Теперь вопрос ставится совершенно просто и ясно. *Кормление* — довольно старое слово и нередко встречается в старинных актах с значением



административного термина. В современном языке оно значит питание; на языке старинном, по мнению г-на Голохвастова, оно значило управление. Поэтому надобно присмотреться по старинным актам, в каких сочетаниях понятий является там это слово, и отыскать места, контекст которых явственно указывал бы, что оно значило на старинном языке именно *правление*, а не *питание*, *содержание*, *жалованье* за службу или что-нибудь подобное, так чтобы видно было, что это слово по значению стояло тогда в близком родстве с *кормилом*, а не с *кормом*.

С этой целью автор печатает четыре акта из своего фамильного архива. Это грамоты из разряда так называемых *ввозных*, или *послушных*, которыми предкам автора жаловались «в кормление» разные административные округа. Первая из них дана великим князем Василием (1505—1533), отцом Грозного, а вторая — самим Грозным до принятия им царского титула, т. е. до 1547 г. Автор замечает, что эти две грамоты — «чуть ли не самые древние из известных до сих пор, в которых встречается слово *кормление*». Нет, известны подобные же ввозные грамоты и подревнее, данные прадедом Грозного с лишком за сто лет до смерти отца последнего и напечатанные лет 50 тому назад<sup>2</sup>. В них встречается то же слово *кормление*. Г-н Голохвастов приводит свои фамильные акты, в которых специалисты отметят несколько не лишенных интереса черт московского управления в XVI в., но, собственно, для объяснения слова *кормление* эти акты, как и более ранние ввозные грамоты, дают очень мало, они говорят только, что такой-то округ или такие-то люди (*числяки да ордынцы*) жалуются такому-то «в кормление», не поясняя значения этого термина.

Правда, автор старается извлечь косвенное подтверждение своей мысли из толкования первой грамоты, которою великий князь Василий пожаловал Б. Голохвастову в кормление целый разряд тяглых людей — *числяков* и *ордынцев* со всеми пошлинами. Но, сколько можно судить по этому толкованию, исторические представления автора так далеко ушли от моих (вперед или назад, право, не знаю), вообще настолько разошлись с моими, что мы даже едва ли пойдем друг друга. Попытаюсь изложить это толкование, как я его понял.

Так как в грамоте не говорится ни о какой отдельной местности, то она имела силу на пространстве всей тогдашней России, где только находились пожалованные ею числяки и ордынцы. Автор считает известными, что ордынцами назывались люди, платившие особый *прямой* налог, из совокупности которого составлялась дань Золотой орде. Понимая *кормление* в значении управления, автор легко открывает смысл разбираемой грамоты: ею великий князь «поручил Борису Голохвастову управление *прямыми налогами*». Если же понимать кормление, как понимает его г-н Иловайский, то значило бы, что в пользование Б. Голохвастова отдан был весь доход, шедший прежде, во времена татарского ига, в ордынскую дань, а так как Б. Голохвастову пожалованы были сверх ордынцев, прежде плативших эту дань, еще числяки, то пришлось бы допустить «чудовищную мысль», что *кормление* одного Б. Голохвастова обходилось России дороже, чем татарская дань.

Мысль, действительно, если и не чудовищна, то все же маловероятна, однако вероятна не меньше другой, будто разбираемую грамотой Б. Голохвастову поручено было управление прямыми налогами. Начать с того, что эта мысль противоречит тексту грамоты: Б. Голохвастову были пожалованы числяки и ордынцы «со всеми пошлинами», а *пошлинами* на финансовом языке древней Руси назывались косвенные налоги. Далее, почему известно, что ордынцами назывались люди, податными платежами которых покрывалась ордынская дань? По крайней мере это не всеми признавалось: например, по мнению Соловьева, так назывались «пленники, выкупленные князьями в Орде и поселенные на княжих землях». Значения числяков автор не поясняет, но Беляев и их считал тяглыми людьми, платившими дань татарам. Значит, не одни ордынцы платили эту дань; да если бы ордынцами назывались платившие ордынскую дань, то все тяглые люди носили бы это название, потому что ордынская дань разверстывалась между всеми тяглыми людьми, и числяки с ордынцами платили ее наряду, хотя, может быть, и не вровень, с другими тяглыми людьми. Такое общее участие тяглого населения в платеже ордынской дани доподлинно известно из летописей и грамот москов-

ских князей XIV и XV вв. Наконец, я никак не могу уяснить себе, как это вышло у автора заключение, будто разбираемую грамотой Б. Голохвастову было поручено управление прямыми налогами, чем-то вроде целого департамента министерства финансов. Пусть даже автор держится не поддерживаемого документами мнения, что ордынская дань полностью уплачивалась прямым налогом, падавшим на одних ордынцев, отданных в управление Б. Голохвастову, но ведь было много других тяглых людей, также плативших прямые налоги и не состоявших в ведомстве этого Голохвастова, который мог управлять только одним специальным налогом — ордынским.

Думаю, что автор напрасно пугается чудовищных размеров, какие пришлось бы придать пожалованному его предку *кормлению*, понимая это слово в смысле корма. Во-первых, автор сам уверяет, что прямой налог, какой платили ордынцы, шел на орду, а ордынские издержки не прекращались и в княжение Василия, когда дана была грамота Б. Голохвастову: отец Василия в своей духовной, писанной слишком 20 лет спустя после свержения татарского ига, точно обозначает, сколько каждый из его сыновей должен платить с своего удела «в выходы Ордынские и во все Татарские проторы». Значит, не весь прямой налог числяков и ордынцев шел в пользу Б. Голохвастова. Независимо от того кормленщики в древней Руси до и после Б. Голохвастова пользовались только известной, точно обозначавшейся в «наказных списках» или «уставных грамотах» частью доходов, какие получались с отданных в кормление округов или ведомств; остальное поступало в казну. Наконец, автор, кажется, немного преувеличивает численность числяков и ордынцев. Правда, они не составляли одного скученного округа, но и не были рассеяны по всему пространству тогдашней России. Они образовали несколько тяглых обществ, большая часть которых сосредоточена была в Московском уезде; немногие поселения, находившиеся в других уездах, почти все известны наперечет по документам. Они принадлежали к многочисленным мелким разрядам, на которые делилось в хозяйственно-административном отношении тяглое население Московского княжества, несли свою особую «службу» (хотя в точ-

ности неизвестно по документам, какую именно), составляли особое ведомство с своими сотскими и десятскими, подобное ведомствам бобровников, бортников, дворцовых рыболовов и другим, и отдавались в кормление либо особому управителю, либо начальнику более крупного ведомства, как было до пожалования их Б. Голохвастову, когда числяки с ордынцами, как видно из разбираемой грамоты, были в кормлении за *московским наместником* князем Данилом Васильевичем. Это, заметим мимоходом, знаменитый победитель на реке Бедроше князь Щеня-Патрикеев, двоюродный брат не менее знаменитого князя инока Вассиана Косого. Звание и год смерти этого московского наместника наводят на предположение, что разбираемая грамота дана после 1515 г. и что ею были пожалованы Б. Голохвастову числяки и ордынцы только в Московском уезде, а не «на пространстве всей тогдашней России».

Как ни остроумны и ни вероятны соображения автора, они не дают того, что нужно, а нужны древние документальные тексты, которые достаточно явственно вскрывали бы древний смысл слова *кормление*. Между тем автор, кроме рассмотренного толкования одной из напечатанных им грамот, не дает в подтверждение своей мысли ничего, решительно ничего документального. Неужели наши древние акты так безмолвны насчет значения, какое они придавали этому слову? Нет, они кое-что говорят об этом, да г-н Голохвастов почему-то не желает их слушать. Этот административный термин встречается в актах довольно рано; г-н Голохвастов не знает его раньше XVI в., а оно является уже в памятниках XIV в., притом в таких контекстах, которые явственно изобличают значение, тогда ему принадлежавшее. Так в договорной грамоте 1362 г. великий князь Димитрий Иванович говорит своему двоюродному брату, удельному князю Владимиру Андреевичу: «Который боярин поедет из кормленья от тебе ли ко мне, от мене ли к тебе, а службы не отслужив, тому дати кормление по исправе»<sup>3</sup>. Попробуйте истолковать этот текст, принимая *кормление* в смысле *управления*. Как мог князь давать управление боярину, который перестал служить ему и перешел на службу к другому князю? Потом, что значит дать не отслужившему службы боярину *кормление по исправе*? Очевидно, это значит дать не все корм-

ление, а только часть его, соответствующую мере *исправления* службы, пропорциональную отслуженной доле службы. Попробуйте подставить под термин *кормление* значение управления, и слова великого князя утратят всякий смысл; ибо что значит покинувшему *управление* боярину дать за недослуженную службу *управление по исправе*, т. е. в меру исправления службы? По уставным грамотам XV и XVI вв., определявшим права и границы власти кормленщиков, наместники и их тиуны, приказчики, получали *кормы*, известные поборы с управляемых округов обыкновенно два раза в год — на рождество Христово и на Петров день. Кормления обыкновенно давались на год, по крайней мере в XVI в.; нужен был особый акт, чтобы продолжить кормление еще на год или меньше. Если годовой кормленщик покидал кормление через полгода, он имел право только на один из двух полугодовых кормов; если кормленщику продолжалось кормление на часть другого года, на грамоте иногда прописывалось, какую часть того или другого семестрального корма мог он получить за продолжение службы; это и значило: *дати кормление по исправе*. Вообще *кормление* в актах древнерусского управления идет обыкновенно об руку с кормом; когда нужно было выразить понятие об управлении, в XIV и XV вв. употребляли слова *ведать*, *веданье*. В конце XV в. боярам Судимонту и Якову Захарьину дана была в кормление Кострома с разделением города пополам между обоими: один из кормленщиков жаловался в Москве, что им обоим «на Костроме *сытым* быть не с чего». На языке XIV в. сидеть на кормлении значило *есть хлеб*; позднее служилые люди, просившие кормлений, писали в челобитных: «Прошу отпустить покормиться».

Так гласят старые тексты. Вы видите, они не вторят корнесловью г-на Голохвастова, роднят *кормление* с *кормом*, а не с *кормой*. Эти тексты давно всем известны, как давно принято толковать согласно с ними слово *кормление*. Автор заметки об них не упоминает, а о толковании просто и кратко замечает: «Это неверно». Не знаю передумает ли автор, если вы сообщите ему мое письмо, но, что вы подарите своих читателей утомительным чтением, если его напечатаете, это не может подлежать никакому сомнению. Впрочем, я не ставлю себе ни той, ни другой цели, ни убедить г-на Голохва-

стова, ни убить скукою вашего читателя — первое безнадежно, второе безбожно как намерение и неизбежно как результат. Если вы хотите знать, кто виноват в настоящем письме, то это не я, не вы и даже не г-н Голохвастов: истинный его виновник г-н Иловайский; он «всёй крови заводчик». В своей статье, вами напечатанной, он передал известие одной летописи о том, что царь Иван после взятия Казани, оправившись от опасной болезни и отправляясь на богомолье, поручил боярам обсудить в думе два вопроса: об устройстве новозовоеванного царства и о *кормлениях*, а бояре начали «о кормлениях сидети, а Казанское строение поотложиша»<sup>4</sup>. Все это еще ничего. Но в пояснение к вопросу о кормлениях г-н Иловайский прибавил, что дело шло о разделе кормлений в награду служилым людям за покорение Казани. Выходит, что бояре поспешили заняться вопросом о наградах победителям Казани и в том числе самим себе, а дело об устройстве Казанского царства положили под сукно. Эта неосторожная прибавка, во-первых, смутила г-на Голохвастова; неужели наши московские великие князья и цари не умели сделать ничего лучшего из новозавоеванного царства, как отдать его на растерзание этим алчным боярам? Потом г-н Иловайский ввел г-на Голохвастова в безвыходное недоразумение. Ища отрицательного ответа на тревожный вопрос, г-н Голохвастов решил: нет, *кормление* на старинном языке значит не награда за службу, не *питание*, а *правление*; «бояре *начаша о кормлениях сидети* — значит: бояре начали совещаться об устройстве управления вновь завоеванным царством». Теперь смотрите, что вышло у автора: вопреки воле царя бояре стали совещаться об устройстве управления Казанским царством, а «Казанское строение», т. е. дело об устройстве того же Казанского царства, отсрочили. Вот что наделал г-н Иловайский. Теперь придется доказывать, что *Казанское строение* на старинном языке не значило устройство Казанского царства, как *кормление* не значило служебное содержание<sup>5</sup>. Зато г-н Иловайский и получил должное возмездие в торжественном уроке, заканчивающем заметку г-на Голохвастова: «Ошибка всегда и везде возможна, даже для самых ученых людей, и, если бы неверно истолковалось другое слово, это могло бы не иметь значения, но тут искажается *весь* смысл нашей

истории». Как! Толкованием одного слова можно исказить весь смысл нашей истории? Впрочем, от чего беда не бывает; рассказывают, что когда-то от копеечной свечки Москва сгорела. Во всяком случае замечательно лаконичен смысл нашей истории: он весь в одном слове — *кормление*. Хотя мне все-таки непонятно, чем слово «кормление» значительнее или страшнее всякого другого слова и как толкование его в смысле вознаграждения за государственную службу может исказить весь смысл нашей истории, когда такое вознаграждение допускается законом у нас и везде, где служат государству, но думаю, что следует основательно доказать ошибочность такого толкования, прежде чем взваливать на ученого столь тяжеловесное обвинение. Не подумайте, что я вызываюсь защищать г-на Иловайского. Я не берусь за это по многим причинам: во-первых, он не нуждается в защите; во-вторых, я не имею на то надлежащих полномочий; в-третьих, я сам не согласен с ним в толковании приведенного известия летописи о кормлениях. Я думаю, что дело шло не о раздаче кормлений за покорение Казани, а об отмене кормлений и замене их земскими учреждениями, общий закон о которых выработан был несколько позднее. Я имею несколько маленьких соображений в оправдание этого несогласия, но для изложения их потребовалось бы другое письмо, скучнее и пространнее настоящего. А настоящее писано с единственной целью закончить его следующим печальным размышлением: жутко работать русскому ученому, когда всякий почтенный согражданин может печатно обвинить его за всякое слово во всем, что ему вздумается, и только обвинить, а не опровергнуть.

---

---

**ОТЗЫВ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ С. Ф. ПЛАТОНОВА  
«ДРЕВНЕРУССКИЕ СКАЗАНИЯ И ПОВЕСТИ  
О СМУТНОМ ВРЕМЕНИ XVII в.  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК»**

Тему, избранную г-ном *Платоновым*, можно признать рискованною в некоторых отношениях. Литературные произведения, которые могли служить источниками для истории Смутного времени, не только многочисленны, но и очень разнообразны по своим литературным формам, по месту и времени происхождения, по взглядам их составителей на описываемые события, наконец, по целям и побуждениям, которыми вызывалось их составление. Это разнообразие и обилие материала подвергали исследователя опасности лишиться свое исследование надлежащей ценности и полноты, затрудняли подбор и группировку данных, порядок изложения и выбор самых приемов изучения. Автор не скрывал от себя этих затруднений, и они заметно отразились на его труде. Поставив себе задачей «систематический обзор» литературных произведений великорусской письменности XVII в., посвященных изображению и обсуждению событий Смутного времени, автор, однако, сам сознается в предисловии, что ему не удалось выдержать «единообразного приема» ни в общем порядке изложения, ни в исследовании отдельных произведений. Лучшей системой обзора своего материала он считал «систему хронологическую», но отсутствие точных сведений о времени составления многих сказаний о Смуте заставило его отказаться от такого порядка изложения. Он принял более сложное деление своего материала, разбив разбираемые им памятники на три отдела, из коих один образовал произведения, составленные до окончания Смуты, другой —



важнейшие произведения времени царя Михаила, третий — произведения второстепенные и позднейшие, причем в числе второстепенных разобрана автором одна повесть о убиении царевича Димитрия, составленная, по-видимому, также до окончания Смуты. Притом «автор иногда находил более удобным давать отчет в одном месте о разновременных произведениях в силу их внутренней близости и зависимости одного от другого»<sup>1</sup>. Поэтому обзор произведений, составленных до окончания Смуты, он начал подробным разбором так называемого *Иного сказания*, состоящего из разновременных частей, и в связи с пятой его частью разобрал служившее ей источником повествование о Смуте хронографа второй редакции, составленного после Смуты.

В таком распорядке материала есть одно неудобство: он помешал автору воспользоваться в надлежащей мере именно той особенностью разбираемых им памятников, которая всего более могла придать единство и цельность его труду. Он замечает в предисловии, что среди разбираемых им памятников часто встречаются произведения публицистические и морально-дидактические. Я думаю, что можно сказать даже больше: на всех этих памятниках заметны более или менее явственные следы политической окраски, все они в известной степени тенденциозны. В этом отношении Смута произвела заметный перелом в древнерусской историографии: она вывела древнерусского повествователя о событиях в родной земле из того эпического бесстрастия, в какое старался, хотя и не всегда удачно, замкнуться древнерусский летописец. Это понятно: Смута поставила русских людей в такое непривычное для них состояние, которое против их воли тревожило их чувства и нервы и через них будило мысль. В этом возбуждении можно даже заметить некоторое движение: чувства удивления и тревоги, вызванные первыми симптомами Смуты, потом переходят в политические страсти и, наконец, когда миновала Смута, превращаются в спокойные политические мнения. Итак, пробуждение и развитие политической мысли под влиянием Смуты — вот вопрос, который составляет центр тяжести избранной автором задачи и разрешение которого могло бы сообщить цельность его исследованию. В разборе некоторых произведений он отмечает, к каким партиям принадлежали, каких полити-

ческих мнений держались их составители, но благодаря принятому автором распорядку материала эти отметки не складываются в цельную картину. Можно даже заметить у автора склонность убавлять цену, какую имеет для историка эта публицистическая тенденциозность литературных памятников Смутного времени. Обличительная повесть протопопа Терентия о видении 1606 г. очень любопытна как энергичский протест против пороков современного ей русского общества и особенно обнаружившейся в нем падкости к «мерзким обычаям и правам скверных язык», тем не менее автор отказывает ей в значении исторического источника<sup>2</sup>. Обо всех сказаниях, составленных до окончания Смуты, исследователь замечает, что они «или вовсе не дают фактического материала для историка», или дают сведения, нуждающиеся в строгой критической проверке<sup>3</sup>. Нет исторического источника, который бы не нуждался в критической проверке. Притом, что называть *фактическим материалом для историка*? Исторические факты не одни происшествия; идеи, взгляды, чувства, впечатления людей известного времени — те же факты и очень важные, точно так же требующие критического изучения. Значение, какое приобретало в обществе Смутного времени Иное сказание, политическая роль, едва ли не впервые доставшаяся тогда русскому перу, — это само по себе такой важный факт, который стоило бы усиленно подчеркнуть в исследовании об источниках истории Смутного времени. Повесть Терентия была представлена патриарху, по царскому приказу всенародно читана в московском Успенском соборе и повела к установлению шестидневного поста во всем царстве. Повесть о нижегородском видении 1611 г. ходила по рукам в первом подмосковном ополчении. Сам король Сигизмунд признавал досадную для него силу направленной против него русской патриотической письменности и в 1611 г. и жаловался московским боярам на то, что об нем тогда *писали* на Руси<sup>4</sup>.

Можно заметить и другие пробелы в исследовании г-на *Платонова*, имеющие некоторую связь с указанным. Если в повествовательной письменности о Смутном времени отразились политические партии и мнения, тогда борющиеся, методологическое удобство требовало бы, чтобы в критическом обзоре этой письменности было

объяснено происхождение этих партий и мнений, равно как и значение их в ходе Смуты. Благодаря тому что это требование оставлено без ответа, исследуемые автором исторические источники являются оторванными от исторической почвы, из которой они вытекли, и его критика не исчерпывает всего материала, какой они ей дают. Приведем один пример. Пресечение московской династии сопровождалось важной переменой в московском государственном строе: наследственная отчина Даниловичей стала превращаться в избирательную монархию. Как относилось русское общество первой половины XVII в. к этой смене государей *по божьему изволению* государями *по многомятежному человеческому хотению*, как выразился державный московский публицист XVI в. царь Иван в грамоте, посланной им к королю Стефану Баторию, и тот или другой взгляд на различие и значение обоих этих источников власти входил ли в программы политических партий того времени? Автор не возбуждает вопроса об этом, хотя и из его изложения видно, что в разбираемой им письменности можно кое-что найти для ответа на этот вопрос. Так встречаем в ней следы несочувствия к избирательной власти. Нижегородское видение 1611 г. не желает царя, поставленного народом «по своей воле»; *рукопись Филарета* считает совершенно правильным воцарение князя Василия Шуйского, возведенного на престол московскими приверженцами без совета всей земли, без участия Земского собора<sup>5</sup>.

Далее автор замечает в предисловии, что литературный характер произведений о Смуте очень разнообразен. Среди них встречаются *повести*, или *сказания*, *жития*, *летописцы*, *хронографы*, *видения* и один *плач*. Все это довольно выработанные в древнерусской письменности литературные формы, различавшиеся выбором предметов, приемными изложения и даже способом понимания изображаемых явлений. Эти особенности необходимо принимать в соображение при критической оценке произведений, облеченных в ту или другую из этих литературных форм, особенно в такую, в которой явления отражались под наибольшим углом преломления. Таковы, например, *видения*, которых довольно много сохранилось в древнерусской письменности и которые производили особенно сильное впечатление на древнерусского чело-

века. *Видение* — обыкновенно резкая обличительная проповедь с таинственной обстановкой, вызванная ожиданием или наступлением общественной беды, призывающая общество к покаянию и очищению, плод встревоженного чувства и набожно возбужденного воображения. Можно было бы ожидать, что автор выскажет свое суждение об этих формах, о том, как надобно критику обращаться с ними, и даже укажет, насколько изменился их стереотипный склад под влиянием новых политических понятий и тенденций, которые проводили в этих формах публицисты XVII в. К сожалению, в книге г-на *Платонова* не находим ни такого суждения, ни таких указаний, которые были тем нужнее, что в Смутное время и частью под его влиянием произошел глубокий перелом в древнерусской историографии. Известны приемы изложения и мирозерцание древнерусских летописцев и составителей «сказаний». Это мирозерцание и эти приемы и стали заметно изменяться с начала XVII в. Автор отмечает в разбираемых им памятниках любопытные новости. Повествование хронографа второй редакции о Смутном времени — уже не тот простой погодный перечень отдельных событий, механически сцепленный моралистическими размышлениями, какой обыкновенно встречаем в древнерусских летописных сводах; это ряд очерков и характеристик, в которых повествователь пытается уловить связь и смысл событий, выдающиеся черты и даже скрытые побуждения деятелей. Повествователь вдумывается в естественные причины явлений, не вовлекая в людскую сумятицу таинственных сил, которыми у летописца направляется жизнь людей и народов. Исторический взгляд секуляризуется. Новые приемы и задачи повествования побуждают искать новых литературных форм, изысканных заглавий. Князь Хворостинин пишет повествование о Смуте под заглавием: «Словеса дней и царей», но это повествование — такой же ряд общих очерков и характеристик, как и повесть хронографа; из него узнаем не столько о лицах и событиях, сколько о том, как повествователь смотрел на лица и события. По мысли новгородского митрополита Исидора, дьяк Тимофеев в начале царствования Михаила составляет *Временник*; но это далеко не временник старого летописного склада, а скорее историко-политический трактат; составитель его больше размыш-

ляет, чем рассказывает о случившемся. Он знает приемы научного изложения и требования исторической объективности и умеет их формулировать; под неуклюжей вычурностью его изложения просвечивают исторические идеи и политические принципы. Все такие проблиски политического размышления и исторического прагматизма, рассеянные в сказаниях о Смутном времени, можно было бы соединить в особый цельный очерк, который составил бы главу из истории русской историографии, изображающую один из переломов в ее развитии. Такого очерка, кажется, требовала бы самая задача исследования, посвященного критическому изучению источников нашей истории, и он мог бы повести к возбуждению вопросов, не лишенных научного значения. Укажем на возможность одного из них.

Раскрывая причины означенного перелома в развитии русской историографии, исследователь неизбежно остановит свое внимание на том интересе, с каким относились к Смутному времени русские хронографы XVII в. Статьи об этом времени, написанные самими составителями хронографов или другими писателями, занимают видное место в составе русско-исторического отдела этих хронографов. Замечательное исследование Андрея Попова о хронографах русской редакции дало возможность проследить, с какой последовательностью и настойчивостью рос этот отдел в их составе. Первоначально известия, заимствованные из русских источников, являются в этих хронографах робкими прибавками к византийской истории без органической связи с нею. Потом эти известия приводятся в более тесную связь с византийской историей, являются не механическими приставками к ней, а ее составными частями в синхронистическом изложении с византийскими событиями. В хронографах XVII в. русская история делает еще шаг вперед, выступает из установившихся рамок хронографа или, говоря точнее, расширяет их. Со времени падения Византии она разрывает свою связь с судьбами последней и продолжается в одиноком изложении до царствования Михаила Федоровича. Чем далее развивался, все усложняясь, состав русского хронографа, тем более расширялось и это русское продолжение византийской хроники, пока, наконец, в так называемых хронографах особого состава русская история не выделилась в самостоятель-

мый и притом господствующий отдел: в повествовании до падения Царьграда русские известия исчезают, вырываются из изложения византийской истории и переносятся в русское продолжение хронографа, образуя начало особого русско-исторического отдела, который, постепенно расширяясь, закрывает за собою отдел общеисторический. В этом росте русско-исторического отдела хронографов позволительно видеть отражение поворота, какой совершался в мирозерцании русских книжников, работавших над изложением всемирной истории, которую древнерусские люди изучали по хронографам. Что особенно любопытно, в одно время с этим обособлением русско-исторического отдела и в общеисторический отдел, питавшийся до тех пор почти исключительно библейскими и византийскими источниками, с возрастающим обилием вливаются струи из источников западноевропейских, латинских хроник и космографий. Так с двух сторон расширялся кругозор русской исторической мысли. Был ли связан с этим расширением указанный перелом в русской историографии? Мы видели, что статьи о Смутном времени в хронографе второй редакции, составленном вскоре после Смуты, были одним из первых памятников, если не первым из памятников, в которых заметны и новые приемы исторического изложения и новый взгляд на исторические явления. В какой мере были внушены эти приемы и этот взгляд знакомством с новыми историческими источниками и новыми историческими мерами, какие открывали русскому мыслителю XVII в. польская *Всемирная хроника* и латинская космография? Вот вопрос, изучение которого, кажется, не было бы лишним в исследовании об историографии Смутного времени.

Но если г-н *Платонов* допустил некоторые пробелы в изучении того, что разбираемые им памятники дают для истории русской политической мысли и историографии в XVII в., зато он старался извлечь из них все, что находил в них пригодным для «истории внешних фактов» Смутного времени. Эти памятники так разнообразны и так много их еще не издано, рассеяно по рукописям разных древлехранилищ, что едва ли кто решится упрекнуть автора за неполноту его критического обзора, в которой он сам сознается<sup>6</sup>. Впрочем, он очень заботливо отнесся к рукописному материалу: из приложен-

ного к исследованию перечня видно, что ему пришлось пересмотреть более ста рукописей разных библиотек. В предисловии он перечисляет вопросы, какие он ставил себе при изучении каждого памятника: он старался «определить время его составления и указать личность составителя; выяснить цели, какими руководился составитель, и обстоятельства, при которых он писал; найти источники его сведений и, наконец, характеризовать приблизительную степень общей достоверности или правдоподобности его рассказа»<sup>7</sup>. Такая критическая программа вполне соответствует основной задаче автора указать, что есть в памятнике пригодного для истории внешних фактов, и исследователи Смутного времени, несомненно, будут благодарны г-ну *Платонову* за его указания, которые помогут им выяснить происхождение и фактическое содержание многих сказаний о том времени, равно как и степень доверия, какого они заслуживают. В разборе большей части памятников, по крайней мере главных, автор обращал особенное внимание на состав их и источники и здесь благодаря критической чуткости и тщательному изучению и сличению текстов и редакций ему удалось добиться новых и надежных выводов. Многие памятники, как, например, *Иное сказание* и *Временник* дьяка Тимофеева, еще не были разобраны в нашей литературе с такою обстоятельностью, как это сделал г-н *Платонов*. Вообще тщательная разработка критико-библиографических и библиографических подробностей составляет, по нашему мнению, самую сильную сторону исследования г-на *Платонова*. При чтении в его книге страниц о жизни князей Хворостинина, Катырева-Ростовского и Шаховского внимание невольно останавливается на умении автора мозаически подбирать мелкие данные, рассеянные по разным источникам, и складывать их в цельный очерк, а его привычка точно обозначать источники, из которых он черпает свои сведения, облегчая проверку его выводов, вместе с тем дает возможность видеть, чего стоила ему каждая такая страница: он подобрал в приказных книгах и обозначил в примечании до 60 мест, где упоминается имя князя И. М. Катырева-Ростовского, чтобы на основании этих упоминаний написать в тексте исследования 5 строк о жизни князя Катырева в 1626—1629 гг.<sup>8</sup> Биографии трех названных писателей XVII в. можно считать ценными

вкладами г-на *Платонова* в биографический словарь русской историографии. Все это при основательном знакомстве автора с чужими трудами по избранному им предмету заставляет признать его исследования плодом неторопливой, обдуманно и отчетливо проведенной работы.

Но, внушая доверие к выводам о происхождении, об источниках и составе памятников, исследование г-на *Платонова* не всегда достаточно убедительно в оценке и характеристике этих памятников как исторических источников. Причина этого в некоторой неопределенности критической мерки, прилагаемой к ним исследователем. Мы уже имели случай заметить, что критика автора недостаточно полно захватывает содержание разбираемых им произведений как источников для истории Смуты. Основывая свою оценку на качестве и количестве «фактического материала», какой дает памятник историку, автор не вводит в состав этого материала политических мнений и тенденций, проводимых в памятнике, считая их только «литературными», а не историческими фактами и, таким образом, смешивая или отождествляя не вполне совпадающие понятия исторического факта и исторического события или происшествия. Трудно согласиться с автором, когда он говорит о келаре Авр. Палицыне и дьяке И. Тимофееве, что оба эти писателя, «не только описывая, но и обсуждая пережитую эпоху, нередко выходили из роли историков и вступали на почву публицистических рассуждений», как будто вдумываться в исторические явления, описывая их, — значит выходить из роли историка: суждение не тенденция, и попытка уяснить смысл явления себе и другим не пропаганда<sup>9</sup>. Некоторая шаткость точки зрения чувствуется и в других суждениях автора. В связи с пятой частью *Иного сказания* он подробно разбирает тожественные с нею статьи хронографа второй редакции о событиях 1607—1613 гг.<sup>10</sup> Он очень основательно доказывает мысль, высказанную еще А. Поповым, что эти статьи принадлежат составителю хронографа, следовательно, отсюда перенесены в *Иное сказание*, а не наоборот. Но он не соглашается с отзывом А. Попова, который признал эти статьи «оригинальным цельным сочинением неизвестного русского автора», т. е. составителя хронографа 1617 г. Он не признает цельности этого сочинения,



потому что в нем связные очерки лиц и событий разрываются бессвязными и краткими летописными известиями. Но если даже признать, что эти летописные заметки вставлены в повествование самим составителем его, а не стороннею рукой, то ведь сам г-н *Платонов* заметил, что эти вставки часты только в начале повествования, идущего с 1534 г., и что, чем более повествователь приближается к своему времени, к началу XVII в., тем менее у него кратких заметок и тем более связан его рассказ. Значит, повествователь, меньше зная о времени, которого не помнил, не умел связно изложить заимствованных сведений. Автор, кажется, смешивает цельность состава, принадлежность сочинения одному перу с литературной стройностью изложения. Он не признает и оригинальности произведения, потому что составитель его «не просто сочинял свои показания, а руководился литературными источниками». Едва ли автор написал здесь то, что хотел сказать: он очень хорошо знает, что быть оригинальным историческим повествователем не значит *сочинять* показания, не руководствуясь источниками; иначе редкого историка можно признать оригинальным. Таким образом, не видится достаточного повода к полемике с А. Поповым, особенно когда сам автор признает, что на разбираемом повествовании хронографа «лежит весьма заметный отпечаток оригинальности слога и взглядов»<sup>11</sup>.

По той же причине читатель едва ли останется вполне доволен разбором *Нового летописца* в книге автора. Обращаясь к разбору этого памятника, одного из важнейших источников для истории Смутного времени, г-н *Платонов* замечает, что «до сих пор ничего не сделано», для того чтобы осветить его происхождение. К сожалению, и колеблющиеся соображения автора недостаточно освещают происхождение памятника. Он ставит вопрос: не есть ли Новый летописец свод данных, официально собранных при патриаршем дворе для истории Смуты? Этот вопрос внушен автору догадкой Татищева, что Летописец составлен патриархом Иовом или его келейником, а также свидетельством патриарха Гермогена, что он записывал «в летописцах» некоторые события своего времени. Наблюдения над текстом памятника приводят г-на *Платонова* к заключению, что Новый летописец отличается «внутренней цельностью» пове-

ствования: он весь проникнут единством взгляда на события, что указывает на труд одного автора; в нем нет и следа личных симпатий и антипатий составителя, что указывает на позднее происхождение памятника, когда успели уже свеяться непосредственные впечатления Смуты. Однако из дальнейших наблюдений автора над памятником оказалось, что на одни и те же события и лица Новый летописец смотрит совершенно различно, что об одном и том же лице он в одном месте говорит официально-спокойно, а в другом иначе. Таким образом, в Летописце не оказывается ни единства взгляда, ни личного бесстрастия составителя, не оказывается, следовательно, и внутренней цельности. Автор объясняет это излишнею зависимостью составителя от различных источников, которыми он пользовался, его неумением слить «разнохарактерные части своего свода в цельное литературное произведение». К этому автор прибавляет еще, что некоторые статьи Нового летописца по своей отделке и законченности «имеют *все* признаки отдельных сказаний». Казалось бы, все это значит только то, что Новый летописец есть механическая сшивка статей, написанных в разное время разными лицами, или «свод разнохарактерного литературно-исторического материала», как выразился сам автор. Однако через несколько страниц, сводя итоги своих наблюдений, автор отказывается признать Новый летописец летописью, слагавшеюся постепенно, трудом нескольких лиц, и останавливается на том мнении, что «по всем признакам» он был обработан с начала до конца около 1630 г. и притом одним лицом. Сам автор считает нужным сознаться, что приведенные им данные «не решают категорически вопроса о происхождении памятника»<sup>12</sup>. Он не мог решить этого вопроса, ограничившись данными одного списка Летописца, на котором он преимущественно основывал свои соображения в уверенности, что этот изданный список «счастливо» воспроизвел первоначальный текст памятника<sup>13</sup>. Трудно оправдать такую уверенность в издании, как известно, очень неисправном, и еще труднее винить автора за то, что он не принял на себя действительно «громادного труда» сличения всех многочисленных списков этого памятника, сохранившихся в наших древлехранилищах. Но пожалеть об этом можно. Списки Летописца отличаются значительными

вариантами в тексте и составе памятника. Три печатные издания имеют различные начала и концы. Из трех списков, случайно попавшихся нам в руки, один сходен с печатным Никоновским, другой начинается летописным рассказом о разгроме Новгорода в 1570 г., а третий — перечнем бояр, «кто из оных были изменники» с 1534 г. Может быть, изучение списков памятника помогло бы уяснить его происхождение, нашлось же в списках краткой редакции Повести 1606 г. указание на время составления этого сказания.

Наконец, едва ли можно признать прочно установленным принятый автором взгляд на повествование о Смуте, внесенное в состав известного Столяровского списка хронографа. Автор соглашается с г-ном Маркевичем, который считает это повествование довольно полною разрядною книгою частного происхождения, поэтому г-н *Платонов* думает, что этот памятник до сих пор зачислялся в ряды литературных произведений лишь «по недоразумению»<sup>14</sup>. Итак, это памятник нелитературный и неофициальный. Можно опасаться, есть ли достаточно оснований для такого приговора. Правда, в рассматриваемом повествовании часто встречаем известия, облеченные в форму разрядной записи или росписи. Но известно, как много в московских летописях XV и XVI вв. подробных выписок из разрядных книг, что не мешает им оставаться летописями и даже литературными произведениями. С другой стороны, известия летописного склада иногда вносились в разрядные книги для связи и в пояснение военно-походных или придворно-церемониальных росписей. Но надобно отличать разрядную книгу с летописными вставками от летописи с разрядными вставками. Оба свода сохраняли свои типические особенности в композиции и приемах изложения и имели особые цели. Если среди разрядных росписей помещались известия, не имеющие к ним прямого отношения, обнаруживающие намерение составителя изобразить общий ход дел, значит, имелось в виду составить не канцелярскую книгу для деловых служебных справок, а историческую, литературную повесть для назидания любознательного читателя. Таких известий очень много в рассматриваемом повествовании, и из них даже без разрядных выписок составила бы довольно обстоятельная и любопытная повесть, по крайней мере до во-

царения Михаила. Что касается до отсутствия риторики и «всякой попытки к построению стройного литературного изложения» у неизвестного повествователя, то не видно, почему его изложение кажется автору в литературном отношении ниже, например, летописи по Воскресенскому списку или ниже Нового летописца, с которым, заметим кстати, у него были и общие источники: как Летописец, несомненно, пользовался разрядными росписями, так и некоторые известия неразрядного характера у неизвестного повествователя напоминают рассказ Летописца, изображая одни и те же моменты сходными чертами. Итак, есть некоторые основания видеть в рассматриваемом памятнике не разрядную книгу, а летопись, составленную по разным источникам, преимущественно по разрядным росписям, не без участия и личных наблюдений и воспоминаний составителя. По свойству главного источника и по тону изложения, простому, но вместе сдержанному и форменному, трудно предположить, чтобы эта летопись предпринята была по частному почину, а не по официальному поручению. Легко может быть, что вопреки мнению автора мы имеем здесь перед собою памятник не только литературный, но и официальный.

От разбора отдельных памятников перейдем к общим итогам исследования г-на *Платонова* и укажем, что им сделано по избранному предмету и что еще остается сделать. В предисловии к своему труду он замечает, что «историко-критическое изучение сказаний о Смуте во всей их совокупности составляло до последнего времени невыполненную задачу в русской историографии». Без преувеличения можно сказать, что по отношению к ранним и основным сказаниям автор успешно разрешил принятую на себя задачу и тем восполнил один из заметных пробелов в нашей историографии: он осмотрительно разобрался в обширном и разнохарактерном материале, впервые ввел в научный оборот несколько малоизвестных памятников, как *Временник* Тимофеева, и удачно распутал несколько частных вопросов в историографии Смуты или подготовил их разрешение. Изучающий историю Смуты найдет в его книге достаточно указаний, чтобы знать, что каждое из основных сказаний о Смуте может дать ему и чего там не нужно искать. Автор не оставил без внимания и памятников второсте-

пенных и позднейших, обстоятельно разобрав те из них, которые отнесены им к разряду биографических и не лишены литературной цельности и самобытности<sup>15</sup>. Но позднейшие компилятивные памятники, равно как и местные сказания о Смуте, характеризованы автором кратко или только перечислены с указанием их источников. Неполнота этого перечня оправдывается обилием таких памятников и трудностью собрать их. Между тем и эти компиляции, составлявшиеся в продолжение XVII в., не лишены научного значения во многих отношениях. Во-первых, самая многочисленность их показывает, как долго и с каким напряжением поддерживалось в русском обществе внимание к эпохе, столь обильной необычайными явлениями. Потом в них можно встретить отрывки более ранних сказаний, до нас не дошедших. Наконец, эта компилятивная письменность знакомит нас с ходом историографии в XVII в., с ее приемами и любимыми темами, с усвоенным ею способом пользоваться источниками и объяснять исторические явления. Укажу в пояснение на одну рукопись (из библиотеки Е. В. Барсова). По своей основе это список хронографа третьей редакции, относящийся ко второму разряду ее списков по классификации А. Попова<sup>16</sup>. Г-н *Платонов* справедливо заметил, что в списках хронографа XVII в. нет возможности установить какие-нибудь точные типы компиляций, потому что каждая рукопись имеет свои отличия<sup>17</sup>. Рукопись, о которой говорим, представляет попытку переделать последнюю часть хронографа третьей редакции, изменив состав, какой она имеет в списках второго разряда. Она начинается прямо 151-й главой, рассказом о нашествии крымского хана на Москву в 1521 г., но не потому, что предшествующие главы в ней были утрачены, — их и не было. Первые листы списка заняты подробным оглавлением, которое точно соответствует главам, в нем помещенным. В рассказ о нашествии хана составитель вставил видения «праведного нагоходца» Василия блаженного и других благочестивых людей города Москвы, по-своему описал последние дни и смерть великого князя Василия, руководствуясь известным летописным сказанием<sup>18</sup>. Вообще рассказ о временах великого князя Василия и царя Ивана здесь подробнее, чем в списках 2-го разряда третьей редакции хронографа. Смутное

время описывается в этих списках по второй редакции хронографа, *Иному сказанию* и *Сказанию* А. Палицына; в нашей рукописи встречаем извлечения еще из *Сказания, еже содеяся*, из Соловецкого хронографа и каких-то нам неизвестных источников<sup>19</sup>. Так, в рассказе о голоде при царе Борисе встречаем любопытные черты, каких не находим в других сказаниях о том времени. По одной подробности можно догадываться, где составлена эта переделка: грамота о воцарении Василия Шуйского здесь приведена по тому ее списку, какой был прислан в Тверь к воеводе З. Тихменеву, с пометой 19 июня 114 г.<sup>20</sup> Собрав подобные указания списков хронографа, можно будет судить о том, где и как перерабатывались в XVII в. сказания о Смуте.

Особенно нуждается в пополнении обзор местных сказаний, сделанный г-ном *Платоновым*<sup>21</sup>. Эти сказания служат важным дополнением основных общих источников для истории Смуты. Так, в Новом летописце есть краткий рассказ о поражении Лисовского под Юрьевцем<sup>22</sup>. В списках пространной редакции жития преподобного Макария Желтоводского находим любопытное подробное сказание об этом эпизоде.

Впрочем, указанные пробелы не мешают признать книгу г-на *Платонова* ценным вкладом в русскую историографию, вполне заслуживающим искомой автором премии. Такую цену придают сочинению г-на *Платонова* в высшей степени серьезное отношение автора к своей задаче, основательное изучение материала, критическая наблюдательность и новизна многих выводов.

---



---

## КОММЕНТАРИИ

В седьмой том Сочинений В. О. Ключевского включены его отдельные монографические исследования, отзывы и рецензии, созданные в период творческого расцвета ученого — с конца 1860-х до начала 1890-х годов. Если «Курс русской истории» дает возможность проследить общие теоретические взгляды В. О. Ключевского на ход русского исторического процесса, то работы, публикуемые в седьмом и восьмом томах его Сочинений, дают представление о В. О. Ключевском как исследователе.

Исследования В. О. Ключевского, помещенные в седьмом томе Сочинений, в основном связаны с двумя проблемами — с положением крестьян в России и происхождением крепостного права<sup>1</sup>, с вопросом экономического развития России<sup>2</sup>. Преимущественное внимание вопросам социально-экономического характера и постановка их В. О. Ключевским было новым явлением в русской буржуазной историографии второй половины XIX в.

В своих набросках к выступлению на диспуте, посвященном защите В. И. Семевским диссертации на степень доктора наук, В. О. Ключевский писал: «Разве крестьянский вопрос есть только вопрос об ограничении и уничтожении крепостного права?.. Вопрос о крепостном праве до Александра II есть вопрос о его приспособлении к интересам государства и условиям общежития»<sup>3</sup>. В. О. Ключевский и в своем отзыве на труд Семевского отмечал сложность и многогранность крестьянского вопроса в России и упрекал автора в том, что «слабость исторической критики в исследовании происходит от недостатка исторического взгляда на исследуемый предмет»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> «Крепостной вопрос накануне законодательного его возбуждения», «Право и факт в истории крестьянского вопроса», «Происхождение крепостного права в России», «Подушная подать и отмена холопства в России», «Отзыв на исследование В. И. Семевского «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в.»»

<sup>2</sup> «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае», «Русский рубль XVI—XVIII вв. в его отношении к нынешнему».

<sup>3</sup> См. стр. 483.

<sup>4</sup> См. стр. 427.



Откликаясь на злободневные вопросы пореформенного времени, так или иначе связанные с крестьянским вопросом и реформой 1861 г., отменившей крепостное право, В. О. Ключевский прослеживал этапы в развитии крепостничества в России, причины, как его породившие, так и повлекшие его отмену, характерные явления в боярском, помещичьем, монастырском хозяйстве. В своей трактовке этой проблемы В. О. Ключевский пошел значительно дальше славянофилов и представителей «государственной школы», прежде всего наиболее крупного ее представителя Б. Н. Чичерина, по мысли которого вся история общественного развития в России заключалась в «закрепощении и раскрепощении сословий», осуществляемом государством в зависимости от его потребностей. В. О. Ключевский, наоборот, считал, что крепостная зависимость в России определялась частноправовым моментом, развивающимся на основе экономической задолженности крестьян землевладельцам; государство же только законодательно санкционировало складывавшиеся отношения. Схема, предложенная В. О. Ключевским, заключалась в следующем. Первичной формой крепостного состояния на Руси<sup>1</sup> было холопство в различных его видах, развивавшееся в силу ряда причин, в том числе как результат личной службы ранее свободного человека на определенных условиях экономического порядка. В дальнейшем, с развитием крупного частного землевладения, крестьянство, по мысли В. О. Ключевского, в качестве «вольного и переходного съемщика чужой земли» постепенно теряло право перехода или в силу невозможно-сти вернуть полученную на обзаведение ссуду, или в результате предварительного добровольного отказа от ухода с арендуемой земли за полученную ссуду. Таким образом, крепость крестьянина обуславливалась не прикреплением его к земле как средству производства, а его лично-обязанными отношениями к землевладельцу. Отсюда следовал вывод, что крепостное право — это «совокупность крепостных отношений, основанных на *крепости*, известном частном акте владения или приобретения»<sup>2</sup>. Государство в целях обеспечения своих потребностей лишь «допустило распространение на крестьян прежде существовавшего крепостного холопского права вопреки поземельному прикреплению крестьян, если только последнее было когда-либо им установлено»<sup>3</sup>.

Прослеживая параллельно пути развития холопства на Руси, его самобытные формы и процесс развития крепостного права, Ключевский стремился показать, как юридические нормы холопства постепенно распространялись на крестьянство в целом и в ходе закрепощения крестьян холопство в свою очередь теряло свои специфические черты и сливалось с закрепощаемым крестьянством.

Развитие крепостного права В. О. Ключевский относил к XVI в. До того времени, по его мысли, крестьянство, не являвшееся собственником земли, было свободным съемщиком частновладельческой земли. Со второй половины XV в. на Руси в силу хозяйственного перелома, причины которого для Ключевского оставались не ясны,

---

1 См. стр. 241.

2 См. стр. 245.

3 См. стр. 246.

землевладельцы, крайне заинтересованные в рабочих руках, развивают земельные хозяйства своих кабальных холопов и усиленно привлекают на свою землю свободных людей; последние «не могли поддержать своего хозяйства без помощи чужого капитала», и их количество «чрезвычайно увеличилось»<sup>1</sup>. В результате усилившаяся задолженность крестьян повела к тому, что землевладельцы по своей воле стали распространять на задолжавших крестьян нормы холопского права, и крепостное право на крестьян явилось новым сочетанием юридических элементов, входивших в состав различных видов холопства, но «приноровленных к экономическому и государственному положению сельского населения»<sup>2</sup>. «Еще не встречая в законодательстве ни малейших следов крепостного состояния крестьян, можно почувствовать, что судьба крестьянской вольности уже решена помимо государственного законодательного учреждения, которому оставалось в надлежащее время оформить и зарегистрировать это решение, повелительно продиктованное историческим законом», — писал В. О. Ключевский, усматривая в потере многими крестьянами права перехода «колыбель крепостного права»<sup>3</sup>. «В кругу поземельных отношений все виды холопства уже к концу XVII в. стали сливаться в одно общее понятие *крепостного человека*». «Этим объясняется юридическое безразличие, с каким землевладельцы во второй половине XVII в. меняли дворовых холопов, полных и кабальных, на крестьян, а крестьян — на задворных людей»<sup>4</sup>. Этот процесс слияния был завершен с введением подушной подати при Петре I, и воля землевладельцев превратилась в государственное право.

Указанная схема В. О. Ключевского, развитая в дальнейшем М. А. Дьяконовым, для своего времени имела безусловно положительное значение. Несмотря на то, что в своих монографических работах, посвященных истории крепостного права в России, Ключевский, по его же собственным словам, ограничивался исследованием юридических моментов в развитии крепостного права, основное место в схеме Ключевского занимал экономический фактор, независимый от воли правительства. Ключевский уловил связь между холопством (кабальным) и крепостным правом, дал интересную характеристику различных категорий холопства, существовавших в России до XVIII в., и попытался отразить порядок складывавшихся отношений между крестьянами и землевладельцами. Но, отводя основное внимание в разборе причин закабаления крестьянства частнопровым отношениям и рассматривая судебные записи в качестве единственных документов, определявших потерю независимости крестьян, Ключевский не только недооценивал роль феодального государства как органа классового господства феодалов, но и не признавал, что установление крепостного права являлось следствием развития системы феодальных социально-экономических отношений.

---

<sup>1</sup> См. стр. 252, 257, 280.

<sup>2</sup> См. стр. 271, 272, 338, 339.

<sup>3</sup> См. стр. 280, 278, 383, 384.

<sup>4</sup> См. стр. 389—390, 389.

В советской исторической литературе вопрос о закреплении крестьян явился предметом капитального исследования академика Б. Д. Грекова<sup>1</sup> и ряда трудов других советских историков<sup>2</sup>.

Для истории подготовки реформы 1861 г. представляют интерес две статьи В. О. Ключевского, посвященные разбору сочинений Ю. Ф. Самарина: «Крепостной вопрос накануне законодательного его возбуждения» и «Право и факт в истории крестьянского вопроса». В этих статьях он не без иронии показывает, что даже «искренние и добросовестные» дворянские общественные деятели, когда началась работа по подготовке Положения 1861 г., оставались на позициях «идей и событий» первой половины XIX в. и предполагали предоставление крестьянам земли поставить в рамки «добровольного» соглашения помещиков с крестьянами.

Для характеристики научных интересов В. О. Ключевского необходимо отметить, что свою первую большую монографическую работу «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае», изданную в 1866 г., он посвятил истории колонизации и хозяйства монастырей, что было в дальнейшем им развито и обобщено во второй части «Курса русской истории». В этой работе безусловного внимания заслуживает история возникновения монастырского хозяйства, «любопытный процесс сосредоточения в руках соловецкого братства обширных и многочисленных земельных участков в Беломорье»<sup>3</sup>, которые переходили к монастырю в результате чисто экономических сделок — заклада, продажи и т. п.

Последнее по времени обстоятельное исследование землевладения и хозяйства вотчины Соловецкого монастыря принадлежит перу А. А. Савича, который всесторонне рассмотрел стяжательную деятельность этого крупнейшего севернорусского феодала XV—XVII вв.<sup>4</sup>

С многолетней работой Ключевского над древнерусскими жителями святых связана статья «Псковские споры» (1877 г.), посвященная некоторым вопросам идеологической жизни на Руси XV—XVI вв. Эта статья Ключевского возникла в условиях усилившейся во второй половине XIX в. полемики между господствующей православной церковью и старообрядцами. Статья содержит материал о бесплодности средневековых споров по церковным вопросам и о правах церковного управления на Руси.

До настоящего времени в полной мере сохранила свое научное значение другая работа В. О. Ключевского «Русский рубль XVI—XVIII вв. в его отношении к нынешнему»<sup>5</sup>. Основанная на тонком анализе источников, эта работа свидетельствует об источниковедческом мастерстве В. О. Ключевского; выводы этой работы о сравнительном соотношении денежных единиц в России с начала XVI в.

<sup>1</sup> См. Б. Д. Греков, Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в., кн. I—II, М. 1952—1954.

<sup>2</sup> См. Л. В. Черепнин, Актовый материал как источник по истории русского крестьянства XV в., «Проблемы источниковедения», Сб. IV, М. 1955, стр. 307—349; его же, «Из истории формирования класса феодально-зависимого крестьянства на Руси», «Исторические записки», кн. 56, стр. 235—264; В. И. Корецкий, Из истории закрепощения крестьян в России в конце XVI — начале XVII в., «История СССР» № 1, 1957, стр. 161—191.

<sup>3</sup> См. стр. 14.

<sup>4</sup> См. А. А. Савич, Соловецкая вотчина XV—XVII вв., Пермь 1927.

<sup>5</sup> Проверка наблюдений Ключевского о стоимости рубля в первой половине XVIII в., предпринятая недавно Б. В. Кафенгаузом, показала правильность его основных выводов (См. Б. В. Кафенгауз, Очерки внутреннего рынка России первой половины XVIII в., М. 1958, стр. 187, 189, 258, 259).

до середины XVIII в. в их отношении к денежным единицам второй половины XIX в. необходимы для выяснения многих экономических явлений в истории России.

Две работы В. О. Ключевского, публикуемые в седьмом томе, связаны с именем великого русского поэта А. С. Пушкина: «Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину» и «Евгений Онегин». В. О. Ключевскому принадлежит блестящая по форме фраза: «О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговорить много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует»<sup>1</sup>. В своих статьях о Пушкине В. О. Ключевский подчеркнул глубокий интерес Пушкина к истории, давшего «связную летопись нашего общества в лицах за 100 лет с лишком»<sup>2</sup>. Ключевский стремился придать обобщающий характер образам людей XVIII в., очерченным в различных произведениях Пушкина, объяснить условия, в которых они возникали, и на основе этих образов нарисовать живую картину дворянского общества того времени. Такой подход к творчеству А. С. Пушкина нельзя не признать верным. Но в своей трактовке образов дворянского общества XVIII в., как и в пятой части «Курса русской истории», В. О. Ключевский слишком односторонне рассматривал культуру России того времени, не видя в ней передовых тенденций.

Статьи, помещаемые в седьмом томе Сочинений В. О. Ключевского, в целом являются ценным историографическим наследием по ряду важнейших вопросов истории России.

\* \*

\*

Более или менее полный список трудов В. О. Ключевского, издававшихся с 1866 по 1914 г., составил С. А. Белокуров<sup>3</sup>. Пропуски в этом списке незначительны<sup>4</sup>. Некоторые произведения

1 См. стр. 421.

2 См. стр. 152.

3 «Список печатных работ В. О. Ключевского». Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском университете, кн. I, М. 1914, стр. 442—473.

4 Отсутствуют упоминания о работе П. Кирхмана «История общественного и частного быта», М. 1867. Эта книга издана в обработке Ключевского, которым написаны заново разделы о русском быте. Не отмечена рецензия «Великие Четы-Миннеи», опубликованная в газете «Москва», 1868 г., № 90, от 20 июня (перездана в Третьем сборнике статей). Пропущены замечания о гривне кун, сделанные В. О. Ключевским по докладу А. В. Прахова о фресках Софийского собора в Киеве на заседании Московского археологического общества 20 декабря 1855 г. («Древности. Труды Археологического общества», т. XI, вып. III, М. 1887, стр. 86), выступление в ноябре 1897 г. по докладу В. И. Холмогорова «К вопросу о времени создания писцовых книг» («Древности. Труды Археологической комиссии», т. I, М. 1893, стр. 182). 24 апреля 1896 г. В. О. Ключевский произнес речь «О просветительной роли св. Стефана Пермского» (Чтения ОИДР, 1898, кн. II, протоколы стр. 14), 26 сентября 1898 г. — речь о А. С. Павлове (Чтения ОИДР, 1899, т. II, протоколы, стр. 16), выступил 13 апреля 1900 г. по докладу П. И. Иванова «О переделах у крестьян на севере» («Древности. Труды Археологической комиссии», т. II, вып. II, М. 1900, стр. 402), 18 марта 1904 г. произнес речь о деятельности ОИДР (Чтения ОИДР, 1905, кн. II, протоколы, стр. 27). О публикации протокольных записей этих выступлений В. О. Ключевского С. А. Белокуров не приводит никаких сведений. Нет также у него упоминания о статье В. О. Ключевского «М. С. Корелин» (умер 3 января 1894 г.), опубликованной в приложении к кн.: М. С. Корелин, Очерки из истории философской мысли в эпоху Возрождения, «Миросозерцание Франческо Петрарки», М. 1899, стр. 1—XV.

В. О. Ключевского, изданные в 1914 г. и позднее, в список трудов С. А. Белокурова не попали (среди них «Отзывы и ответы. Третий сборник статей», М. 1914, переиздание, М. 1918; переиздание двух первых сборников статей, «Курса русской истории», «Истории сословий», «Сказание иностранцев», «Боярской думы» и др.)<sup>1</sup>.

Большая часть статей, исследований и рецензий В. О. Ключевского была собрана и издана в трех сборниках. Первый озаглавлен «Опыты и исследования», вышел еще в 1912 г. (вторично в 1915 г.)<sup>2</sup>.

Второй сборник появился в печати в 1913 г. и был назван «Очерки и речи»<sup>3</sup>. Наконец, через год (в 1914 г.) увидел свет третий сборник — «Ответы и отзывы»<sup>4</sup>. Все три сборника статей были переизданы в 1918 г.

Тексты сочинений В. О. Ключевского в настоящем томе воспроизводятся по сборникам его статей или по автографам и журнальным публикациям, когда статьи не включались в сборники его произведений.

Тексты издаются по правилам, изложенным в первом томе «Сочинений В. О. Ключевского». Ссылки на архивные источники в опубликованных трудах Ключевского унифицируются, но с рукописным материалом не сверяются.

\* \* \*

Том выходит под общим наблюдением академика *М. Н. Тихомирова*, текст подготовлен и комментирован *В. А. Александровым* и *А. А. Зиминым*.

<sup>1</sup> См. также: «Письма В. О. Ключевского П. П. Гвоздеву». В сб.: «Труды Всероссийской публичной библиотеки им. Ленина и Государственного Румянцевского музея», вып. V, М. 1924; сокращенная запись выступлений Ключевского на Петергофском совещании в июне 1905 г. приведена в кн.: «Николай II. Материалы для характеристики личности и царствования», М. 1917, стр. 163—164, 169—170, 193—196, 232—233.

<sup>2</sup> В его состав были включены исследования: «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря», «Псковские споры», «Русский рубль XVI—XVIII в. в его отношении к нынешнему», «Происхождение крепостного права в России», «Подушная подать и отмена холодства в России», «Состав представительства на земских соборах древней Руси».

<sup>3</sup> Сборник содержит статьи: «С. М. Соловьев», «С. М. Соловьев как преподаватель», «Памяти С. М. Соловьева», «Речь в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину», «Евгений Онегин и его предки», «Содействие церкви успехам русского гражданского права и порядка», «Грусть», «Добрые люди древней Руси», «И. Н. Болтин», «Значение преп. Сергия для русского народа и государства», «Два воспитания», «Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени», «Недоросль Фонвизина», «Императрица Екатерина II», «Западное влияние и церковный раскол в России XVII в.», «Петр Великий среди своих сотрудников».

<sup>4</sup> В том числе «Великие мнен-четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием», «Новые исследования по истории древнерусских монастырей», «Разбор сочинения В. Иконникова», «Поправка к одной антикритике. Ответ В. Иконникову», «Рукописная библиотека В. М. Ундольского», «Церковь по отношению к умственному развитию древней Руси», «Разбор сочинений А. Горчакова», «Аллилуиа и Пафнутий», «Академический отзыв о сочинении А. Горчакова», «Докторский диспут Субботина в Московской духовной академии», «Разбор книги Д. Солнцева», «Разбор сочинения Н. Суворова», «Крепостной вопрос накануне его законодательного возбуждения», «Отзыв о книге С. Смирнова», «Г. Рамбо — историк России». «Право и факт в истории крестьянского вопроса, ответ Владимирскому-Буданову», «Академический отзыв об исследовании проф. Платонова», «Академический отзыв об исследовании Чечулина», «Академический отзыв об исследовании Н. Рожнова» и перевод рецензии на книгу *Th. V. Bernhardt, Geschichte Russlands und der europäischen Politik in den Jahren 1814—1837*.

## ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В БЕЛОМОРСКОМ КРАЕ

Исследование «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае» впервые издано в «Московских университетских известиях», 1866—1867, № 7, стр. 541—574; отд. оттиск, стр. 1—34. Переиздано в кн.: В. О. Ключевский, Опыты и исследования. Первый сборник статей, М. 1912, стр. 1—36. Корректурa статьи из сборника (август 1911 г.) с правкой находится в ГБЛ, ф. Ключевского, п. 13, д. 3.

<sup>1</sup> Житие Зосимы и Савватия, рукопись Синодальной библиотеки [далее — Житие Зосимы и Савватия], № 91. «Главным материалом настоящего очерка, кроме этого жития, служил рукописный Сборник соловецких грамот [далее — Сборник грамот], который находится в Соловецкой библиотеке, принадлежащей теперь (1866) Казанской духовной академии, № 18, 19, 20».

<sup>2</sup> Сборник грамот, № 18, ст. 5.

<sup>3</sup> «Из 35 или 36 земельных владений, приобретенных Соловецким монастырем до начала XVI в. на Поморском, Корельском и Терском берегу, только в четырех указываются страдомые, или орамые, земли, и эти владения все были на Поморском берегу». Сборник грамот, № 2—5.

<sup>4</sup> Житие Зосимы и Савватия, л. 284.

<sup>5</sup> Православный собеседник 1859 г., июнь, Казань, «черноризца Зиновиа слово...», стр. 237—239.

<sup>6</sup> Летописец соловецкий, или краткое летописание... [далее — Летописец соловецкий], М. 1815, стр. 7—8.

<sup>7</sup> Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря... составленное трудами Соловецкого монастыря архимандрита Досифея [далее — Досифей, Описание Соловецкого монастыря], ч. 3, М. 1836, отд. II, № 1, стр. 182—183. [Грамота архиепископа Геннадия 1491 г.]. «В конце XVI в. монастырь имел в волости Варзуге 224 лука земли, на которой было 7 дворов крестьянских жилых да 8 мест дворовых пустых».

<sup>8</sup> «Лук содержал в себе 2 обжи, а обжа имела 126 сажен — длиннику и 32 поперечнику».

<sup>9</sup> «С приобретением Шизни у монастыря явилась третья пристань на Поморском берегу, сверх приобретенных прежде в Суме и в Вирме».

<sup>10</sup> Досифей, Описание Соловецкого монастыря, ч. 3, отд. I, № I, стр. 1—3.

<sup>11</sup> Досифей, Описание Соловецкого монастыря, ч. 3, отд. I, № 11, стр. 7—17.

<sup>12</sup> Сборник грамот, № 16 и 17.

<sup>13</sup> Досифей, Описание Соловецкого монастыря, ч. 3, отд. I, № IV, стр. 17—21.

<sup>14</sup> Сборник грамот, № 43.

<sup>15</sup> Сборник грамот, № 44.

<sup>16</sup> Сборник грамот, № 46, 120.

<sup>17</sup> Сборник грамот, № 64; Досифей, Описание Соловецкого монастыря, ч. 3, отд. I, № XV, XVI, стр. 54—59.

<sup>18</sup> Сборник грамот, № 61.

<sup>19</sup> *Досифей*, Описание Соловецкого монастыря, ч. 3, отд. I, № XXVII, стр. 95—97.

<sup>20</sup> Летописец соловецкий, стр. 35.

<sup>21</sup> Сборник грамот, № 48, 49.

<sup>22</sup> Там же, № 108.

<sup>23</sup> Там же, № 114, 177.

<sup>24</sup> Там же, № 239.

<sup>25</sup> Там же, № 268, Летописец соловецкий, стр. 39.

<sup>26</sup> Сборник грамот, № 47.

<sup>27</sup> Там же, № 87.

<sup>28</sup> Там же, № 177, 184.

<sup>29</sup> Там же, № 232, 260. Летописец соловецкий, стр. 35.

<sup>30</sup> «Эти подробности о Красноборском погосте и Спасской церкви взяты из Соловецкой грамоты 1860 г. (*Досифей*, Описание Соловецкого монастыря, ч. 3, отд. I, № LX, стр. 167—178) и из повести о чудотворной Красноборской иконе (рукопись Синодальной библиотеки № 809, л. 850—889). В этой повести, составленной около половины XVII в., читаем: «На Красном бору, в Устюжском уезде, над Двиною рекою, на устьи Неменжи реки, пониже Прокония праведного, совершен и освящен храм во имя бога и спаса нашего, в 135 г. и без пения стоял со 140 до 149 г.» В этом последнем году было первое чудо от иконы, и «в то время бысть съезд великий на Красный бор ко всемиростивому спасу от многих вестей и приходов, священницы со кресты и со всеми крылошаны».

<sup>31</sup> *Досифей*, Описание Соловецкого монастыря, ч. 3, отд. II, № III, IV, стр. 184—194.

<sup>32</sup> «По известию в Сборнике соловецкой библиотеки XVI в., № 860».

## ПСКОВСКИЕ СПОРЫ

Работа «*Псковские споры*» впервые издана в журнале «Православное обозрение», 1872, № 9, стр. 283—307; № 10, стр. 466—491; № 12, стр. 711—741. Переиздана в кн.: В. О. Ключевский, *Опыты и исследования*. Первый сборник статей, М. 1912, стр. 37—122.

<sup>1</sup> «См. это послание, кажется, нигде не напечатанное, в рукописи Румянцевского музея XVI в., № 204 [Далее — Рукопись № 204], л. 438.

<sup>2</sup> «См. указанное в предыдущей главе послание Фотия в Псков» [стр. 53].

<sup>3</sup> «Оставив митрополию в 1464 г., Феодосий жил в Чудовом, потом в Троицком Сергиевом монастыре и умер здесь в 1475 г.»

<sup>4</sup> «См., например, *Акты исторические*, собранные и изданные Археографической комиссией [далее — АИ], т. I, СПб. 1841, № 31, стр. 284.

<sup>5</sup> И. Д. Беляев, *Полоцкая православная церковь до Брестской унии*, «Православное обозрение», М. 1870, № I, стр. 114 и след.

<sup>6</sup> «См. послание Фотия» — Рукопись № 204, лл. 420—426.

<sup>7</sup> «См. это сказание» — Рукопись № 204, лл. 315—349.

<sup>8</sup> «Эта повесть известна нам по рукописи Ундольского в Румянцевском музее, № 306. Ее происхождение, состав и отношение к житию Евфросина, составленному Василием, рассмотрены автором настоящей статьи в исследовании «*Древнерусская жития святых как исторический источник*», М. 1871 [далее — Ключевский, *Древне-*

русские жития], стр. 252—257. Здесь приводятся некоторые объяснительные или дополнительные замечания. Старая повесть сопроваждается 4 чудесами; в сочинении Василия 5-е чудо совершилось с Киприаном, о котором он упоминает в предисловии как о своем современнике и об одном из иноков, просивших его написать житие Евфросина. Старая повесть написана при игумене Памфиле и архиепископе Геннадии. В предисловии Василий упоминает об иноке Маркелле, постриженнике Памфиловом, который в 1547 г. был уже старцем, иночествовавшим 50 лет. Значит, в последние годы XV в. Памфил был уже игуменом. К 1505 г. относится его известное послание в Псков. Таким образом, старая повесть написана в конце XV или в самом начале XVI в., не позже 1504 г.»

<sup>9</sup> Памятники старинной русской литературы, СПб. 1862, вып. IV, стр. 118.

<sup>10</sup> *Ключевский*, Древнерусские жития, стр. 259.

<sup>11</sup> Рукопись Софийской библиотеки, теперь в Петербургской духовной академии, № 1264, л. 15 об. Эта статья, или «устав», выписана в указанном выше исследовании о житиях (*Ключевский*, Древнерусские жития, стр. 256, прим. 2). Здесь прямо сказано: «Иже мнози поют подвоицю аллилуиа, а не втрегубна, на грех себе поють»».

<sup>12</sup> Рукопись Московской духовной академии, № 142. «Места с сугубой аллилуией на л. 146 об., 155 об.»

<sup>13</sup> Рукопись Московской духовной академии, № 152, л. 143 об., 152.

<sup>14</sup> «Эта любопытная рукопись принадлежит Е. В. Барсову, писана уставом. Приведенное замечание об аллилуии см. на л. 85. К числу особенностей письма в этой рукописи относится употребление буквы ъ вместо ѣ; «возлюбиль еси, языкъ льстивъ, от врагъ моихъ, вьнми, богъ, и т. п.»

<sup>15</sup> *Макарий*, История русского раскола, известного под именем старообрядства, СПб. 1889, стр. 7.

<sup>16</sup> «См. это послание в Синодальном списке Макарьевских четьих-миной, месяц август, л. 809, и в Синодальной рукописи № 466, л. 260. О нем будет еще речь ниже».

<sup>17</sup> Полное собрание русских летописей [далее — ПСРЛ], т. 6, СПб. 1853, стр. 271, 274.

<sup>18</sup> Рукопись № 204, л. 438; сравни АИ, т. I, № 34.

<sup>19</sup> *Филарет*, Обзор русской духовной литературы [далее — *Филарет*, Обзор], 1859, кн. I, стр. 161.

<sup>20</sup> *Филарет*, Обзор, кн. I, стр. 161.

<sup>21</sup> Волоколамский сборник Московской духовной академии, № 514 [далее — Сборник № 514], л. 499.

<sup>22</sup> Сборник № 514, л. 501.

## КРЕПОСТНОЙ ВОПРОС НАКАНУНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЕГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

Рецензия «Крепостной вопрос накануне его законодательного возбуждения» на Сочинения Ю. Ф. Самарина (т. 2, Крестьянское дело до высочайшего рескрипта 20 ноября 1857 г., М. 1878) опубликована в журнале «Критическое обозрение», 1879, № 3, стр. 1—14. Переиздана в кн.: *В. Ключевский*, Отзывы и ответы. Третий сборник



статей, М. 1914, стр. 297—320. Автограф см. ГБЛ, ф. Ключевского, п. 13, д. 4; там же наборная рукопись (п. 14, д. 16).

<sup>1</sup> Ю. Ф. Самарин, Сочинения, т. 2, М. 1878, [далее — Самарин], стр. VI—VII.

<sup>2</sup> Самарин, стр. 113.

<sup>3</sup> Сравнить: Самарин, стр. 107, со ст. 158 Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости [далее — Общее положение о крестьянах, 1861] СПб. 1861, стр. 27.

<sup>4</sup> Самарин, стр. 120.

<sup>5</sup> Там же, стр. 118.

<sup>6</sup> Там же, стр. 428 [курсив В. О. Ключевского].

<sup>7</sup> Там же, стр. 160.

<sup>8</sup> Там же, стр. 134 и след.

<sup>9</sup> Там же, стр. 426, прим.

<sup>10</sup> Там же, стр. 86—88 и след; Общее положение о крестьянах, 1861, стр. 6, стр. 2.

<sup>11</sup> Самарин, стр. 146.

<sup>12</sup> Общее положение о крестьянах, 1861, ст. 9, стр. 2.

<sup>13</sup> Самарин, стр. 31, 32 (прим.) и др. [курсив В. О. Ключевского].

<sup>14</sup> Там же, стр. 52, прим.

<sup>15</sup> Там же, стр. 67—75.

<sup>16</sup> Там же, стр. 97.

<sup>17</sup> Там же, стр. 161 [курсив В. О. Ключевского].

<sup>18</sup> Там же, стр. 419.

<sup>19</sup> Там же, стр. X—XI.

<sup>20</sup> Там же, стр. 144 и след.

## СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ

Некролог «С. М. Соловьев (умер 4 октября 1879 г.)» издан впервые в кн.: «Речи и отчет, читанные в торжественном собрании Московского университета 12 января 1880», М. 1880, стр. 51—73. Переиздан в кн.: В. Ключевский, Очерки и речи. Второй сборник статей, М. 1913, стр. 1—23.

<sup>1</sup> Дополнением к данной статье является отрывок о взглядах С. М. Соловьева, сохранившийся в архиве В. О. Ключевского:

«Влияния, воспитывавшие мысль С[оловьева]: одни давали ему исторический метод, другие — схемы исторического процесса, третьи — ставили задачи.

1. Из западной историографии своего времени он вынес идею развития, закономерности исторического процесса, но он видел, как эта идея там разрабатывалась на сменявшихся политических формах и складах, и неосторожно стал на ту точку зрения, что только эти политические формы и склады подлежат закономерному развитию. ((Б. Об. 31)).

2. Изучение русской историографии. Как изучал: брал книгу и игнорировал автора, разбирал мнения, взгляды, встреченные в книге, и не хотел знать, когда, при каких обстоятельствах и под какими влияниями они высказаны; они были высказаны, и больше ничего не нужно знать. Вывод изучения: прежние историки уловили отдельные моменты, переломы развития, но не поняли связи моментов, закономерности всего процесса, были наблюдателями, монографистами, но не стали прагматиками (мысль написать цельную историю).

3. Скептическая школа. Ее сущность: настоящее слишком плохо, чтобы допустить возможность столько хорошего в прошедшем, значит, все хорошее в прошедшем подделано плохим настоящим. Комическая логика: хорошее [талант] может подражаться плохим [бездарностью], и эта поддельная бездарность выше, даровитее бездарного подлинника. Но как бездарность может подражать таланту, недоумеваю. Но школа Каченовского поселила отвращение к исторической критике. Отсюда прием Соловьева — брать данное из источника и в нетронутom, сыром виде вносить в текст прагматической истории» (ГБЛ, ф. Ключевского, п. 12, д. 2).

Далее публикуется основная часть статьи В. О. Ключевского «Двадцатипятилетие *Истории России* С. М. Соловьева», опубликованной без подписи в журнале «Древняя и новая Россия», т. 1, № 1, 1877, стр. 107—113.

«Имя С. Соловьева уже более 30 лет связано с развитием исторической науки. Первое исследование его (магистерская диссертация) — «Об отношениях Новгорода к великим князьям», вышедшее в 1845 г., обратило на него общее внимание людей, следивших за движением отечественной историографии, и в следующем году было перепечатано. В 1847 г. Соловьев издал вторую диссертацию — «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома», которая давно стала библиографической редкостью. В 1851 г. вышел первый том «Истории России с древнейших времен», и с тех пор каждый следующий год приносил по одному тому. Теперь рассказ историка доведен до первых лет царствования Екатерины Великой. Большая часть томов «Истории» переиздана: первый том выдержал пятое издание.

С первых своих исследований С. М. Соловьев стал указателем известного направления в литературе русской истории, которое посредством книги или лекции подготавливало значительный круг людей не только к пониманию, но и к ученой обработке отечественной истории.

С. М. Соловьев сам не раз определял это направление, высказывая свой взгляд на задачи историка: указывать «естественную связь событий, естественное развитие из самого себя», следить «за непосредственным преемством форм», «не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин» — такова, по мнению его, обязанность историка; историк может считать эту обязанность исполненной, если явления в его рассказе следуют одно за другим и одно из другого *естественно и необходимо*.

Когда вышел первый том книги С. М. Соловьева, такой взгляд не был новостью в нашей исторической литературе. И прежде было несколько попыток построить историческое повествование на этом прагматическом методе, и его успели даже низвести на степень простого искусства так сцеплять события, чтобы одно являлось причиной или следствием другого. Книга С. М. Соловьева резко отделилась от этого искусственного прагматизма Установливая внутреннюю, живую, а не механическую связь между историческими явлениями, С. М. Соловьев достиг двух результатов, благодаря которым его книга не будет забыта при дальнейшем движении русской исторической науки.

В ряду писателей, предпринимавших труд написать историю

России, С. М. Соловьева можно назвать первым, который с успехом попытался взглянуть на явления нашей истории просто и трезво. Такой взгляд, нелегкий везде, для русского историка, может быть, труднее, чем для кого-либо другого. В первой половине нынешнего столетия можно назвать только двух русских писателей, бравшихся за такой труд и оказавших заметное действие на сознание читающего общества приемами обработки и талантом изложения: это были Карамзин и Полевой. Но ни тому, ни другому не удалось стать на такую прямую и трезвую точку зрения. Первый, руководясь эстетическими и моралистическими задачами историка, останавливался преимущественно на явлениях, поражающих чувство или воображение, и часто не знал, как оценить и куда девать факты, в которых оказывались самые сильные биения пульса народной жизни. Много читавший и изучавший, Карамзин обо многом недостаточно размышлял. Полевой пытался восполнить пробел, ослепленный Карамзиным в литературе русской истории. Усвоив воспримчивой мыслью приемы и направление западной историографии того времени, он решился пересмотреть прошлое русского народа «прагматическим, философским» взглядом. Но его живой, даровитой мысли не доставало ни ученой выдержки, ни знакомства с русским историческим материалом. Он слишком быстро обобщал и решал. В двух явлениях, русском и западно-европейском, найти что-нибудь сходное для него было достаточно, чтобы признать их одинаковыми и одно назвать именем другого. Оттого основные факты нашего прошедшего являлись у него в параднги, но чужой, заимствованной одежде. Поднявшись на своем философском взгляде на высоту, откуда открывалось перед ним «позорище деяний всемирной истории», со смелой задачей связать прошедшее России со всемирно-историческими событиями как причину или следствие последних. Полевой схватывал только внешние, так сказать геометрические очертания русской жизни, но типические внутренние черты места и времени ускользали от его плохо вооруженного глаза. Совсем иначе обращался с материалом С. М. Соловьев. Он подходил к историческому факту прямо и близко, всматривался в него пристально. старался уловить в нем именно местные и временные особенности и потом точно воспроизвести его действительный образ. Прежде чем подвергнуть отдельное явление анализу и обобщению, он бережно переносил его из летописи или акта на страницы своего рассказа, как археолог переносит выкопанный обломок в свою витрину. Отсюда его привычка рассказывать словами источника, его нелюбовь к заученной исторической терминологии и искусственному делению периодов, чем иногда прикрывалось недостаточное понимание смысла и связи событий: он первый восстал против этих *норманнских, удельных и монгольских* периодов, потому что эти термины описывают время только с внешней стороны, но не захватывают главного русла русской жизни в те века.

Эти приемы не остались без влияния на нашу историческую литературу: писатели, которые по книге С. М. Соловьева учились так обращаться с фактами, не забудут, кто научил их этому, даже если разойдутся с ним в понимании основных фактов нашей истории.

Приложение лучших приемов к обработке нашей истории — успех сам по себе технический — соединен в труде С. М. Соловьева

с другой заслугой, которая выходит за пределы ученой техники и касается реального содержания науки. С. М. Соловьева не раз упрекали в том, что в нарисованной им картине нашего прошедшего везде на первом плане поставлены *внешние политические* явления, а факты *внутренней народной* жизни — экономической, умственной и нравственной — оставлены в тени, как будто историк считал их менее важными, пренебрегал ими. Но в самом начале своего труда, на первой странице его, он предупредил читателя, что считает обязанностью историка «не разделять начал, а рассматривать их во взаимодействии». Научное понимание прошлого России ничего не потеряло в книге С. М. Соловьева от того, что автор, обращаясь к историческим фактам, часто забывал, как размещены они в ученой табели о рангах, и дорожил каждой чертой, в которой сказывалась жизнь. Книга его в нашей литературе — первая попытка найти в событиях и формах государственной жизни России отражение работы ее внутренних исторических сил и по этим наружным явлениям проникнуть в самые сокровенные движения народной жизни. Таким образом, следя «за непосредственным предметом» политических форм, в которые облекалась жизнь русского народа на протяжении девяти столетий, С. М. Соловьев успел подметить и изобразить несколько решительных, поворотных эпох, когда изменялось не одно государственное право, преобразовывались не одни политические формы, но и течение всей народной жизни переломлялось и принимало иное направление.

Читатели книги С. М. Соловьева без труда припомнят эти эпохи, которые поставлены в нашей литературе С. М. Соловьевым как основные факты русской истории, как главные моменты исторической жизни русского народа.

В трех столетиях, следовавших за смертью Ярослава, Карамзин видел только падение России, разрушение государства, созданного первыми князьями; он отказывался найти исторический смысл в столь продолжительном периоде, наполненном княжескими усобицами, которые называл «бессмысленными». В порядке княжеского владения Русской землей, какой установился после Ярослава, Полевой находил уже «особую систему феодальных русских государств»; эту *систему уделов*, «обладаемых членами одного семейства под властью старшего в роде», он характеризовал названием *феодализма семейного*. Полевой смутно чувствовал значение этого периода, гороря, что он «был необходим для развития жизненных сил по всем землям русским, сил, сосредоточивавшихся до смерти Ярослава только в Киеве и Новгороде». Всматриваясь в княжеские отношения, как их изобразил С. М. Соловьев, после внимательного изучения, не находим в них существенных черт порядка, который обыкновенно называют феодализмом; зато позади княжеских усобиц при видимом разделении Руси на княжеские волости в рассказе С. М. Соловьева впервые открываем незамеченный до него ряд условий, вызванных к действию или поддержанных князьями, условий, которые завязывают и скрепляют «общий интерес, сознание о земском единстве» русских волостей.

Прежде, рассказывая о событиях XII в., повествователи чувствовали, что со времени Андрея Боголюбского на Руси совершается какая-то важная внутренняя переменя. Суздальская земля как-то вдруг выступает с неожиданной силой, налагает тяжелую

руку на Киевскую Русь, и в этой земле с тех пор земская жизнь начинает складываться в порядок, непохожий на прежний киевский склад. Не зная, как назвать и чем объяснить эту перемену, характеризовали ее перенесением столицы из Киева во Владимир или какой-нибудь другой столь же внешней чертой. С. М. Соловьев точно описал перелом, совершившийся тогда в русской жизни, обозначил появление «отдельной княжеской собственности», вотчины или удела, сменившего прежний порядок общего княжеского владения, и указал, где следует искать источник нового порядка — в колонизации Суздальской земли XII и XIII вв. и в тех новых отношениях, какие она установила здесь между князем и населением.

Быстрый рост Московского княжества в XIV и XV вв. был загадкой для Карамзина, и он называл чудом превращение ничтожного удельного городка в средоточие государства Российского. Он и писавшие после него склонны были объяснять эту счастливую судьбу Москвы личными качествами ее князей, Ивана Калиты и его преемников, и поддержкой, какую они умели находить в Орде. Проследив деятельность московских князей шаг за шагом, перебрав мелкие явления, которыми обозначались их успехи, С. М. Соловьев разглядел другие, более могущественные и менее случайные силы, работавшие над судьбой этого княжества: он отметил и описал ряд географических и экономических условий, создавших материальную силу Москвы еще прежде, чем она достигла политического, земского значения, и ряд обстоятельств, которые при тогдашнем положении других княжеств и при внешних отношениях Руси открыли московским князьям с их материальными средствами просторную дорогу к политическим успехам. Собираание Северной Руси Москвой является в рассказе С. М. Соловьева последовательным процессом, движущие пружины которого вскрыты настолько ясно, чтобы не подозревать в нем ничего необычайного.

В истории XV и XVI столетий С. М. Соловьев первый изобразил ярко появление и борьбу политических понятий и страстей, вызванных в высших классах московского общества территориальным расширением и внутренним устройством государства. Далее историку предстояли века, истинная история которых лежала похороненной в нетронутых массах архивного материала. Рассказывая его, С. М. Соловьев чутко выследил первые признаки начавшегося нового перелома русской народной жизни, который так резко и тревожно обнаружился при вступе первого царя новой династии. Рассказ С. М. Соловьева о России в XVII в. впервые осветил научным светом реформы Петра Великого. Издавна у нас сложилась привычка судить об этих реформах, как судит публицист о законодательном проекте, открытом для поправок. Преобразовательные меры Петра взвешивали и ценили преимущественно по их практическим последствиям, более предполагаемым, чем действительным; к ним обращались с разными требованиями, нравственными и другими, и так как последствия выходили очень разнообразными, а требования часто совершенно капризными, то суждение о деле Петра было низведено на почву вкуса или чувства, превратилось в простую хвалу или порицание. В книге С. М. Соловьева преобразовательная деятельность Петра впервые является не делом личного произвола, не исторической невозможностью, а историческим фактом, корни которого таились в глубине народной жизни. Нарисованная историком

картина экономического, социального и нравственного расстройств Московской Руси перед эпохой преобразования вскрыла эти корни и показала, чем внушены, как определялись основные стремления преобразователя и даже как воспитаны были самые приемы преобразования».

<sup>2</sup> «Московский городской листок», 1847, № 130.

<sup>3</sup> Там же, 1847, № 102, 103.

<sup>4</sup> «Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета, М. 1855, ч. II, стр. 434.

<sup>5</sup> Отчет о состоянии и действиях Московского университета за 1845/46 академический и 1846 гражданский годы, стр. 10.

<sup>6</sup> «Не перечисляем многочисленных критических и библиографических статей, появившихся с 1842 г. в «Москвитяине» и в других изданиях; о них см. в списке сочинений С. М. Соловьева, составленном Н. А. Поповым. Исторические очерки «Рим» и «Варвары» упомянуты самим автором как приготовленные к печати в университетском отчете за 1845/46 г.»

<sup>7</sup> С. М. Соловьев, Шлецер и антиисторическое направление, «Русский вестник», т. VIII, М. 1857, апрель, кн. 2, стр. 431—480.

## РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 6 ИЮНЯ 1880 г., В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

Статья «Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину» впервые издана в журнале «Русская мысль», 1880, № 6, стр. 20—27. Переиздана в кн.: «Венок на памятник Пушкину», СПб. 1880, стр. 271—278, и во втором сборнике статей В. Ключевского — «Очерки и речи», М. 1913, стр. 57—66.

## ПРАВО И ФАКТ В ИСТОРИИ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА

Статья «Право и факт в истории крестьянского вопроса» издана впервые в газете «Русь», 1881, № 28, стр. 14—17. Переиздана в кн.: В. Ключевский, Отзывы и ответы. Третий сборник статей, М. 1914, стр. 365—376. Копию см. ГБЛ, ф. Ключевского, п. 13, д. 5. Здесь же хранится первоначальный вариант статьи.

## ОТВЕТ Д. И. ИЛОВАЙСКОМУ

Статья «Ответ Д. И. Иловайскому» издается впервые по автографу, хранящемуся в рукописном собрании Института истории Академии наук СССР (ф. Ключевского, п. 26).

<sup>1</sup> [В 1882 г. Д. И. Иловайский под заголовком «Поборники норманизма и туранизма» («Русская старина», 1882, № 12, стр. 585—619) опубликовал критический разбор ряда работ, в которых содержались отклики на его исследование «Разыскания о начале Руси, дополненные вопросом о гуннах»; в числе этих работ были иссле-

дования В. Г. Васильевского «О мнимом славянстве гуннов, болгар и роксолан» («Журнал Министерства народного просвещения», 1882, № 7), А. Н. Веселовского «Несколько соображений по поводу пересмотра вопроса о происхождении гуннов» (там же, № 9) и В. О. Ключевского «Боярская дума в древней Руси», М. 1881].

<sup>2</sup> Д. Иловайский, Разыскания о начале Руси..., [далее — *Иловайский*], М. 1876, стр. 212 и след.

<sup>3</sup> *Иловайский*, стр. 453.

## РУССКИЙ РУБЛЬ XVI—XVIII вв. В ЕГО ОТНОШЕНИИ К НЫНЕШНЕМУ

Исследование «*Русский рубль XVI—XVIII вв. в его отношении к нынешнему*» впервые издано в «Чтении ОИДР, 1884, кн. 1, стр. 1—72; есть отдельный оттиск. Переиздано в кн.: В. О. Ключевский, Опыты и исследования. Первый сборник статей, М. 1912, стр. 123—211. Черновые материалы статьи и гранки находятся в ГБЛ, ф. Ключевского, п. 13, д. 7.

<sup>1</sup> *Кильбургер*, Краткое известие о русской торговле [далее — *Кильбургер*], перев. Д. Языкова, СПб. 1820, стр. 65, 66, 186; Дворцовые разряды, т. III, СПб. 1852, стб. 915.

<sup>2</sup> М. Заблоцкий, О ценностях в древней Руси, СПб. 1854, стр. 36, 93, 98.

<sup>3</sup> У г-на Прозоровского проба московских денег XVII в. определена приблизительно в 85 $\frac{1}{4}$  (см. Д. И. Прозоровский, Монета и вес в России до конца XVIII столетия [далее — *Прозоровский*], СПб. 1865). На этом основано выведенное нами отношение копейки царя Алексея к нынешней разменной серебряной копейке 48-й пробы».

<sup>4</sup> Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства [далее — АЮ], СПб. 1838, № 415, стр. 445; «Записки отделения русской и славянской археологии Археологического общества» [далее — «Записки отделения русской и славянской археологии»], т. I, СПб. 1851, отд. III, стр. 89, 115; В. Крестинин, Исторический опыт о сельском старинном домостроительстве Двинского народа на севере [далее — *Крестинин*], СПб. 1785, стр. 38.

<sup>5</sup> *Кильбургер*, стр. 139.

<sup>6</sup> Ф. Петрушевский, Метрология, или описание мер, весов, монет и времязчисления нынешних и древних народов, СПб. 1831, стр. 223. «В Dictionnaire du Commerce (Paris 1839, т. II, стр. 1765) выведено несколько иное отношение шведской тонны к русской четверти: именно тонна определена в 6,77 четверика. Мы принимаем отношение, выведенное по Петрушевскому, потому что оно поддерживается указаниями русских источников XVII в.»

<sup>7</sup> Прозоровский, стр. 90—94; *Барберини*, Путешествие в Московию [далее — *Барберини*], «Сын отечества», СПб. 1842, № 7, отд. I, стр. 47, 48.

<sup>8</sup> Полное собрание законов Российской империи [далее — ПСЗ], т. III, № 1542, стр. 238.

<sup>9</sup> «Дела неполных производств в Московском архиве министерства юстиции», вязка № I.

<sup>10</sup> Полное собрание русских летописей [далее — ПСРЛ], т. IV, СПб. 1848, стр. 321, 330.

<sup>11</sup> *Флетчер*, О государстве русском, перев. К. М. Оболенского [далее — *Флетчер*], стр. 6, 33.

<sup>12</sup> *Hübners, Curieuses und reales Natur-Kunst-Berg-Gewerck und Handlunges-Lexicon*, Leipzig 1755, стр. 820. «Первое издание вышло в 1712 г.»

<sup>13</sup> Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией [далее — АИ], т. V, СПб, 1842, № 76.

<sup>14</sup> Дела неполных производств в Московском архиве министерства юстиции, вязка № 1.

<sup>15</sup> «Книги посевные, ужинные и умолотные в имении Морозова». Временник Московского общества истории и древностей Российских [далее — Временник]. Материалы, кн. VII, М. 1850. К этому надобно еще прибавить, что в вотчине Морозова употреблялась «боярская дворовая» четверть, которая была несколько меньше «таможенной», т. е. казенной: по одному указанию посевных книг этой вотчины можно рассчитать, что дворовая четверть равнялась 6,9 четвертикам «таможенной».

<sup>16</sup> АЮ, № 420. «Сопоставляя цифры умолота копны в арифметических задачах *Счетной мудрости*, изданной в 1879 г. Обществом Любителей древнерусской письменности, легко заметить, что они произвольны». Счетная мудрость, [СПб.] 1879.

<sup>17</sup> Временник, кн. IV, М. 1849, отд. 2. «Текст памятника не совсем исправен: есть погрешности в вычислениях».

<sup>18</sup> Акты, собранные... Археографической экспедицией [далее — ААЭ], т. I, СПб, 1836, № 335; Дополнения к Актам историческим, собранным и изданным Археографической комиссией [далее — ДАИ], т. I, СПб. 1846, № 116 (стр. 166).

<sup>19</sup> АЮ, № 251.

<sup>20</sup> «Таковы, например, белозерская таможенная 1551 г., везьгонская 1563 г., села Еремейцева Ярославского уезда 1588 г., Чарондская 1592 г.»: ААЭ, т. I, № 230 (стр. 224), 263 (стр. 297), 342, 356 (стр. 434).

<sup>21</sup> ПСРЛ, т. IV, стр. 231, 271.

<sup>22</sup> Временник, кн. XI, М. 1851. Материалы, стр. 2, 3, 10, 116; кн. XII, М. 1852. Материалы, стр. 36; Новгородские писцовые книги, изданные Археографической комиссией, т. 3, СПб. 1868, стр. 5, и др.

<sup>23</sup> ПСРЛ, т. III, СПб. 1841, стр. 148; т. V, СПб. 1851, стр. 44. «Псковская деньга была равна новгородке, а псковская четверть, вероятно, и в XV в., как в XVII, была немного больше новгородской».

<sup>24</sup> «Записки о Московии барона Герберштейна», перев. И. Анонимова, СПб. 1866, стр. 121; А. Попов, Изборник славянских и русских сочинений и статей, М. 1869, стр. 219; *Флетчер*, стр. 6.

<sup>25</sup> «Только для яровой пшеницы (озимой в Московской земле XVI в. не сеяли) мы взяли средние цены в губерниях Московской (12 руб. четверть), Тульской и более отдаленных — Нижегородской, Костромской, Новгородской, Тамбовской и Ярославской, потому что в издании департамента средние цены этого хлеба по губерниям, ближайшим к Московской, не выведены по недостатку данных».

<sup>26</sup> «Записки отделения русской и славянской археологии», т. I, отд. III, стр. 134; «по словам Маржерета, в 1601 г., когда настал голод, мера хлеба поднялась с 15 су до 3 руб.; по хронографу, именно четверть ржи тогда стали продавать по 3 руб. и выше».



Маржерет считал 4 су в алтыне, следовательно, 1 су равнялось 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> деньга, а 15 су — 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> деньгам московкам. Мы относим эту цену к московскому рынку». Сказания современников о Дмитрие Самозванце, ч. III, СПб. 1832, стр. 50, 74.

<sup>27</sup> «Нынешняя четверть пшеницы по цене Торговой книги стоила 20 коп. Средняя московская цена ее в 1882 г. была 12 руб. Отсюда отношение 1200 : 20 = 60. Нынешняя четверть гречневой крупы по Торговой книге стоила 10 коп. В четверти гречневой крупы (велегорки и продельной) считается 8 пудов. Пуд этой крупы в Москве стоил в 1882 г. около 135 коп., отсюда отношение 1080 : 10 = 108».

<sup>28</sup> АЮ, № 239, 415; Рукопись Археографической комиссии, № 100, л. 7, 29, 33, 37.

<sup>29</sup> ПСРЛ, т. 4, стр. 312.

<sup>30</sup> Там же, стр. 305.

<sup>31</sup> Чтения в обществе истории и древностей российских. М. 1883, кн. II, V. Смесь, IV, стр. 16; ПСРЛ, т. 4, стр. 321.

<sup>32</sup> АЮ № 239, 415; ПСРЛ, т. 4, стр. 305; т. III, стр. 150. «Мы не вводим в расчет цен нелокализованных, не приуроченных к известной местности, каковы отмеченные в тексте дорогие цены хронографа и Флетчера, а где встречаем несколько цен одного и того же хлеба, там берем высшую».

<sup>33</sup> «К указанным в тексте ценам второй половины века мы прибавляем архангельскую указную цену четверти ржи и четверти овса вместе (1596). Такими парами четвертей ржи и овса, носившими название *юфтей хлеба*, казна выдавала хлебное жалованье служилым людям и хлебную ругу духовенству. Когда хлебное жалованье заменялось денежным, юфть хлеба перекладывали на деньги по указанной цене, применяясь к ценам местного рынка; в книгах о выдаче жалованья, например, писалось в XVII в.: «За хлеб жалованье деньгами по указной цене за четь ржи по 8 алтын 2 деньга, за четь овса — по 6 алтын 4 деньга и обоого за юфть хлеба — по 15 алтын». По грамоте 1596 г. о руге Архангельскому монастырю положено было выдавать 49 денег за четверть ржи и четверть овса, разумеется, за четверть казенную московскую. Отношение цены овса к цене ржи в юфти изменялось, хотя нормальным считалось отношение первой ко второй, как 1 к 2. Потому мы сопоставляем цену юфти с суммой нынешних цен ржи и овса (См. *Крестинин*, стр. 41). Хлебных цен Торговой книги мы не вводим в таблицу по многим причинам: нельзя сказать наверное, относятся ли они к XVI в. или к началу XVII; это оптовые цены, а не розничные, каковы другие цены в таблице; неизвестно, какую бочку разумеет книга, обыкновенную ли хлебную в 16 тогдашних пудов ржи, или, например, упоминаемую в книге селедовку, которая была гораздо меньше; в первом случае цены Торговой книги ближе к дешевым, чем к дорогим. Опускаем также по этой последней причине и цену овса (6 денег четверть), отмеченную в одном акте Данилова Переяславского монастыря 1566 г.» (Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, изд. Н. Калачов, кн. 4, СПб. 1862. Древние акты архива Данилова Переяславского монастыря, стр. 28).

<sup>34</sup> *Барберини*, стр. 46. «Из Торговой книги мы брали только такие цены, которые ниже цен Барберини или которых нет у по-

следного. При сравнении мы пользовались думскими ведомостями справочных московских цен 1882 г. Разумеется, древнерусский пуд мы переводили на нынешний, уменьшая его цены в  $1\frac{1}{6}$  раза, так как он был в  $1\frac{1}{6}$  раза больше нынешнего, т. е. относился к последнему, как 7 к 6).

<sup>35</sup> «Для Флетчера со свитой, возвращавшихся из Москвы северным путем на Вологду и Холмогоры, приставу велено было в дороге покупать припасы «по тамошней цене, по прямой по указанной цене»; в статейном списке помещена и роспись этих цен. По сравнению с ценами Барберини и прихода-расходной книги Корнильева монастыря видно, что эти указыные дорожные цены были значительно выше вологодских цен 1578 г. и близки к московским. Цены огурцов и капусты также не московские, а вологодские заимствованы из прихода-расходной книги Корнильева монастыря» (Временник, кн. VIII, ч. I, М. 1850).

<sup>36</sup> АИ, т. III, СПб. 1841, № 167, стр. 300, 301. «Здесь помещена установленная указом царя Федора Ивановича такса, по которой удовлетворялись иски о пограбленных разбойниками животах. Известие Курбского, что в лагере под Казанью по взятии Арского города коров продавали по 10 денег, а больших волов — по 10 аспр (белок), т. е. по 20 денег, разумеется, не может быть принято в расчет как исключительный случай» («Сказания князя Курбского», изд. 2, СПб. 1842, стр. 27).

<sup>37</sup> Русская историческая библиотека [далее — РИБ], т. 2, СПб. 1875, № 102, стб. 311. «Вкладная Кандалакшского монастыря, любопытная во многих отношениях рукопись, принадлежит Е. В. Барсову. Запись вкладов здесь начинается с 1563 г. и прерывается на 1687 г. Вклады делались деньгами, церковной утварью, платьем, хлебом, рыбой, рыболовными судами и снастями, домашней рухлядью, скотом, работой на монастырь и пр.; в числе вкладов является даже охотничья собака, оцененная в полтину, что равнялось половине обычной цены «коровы».

<sup>38</sup> «Дешевая цена ржи в Московском краю у Герберштейна — 3 деньги четверть, дорогая — 20 и 30, возьмем среднюю — 14. Для Московии вообще дешевые цены у него 4, 5 и 6 денег, берем среднюю — 5. Для Московии второй половины века в хронографе дешевые цены —  $4\frac{1}{2}$  и 5 денег четверть, дорогая —  $7\frac{1}{2}$ , средняя — 6».

<sup>39</sup> «Записки отделения русокой и славянской археологии», т. I, отд. III, стр. 83, 84.

<sup>40</sup> «Выписываем цены ржи из этой книги с переводом северных мер на московские четверти:

1604 г. . . . .	106 и 75 денег
1605 » . . . . .	61 денег
1607 » . . . . .	66 »
1608 » . . . . .	40 »
1610 » . . . . .	88 »
1611 » . . . . .	48 »

Средняя цена ржи за эти годы 69 денег».

<sup>41</sup> Сборник князя Хилкова, СПб. 1879, № 62; *Крестинин*, стр. 42—44; Акты, относящиеся до юридического быта древней России [далее — Акты юридического быта], т. 2, СПб. 1864, № 142, стр. 277; РИБ, т. II, № 51, стб. 82; Временник, кн. VIII, ч. II, Смесь, стр. 20, 21; АЮ, № 216, XI; ПСРЛ, т. 4, стр. 330; «Записки отделения русской и славянской археологии», т. I, отд. III, стр. 57.

<sup>42</sup> Акты юридического быта, т. 2, № 142; «Ср. Торговую книгу и выписки из таможенных ведомостей»: *Н. М. Карамзин*, История государства Российского, т. X, СПб. 1824, стр. 249—253, прим. 426.

<sup>43</sup> РИБ, т. II, № 114, стб. 346.

<sup>44</sup> Книгохранилище Московской синодальной типографии, № 1—7.

<sup>45</sup> Временник, кн. IV, ч. II, Материалы, стр. 58.

<sup>46</sup> РИБ, т. VIII, СПб. 1884, № 11, стб. 647, 648; *Крестинин*, стр. 42.

<sup>47</sup> АИ, т. III, № 132; АЮ, № 216, XVII. «Здесь разумеется торговая московская четверть».

<sup>48</sup> «См. предыдущие примечания».

<sup>49</sup> РИБ, т. II, № 114, стб. 347.

<sup>50</sup> Временник, кн. XIII, М. 1852, Материалы, стр. 1—62.

<sup>51</sup> «Записки русских людей», СПб. 1841, «Записки И. А. Желябужского» [далее — *Желябужский*], стр. 59.

<sup>52</sup> ПСЗ, т. I, № 286, стр. 502.

<sup>53</sup> ПСЗ, т. I, № 132.

<sup>54</sup> РИБ, т. V, СПб. 1878, № 260, стб. 717.

<sup>55</sup> ПСЗ, т. I, № 317; *А. Бричнер*, Медные деньги в России 1656—1663 и денежные знаки в Швеции 1716—1719 [далее — *Бричнер*], СПб. 1864, стр. 35—43; РИБ, т. V, № 90, стб. 254; № 140, стб. 358. «В обоих актах разумеется новая, т. е. двойная новгородская четверть».

<sup>56</sup> «Записки русских людей», СПб. 1841; «Записки графа А. А. Матвеева», стр. 51.

<sup>57</sup> *И. де Родеса*, Размышления о русской торговле в 1653 году (перев. И. Бабста), Магазин земледения и путешествий, Географический сборник Н. Фролова, т. V, М. 1858, VI, стр. 239.

<sup>58</sup> ПСЗ, т. III, № 1579, стр. 288; Рукопись Тр. Серг. лавры, № 577.

<sup>59</sup> Временник, кн. XX, М. 1854, Смесь, стр. 28.

<sup>60</sup> «Средние цены московские и нижегородские выведены из таких данных. В 1651—1652 гг. в Москве и под Москвой, по расходной книге Никона, покупали четверть овса по 30 коп. пшеницы — по 128 коп., гороха — по 80, 96 и 120 коп., муки ржаной — по 52, 54 и 58 коп., пшеничной — по 90, 105 и 120 коп., крупы гречневой — по 68 коп. в Вологде рожь — по 40, пшеницу — по 100 и 80 коп. У Родеса московская цена ржи 1 руб. Подрядная цена ржаной муки по указу 1654 г., рассчитанная более всего на цены московского рынка — 120, 135 и 150 коп. четверть. У Гордона цены 1666 и следующих годов: четверть ржи — 50 и 54 коп., овса — 50 коп.; ((см. Гордон, 116 и 181)). У Кильбургера (стр. 36, 55, 71, 186) рожь в 1674 г. — 60 и 70 коп. четверть, овес — 32, пшено — 160, крупа гречневая — 120, пенька — 20, 25 и 30 коп. тогдашний пуд, лен — 70 коп. пуд (в таблице цены переложены на нынешний пуд). В 1687 г., по Матвееву, рожь в Москве — 12 коп. четверть, овес — 7 коп., а в 1698, по Желябужскому, рожь — 130 коп., овес — 45 и 48, пшеница — 170 и 150, пшено — 150 и 180, горох — 120 и 150, крупа гречневая — 170, семя конопляное — 60 коп. четверть. В арзамасских селах Б. Морозова в 1670—1671 гг. продавали рожь по 60, 54, 45, 40 и 31 коп. четверть, овес — по 30, 25, 24, 18 и 15 коп., пшеницу — по 50 коп., ячмень — по 17 коп. (Временник, кн. VI,

ч. III, Смесь). На арзамасских, нижегородских и алатырских казенных будных станах (поташных заводах) в 1681 г. покупали рожь по 31½ и 25 коп. четверть, овес — по 12, 18 и 20 коп. (Книги сметные будных станов, рукопись, принадлежащая автору). Цены прочих местностей в таблице одиночные (см. о них в предыдущих примечаниях; об олонешках — РИБ, т. VIII, № 14, стб. 944; об усть-сысольских — Акты юридического быта, т. 2, № 145). Вологодские цены 1661—1663 гг. не введены в расчет, как ненормальные.

<sup>61</sup> АИ, т. III, № 167, стр. 301.

<sup>62</sup> Кильбургер, стр. 60, 71, 115 и др.

<sup>63</sup> «Эти ¾ коп. за тогдашний фунт соответствуют почти ¼ коп. за нынешний. Арифметика Магницкого, 83, 85, 106 и др.»; ПСЗ, т. IV, 1830, № 1872.

<sup>64</sup> Желябужский, стр. 96; И.-Г. Фоккеродт, Россия при Петре Великом, ЧОИДР, 1874, кн. 2, IV, стр. 114; ПСЗ, т. VII, 1830, № 4533, § 5; Джон Перри, Состояние России при нынешнем царе, ЧОИДР, 1871, кн. 2, IV, стр. 159; В Московском Румянцевском музее, из собрания рукописей Беляева, № 120 и 122.

<sup>65</sup> В Московском Румянцевском музее, из собрания рукописей И. Д. Беляева, № 121.

<sup>66</sup> «Большую часть цены в этой таблице средние за несколько лет или за несколько месяцев одного года. Под именами почти всех губернских городов мы выводили в таблице средние цены из ведомостей губернского и одного из нескольких уездных городов и обозначали только уездные города, если не находили в коллекции ведомостей о ценах их губернского города».

<sup>67</sup> «Вследствие скудности собранного материала автор должен был отказаться от решения некоторых вопросов древнерусской хлебной метрики. К числу их относится вопрос о мере, называвшейся в XV и XVI вв. *пузом*. Выше (стр. 199) было упомянуто о 4 шунгских крестьянах, занявших 1½ короби ржи в 1549 г. с обязательством уплатить 25% роста. По обычному условию древнерусского коллективного займа долг платили заемщики, оказавшиеся налицо по истечении срока. На заемной 1549 г. отмечено, что двое из заемщиков уплатили по 2½ пуза ржи каждый, а в конце росписи приписано: «пуз ржи», что, по догадке издателей, значит, что 1 пуз недоплачен; эта росписка допускает различные толкования: или двое платили за всех четверых, а так как должно было быть заплачено 24 четверика капитала и 6 четвериков роста, то заплатив 5 пуз и недоплатив одного, они считали в пузе 5 четвериков; или каждый платил свою долю долга, и в таком случае пуз равнялся 3 четверикам а приписка ничего не значит. Впрочем, возможны и другие толкования; вопрос неразрешим без новых, более ясных указаний источников. Ныне в Архангельской губернии *пузо* — мешок соли мерою в 2 нынешних четверика, которые равняются почти 3½ новгородским четверикам XVI в.» («Русские допотопности», ч. I, М. 1815, стр. 132, 139).

## ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ

Статья «Происхождение крепостного права в России» впервые была издана в журнале «Русская мысль», 1885, № 8, стр. 1—36; № 10, стр. 1—46 (есть отд. оттиск). Переиздана в кн. В. О. Ключ-

чевский, Опыты и исследования. Первый сборник статей, М. 1912, стр. 212—310. Исправления и пометы, сделанные В. О. Ключевским в своем экземпляре журнальной статьи и отмеченные А. А. Кизеветтером в приложении к третьему изданию указанного первого сборника статей В. С. Ключевского (стр. V—IX), в настоящем издании учтены.

<sup>1</sup> *I. Engelmann*, Die Leibeigenschaft in Russland [далее — *Энгельман*], Dorpat 1884.

<sup>2</sup> «Господин Энгельман утверждает, что Hörigkeit и Leibeigenschaft на русском языке выражаются одним и тем же термином — *крепостное право*. Это не совсем верно. Hörig соответствует термину *обязанный*, вгеденному в русский юридический язык законодательством императора Николая, а обязанный по закону не считался крепостным». (Свод законов Российской империи, издания 1857 г., т. IX, СПб. 1857 [далее — Свод законов], кн. I, разд. IV, гл. 4—6).

<sup>3</sup> *Энгельман*, стр. 57, 62, 64—73.

<sup>4</sup> Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, изд. Н. Калачов, СПб. 1859, кн. 2, отд. 1, стр. 43.

<sup>5</sup> Свод законов, т. IX, стр. 213, ст. 1069.

<sup>6</sup> Свод законов, т. IX, стр. 231, ст. 1149.

<sup>7</sup> Архив исторических и практических сведений, изд. Н. Калачов, СПб. 1859, кн. 2, стр. 83 и след.

<sup>8</sup> «Изданные духовные известны. Неизданные заимствованы из двух сборников грамот Троицкого Сергиева монастыря, хранящихся в монастырской библиотеке, № 530 и 532».

<sup>9</sup> Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства, изд. Археографической комиссии, СПб. 1838 [далее — АЮ], № 410.

<sup>10</sup> Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, изд. Н. Калачов, кн. 2, половина 2, М. 1855, отд. II, Акты, записанные в крепостной книге XVI века. Сообщ. А. Б. Лакиер, стр. 32—36.

<sup>11</sup> АЮ, № 252; Полное собрание законов Российской империи [далее — ПСЗ], собр. I, т. I, СПб. 1830, № 1, гл. XX, ст. 8 и след.

<sup>12</sup> «Закон о бескабальной службе 1555 г.» *М. Владимирский-Буданов*, Хрестоматия по истории русского права [далее — *Владимирский-Буданов*], вып. 3, СПб. Киев 1889, стр. 4, 5.

<sup>13</sup> ПСЗ, т. I, № 1, гл. XX, ст. 9, 61.

<sup>14</sup> ПСЗ, т. I, № 1, гл. XX, ст. 16, 17.

<sup>15</sup> ПСЗ, т. I, № 1, гл. XX, ст. 30.

<sup>16</sup> «В сохранившихся записных холопоких книгах по Новгороду Великому помещены 371 служилая кабаля 1646—1650 гг. и 94 порховские кабаля 1629—1648-х гг.: из них нет ни одной без займа. *Московский архив министерства иностранных дел*, крепостные книги, № 35, 35, 41. В записной книге 1687 г. по Новгороду Нижнему 12 служилых кабал, все без займа. На этих сборниках преимущественно основаны изложенные соображения о кабальном холопстве. В собрании И. Д. Беляева, хранящемся в Московском публичном Румянцевском музее, 57 служилых кабал 1613—1701 гг.; из 34 кабал по 1674 г. включительно нет ни одной без займа; остальные с 1680 г. все без займа».

<sup>17</sup> «В тверской половине Бежецкой пятины, как видно из новгородских кабальных книг, еще в 1649—1650 гг писались служилые кабалы с тою местною особенностью, что в них вольные люди обязывались служить «до своей смерти». Со времени издания Уложения эта формула едва ли имела юридическое значение».

<sup>18</sup> ПСЗ, т. I, № 1, гл. XX, ст. 39.

<sup>19</sup> ПСЗ, т. I, № 1, гл. XX, ст. 43.

<sup>20</sup> *A. Olearii, Reisebeschreibung*, изд. 1656 г., III, стр. 102. «Талер стоил тогда в Москве немного менее полтины, а тогдашний рубль равнялся приблизительно 14 нынешним, следовательно, 10 талеров Олеария можно ценить рублей в 60—70 на наши деньги» (Столбцы Сибирского приказа в Московском архиве министерства юстиции, № 6, л. 105).

<sup>21</sup> ПСЗ, т. I, № 1, гл. XI, ст. 32.

<sup>22</sup> *Акты, относящиеся до юридического быта древней России* [далее — АЮБ], изд. Археографической комиссии, т. I, СПб. 1857, № 113, II; т. II, СПб. 1864, № 126, 127, III; Московский архив министерства иностранных дел, новгородская крепостная книга № 35, нижегородская № 41. «Говоря о холопстве крепостном, мы не упоминаем о холопстве несостоятельных должников, выданных истцам головою до искула, как и о холопстве по брачному союзу: эти виды зависимости создавались не крепостями, а актами другого рода: первый — судебным приговором, второй — церковным правилом».

<sup>23</sup> *Энгельман*, стр. 37.

<sup>24</sup> Русская историческая библиотека [далее — РИБ], т. 2, СПб. 1875, № 36; А. Ю., № 189.

<sup>25</sup> АЮБ, т. I, № 29, II.

<sup>26</sup> «Этот указ необычными оборотами речи и другими странно-стями возбудил подозрение в подделке. Это — недоразумение. Наиболее подозрительными странностями отличается не самый указ, а приказной доклад, ему предшествовавший и его вызвавший. Легко заметить, что это — сокращенное изложение подлинного доклада, состоявшего по обычаю приказных докладчиков Думы из дословных выписок из предшествовавших указов по возбужденному в докладе предмету. Именно из указов 1597, 1601 и 1602 гг. о белых. Татищеву, издавшему указ 1607 г., не хотелось переписывать этих длинных выдержек, и он изложил доклад *своими словами* и с собственными пояснениями, основанными на предрассудке, будто за 5 лет до указа 1597 г. по внушению Бориса Годунова издан был закон, прикрепивший крестьян к земле. Доклад в указе 1607 г. не подделка, а неудачный исторический комментарий издателя. Содержание самого указа с изменениями почти все вошло в *Уложение*».

<sup>27</sup> Древняя российская вивлиофика, изд. 2, ч. XI, стр. 368—369; Акты, относящиеся к истории Западной России, изд. Археографической комиссии, т. IV, СПб. 1851, № 183, стр. 409.

<sup>28</sup> Рукопись Троице-Сергиева монастыря, № 530, 532.

<sup>29</sup> Рукопись Московского архива министерства иностранных дел по Новгороду, № 35, л. 121; Сравнить: *Белевская вивлиофика*, изд. Н. Елагин, т. I, М. 1858, № 197 (стр. 266).

<sup>30</sup> Дополнения к актам историческим, изд. Археографической экспедиции [далее — ДАИ], т. IV, СПб. 1851, № 101; Акты, собран-

ные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией, т. IV, СПб. 1836, № 287; Акты исторические, изд. Археографической комиссии, т. V, СПб. 1842, № 226; Рукопись Московского архива министерства иностранных дел по г. Пскову, № 32.

<sup>31</sup> Московский архив министерства иностранных дел, Новгородская крепостная книга, № 35, л. 473; № 36, л. 84.

<sup>32</sup> «Сообщена В. Е. Якушкиным».

<sup>33</sup> Московский архив министерства иностранных дел, Новгородская крепостная книга, № 35, л. 369, л. 36, л. 80, 90.

<sup>34</sup> Московский архив министерства иностранных дел, Новгородская крепостная книга, № 35, л. 388, 308; Нижегородская крепостная книга, № 41, л. 53.

<sup>35</sup> ПСЗ, т. I, № 1, гл. XI, стр. 26, 12.

<sup>36</sup> Московский архив министерства иностранных дел, Новгородская крепостная книга, № 36, л. 73.

<sup>37</sup> Московский архив министерства иностранных дел, Новгородская крепостная книга, № 35, л. 411; № 36, л. 473, 433; ДАИ, т. IV, № 92; РИБ, т. V, СПб. 1878, № 403.

<sup>38</sup> Московский архив министерства иностранных дел, Нижегородская крепостная книга, № 41, л. 90.

## ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ И ОТМЕНА ХОЛОПСТВА В РОССИИ

Статья *«Подушная подать и отмена холопства в России»* впервые издана в журнале *«Русская мысль»*, 1885, № 5, стр. 106—127; № 7, стр. 1—19; № 9, стр. 72—87; № 10, стр. 1—20. Переиздана в кн.: В. О. Ключевский, *Опыты и исследования*, Первый сборник статей, М. 1912, стр. 311—416. Во втором издании этого сборника (М. 1915) в приложении (стр. XXV—XXXVIII) помещена черновая тетрадь Ключевского середины 90-х годов XIX в. «О холопстве» (см. ГБЛ, ф. Ключевского, п. 15, д. 11; гранки — д. 12). В настоящее издание она не включается. Пометы, сделанные Ключевским в авторском тексте статьи и отмеченные А. А. Кизеветтером в третьем издании указанного сборника трудов В. О. Ключевского (см. приложения II, стр. IX—XI), в настоящем издании учтены.

<sup>1</sup> Полное Собрание законов Российской империи [далее — ПСЗ], собр. I, т. V, № 3245.

<sup>2</sup> ПСЗ, т. I, № 3458, 3460; т. VI, № 3492, 3707, 3762, 3782, 3787.

<sup>3</sup> «Так в одних инструкциях; в других назначено на пехотинца по 35<sup>15</sup>/<sub>16</sub>, на кавалериста — по 50<sup>5</sup>/<sub>8</sub> души».

<sup>4</sup> ПСЗ, т. VI, № 3720, 3871, 3873, 3899, 3901.

<sup>5</sup> Там же, № 4340, 4413.

<sup>6</sup> Там же, № 4139, 4145, 4162, 4224, 4229, 4294, 4332, 4335, 4340, 4413, 4485, 4503, 4515; «по местам с 1724 г.»: М. Горчаков, *О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и св. Синода* [далее — *Горчаков*], СПб. 1871, стр. 545.

<sup>7</sup> ПСЗ, т. VI, № 3753, 3873, 3894, 3983; т. VII, № 4191, 4332, 4390, 4472, 4503, 4650.

<sup>8</sup> ПСЗ, т. VII, № 4542, 4589, 4673, 4701, 4715.

<sup>9</sup> ПСЗ, т. XXI, № 15. 624, IV, § 5.

<sup>10</sup> «Уравнение в подушном сборе по состоянию граждан. Инструкция магистратам 1724 г.», С. М. Соловьев, История России с древнейших времен [далее — Соловьев], т. 18, М. 1883, стр. 178.

<sup>11</sup> «Русская старина», 1880, СПб. № 5, стр. 129; Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук, т. IX, СПб. 1872, Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым, стр. 88; Горчаков, стр. 545.

<sup>12</sup> Записки Манштейна о России [далее — Манштейн], СПб. 1875, стр. 296; ПСЗ, т. VII, № 4534.

<sup>13</sup> ПСЗ, т. VII, № 4533—4536.

<sup>14</sup> Там же, № 4654; Манштейн, стр. 313.

<sup>15</sup> Там же, № 4328.

<sup>16</sup> Там же, № 4637; Соловьев, т. 18, стр. 276, 277, 290; т. 19, М. 1893, стр. 276 и след.

<sup>17</sup> «Точную цифру установить довольно трудно: в разные источники попали разновременные данные, а ревизские сказки собирались и проверялись в течение 7 лет. Кампредон в 1722 г. знал только 5 миллионов; Фоккеродт записал 5198 тыс. душ [И. Г. Фоккеродт, Россия при Петре Великом, «Чтения в Обществе истории и древностей российских», М. 1874, кн. 2, IV, стр. 113]. В ведомости, посланной Вольтеру для Истории Петра Великого, обозначено 5 436 054 души; по табели, составленной в мае 1724 г. значилось 5 409 930 без городских обывателей, которых было насчитано 172 385 душ, и татар Казанской и Астраханской губерний, положенных в подушный оклад, которых в мае 1724 г. считалось 49 029 (ПСЗ, т. VII, № 4503 и 4512); всего — 5 631 344. Голиков на основании составленного в 1727 г. сочинения Кирилова считал 5 794 928 сельских душ и 172 385 городских (см. И. И. Голиков, Деяния Петра Великого, т. 13, М. 1840, стр. 658). Кажется, здесь у Голикова недоразумение: городские души надо считать не сверх 5794 тыс., а в том числе, тогда цифра сельских душ у Голикова (5 622 543) довольно близко подойдет к цифрам майских указов 1724 г. (5 458 959 с татарами); излишек в 163 тыс., может быть, насчитан был дальнейшей проверкой после мая 1724 г. Сравнить: Карл Герман, Статистические исследования относительно Российской империи, ч. I, СПб. 1819, стр. 8.

<sup>18</sup> ПСЗ, т. V, № 3287; т. VI, № 3481, 3492, 3871, 4023, 4026; т. VII, № 4145.

<sup>19</sup> Соловьев, т. 20, М. 1887, стр. 468.

<sup>20</sup> «В одном из слов Григория Богослова, переведенных в Болгарии и списанных с болгарской рукописи на Руси в XI в. с русскими вставками и переделками, словом «огнище» переведено греческое *ἀνδράποδος* — холоп» («Известия Академии наук по отделению русского языка и словесности», т. IV, СПб. 1855, стб. 311).

<sup>21</sup> Прибавление к изданию творений святых отцов в русском переводе, ч. 17, М. 1858, стр. 46.

<sup>22</sup> «Сравнить:» Gai. Instit. I, 80—90 n Zacharias, Prochiron, tit. XXXIV, ст. 5—7.

<sup>23</sup> Эклога, изд. Захариз, тит. XVII, ст. 22; Прохирон, тит. XXXIX, ст. 61.

<sup>24</sup> Эклога, тит. XVII, ст. 21; Прохирон, тит. XXXIX, ст. 60.

<sup>25</sup> Σιωπρὰ ἐλευθερία Прохирон, тит. XXXIV, ст. 14.



<sup>26</sup> Прохирон, тит. V, ст. 4; ὡς προλήψει (ex praesumptione) δοκῶν αὐτῆς συυχῶρειν τὸ τίμημα.

<sup>27</sup> См. превосходное издание Книг законных с греческим текстом — А. С. Павлов, Книги законные, СПб. 1885, стр. 26, 69.

<sup>28</sup> Прохирон, тит. IV, ст. 26.

<sup>29</sup> См. схолию к 24 ст. XXXIII тит. Эпанагоги по изд. Цахариз; Устав кн. Всеволода; Макарий, История русской церкви, т. II, СПб. 1868, стр. 383.

<sup>30</sup> «Сказание Иакова»: Чтения в Обществе истории и древностей российских, М. 1870, кн. I, III, л. 12.

<sup>31</sup> Русская Историческая библиотека [далее — РИБ], т. VI, СПб. 1880, стб. 42: «А лучше иного человека вскупити, абы ся и другая на том казнила». *Иного человека* вскупити значит или заставить, подговорить другого купить рабу у невоздержанного господина, или выкупить ее у *иного* из таких господ на счет церкви, в обоих случаях против воли господина».

<sup>32</sup> «Излагаем это постановление, как оно приведено в *Пуре*, составленном около половины XI в., своде приговоров и юридических мнений византийского судьи Евстафия» (Zachariae, Jus graecogum., I, тит. XXVIII, ст. 13).

<sup>33</sup> РИБ, т. VI, стб. 11, 12. Успехом этой меры объясняется позднейшая переделка Нифонтова ответа, который в некоторых списках читается так: «Сде *есть* обычай таков».

<sup>34</sup> Gai, I, 53.

<sup>35</sup> Эклога, тит. VIII, ст. 6; Прохирон, тит. XXXIV, ст. 9.

<sup>36</sup> РИБ, т. VI, стб. 835—846.

<sup>37</sup> Прохирон, тит. XXXIV, ст. 11; Летопись по Лаврентьевскому списку, СПб. 1872, стр. 35, 49.

<sup>38</sup> «А вдач не холоп, ни по хлебе роботят, ни по придатце». В числе русских прибавлений к *Закону судному* есть две статьи, из которых одна согласно с *Русскою Правдой* говорит, что свободный человек, в голодное время отдавшийся в работу за прокорм, не должен считаться холопом и может всегда уйти от хозяина, заплатив ему три гривны, а другая применяет то же условие ко вдачу особого рода — к дитяти проданного несостоятельного должника, которое отдано заимодавцами на воспитание (Полное собрание русских летописей [далее — ПСРЛ], т. VI, СПб. 1853, стр. 81, 82). В требовании права выкупа для вдача духовенство могло опираться на законодательство римских императоров, в том числе и Константина, которые или запрещали продажу детей, или выговаривали для них право выкупа» (H. Wallon, Histoire de l'esclavage dans l'antiquité [далее — Wallon], т. III, Paris 1879, стр. 52, 437).

<sup>39</sup> Собрание государственных грамот и договоров [далее — СГГД], ч. I, М. 1813, № 47, 48.

<sup>40</sup> Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства, изд. Археографической комиссии [далее — АЮ], СПб. 1838, № 406; Московский архив министерства иностранных дел, Новгородская крепостная книга, № 35, л. 58.

<sup>41</sup> Прохирон, тит. XXXIV, ст. 3.

<sup>42</sup> Wallon, т. III, стр. 456.

<sup>43</sup> СГГД, ч. I, № 13, 28, 39.

<sup>44</sup> Wallon, III, стр. 454; Русско-ливонские акты, собранные К. Е. Напьерским, СПб. 1868, стр. 426, 452.

<sup>45</sup> В. Н. Татищев, История Российская, кн. 12, М. 1773, стр. 88, 89.

<sup>46</sup> «Путивльский двор — село кн. Святослава с 700 холопов, упоминаемый летописью под 1146 г.; пять сел с челядью, завещанных в 1158 г. минской княгиней Печерскому монастырю; село Варлаама Хутынского с челядью и скотиною, описанное во вкладной конца XII или начала XIII в.» Летопись по Ипатьевскому списку, СПб. 1871, стр. 237, 338; Дополнения к актам историческим, собр. и изд. Археографической комиссией, т. I, М. 1846, № 5.

<sup>47</sup> Памятники русской литературы XII и XIII веков, изд. В. Яковлев, СПб. 1872, стр. 136—138.

<sup>48</sup> СГГД, ч. I, № 21, 56 (стр. 121), 58 (стр. 127), 121 (стр. 301); Сборник Троице-Сергиева монастыря, № 530, л. 71, 911, 532—542, 581, 652 и 906; АЮ, № 416; ПСРЛ, т. VI, стр. 232.

<sup>49</sup> Сборник Троице-Сергиева монастыря, № 530, л. 1040, 1125.

<sup>50</sup> Сборник Троице-Сергиева монастыря, № 530, л. 464, 1066.

<sup>51</sup> Сборник Троице-Сергиева монастыря, № 530, л. 131, 1097; Писцовые книги XVI века, изд. Н. В. Калачов [далее — Писцовые книги XVI века], ч. I, отд. I, стр. 265.

<sup>52</sup> Paul Roth, Ferialität und Unterthanverband, Weimar, 1863, стр. 145—153.

<sup>53</sup> Писцовые книги XVI века, ч. I, отд. II, СПб. 1877, стр. 1534, 1259.

<sup>54</sup> Сборник Троице-Сергиева монастыря, № 530, л. 30, 1009.

<sup>55</sup> Московский архив министерства юстиции, Писцовые книги Тульского уезда, № 489, 490 и 491; Белевская вивлиофика, изд. Н. Елагин, т. II, М. 1858, стр. 277 и след.: «Общий итог по уезду не вполне сходится с частными по станам; наш расчет основан на последних».

<sup>56</sup> Акты исторические, изд. Археографической комиссией, т. III, СПб. 1841, № 167, стр. 303.

<sup>57</sup> См. статью «Происхождение крепостного права в России».

<sup>58</sup> И. Д. Беляев, Собрание историко-юридических актов, в Московском публичном Румянцевском музее, п. № 14.

<sup>59</sup> Московский архив министерства иностранных дел, Нижегородская крепостная книга, № 41, л. 36, 93; «Собрание грамот» Беляева в Московском публичном Румянцевском музее, п. № 15: запись Карпова в собрании грамот, принадлежащем автору.

<sup>60</sup> Сборник Троице-Сергиева монастыря, № 530, л. 1018.

<sup>61</sup> ПСЗ, т. II, № 1128, 1293.

<sup>62</sup> ПСЗ, т. III, № 1383.

<sup>63</sup> Из собрания актов, принадлежащего автору.

<sup>64</sup> ПСЗ, т. IV, № 2536, 2540.

<sup>65</sup> «Довольно редкое указание на платеж зажилых денег за беглых задворных людей находим в поступной записи Дураковых и Чирковых 1699 г. (из собрания старинных актов кн. П. П. Вяземского, которому причисим искреннюю благодарность за доставленную нам возможность пользоваться его любопытным собранием)».

<sup>66</sup> ПСЗ, т. IV, № 2404.

<sup>67</sup> Сборник Троице-Сергиева монастыря, № 530, л. 139.

<sup>68</sup> Из собрания кн. П. П. Вяземского.

<sup>69</sup> ПСЗ, т. II, № 1210; т. III, № 1504.

<sup>70</sup> ПСЗ, т. II, № 855.

<sup>71</sup> ПСЗ, т. IV, № 1747, 2326, 2404; т. VI, № 3754.

<sup>72</sup> ПСЗ, т. V, № 3240, 3109; т. IV, № 3743.

<sup>73</sup> ПСЗ, т. VI, № 4026.

<sup>74</sup> ПСЗ, т. VI, № 3923.

<sup>75</sup> ПСЗ, т. VI, № 3923, 3995; т. VII, № 4145.

<sup>76</sup> ПСЗ, т. VI, № 4023.

<sup>77</sup> «Только непахотные дворовые, по указам Петра, отличались от пахотных людей и крестьян тем, что могли вступать охотниками в военную службу, но указом 20 сентября 1727 г. было отменено и это право» (ПСЗ, т. VII, № 5161).

## ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН И ЕГО ПРЕДКИ

Статья «*Евгений Онегин и его предки*», читаемая автором на заседании Общества любителей российской словесности 1 февраля 1887 г., впервые издана в журнале «Русская мысль», 1887, № 2, стр. 291—306 (есть отд. оттиск). Переиздана в кн.: В. Ключевский. Очерки и речи. Второй сборник статей, М. 1913, стр. 67—89.

### ОТЗЫВ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ В. И. СЕМЕВСКОГО «КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС В РОССИИ В XVIII И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.»

Отзыв В. О. Ключевского на книгу В. И. Семевского «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в.», датированный 1889 г., публикуется впервые.

Черновой автограф и наброски выступления на диспуте находятся в ГБЛ, ф. Ключевского, п. 14, л. 17. Здесь же находится двухтомный труд В. И. Семевского, адресованный 30 апреля 1888 г. В. О. Ключевскому, с просьбой автора выступить оппонентом по его диссертации на степень доктора русской истории. Описание докторского диспута см. «Русские ведомости», 1889, февраль 17, № 48.

В набросках выступления В. О. Ключевского на диспуте читаем: «Что дает книга? Хронологически — библиографическое изложение мнений по крестьянскому делу и беллетристические изображения крестьянского быта с летучими этическими замечками о них и выговорами их авторам за недостаток свободомыслия, да краткие перечни законодательных мер по этому делу с такими же прибавками — вот и все. Причем тут мнения отдельных лиц, даже и не правительственных, наполняющие большую половину книги? Мы узнаем, что у нас думали и гадали о крепостном праве в разное время, притом секретно, и не знаем, что делали для его разрешения, для устранения его неудобств юридических, экономических и нравственных. Разве история такого практического вопроса, как крестьянский, может состоять в истории филантропических или плантаторских мечтаний и положений, да еще неизданных? У нас теперь на очереди важный вопрос о вывозе хлеба за границу. Я, вы и ты

сяча других досужих людей, умеющих кое-как держать перо в руках, прочитав корреспонденцию о печальном ходе вывоза, напишем суждение об этом деле и пожертвуем свои манускрипты в Румянцевский музей, который занумерует их и в картонах сохранит для потомства, а будущий исследователь по ним опишет состояние хлебного вопроса в России в 1889 г., не справившись ни о чем ни в одной конторе — ни торговой, ни землевладельческой. Как вы назовете такое исследование? Я бы назвал его «хлебной маниловщиной». Между тем в наших записках может оказаться пропасть дельных соображений, да на ход-то дела, на движение вопроса они не имели ни малейшего действия.

Книга страдает тройным противоречием:

1) с собственным заголовком, как Вы его понимаете;

2) с тем же заглавием, как его понимать следует;

3) с Вашей собственной программой или задачей, Вами поставленной (начало введения и стр. III). Разве крестьянский вопрос есть только вопрос об ограничении и уничтожении крепостного права? В таком случае незачем было разбирать массу документов, трактовавших о его поддержании, и следовало прямо начать или с того, чем она кончается, подготовкой к отмене [крепостного] права при Николае I. Вопрос о крепостном праве до Александра II есть вопрос о его приспособлении к интересам государства и условиям общежития. Следовало так и назвать книгу: «История мысли об отмене крепостного права в России» или, если угодно понаряднее, «История аболиционистской идеи в России».

С нас нельзя строго взыскивать за такие неудачи. Мы с вами принадлежим к поколениям, которые стоят в самом ненаучном отношении к крепостному праву. Мы при нем родились, но выросли после него. Мы видели, как оно умирало, но не знали, как оно жило. Оно для нас ни прошедшее, ни настоящее, ни вчерашний, ни сегодняшний день. Оно то, что бывает между вчера и сегодня, — сон! Оно осталось в наших воспоминаниях, но его не было в нашем житейском обиходе. Из сна помнятся только эксцентricности, все нормальное забывается. Помня крепостное право как призрак детства, мы недоумеем, как это могло быть двухвековым порядком. Старые люди, теперь живущие, знают его как былую действительность; молодежь, которая будет изучать его, поймет его как исторический факт. Мы с Вами хронологически] посредники между теми и другими — ни старые, ни молодые люди, не знаем его как порядок и не пойдем его как призрак. Поэтому да не сетуют на нас люди, знавшие крепостное право и почтившие нас своим вниманием за то, что мы не оправдали этого внимания.

<sup>1</sup> «В XVIII и в начале XIX в. размышления, на какие наводил крепостное право, далеко не все сводились к вопросу о его отмене».

<sup>2</sup> В. И. Семевский, Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века [далее — *Семевский*], т. I, СПб. 1888, стр. 93, 381.

<sup>3</sup> [Над строкой]: «характеру политических мнений и сочувствий».

<sup>4</sup> [Фраза не окончена].

<sup>5</sup> *Семевский*, т. I, стр. 355 и след.

<sup>6</sup> [Над словом «я» написано: «факультет»].

<sup>7</sup> [Текст, приписанный, очевидно, автором позднее].

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Д. ГОЛОХВАСТОВА  
«ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «КОРМЛЕНИЕ»»

Статья Д. Голохвастова «Историческое значение слова «кормление»» была опубликована в журнале «Русский архив», 1889, № 4, стр. 650 и след. Отклик В. О. Ключевского в виде письма к издателю журнала был опубликован там же, в следующем номере (стр. 138—145), одновременно с откликом Д. И. Иловайского. Отклик В. О. Ключевского перепечатывается с этого издания.

<sup>1</sup> А. Х. Востоков, Словарь церковнославянского языка, т. I, СПб. 1858, стр. 186.

<sup>2</sup> Акты юридические, СПб. 1838, № 161.

<sup>3</sup> Собрание государственных грамот и договоров, ч. I, М. 1813, № 27, стр. 45.

<sup>4</sup> [Речь идет о статье Д. И. Иловайского «Из истории царствования Ивана Васильевича Грозного», опубликованной в «Русском архиве», 1889, № 4, стр. 5—38].

<sup>5</sup> «Может быть, рядом с приведенными текстами пригодится и следующее место из приговора царя с боярами 1556 г.: „По се время бояре и князи и дети боярские сидели по *кормлениям* по городом и волостем для расправы людем и всякого устройства землям и себе от служеб для покою и *прекормления*» (Русская летопись по Никонову списку, ч. VII, СПб. 1791, стр. 259).

ОТЗЫВ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ С. Ф. ПЛАТОНОВА  
«ДРЕВНЕРУССКИЕ СКАЗАНИЯ И ПОВЕСТИ  
О СМУТНОМ ВРЕМЕНИ XVII в.  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК»

Отзыв В. О. Ключевского об исследовании С. Ф. Платонова «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в. как исторический источник» (СПб. 1888) впервые напечатан в кн.: «Отчет о 31-м присуждении наград гр. Уварова», СПб. 1890, стр. 53—66, и отд. СПб. 1890, стр. 1—14. Перепечатан в кн.: В. О. Ключевский, Отзывы и ответы. Третий сборник статей, М. 1914, стр. 388—405.

<sup>1</sup> С. Ф. Платонов, Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в. как исторический источник [далее — Платонов, Сказания и повести], СПб. 1888, стр. V, 289 и след.

<sup>2</sup> Платонов, Сказания и повести, стр. 59, 60.

<sup>3</sup> Там же, стр. 127.

<sup>4</sup> Там же, стр. 95.

<sup>5</sup> Там же, стр. 124, 230.

<sup>6</sup> Там же, стр. IV.

<sup>7</sup> Там же, стр. V.

<sup>8</sup> Там же, стр. 183—191, 208—216, 232—239.

<sup>9</sup> Там же, стр. 181.

<sup>10</sup> Там же, стр. 65—77.

<sup>11</sup> Там же, стр. 71.

<sup>12</sup> Там же, стр. 247, 253, 262, 264, 268, 269.

<sup>13</sup> Там же, стр. 246, прим. 2; Русская летопись по Никонову списку [далее — Никоновская летопись], ч. VIII, СПб. 1792.

<sup>14</sup> Платонов, Сказания и повести, стр. 270.

<sup>15</sup> Там же, стр. 274—314.

<sup>16</sup> А. Попов, Обзор хронографов русской редакции, вып. 2, М., 1869, стр. 173, 197; Избранник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции, собрал и издал А. Попов [далее — Попов, Изборник], М. 1869, стр. 257.

<sup>17</sup> Платонов, Сказания и повести, стр. 332.

<sup>18</sup> Полное собрание русских летописей, т. VI, СПб. 1853, стр. 267.

<sup>19</sup> Попов, Изборник, стр. 437.

<sup>20</sup> «Сравнить Иное сказание» — Временник Московского общества истории и древностей российских, кн. 16, 1853. Материалы, стр. 42, 51.

<sup>21</sup> Платонов, Сказания и повести, стр. 338—342.

<sup>22</sup> Никоновская летопись, ч. VIII, стр. 117—118.

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае . . . . .</b>	<b>5</b>
<b>Псковские споры . . . . .</b>	<b>33</b>
I. Русское церковное общество в XV в. . . . .	—
II. Псковское церковное общество в XV в. . . . .	44
III. Спор с владыкой . . . . .	54
IV. Спор с латинами . . . . .	62
V. Богословский спор . . . . .	76
VI. Литературная полемика . . . . .	95
<b>Крепостной вопрос накануне законодательного его возбуждения. (Отзыв на сочинения Ю Ф Самарина, т. 2. «Крестьянское дело до высочайшего рескрипта 20 ноября 1857 г.») . . . . .</b>	<b>106</b>
<b>Сергей Михайлович Соловьев (умер 4 октября 1879 г.) . . . . .</b>	<b>126</b>
<b>Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского Университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину . . . . .</b>	<b>145</b>
<b>Право и факт в истории крестьянского вопроса. (Письмо к редактору «Русн», 1881, № 20) . . . . .</b>	<b>153</b>
<b>Ответ Д. И. Иловайскому . . . . .</b>	<b>163</b>
<b>Русский рубль XVI—XVIII вв. в его отношении к нынешнему. Опыт определения меновой стоимости старинного рубля по хлебным ценам (материалы для истории цен) . . . . .</b>	<b>170</b>
I. Постановка вопроса. — II. Древнерусская хлебная четверть. — III. Приемы исследования. — IV. Рубль XVI в. Проверка выводов. — V. Рубль XVI в. — VI. Рубль первой половины XVIII в. — VII. Главные выводы.	
<b>Происхождение крепостного права в России . . . . .</b>	<b>238</b>
<b>Подушная подать и отмена холопства в России . . . . .</b>	<b>313</b>
I. Первая ревизия . . . . .	—
II. Церковь и холопство . . . . .	338

III. Холопы-страдники . . . . .	360
IV. Задворные люди . . . . .	379
Евгений Онегин и его предки . . . . .	403
Отзыв об исследовании В. И. Семевского «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в.» . . . . .	423
По поводу статьи Д. Голохвастова «Историческое значение слова «кормление»» (Письмо к издателю) . . . . .	429
Отзыв об исследовании С. Ф. Платонова «Древнерусские сказа- ния и повести о Смутном времени XVII в. как историче- ский источник» . . . . .	439
Комментарии . . . . .	455

---



КЛЮЧЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ  
Сочинения,  
том VII

Редактор *С. Моручков*

Младший редактор *О. Бочкова*

Оформление художника *Н. Симагина*

Технический редактор *Р. Москвина*

Корректор *Д. Пречистенская*

Сдано в набор 23 мая 1959 г. Подписано в печать 13 августа 1959 г. Формат бумаги 84 × 108 1/2. Бумажных листов 7,625. Печатных листов 25. Учетно-издательских листов 27,123. Тираж 54 000 экз. А 05255. Цена 11 руб.

Издательство социально-экономической литературы  
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15

Типография № 5 УПП Ленсовархоза  
Ленинград, Красная ул., 1/3  
Заказ № 558

